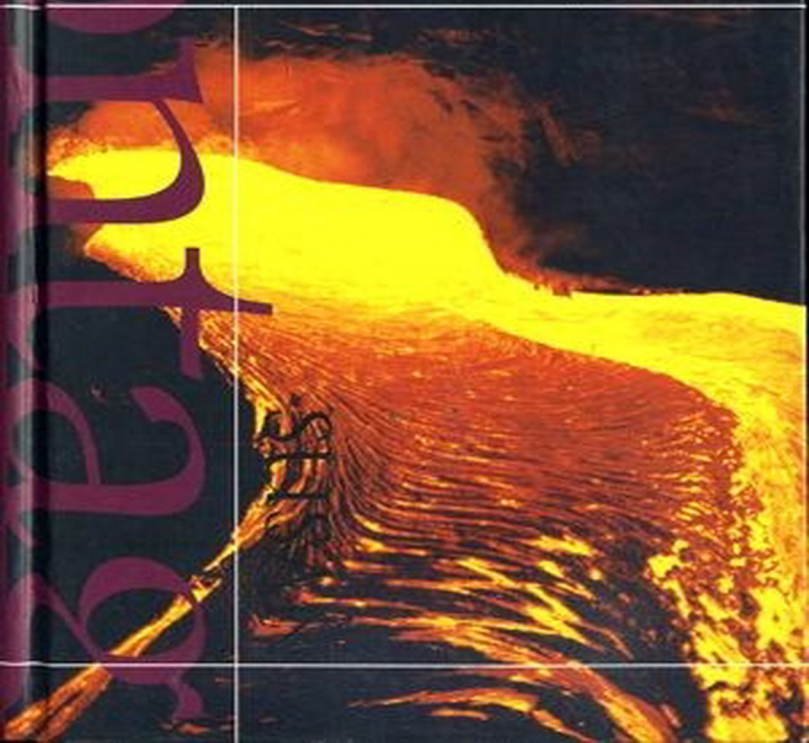
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА XX+I

СЬЮЗЕН ЗОНТАГ

Поклонник Везувия



Поклонник Везувия

Сьюзен Зонтаг

Аннотация
Сьюзен Зонтаг. Поклонник Везувия
Пролог
Часть первая
1
2
3
4
5
6
7
Часть вторая
1
2
3
4
5
6
7
Часть третья
Часть четвертая
1

2
3
4

Аннотация

Британский посол в Неаполе Уильям Гамильтон, страстный коллекционер и поклонник красоты, получает главное сокровище своей жизни – бывшую любовницу племянника, прекрасную Эмму. Подняв ее со дна общества в высший свет, он, подобно Пигмалиону, превращает свою вульгарную Галатею в настоящее произведение искусства. Но появляется Герой, несгибаемый и загадочный, – прославленный адмирал Нельсон… Знаменитый любовный треугольник, общество XVIII века без прикрас, роскошь и грязь аристократии, извержение революции и буйство страсти – самый неоднозначный эпизод европейской истории в романе Сьюзен Зонтаг «Поклонник Везувия».

Сьюзен Зонтаг
Поклонник Везувия

Дэвиду,
любимому сыну, товарищу

* * *

Дорабелла (в сторону):
В груди у него – Везувий.
«Так поступают все женщины», акт II

Пролог

Вот и блошиный рынок. Вход свободный, платить не нужно. Неряшливая толпа. Бодрая, оживленная. Зачем тебе туда? Что там интересного? Да я просто посмотрю. Посмотрю, что еще есть в этом мире. Что осталось. От чего избавились. Что больше не любят. Чем пришлось пожертвовать. Что, по чьему-то мнению, способно заинтересовать других. Но это же — хлам. Сюда свалено лишь то, что уже отсеяли. И все же здесь можно отыскать нечто ценное. То есть не то чтобы ценное. Но то, чего захочу именно я. Захочу спасти. То, что ответит моим ожиданиям, заговорит со мной. Заговорит, расскажет. Ах…

Зачем тебе туда? Делать нечего? Будешь бродить, глазеть по сторонам. Потеряешь счет времени. Тебе только кажется, что его достаточно. Это всегда занимает времени больше, чем рассчитываешь. И ты опоздаешь. Будешь на себя злиться. Но все равно поддашься искушению. Ведь вещи манят. Но и отталкивают. Они грязные. Поломанные. Кое-как зашитые или не зашитые вовсе. Они повествуют о страстях и причудах, о которых мне

знать не нужно. Нужно… Ах, нет. Ничего этого мне не нужно. Просто некоторыми я полюбуюсь. Другие потянет взять, нежно повертеть в руках. В это время за мной будут пристально следить владельцы. Но я не собираюсь воровать, скорее всего, не собираюсь и покупать.

Зачем тебе туда? Просто поиграть. В узнавание. Узнать, что это, чем оно было, чем должно быть, чем будет. Не торговаться, не называть свою цену, не приобретать. Просто смотреть. Просто бродить. У меня легко на душе, светло в голове.

Зачем тебе туда? Таких мест полно. На площади, в сквере, на укромной улочке, на складе, на стоянке, на пирсе, где угодно. А мне попалось именно здесь. Оно такое же, как везде, — и поэтому я войду. В джинсах, шелковой рубашке и теннисных туфлях: Манхэттен, весна 1992 года. Ограниченный опыт чистых возможностей. У одного портреты кинозвезд, у другой — полный поднос колец индейцев-навахо, у этого целая вешалка летних курток времен Второй мировой, у того ножи. Модели машин, хрустальная посуда, плетеные стулья, цилиндры, римские монеты, а где-то там… жемчужина, сокровище. Оно может мне встретиться, я чувствую. Во мне может зародиться желание его купить. Я куплю в

подарок, да-да, подарю кому-нибудь. По крайней мере, буду знать, что такая вещь существует и что нашлась она здесь.

Зачем тебе туда? А разве причин недостаточно? Да, может оказаться, что никакого сокровища там нет. Я могу не узнать его, поставить обратно на столик. Но меня ведет желание. Воображение рисует то, что хотелось бы видеть. Довольно раздумий.

Я вхожу.

* * *

Аукцион заканчивается. Лондон, осень 1772-го. Огромный зал. К стене прислонена картина в золотой, пучащейся листьями раме: «Венера, разоружающая Купидона», предположительно — кисти Корреджо. Владелец возлагал на нее большие надежды, но она не продана. Предположение о Корреджо оказалось ошибочным. Зал постепенно пустеет. К картине медленно подходит высокий (для своего времени) мужчина сорока двух лет, с умным лицом. За ним на почтительном расстоянии следует человек вдвое моложе. Их аристократические лица отмечены сильнейшим фамильным сходством. Оба худощавы, бледны, высокомерны.

Моя Венера, — говорит старший. — Я был уверен, что ее купят. Она вызвала такой интерес.

Что ж, увы, — отвечает молодой.

Не понимаю, — недоумевает старший, — уникальность картины столь очевидна. — Он искренне озадачен. Молодой человек слушает, подобающим образом нахмурясь.

Мысль о расставании с ней казалась невыносимой. Полагаю, мне следовало бы радоваться, что ее не удалось продать, — продолжает старший. — Но обстоятельства вынуждали, и я не думаю, что запросил чересчур высокую цену.

Он пристально смотрит на свою Венеру.

Очень тяжело, — говорит он, имея в виду не сложность осознания причин, по которым картина не была продана (и не сложности, связанные с отражением атак кредиторов), а само решение продать. — Ведь я молился на эту картину. Однако, после того, как стало ясно, что ее придется продать, я внутренне отказался от нее; теперь же, когда никто не предложил хорошей цены и картина осталась моей, я должен бы любить ее по-прежнему, но, клянусь, я не способен. Разлюбив, чтобы продать, я уже не могу наслаждаться ею как раньше — и в то же время, коль скоро продать картину не удалось, я хочу полюбить ее

снова! Глупо будет, если из-за неудачи на аукционе она потеряет для меня свою прелесть.

Что же делать? Как любить ее, — вслух размышляет он. — Как любить ее теперь.

Полагаю, сэр, — изрекает молодой человек, — единственный вопрос — в том, где ее теперь хранить. Уверен, что покупатель непременно сыщется. Позволено ли мне будет от вашего имени заняться поисками покупателя среди коллекционеров, знакомых мне, но, возможно, незнакомых вам? Мне доставит удовольствие осторожно навести справки после вашего отъезда.

Действительно, время ехать, — отвечает старший.

Оба выходят.

* * *

Вот рот вулкана. Да, рот, а лава — язык. Тело, чудовищное, живое, и мужское, и женское. Оно извергает, исторгает. Но оно также и полость, бездна. Нечто живое, то, что может умереть. Нечто инертное, что способно возбуждаться время от времени. Нечто, существующее не всегда, постоянная угроза. Хоть и предсказуемая, но часто не предсказанная. Нечто капризное, неуправляемое, зловонное. Не это ли называется первобытным?

Невадо-дель-Руиз, гора Святой Елены, Ла-Суфрир, Мон-Пеле, Кракатау, Тамбора. Дремлющий монстр, который просыпается. Монстр, который с рыком обращает внимание на *тебя.* Кинг-Конг. Он изрыгает хаос и вновь погружается в сон.

Меня-то за что? Я ничего не сделал. Тут моя деревня, так уж вышло. Где мне еще жить, если я здесь родился, воет темнокожий абориген. Всем надо где-то жить.

Разумеется, мы можем воспринимать это как грандиозное пиротехническое представление. Вопрос расстояния. Достаточного расстояния. Есть прелести, восхищаться которыми можно лишь издалека, говорит доктор Джонсон; нет зрелища благороднее пожара. С безопасного расстояния это спектакль, столь же восхитительный, сколь и поучительный. После легкого ужина на вилле сэра *** мы, вооружившись телескопами, выходим на террасу — наблюдать. Белый плюмаж дыма, рокот, часто сравниваемый с отдаленным боем тимпанов: увертюра. Затем начинается фантастическое действо. Плюмаж багровеет, вздувается, реет, в небеса взмывает дерево пепла, вверх, вверх, пока его не расплющивает давление стратосферы (если повезет, мы увидим, как вниз по склону стремительными лыжниками побегут

рыжие и красные потоки) — это длится часами, а то и днями. Затем, *caiando,*[1] все стихает. Но вблизи в душу вгрызается страх. Этот грохот, этот немыслимый грохот, такой оглушительный, что воображение отказывается его принять. Беспрерывный, рокочущий, громоподобный рев, он нарастает и нарастает, хотя громче, кажется, стать уже не может; рев изрыгается во все небо, заливается в уши, вытесняет из костей мозговую жидкость, полонит душу. Даже того, кто уверен в своем положении стороннего наблюдателя, окатывает волной ужаса и отвращения, с силой, не знакомой доселе. По деревне у подножия горы — мы могли бы туда сходить — движется то, что со стороны кажется селевым потоком, а на самом деле, — вязкая ползучая черно-красная жижа. Она тычется в стены домов, и те, постояв мгновение, содрогаются, рушатся, и поток жадным ртом с чавканьем засасывает обломки; он толкает, вдыхает, переваривает, методично разлагает на атомы дома, машины, повозки, деревья. Он неумолим.

Осторожно. Закрой рот платком. Пригнись! Ночное восхождение по склону предсказуемо-

---

[1] Примечания: 1

Calando *(муз.)* — успокаивая — *Здесь и далее прим. переводчика.*

го, в меру активного вулкана — одна из самых интересных экскурсий. Мы долго взбираемся на бок конуса, а затем стоим на губе (да, губе!) кратера и всматриваемся внутрь, дожидаясь, пока покажется сокровенное, бурлящее нутро. И оно появляется, каждые двенадцать минут. Не так близко! Начинается. Слышится *бассо профундо* — великан полощет горло, — и под коркой, стягивающей серую лаву, появляются багровые отблески. Сейчас он выдохнет! Удушающая серная вонь невыносима — почти. Лава поднимается, но не переливается через край. Над кратером, невысоко, висит облако пепла и раскаленных камней. Опасность, когда она не очень опасна, будоражит.

Неаполь, 19 марта 1944 года, 4 часа пополудни. На вилле стрелки больших английских часов с маятником остановились в очередной роковой момент. Опять? А ведь так долго было тихо.

Подобно страсти, эмблемой которой он признан, вулкан может умереть. В наше время уже определено, более или менее точно, в какой момент ремиссия переходит в стадию полного излечения, и все же специалисты неохотно объявляют мертвыми длительное время бездействующие вулканы. Халеакала, последний раз

извергавшийся в 1790-м, до сих пор официально числится спящим. Он спокоен, потому что спит? Или потому что умер? Он все равно что мертвый — пока не оживет. Огненная река, поглотившая все на своем пути, становится рекой черного камня. Здесь никогда больше не вырастут деревья, никогда. Гора суть могила собственной жестокости: разрушение, вызванное извержением, затрагивает и сам вулкан. Каждый раз, когда извергается Везувий, от его вершины отлетает кусок. Вулкан становится меньше, невзрачнее, бесформеннее.

Помпеи похоронил пепел, Геркуланум — грязевой поток, летевший с гор со скоростью тридцать миль в час. Но лава поедает улицу неторопливо, в час по несколько ярдов, чтобы все успели убраться с дороги. У нас есть даже время спасти свое имущество, хотя бы часть его. Алтарь с образами? Недоеденный кусок курицы? Детские игрушки? Новое платье? То, что сделано своими руками? Компьютер? Горшки? Рукопись? Корову? Чтобы начать заново, нам нужны лишь наши жизни.

Но я не верю, что нам угрожает опасность. Оно движется в ту сторону. Смотри.

Ты идешь? Я остаюсь. Если только оно не доберется… вон туда.

Все уже случилось. Все кончилось.

Они бежали. Они скорбели. Пока сама скорбь не превратилась в камень. И тогда они вернулись. В немом благоговении перед полнотой уничтожения они, не отрываясь, смотрели на жестокое месиво, которое погребло под собою их мир. Пепел под ногами, хотя и теплый, больше не прожигал подошвы. Он остывал. Сомнения испарялись. Вскоре после 79 года нашей эры — а именно тогда впервые проявила свою вулканическую сущность благословенная гора, поросшая виноградом, увенчанная лесами, где Спартак и тысячи присоединившихся к нему рабов скрывались от преследования, — большинство переживших извержение вернулись, чтобы начать жить и строиться заново. На вершине их горы теперь зияла уродливая дыра. Леса были сожжены. Но, как всегда, на месте старых начали подрастать новые.

Один взгляд на катастрофу. Какой ужас. Можно ли было такого ожидать. Никогда, никогда. Никому и в голову. Это худшее, что могло произойти. А раз худшее, значит — единственное в своем роде. Стало быть, больше не повторится. И давайте забудем об этом. Не будем накликать беду.

Другой взгляд. Это худшее на данный момент:

то, что случилось однажды, может случиться дважды. Дайте срок, и увидите. Подождите. Чтобы увериться до конца, вам, возможно, придется ждать очень долго.

Но мы вернемся. Вернемся.

Часть первая

1

Его первый отпуск, проведенный дома, подходил к концу. Человек, получивший в благородном Неаполе известность под именем Il Cavalière, Кавалер, готовился начать долгое путешествие к месту своей службы, в «пепельное королевство». Так называл Неаполь один из его лондонских друзей.

Когда он только вернулся, его сочли сильно постаревшим, но, к счастью, по-прежнему стройным: тело, распухшее от макарон и лимонных пирожных, мало отвечало бы узкому, умному лицу с орлиным носом и густыми бровями. Но кастовую бледность он утратил. О значительном — за прошедшие семь лет — потемнении его некогда белой кожи упоминалось с интонацией, близкой к осуждению. Быть загорелым пристало бедняку — одному из *народа,* — но не внуку герцога, не младшему сыну лорда, не наперснику детских забав самого государя.

Девять проведенных в Англии месяцев вернули худощавому лицу приятную глазу бескровность, выбелили беспощадные следы солнечных лучей на изящных музыкальных пальцах.

Вместительные сундуки, новая каминная доска в стиле Адама, три ящика с мебелью, десять ящиков с книгами, восемь ящиков с посудой, лекарствами, съестными припасами, два бочонка темного пива, а также заново отполированные виолончель и принадлежащий Катерине клавесин Шуди отбыли на грузовом корабле две недели назад. Неаполя они достигнут через два месяца. Кавалер тем временем взойдет на борт наемного парусного судна, и оно переместит его вместе с домочадцами в Болонью, откуда начнется путешествие через континент примерно той же, в два месяца, продолжительности — с остановками в Париже, Ферне, Вене, Венеции, Флоренции и Риме.

Последние, весьма насыщенные, недели своего пребывания в Лондоне Кавалер с супругой прожили в гостинице на Кинг-стрит, во дворе которой сейчас, опираясь на трость, стоял Чарльз и одним лишь сумрачным присутствием руководил подготовкой экипажей к отъезду. Когда тебя покидают старшие, требующие неустанного внимания родственники, естественно испытывать некоторое облегчение — в то же время, все любят уезжать, никто не любит оставаться.

Катерина перед утомительным путешествием

подкрепляла силы настойкой из опия и железистой воды. Они с горничной уже устроились в большом дилижансе. Позади стояла широкая повозка, просевшая под тяжестью многочисленной поклажи. Лакеи Кавалера, не желавшие раньше времени мять бордовые дорожные ливреи, без нужды суетились над собственным скромным багажом. А обязанность карабкаться на крышу повозки, проверять, надежно ли закреплены веревками и железными цепями всевозможные сундучки, ящички, портпледы, чемоданы со скатертями и постельным бельем, бюро черного дерева и, наконец, полотняные сумки с пожитками слуг, переложили на плечи гостиничных носильщиков и лакея, находившегося в услужении у Чарльза. Право комфортабельного проезда на крыше первой кареты предоставили одной лишь длинной плоской корзине, в ней — три картины маслом, купленные Кавалером только на прошлой неделе; до парусника в Дувре картины обязаны добраться в целости и сохранности. Возле кареты один из лакеев с подчеркнутой тщательностью проверял, все ли в порядке. Экипажу, в котором едет астматическая жена Кавалера, надлежит обеспечить максимальную устойчивость.

Тем временем из гостиницы бегом доставили еще один, едва не забытый большой кожаный сундук. Его с трудом втиснули среди вещей, уже погруженных в повозку, та покачнулась и просела еще ниже. Любимый племянник Кавалера невольно подумал о грузовом корабле, на котором едет много больше дядюшкиного добра, — этот корабль мог уже достичь Кадиса.

Даже для того времени, когда число вещей, необходимых в путешествии, ставилось в прямую зависимость от общественного положения путешественника, Кавалер увозил с собой удивительно много. Но все же меньше, чем привез с собой в Англию: на сорок семь больших сундуков. Ибо, помимо намерения навестить старых друзей, родственников и обожаемого племянника, порадовать тоскующую по родине жену, возобновить полезные знакомства при дворе, добиться того, чтобы британские государственные мужи отметили преданность, с которой он представляет интересы своей страны при чужом дворе, посетить собрания Королевского общества, а также проследить за публикацией в виде отдельной книги семи своих писем о вулканах, — одной из целей приезда было перевезти на родную землю собранные сокровища (в том числе семь сотен

античных ваз, ошибочно называемых этрусскими). И продать их.

Он нанес множество визитов родственникам, имел удовольствие провести достаточно времени с Чарльзом — большей частью в Катеринином поместье в Уэльсе, которым племянник управлял от его имени. Ему удалось произвести благоприятное впечатление более чем на одного министра, или, по крайней мере, он так считал. Он удостоился двух аудиенций у короля и однажды ужинал наедине с ним. Король по-прежнему звал его «молочным братцем», а в январе произвел в кавалеры ордена Бани. Следует заметить, что данное событие честолюбивый четвертый сын лорда осмеливался расценивать как всего лишь первую ступень лестницы титулов, по которой рассчитывал подняться значительно выше благодаря личным заслугам и достижениям. Члены Королевского общества превозносили его за храбрость, проявленную при столь близком наблюдении за вулканами в момент извержения. Он посетил ряд аукционов и приобрел несколько картин, выказав при этом редкостную осмотрительность. А Британский музей, наряду с семьюстами этрусскими вазами, приобрел у него золотые ожерелья и серьги из

Геркуланума и Помпеи, бронзовые дротики и шлемы, игральные кубики из янтаря и слоновой кости, статуэтки, амулеты, а также несколько не самых ценных картин, и все это — за весьма удовлетворительную сумму в восемь тысяч четыреста фунтов (чуть более ежегодного дохода от поместья, унаследованного Катериной). К сожалению, картина, на которую Кавалер возлагал самые большие надежды, осталась непроданной. Коварная обнаженная Венера, победно вздымающая над головой лук Купидона, за которую он просил три тысячи фунтов, оставалась в Уэльсе, с Чарльзом.

Он возвращался побелевшим и, можно сказать, налегке.

Поодаль лакеи и кухарка Кавалера болтали с гостиничными слугами, украдкой передавая друг другу бутылку. Свет бледного сентябрьского солнца, окруженного ореолом, понемногу становился ярче. Северо-восточный ветер принес в Уайтхолл облако дыма и запах гари, заглушивший обычное прогорклое зловоние раннего утра. С улицы доносился грохот тачек, тележек, экипажей, отъезжающих дилижансов. Один из пони, запряженных в первую карету, нетерпеливо переступил ногами. Кучер, потянув за вожжи,

придержал коренника и щелкнул кнутом. Чарльз поискал взглядом Валерио, дядюшкиного камердинера, чтобы тот призвал к порядку слуг. После чего, нахмурившись, достал часы.

Несколько минут спустя из гостиницы вышел Кавалер. За ним по пятам следовали подобострастный хозяин, его жена и Валерио с любимой скрипкой Кавалера в изысканно украшенном кожаном футляре. Слуги мгновенно умолкли. Чарльз застыл в ожидании сигнала. Его длинное лицо насторожилось, отчего сходство между дядей и племянником только усилилось. Нависло почтительное молчание: Кавалер медлил, глядел на бледное небо, недовольно втягивал носом неприятный воздух, рассеянно обирал пылинки с рукава. Потом повернулся и одарил племянника тонкой улыбкой. Тот поспешно приблизился, и двое мужчин рука об руку двинулись к карете.

Жестом отстранив Валерио, Чарльз дотянулся, открыл перед дядей дверцу, подождал, пока тот встанет на подножку, пригнет голову, сядет, и затем передал ему «Страдивари». Кавалер устраивался поудобнее на зеленом бархатном сиденье, а Чарльз тем временем заглянул внутрь, с неподдельной теплотой и заботой справился о самочувствии дорогой тетушки, в последний раз

попрощался.

И вот наконец кучера и форейторы занимают свои места. Валерио и прочие слуги садятся во вторую повозку, и та, громыхнув, опускается еще на несколько дюймов. Чарльз, прощай. Окно кареты закрывается, отгораживая пассажиров от пропитанного угольной пылью* отравленного воздуха, столь опасного для астматиков, от криков, понуканий, сопровождающих отправление экипажей. Ворота отворяются, и скарб и животные, слуги и господа плотным потоком выливаются на улицу.

Кавалер снимает янтарно-желтые перчатки, разминает пальцы. В сущности, он созрел для возвращения, его влечет дорога — тяготы путешествия вдохновляют! — манят новые встречи, новые приобретения. Едва он ступил на подножку кареты, как предотъездное беспокойство покинуло его, уступив место радостному подъему. Экипаж медленно движется по запруженным улицам, гомон врывается в тесный запечатанный мирок, и восторг ширится в душе Кавалера. Но как человек внимательный, по крайней мере, по отношению к своей жене, которую обожает, — насколько он вообще способен на подобное чувство, — Кавалер воздерживается от проявле-

ний чувств. Следует дождаться, когда Катерина сможет порадоваться вместе с ним: сейчас она сидит с закрытыми глазами и часто дышит полуоткрытым ртом.

Кавалер кашляет — заменяя этим вздох. Жена открывает глаза. Бьющаяся на виске голубая жилка лучше всяких слов творит о ее состоянии. В углу, на низком сиденье, горничная, которой разрешено разговаривать, лишь когда к ней обращаются, склоняет порозовевшее потное лицо над «Увещанием необращенному грешнику» Аллейна, полученным от хозяйки. Кавалер тянется к стоящему у его бедра сундучку, где лежат свернутый дорожный атлас в кожаном переплете, набор письменных принадлежностей, пистолет и начатый томик Вольтера. У Кавалера нет причин вздыхать.

Странно, — бормочет Катерина, — мерзнуть в столь нехолодный день. Боюсь, — по привычке, происходящей от нежелания огорчить супруга, она сопровождает стоическое замечание о своем здоровье ироническим «боюсь», — я уже привыкла к нашей чудовищной жаре.

Но, возможно, для путешествия вы слишком тепло одеты, — ответствует Кавалер своим высоким, несколько гнусавым голосом.

Я молюсь о том, чтобы не заболеть, — говорит Катерина, укрывая ноги верблюжьим пледом. — Я приложу все силы, чтобы не заболеть, — поправляет она себя, улыбаясь и смахивая с глаз слезинки.

Мне тоже очень грустно расставаться с друзьями, особенно с нашим дорогим Чарльзом, — мягко замечает Кавалер.

Что вы, — говорит Катерина. — При мысли о возвращении я не чувствую грусти. И хотя меня страшит морское путешествие, а также тяготы, связанные с… — Она встряхивает головой, обрывая саму себя. — Уверена, мне скоро станет легче дышать… Здесь так… — Она закрывает глаза на мгновение. — И потом, для меня гораздо важнее то, что вы рады нашему возвращению, — добавляет она.

Я буду скучать по моей Венере, — говорит Кавалер.

Грязь, смрад, шум скользят за окнами — как тень самой кареты скользит по стеклам витрин, не проникая в магазины. Время сливается с пространством, и Лондон представляется Кавалеру лишь театральным зрелищем. Карета качается, скрипит, дребезжит, кренится; продавцы, уличные мальчишки, кучера что-то выкрикивают, но

он не слышит этих криков; пусть это те же самые улицы, по которым он ездил, намереваясь посетить Королевское общество, или заглянуть на аукцион, или нанести визит брату жены, но сегодня он не едет, он уезжает — он получил пропуск в царство прощания, царство последних взглядов, таинство коих в том, что им дано мгновенно превращаться в воспоминания. В то же время это и царство предвкушения. Каждая улица, каждый поворот кричит: это прошло! а это предстоит! Кавалер разрывается между стремлением смотреть в окно, навсегда запечатлевая в мозгу увиденное, и желанием заключить все пять своих чувств в прохладе кареты, чтобы можно было считать себя уже уехавшим (каковым он на самом деле и является).

Кавалер любит всяческие *образчики* и мог бы найти достаточное их число среди безостановочно кишащего потока нищих, служанок, разносчиков, подмастерьев, покупателей, карманных воришек, зазывал, носильщиков, посыльных, которые, ничего не боясь, шныряют у самых колес. Здесь даже калеки носятся как оголтелые. Все эти люди не собираются шумными группами, не танцуют, не усаживаются на корточки поболтать, не предаются веселью: одно из многих

отличий здешней толпы от толпы в том городе, куда он возвращается, отличие, которое можно было бы отметить и о котором можно было бы поразмыслить — будь в этом хоть какая-то нужда. Но замечать лондонскую суету не в привычках Кавалера — редко кто находит родной город живописным. Когда карета на четверть часа, перенасыщенных бранью, застревает между тачкой с фруктами и фургончиком разгневанного точильщика, Кавалер не смотрит на рыжеволосого слепого — а тот, выставив перед собой палку, предпринимает бесстрашную попытку пересечь улицу всего в нескольких ярдах перед затором и упрямо шагает, даже когда движение возобновляется. Идеально комфортный интерьер кареты, благоухающий, изобилующий предметами роскоши, стремится сам завоевать все чувства, требует: никуда больше не смотри. Снаружи нет ничего достойного внимания.

А если Кавалер уже не знает, куда направить жадный взгляд, к его услугам имеется еще один, всегда доступный, интерьер: книга. Вот и Катерина открыла томик, повествующий о жестокостях католиков. И горничная по-прежнему погружена в увещания. Не опуская глаз, Кавалер проводит большим пальцем по роскошному кожаному пе-

реплету, по выпуклому золочу заглавия, по имени любимого автора. В это время один из кучеров толкает нищего, и тот, застигнутый врасплох, отшатывается и попадает под колеса тележки, которую тащит с трудом перебирающий ногами бондарь. Кавалер не видит этого. Он читает.

В книге: Кандид, достигший Южной Африки, своевременными выстрелами из двуствольного испанского ружья благородно спасает двух обнаженных девиц, бегущих краем равнины и преследуемых двумя обезьянами, которые кусают их за ягодицы. Сразу же после этого девицы кидаются на трупы обезьян, осыпают их нежными поцелуями, орошают слезами и оглашают окрестности горестными воплями. Кандид понимает, что преследование носило характер любовной игры и целиком и полностью приветствовалось преследуемыми. Обезьяны в качестве любовников? Кандид не просто изумлен, он находит ситуацию скандальной. Однако умудренный житейским опытом слуга Какамбо почтительно замечает, что, вероятно, было б лучше, если бы образование дорогого хозяина носило более подобающий, космополитический характер, — тогда ему не пришлось бы столь часто всему изумляться. Всему. Ибо мир велик, и

в нем есть место самым разным обычаям, вкусам, принципам, привычкам, мнениям, которые, если рассматривать их с точки зрения того общества, где они зародились, всегда имеют разумное обоснование. Учитывайте эти обычаи. Сравнивайте с собственными, для своей же пользы. И все же, дорогой хозяин, каковы бы ни были ваши личные пристрастия, от которых никто не призывает вас отказываться, прошу, воздержитесь от придания им статуса вселенских заповедей.

Катерина тихо рассмеялась. Кавалер, улыбавшийся мыслям о ягодицах — сначала женских, затем обезьяньих, — поднял глаза. Эмоции супругов часто пребывали в гармонии, пусть и по различным поводам.

Вам лучше? — спросил он. Кавалеру посчастливилось жениться не на обезьяне. Карета катила вдаль. Начинался дождь. Лондон оставался позади, растворялся в дымке. Окружение Кавалера медленно двигалось навстречу его пристрастиям — точнее, главенствующим страстям его жизни. Кавалер вслед за Кандидом и его слугой продолжил путь в Эльдорадо, Катерина углубилась в свою книгу, горничная уронила подбородок на грудь, храпящие лошади усердно тянули карету, стараясь убежать от хлыста, слуги во

второй повозке выпивали и гоготали, Катерина по-прежнему тяжело дышала, и вскоре Лондон превратился в дорогу.

2

Они были женаты — и бездетны — шестнадцать лет.

Кавалер, как многие одержимые коллекционеры, был по натуре холостяком. Впрочем, если он и женился на единственной дочери богатого пемброкширского сквайра, то не только для того, чтобы тот финансировал его вступление на политическое поприще, которому после десятилетней воинской службы Кавалер решил себя посвятить. Четыре года он представлял в Палате Общин крошечный городок в Суссексе, где сам ни разу не побывал, но довольно скоро стало понятно, что в политике его выдающиеся таланты потребны еще менее, чем в армии. Так что куда более важным оказалось то, что с женитьбой у него появились средства на покупку картин. Кроме того, он получил нечто большее, нежели деньги. Согласившись с необходимостью жениться — что несколько противоречило моей природе, признавался он много позже другому нищему младшему сыну, своему племяннику, — Кавалер обрел то, что называл устойчивым комфортом. В день свадьбы Катерина навсегда закрепила на запястье

браслет с прядями волос мужа. Она любила его до самоуничижения, не будучи при этом жалкой. Он же по праву заработал репутацию небывало преданного супруга. Время бежит стремительно, деньги нужны всегда, уют и комфорт находятся там, где не предполагаешь, бесплодная земля родит неожиданные восторги.

Он не мог знать того, что знаем о нем мы. Для нас он — лишь частичка далекого прошлого, прорисованный скупыми штрихами портрет человека в пудреном парике, длинном элегантном плаще, в башмаках с пряжками, с гордо вскинутым орлиным профилем — надменный, наблюдательный, отчужденный. Он кажется нам холодным? Он к этому стремится, и ему это блестяще удается. Он поглощен, увлечен тем, что видит вокруг, — он же занимает важный, едва ли не самый важный дипломатический пост при иностранном дворе — и непрерывно чем-то занят. Гиперактивность его — следствие героической борьбы с депрессией. Он проносится мимо одного омута меланхолии к другому в поразительно бурном потоке энтузиазма.

Его занимает буквально все. И он живет в местности, вызывающей огромный интерес — исторический, культурный, естественнонаучный.

Этот город, размерами превосходивший Рим, был тогда самым богатым, самым густонаселенным на Апеннинском полуострове и крупнейшим после Парижа городом Европейского континента. То был центр природных катастроф, столица, где правил самый недостойный монарх-плебей, столица вкуснейшего мороженого, веселейших попрошаек, пошлейшей тупости и самого большого числа будущих якобинцев среди самых юных аристократов. Несравненный залив наряду с обычными дарами моря являл миру диковиннейших существ. Улицы в этом городе, в нескольких милях от которого недавно обнаружили прекрасно сохранившиеся, и от этого устрашающие, останки двух мертвых городов, были вымощены кусками застывшей лавы. Оперный театр, самый большой в Италии, предлагал зрителям упоительнейшее удовольствие — пение кастратов: еще одна местная достопримечательность, получившая всемирную известность. Благородные городские аристократы еженощно собирались друг у друга, в особняках на вечера, обманчиво именовавшиеся *conversazione,*[2] где играли в карты, а игра редко заканчивалась до

[2] Примечания: 2
Разговоры *(ит.)*

рассвета. На улицах, наслаиваясь, переливаясь через край, бурлила жизнь. Некоторые придворные празднества сопровождались возведением перед королевским дворцом искусственной горы, украшенной гирляндами из мяса, дичи, пирожных, фруктов. После торжественного пушечного выстрела свора голодных подданных растаскивала эту гору под аплодисменты, посылаемые с балконов сытой знатью. Во время великого голода весной 1764 года люди ходили к булочникам, пряча под рубахами длинные ножи, ибо добыть кусок хлеба можно было лишь убийством или нанесением увечий.

Кавалер прибыл к месту службы в ноябре того страшного года. Уже прошли искупительные процессии женщин с терновыми венцами на головах и крестами на плечах, распались банды мародеров. Местные вельможи и иностранные дипломаты вернули в свои дома серебро, которое прятали в монастырях. Двор, укрывавшийся в огромной, мрачной, распластанной по земле резиденции в Казерте, в шестнадцати милях севернее Неаполя, возвратился в городской королевский дворец. В воздухе носились запахи моря, кофе, жимолости, экскрементов, животных и человеческих, — но не вонь тысяч гниющих

на улицах трупов. Успели похоронить и тех, кто умер от последовавшей за голодом чумы, — тридцать тысяч человек. В больнице для неизлечимых умирали не от голода, как еще совсем недавно, по шестьдесят-семьдесят человек в день, а от эпидемий, в свой срок. Ввезенный из-за границы запас зерна вернул уровень нищеты на приемлемую отметку. Бедные снова скакали под тамбурины и распевали во все горло, но многие сохранили ножи, которыми еще недавно добывали пропитание, и теперь убивали друг друга по более прозаичным, гражданским, поводам. Изможденные крестьяне, по весне стекшиеся в город, медлили уходить, плодились, множились. Была возведена, растащена по кусочку и поглощена очередная *cuccagna.* Кавалер вручил тринадцатилетнему королю и его регентам верительные грамоты, снял за сто пятьдесят фунтов в год просторный трехэтажный особняк с умопомрачительным видом на залив, Капри и бездействующий вулкан и занялся поисками новых сфер приложения своей все возрастающей энергии.

Проживание за границей способствует тому, что жизнь воспринимается как спектакль — поэтому люди состоятельные предпочитают переселяться в чужие страны. Там, где коренное

население, обезумевшее от ужасов голода, ошарашенное некомпетентной и жестокой реакцией правительства, наблюдало бесконечную инертность, летаргию, твердеющую пану равнодушия, Кавалеру виделся лишь бурлящий поток. Веселый город эмигранта — застойное болото в глазах местных реформаторов или революционеров, дурно управляемое, сочащееся несправедливостью болото. Другой взгляд — другой город. Никогда ранее Кавалер не ощущал такой бодрости тела и духа. Такой приятной обособленности. Здесь так много зрелищ — в церкви, при дворе, на крутых узких улочках. У залива, среди экзотической морской живности, он пережил искренний восторг (наш неутомимый исследователь не делал различий между чудесами природы и чудесами искусства), увидев рыбку с крохотными ножками, этакого эволюционного карьериста, так и не сумевшего выбраться на сушу. Солнце палило безжалостно. Кавалер бродил по обжигающей ноги, пышущей жаром, пористой земле. Сухой земле, испещренной трещинками сокровищ.

Обязательства, накладываемые светской жизнью (по поводу которых несколько лицемерно ропщут столь многие), необходимость поддер-

живать огромное хозяйство, кормить пятьдесят с лишним слуг, включая нескольких музыкантов, вели к тому, что расходы Кавалера постоянно увеличивались. Жалованья едва хватало на устройство богатых приемов, необходимых: чтобы утвердить авторитет посланника в глазах людей, чье мнение имело значение, — это входило в служебные обязанности; на то, чтобы оправдать ожидания живописцев, взятых им под милостивый патронаж; на покупку картин и антиквариата, за которые приходилось соперничать с другими коллекционерами. Разумеется, лучшее из приобретенного он собирался со временем продать — что и делал. Приятная взаимосвязь: собирание красивых вещей требует денег, зато собранные вещи превращаются в еще большие деньги. И хотя страсть к коллекционированию неизбежно производила этот несколько сомнительный побочный продукт — деньги, — все же само занятие воспринималось им как весьма мужское: не просто узнавание вещей, но придание им ценности включением в свою коллекцию. Это занятие естественно произрастало из осознания себя господином, осознания, которого Катерина — как, впрочем, и подавляющее большинство женщин — была начисто лишена.

Репутация знатока и ученого человека, обходительность, небывалый для посланника фавор, которым он пользовался при дворе, сделали Кавалера самым важным иностранцем в городе. Удачно, что Катерине претила придворная жизнь, отвращали выходки короля, ужасающе грубого юнца, отталкивала чванливая, хитрая, плодовитая королева, забравшая в свои руки всю власть. Удачно, что Кавалер умел позабавить короля. Катерина могла не сопровождать мужа на изобильные, граничащие с обжорством ужины в королевском дворце, на которые его призывали три-четыре раза в неделю. Кавалер никогда не скучал в обществе жены, но бывал счастлив и в одиночестве — когда проводил целый день на море и бил гарпуном рыбу, отдыхая душой под палящим солнцем, когда подолгу сидел в прохладной тиши кабинета или хранилища, пересматривая, систематизируя свои сокровища, или когда листал новые, присланные из Лондона книги по электричеству, ихтиологии, древней истории. Всегда стремишься узнать, увидеть как можно больше. Эту страсть он не мог утолить. Этой страсти он был лишен в браке, в целом более чем удачном — в браке, удовлетворявшем все потребности, коим разрешено было себя про-

явить. Между ним и женой не было (по крайней мере, с его стороны) никакой недоговоренности, никакого неудовлетворения, а следовательно, не было и стремления как можно больше оставаться вместе.

Он бывал циничен, она — неизменно возвышенна, он — здоров, она — подвержена недугам, он забывал проявлять нежность, она — никогда: она была столь же безупречна, как сервированный на шестьдесят персон обеденный стол в ее доме, эта милая, отнюдь не уродливая богатая наследница, играющая на клавесине, с которой он сочетался браком. Она казалась воплощением понятия «идеальная жена» — насколько вообще мог представить себе подобное Кавалер. Ею все восхищались, и это доставляло ему огромное удовольствие. Скорее сознательно зависимая, нежели безвольная, она в то же время не казалась неуверенной в себе. Религия оживляла ее чувства, а безверие мужа ужасало и порой будило в ней чрезмерную требовательность. Помимо собственно Кавалера и его карьеры, основным интересом, объединявшим супругов, была музыка. Два года назад их город посетил Леопольд Моцарт со своим чудесным ребенком, и Катерина вся дрожала, усаживаясь играть для них, однако

же исполнение ее было как всегда безукоризненно. Все местное общество жаждало получить приглашение на еженедельные концерты в доме британского посланника, на которых почтительно умолкали даже те, кто громко разговаривал и чавкал на всех оперных представлениях. Даже их покоряла Катерина. Кавалер сам был искусный скрипач и виолончелист — в Лондоне, когда ему было двадцать, он брал уроки у самого Джиардини, — но охотно признавал первенство музыкального таланта жены. Ему нравилось, что ею можно восхищаться. Он любил восхищаться даже больше, чем быть предметом восхищения.

Он обладал достаточно чувственным воображением, но, как сам считал, умеренным темпераментом. В те времена мужчины его положения на третьем-четвертом десятке обычно становились чрезмерно тучными. Кавалер же ни на йоту не утерял молодого аппетита к физическим удовольствиям. О хрупкой конституции Катерины он тревожился до такой степени, что иногда пугался того пыла, с которым она приветствовала его регулярные объятия. Меж ними было мало сексуального. Но он не жалел о том, что не завел любовницы — каким бы нелепым это ни казалось другим. Временами к его ногам спелой

сливой падала благоприятная возможность, и тогда жар наполнял тело, рука вдруг скользила от вспотевшей ладони к многослойным одеяниям, расстегивая, развязывая, ощупывая, протискиваясь. Однако приключение не рождало в нем жажды продолжения, его влекли другие формы обладания. А то, что к его коллекции Катерина не испытывала ничего, кроме благожелательного интереса, было, пожалуй, только кстати. Тем, кто любит музицировать, естественно объединяться, играть вместе. Совместное же коллекционирование противоестественно. Обладать (и быть предметом обладания) можно лишь в одиночку.

* * *

Коллекционирование у меня в крови, — сказал он как-то жене.

«Картино-помешанный», звал его приятель юности: естественное для одного человека казалось безумным, чрезмерным другому.

В детстве он собирал монеты, затем механических кукол, затем — музыкальные инструменты. Коллекционирование суть блуждающее желание, переходящее с предмета на предмет, — непрерывная череда желаний. Истинный коллекционер находится в плену не у приобретаемого, а у про-

цесса приобретения. Кавалеру было чуть более двадцати, когда он уже собрал и был вынужден продать за долги сколько-то небольших коллекций картин.

Прибыв в Неаполь посланником, он начал собирать заново. Помпеи и Геркуланум, лежащие в часе верховой езды, постоянно перекапывались, переворачивались вверх дном, однако все добытое равнодушными копателями отправлялось прямиком в Портичи, в подвалы ближайшей королевской резиденции. Кавалеру посчастливилось приобрести большую коллекцию греческих ваз у одного аристократического римского семейства, владевшего ею много поколений. Коллекционировать — значит, спасать вещи, ценные вещи, от небрежения, забвения, просто от несчастной судьбы находиться в чьем-то чужом, не твоем, владении. Но покупать собрание целиком, вместо того, чтобы в поте лица откапывать предмет за предметом, — занятие неблагородное. Коллекционирование — также и спорт, преодоление трудностей, именно они придают этому занятию почтенность и вкус. Подлинный собиратель не желает приобретать скопом (так же, как охотник не желает, чтобы его наводили на дичь), покупка чужой коллекции не удовлетворяет

его: простое приобретение или накопление не есть коллекционирование. Все же Кавалер был нетерпелив. Важны ведь не только внутренние потребности и стимулы, хотелось как можно скорее положить начало неаполитанской серии.

Никто в Англии не удивился тому, что, прибыв в Неаполь, он продолжал покупать картины и с головой окунулся в охоту за древностями. Новая сторона его натуры открылась в активном интересе к вулканам. Вулкано-помешательство, очевидно, сильнее картино-помешательства. Солнце ли ударило ему в голову, знаменитая ли южная безалаберность? Вскоре, правда, страсть получила разумное объяснение и была названа научным интересом, равно как и эстетическим: извержение вулкана, в известном смысле, прекрасно. Гости, которых приглашали к нему на загородную виллу неподалеку от горы полюбоваться с террасы красивым зрелищем, не находили в подобном времяпрепровождении ничего странного — собирались же любоваться луной при японском дворе эпохи Хэйан. Странным было лишь одно: с каждым разом Кавалер стремился подобраться к месту событий все ближе и ближе.

Он обнаружил в себе вкус к умеренно-инфер-

нальному. Началось с того, что он в сопровождении единственного слуги ездил верхом на запад от города, к пропитанным серой землям и купался обнаженным в озере, образовавшемся в кратере потухшего вулкана. В первые месяцы жизни в Неаполе он любовался с террасы примерным поведением невинно греющейся на солнышке горы, наводившей на мысли о затишье после бури. Белый плюмаж дыма, эпизодический рокот, мирное попыхиванье казались такими привычными, такими неопасными. В 1631 году в Торре-дель-Греко восемнадцать тысяч жизней унесло извержение гораздо страшнее того, что похоронило Геркуланум, Помпеи и, в частности, ученого, адмирала римского флота Плиния Старшего, но с тех пор — ничего такого, что заслуживало бы названия «катастрофа».

Чтобы завладеть вниманием этого занятого, разностороннего человека, горе понадобилось проснуться и начать плеваться. Это произошло через год после его приезда. Дымка, курящаяся над вершиной, уплотнилась, стала гуще. Затем повалил черный дым, смешанный с клубами пара. По ночам нимб вокруг вершины стал окрашиваться красным. Кавалер, прежде поглощенный охотой за вазами и прочими мелочами,

какие только удавалось заполучить на раскопках, стал взбираться на гору и делать записи. При четвертом восхождении, подойдя к последнему склону, он наткнулся на серный холмик высотой футов в шесть, которого неделю назад там не было. В следующий раз — стоял ноябрь, и вершина покрылась снегом — холмик дымился голубоватыми испарениями. Кавалер приблизился, привстал на цыпочки — и тут сверху (или сзади?) словно грянул артиллерийский залп. От страха перехватило дыхание, он отпрянул. Ярдах в сорока над головой из жерла вулкана выстрелил столб черного дыма. Дугой вылетели камни, один упал к его ногам. Есть!

Он наблюдал то, что всегда видел в воображении, всегда хотел изучить.

В марте следующего года началось настоящее извержение, из кратера заструился дым, образовавший облако в форме колоссальной горной сосны — в точности, как описано в письме племянника Плиния к Тациту. Кавалер был дома и упражнялся в игре на виолончели. Той ночью он с крыши наблюдал, как дым становится огненно-красным. Через несколько дней прогремел взрыв, гора выплюнула фонтан раскаленных камней, а в семь часов вечера, перелившись

через край кратера, в сторону Понтичи потекла лава. Сопровождаемый лишь камердинером, слугой и проводником из местных, Кавалер верхом на лошади покинул город и всю ночь провел на склоне горы. В каких-то двадцати ярдах от него каскадом лился шипящий жидкий металл, на поверхности которого утлыми лодчонками прыгали горячие угли. Кавалер ощущал себя бесстрашным — иллюзия, неизменно приятная. Рассвело. Он отправился вниз и, спустившись на милю, обнаружил, что поток лавы запрудил глубокую впадину и остановился.

С тех пор гору постоянно увенчивало дымное кольцо, из жерла периодически выбрасывало вулканическую породу, языки пламени, иногда проливалась слюна лавы. Отныне, взбираясь на гору, Кавалер знал, что делать. Он собирал куски остывающей лавы в кожаный мешок со свинцовым нутром, разливал по бутылкам серные и солевые образцы (ярко-желтые, красные, оранжевые), добывая их из обжигающе горячих расщелин кратера. У Кавалера каждая страсть принимала форму коллекции, получая тем самым оправдание своего существования. (Многие уносят с очередного модного вулкана какие-нибудь камушки на память о единственном

восхождении, но накопление сувениров не есть коллекционирование.) Для Кавалера это занятие, совершенно не прибыльное, было коллекционированием в чистом виде. Здесь ничего не купишь и ничего не продашь. Из вулкана можно извлечь лишь дары, к обоюдной славе — своей и вулкана.

Над макушкой горы снова показался огонь: готовилась очередная, много более свирепая, демонстрация силы вулкана; он шипел, клокотал, рокотал. Летящие во все стороны камни прогнали с вершины даже Кавалера — самого смелого и упорного наблюдателя. А на следующий год, когда случилось первое после 1631 года настоящее извержение, Кавалер собрал огромное количество трофеев. Эта коллекция вулканических пород была настолько велика и разнообразна, что ее казалось не стыдно представить даже Британскому музею. Он отослал ее в Англию за собственный счет. Вулканы он коллекционировал без меркантильного интереса.

Неаполь вошел в состав городов Гранд-тура, и всякий приезжающий рассчитывал насладиться чудесами мертвых городов под руководством ученого британского посланника. К тому же теперь, когда гора снова заявила о своей опасности,

все возжаждали острых ощущений. Гора стала новым аттракционом и новым работодателем для вечно нуждающихся: проводников, носильщиков, санитаров, поставщиков продовольствия, погонщиков, а также фонарщиков, нанимаемых для ночных восхождений; ночь — лучшее время, чтобы увидеть худшее. Везувий, который никак нельзя назвать неприступным (по сравнению с настоящими горами — такими, как Альпы или хотя бы Этна, в три раза превосходящая его по высоте), предлагал публике самое большее тренировочный поход для спортсменов-любителей. Этого разрушителя мог покорить любой. Для Кавалера вулкан стал добрым знакомым. Восхождение не казалось ему утомительным, а опасность серьезной, в то время как многие другие, не сумев заранее оценить свои силы, приходили в ужас от изнурительного подъема и пугались столь явных разрушений. Кавалер привык, что по возвращении эти люди рассказывают страшные истории о том, какому чудовищному риску подвергалась их жизнь, об огненных фейерверках, о ливне (или граде) камней, о сопровождающем эти явления грохоте (громе, пушечных выстрелах), об адском, серном зловонии (миазмах). Врата ада, вот что это такое! Считается, что это они и есть, — отве-

чал он обыкновенно. Что вы, я не имел в виду буквально, — пугался тогда экскурсант (если англичанин, то протестант почти наверняка).

Ему было жаль отдавать вулкан во власть обрюзгших, одышливых, самодовольных профанов, и все же его — как всякого коллекционера — безудержно тянуло демонстрировать свое сокровище. Более того, это вменялось ему в обязанность, когда прибывали почетные иностранные гости или знакомые из Англии. Всегда подразумевалось, что сопровождающим при восхождении будет именно он (пока Везувий не прекратит свои выходки). Как-то к нему на целый месяц приехал погостить старый друг еще со школьных времен в Вестминстере, эксцентричный Фредерик Харви, вскоре готовившийся принять сан. В пасхальное воскресенье Кавалер повел его на Везувий, и руку будущего епископа обожгло раскаленным камушком; Кавалер не сомневался, что Харви будет хвастаться шрамом всю оставшуюся жизнь.

Невозможно представить, чтобы кто-то испытывал собственнические чувства к двугорбому воплощению зла высотой пять тысяч футов, открытому взглядам всех и каждого, лежащему в восьми милях от города, — к легендарной эм-

блеме местного пейзажа. Трудно найти объект, менее пригодный для личного владения. Немногие природные образования столь знамениты. В Неаполь стекались толпы художников из разных стран: у вулкана было множество поклонников. Но Кавалер задался целью сделать вулкан своим — посредством дотошного, пристальнейшего внимания. Он думал о вулкане больше, чем кто-либо другой. Моя дорогая гора. Гора — предмет обожания? Любимый монстр? С картинами, вазами, монетами, статуями Кавалер мог рассчитывать на некоторое понимание, пусть условное. Но эта его страсть всегда поражала, пугала, превосходила все ожидания — и никогда не находила того ответного чувства, какое требовалось Кавалеру. Впрочем, с точки зрения одержимого собирателя, реакция посторонних всегда фальшива, всегда избыточно сдержанна, всегда недостаточно восторженна.

* * *

Коллекционирование объединяет. И оно же изолирует.

Объединяет тех, кто любит одно и то же. (При этом никто не любит так, как я.) Изолирует от тех, кто не разделяет страсти. (Увы, почти ото всех.)

И тогда я стараюсь не говорить о том, что интересует меня больше всего на свете. Я говорю о том, что интересует вас.

Но это напоминает — и часто — о том, чем я не могу с вами поделиться.

Но послушайте же. Разве вы не понимаете… Разве вы не понимаете, как это прекрасно.

* * *

Не вполне понятно, был ли он учителем, толкователем от природы (никто не умел провести экскурсию по Помпеям и Геркулануму лучше) или сделался таковым оттого, что почти все близкие были младше и редко кто мог сравниться с ним глубиной познаний. Но в самом деле судьба Кавалера сложилась так, что близкие ему люди, даже не считая Катерины, были много моложе. (Катерине единственной из всех и полагалось быть моложе, на восемь лет: жена традиционно моложе мужа.) Царственный наперсник детских игр был младше на семь с половиной лет; король Неаполя — на двадцать один год. Молодые люди тянулись к Кавалеру. Он всегда казался заинтересованным в них самих, в совершенствовании любых их талантов, и одновременно отчужденным. Он проявлял заботу, свойственную скорее

дяде, нежели отцу — своих детей он никогда не хотел, — брал на себя попечительство, но не требовал взамен слишком многого.

Чарльзу, сыну сестры Кавалера Элизабет, было двадцать, когда он прибыл в самый южный город Гранд-тура. Бледный самоуверенный мальчик, которого Кавалер до этого видел мельком всего пару раз, превратился в необычайно умного и утонченного молодого человека, обладателя скромного, но изысканного собрания картин и других произведений искусства, а также необычной коллекции драгоценных камней и минералов. Он хотел произвести впечатление на своего дядю, и ему это удалось. Кавалер распознал отвлеченный, блуждающий, напряженно-доброжелательный взгляд коллекционера — главной страстью жизни Чарльза была минералогия — и тотчас полюбил племянника. Чарльз прибыл развлекаться и послушно искал развлечений: воспользовался услугами местной куртизанки мадам Чуди (дальней родственницы семейства, занимавшегося производством клавесинов), отсидел несколько вечеров в дядюшкиной ложе в опере, купил мороженого и арбузов у поставщика из Толедо, после чего открыто заявил, что находит Неаполь вовсе не очаровательным и

живописным, а грязным, убогим и неимоверно скучным. Чарльз стал восторженным почитателем тетушкиной игры на клавесине (Кунау, Ройер, Куперен). Он с завистью обследовал святая святых дядиной коллекции: картины, статуи, вазы. Грубые же куски туфа с вкраплениями лавы и морских раковин, фрагменты вулканических выбросов, ярко-желтые и оранжевые соли лишь порождали в нем тоску по рубинам, сапфирам, изумрудам, алмазам — они, и только они, достойны именоваться прекрасными. Чарльз часто мыл руки. И упорно отказывался лезть на гору.

Внушительный, пусть и благожелательный, дядя мог бы вызвать в племяннике чрезмерную робость, если бы не обладал определенной эксцентричностью, рождавшей по отношению к нему чувство покровительственное. Отклоняя второе дядино приглашение сопровождать его на гору, Чарльз сослался на кишечную слабость и отсутствие необходимой стойкости перед лицом опасности, добавив (как это делали многие знакомые Кавалера в Англии): — Помните, мне будет горько узнать, что вас постигла участь Плиния Старшего. Чарльз надеялся, что эта очевидная классическая аллюзия не будет воспринята как дерзость, скорее — как лестное замечание. И дядя,

совсем недавно обретший любимого племянника, вернул комплимент: — Но тогда ты должен стать Плинием Младшим и поведать миру о моей гибели.

* * *

Тогда, как и теперь, восхождение совершалось в несколько этапов. Дороги, которая в наше время превратилась в шоссе, тогда не существовало. Но была тропа, составлявшая примерно две трети пути, до естественной впадины между центральной вершиной и горой Сомма. В лощине — ныне, после извержения 1944 года, покрытой черной лавой, — росли деревья, куманика, высокая трава. Здесь обыкновенно спешивались паломники. Они оставляли лошадей пастись, а сами отправлялись к кратеру.

Оставив коня на попечение слуги, Кавалер перекинул через плечо мешок, крепко взялся за трость и уверенно двинулся вверх по склону. Главное — найти правильный ритм, чтобы шагалось бездумно, словно во сне. Идти как дышать. Сделать движение желанным для тела, созвучным окружающему пространству и времени. На этот раз, этим утром, все так и есть — если не считать боли в ушах от холода и ветра, от которых

не защищает широкополая шляпа. Боль мешает отдаться бездумному ритму. Кавалер миновал лесок (столетие назад это была чащоба, полная зверья), и ветер задул сильнее. Тропа стала круче, темнее. Кругом следы черной лавы, огромные куски вулканической породы. Он уже не шел, а карабкался, замедлив темп. Напряжение мышц сделалось приятно ощутимым. Не было нужды останавливаться, чтобы перевести дыхание, но несколько раз он замирал и обводил внимательным взором красно-коричневую землю в поисках зазубренных камней с цветными вкраплениями.

Потом почва стала серой, податливой, вязкой — проседая, она тормозила каждый шаг. Ветер толкал Кавалера в лоб. У самого верха уши разболелись так, что пришлось заткнуть их воском.

Он добрался до окруженной валом вершины, остановился и принялся растирать заледеневшие уши, глядя вдаль на переливчатую голубую кожу залива. Потом медленно повернулся. Он всегда подходил к кратеру с замиранием сердца, боясь как опасности, так и разочарования. Если гора изрыгала огонь, обращалась пламенем и живой стеной пепла, это было приглашением заглянуть внутрь. Гора разрешала себя осмотреть. Но если она долго вела себя спокойно, как последние

несколько месяцев, тогда в нее хотелось заглянуть поглубже. И он заглядывал, рассчитывая и увидеть новое, и удостовериться, что старое на месте. Нескромное любопытство всегда ждет награды. Даже в самых миролюбивых душах вулкан пробуждает страсть к разрушительному.

Кавалер влез на самый верх конуса и посмотрел вниз. Необъятную, глубочайшую воронку до краев наполнял утренний туман. Он достал из мешка молоток и принялся искать глазами цветные прожилки на сколах породы. Солнце прогревало воздух, и туман постепенно рассеивался. С каждым порывом ветра видимость улучшалась. Никаких признаков огня. Из разломов внутренних, будто удлиняющихся с оседанием тумана, стенок кратера вырывались струи грязно-белого пара. Пористая корка лавы полностью скрывала тайное горячее нутро. Ни проблеска. Сама неподвижность — серая, необъятная. Кавалер вздохнул и спрятал молоток. Неорганическая материя рождает в нас большую печаль.

Нет человека, которого не захватывал бы вид всепожирающего пламени, и все же в вулкане нас скорее привлекает не разрушительная сила, а небрежение законами гравитации, обязательными для всякой неорганической структуры.

Растительный мир радует нас стремлением вверх. За это мы любим деревья. Может быть, в вулкане, как в балете, нас привлекает элевация? Ах, как высоко взлетают полурасплавленные камни, как они парят над грибовидным облаком. С каким упоением гора бросает сама себя в воздух, чтобы, подобно танцовщику, непременно опуститься, и не просто опуститься — упасть прямо на нас. Но сначала она поднимается, летит вверх. Потом зависает — и устремляется вниз. Вниз.

3

Лею. По случайному совпадению 24 августа, годовщина страшного извержения 79 года. Погода: вязкая влажность, полно мух. В воздухе — серная вонь. Высокие окна распахнуты на залив. В дворцовом саду поют птицы. На вершине горы покачивается изящная колонна дыма.

Король — на стульчаке, панталоны спущены к лодыжкам. Король морщится от натуги, он — постамент с клокочущим основанием. Ему всего двадцать четыре, но он — жирный, жирный. Живот в растяжках, совсем как у королевы (шесть из семнадцати ее беременностей завершились родами). Король не огромном фарфоровом chaise percée[3] раскачивается из стороны в сторону. За трапезой, начавшейся двумя часами ранее, он жадными лапами переправил с ломящегося яствами стола себе в утробу свинину, и макароны, и мясо дикого кабана, и цветочки цуккини, и шербет. Он плевался вином в любимого камердинера и кидался хлебными шариками в старого несговорчивого премьер-министра. Кавалер, который

---

[3] Примечания: 3
Стульчак *(фр.).*

и без подобных отвлекающих происшествий ел крайне умеренно, начинал уже ощущать тяжесть в желудке. Внезапно король объявил, что, насладившись великолепной пищей, рассчитывает насладиться столь же великолепным опорожнением кишечника, и выразил желание, чтобы при этом присутствовал один из самых почетных гостей, собравшихся за столом, его дорогой друг и любимый сопровождающий во время охоты, британский полномочный министр.

Ох, ох, мой бедный животик! — (Стоны, испускание газов, вздохи.)

Кавалер, потея в полном придворном облачении со звездой и красной лентой, стоит у стены и сжатым ртом вдыхает испорченный воздух. Могло быть и хуже, думает Кавалер, — мысль, которая так часто утешает его. На сей раз имеется в виду, что у короля мог бы случиться и понос.

Сейчас уже выйдет, сейчас!

Король играет испорченного мальчишку, он намеренно гадок, он хочет шокировать. Английский рыцарь играет невозмутимого аристократа — не реагирует, скрывает свои эмоции. Было бы эффектнее, мелькает в голове Кавалера, если бы я не потел так же сильно, как он.

Нет, не получается! Не получается! Не могу! Ну

что же делать?

Возможно, Вашему величеству удастся откликнуться на зов природы в одиночестве.

Ненавижу одиночество!

Кавалер, смаргивая капельки пота, скатывающиеся по надбровным дугам, задумывается: возможно, все это — одна из омерзительных королевских шуточек?

Может быть, еда была нехорошая, — говорит король. — А я был уверен, что еда хорошая. Как такая вкусная еда могла быть нехорошая?

Еда была очень вкусная, — говорит Кавалер.

Расскажи какую-нибудь историю, — просит король.

Историю, — повторяет Кавалер.

(Придворный — тот, кто в ответ на сказанное повторяет последние слова или фразу.)

Да, расскажи про шоколадную гору. Огромную гору, всю из шоколада. Вот куда бы я с удовольствием залез.

Жила-была гора, черная как ночь.

Как шоколад!

А внутри все белое, и пещеры, и переходы, и…

Внутри было холодно, — прерывает король. — Если жарко, шоколад будет таять.

Холодно, — соглашается Кавалер, промокая лоб

шелковым платком, пропитанным эссенцией туберозы.

Там внутри город? Свой мир?

Да.

Мир, только маленький. Как уютно. И не надо бы столько слуг. Вот бы здорово иметь такой маленький мирок с людишками, тоже маленькими, — они бы делали все, что я прикажу.

Но ведь и сейчас так, — замечает Кавалер.

Не так, — протестует король. — Ты же знаешь, как мною командует королева, и Тануччи, и вообще все, кроме тебя, мой дорогой, дорогой друг. Мне нужен шоколадный мир! Вот что мне нужно! Чтобы все, как я хочу. И чтобы женщины, когда захочу. И пусть они тоже будут шоколадные, я буду их есть. Ты когда-нибудь думал о том, каково это — есть людей?

Он лизнул жирную белую ладонь. Хм, да она соленая! Он засунул ладонь под мышку и продолжил: — И пусть там будет огромная кухня. А королева у меня будет поваренком, ох, как ей это не понравится! Пусть чистит чеснок — миллионы блестящих головок. Я ее ими нашпигую, и у нас будут чесночные дети. Люди будут бегать за мной и просить их покормить, а я буду швырять им еду. Уж я их накормлю!

Он нахмурился и повесил голову. Рулада бульканья и всплесков достигла кульминации в окончательном, глубоком, гулком исторжении.

Вот хорошо, — сказал король. Он потянулся и шутливо пхнул Кавалера в тощий крестец. Кавалер кивнул. От омерзения его собственный кишечник забунтовал. Но — такова придворная жизнь. Этот мир придуман не Кавалером.

Помоги мне, — приказал король начальнику королевской спальни, стоящему у открытой двери. Он такой грузный, что ему трудно подняться самому.

Кавалер задумывается о широте спектра человеческих реакций на отвратительное. На одном полюсе — Катерина, которую ужасает и маниакальная вульгарность короля, и многое другое при дворе. На противоположном — король, для которого отвратительное является источником наслаждения. И он сам посередине — там, где и следует находиться придворному, никогда не выказывающему ни возмущения, ни полного бесчувствия. Возмущение само по себе вульгарно, как признак слабости, недостатка воспитания. Эксцентричные повадки великих мира сего должно принимать безоговорочно. (Кавалеру ли, другу детства иного государя, не знать? Тот

проявлял порою полнейшее безумие.) Люди таковы, каковы они есть. Никто не меняется — это прописная истина.

* * *

На невежу-короля легко произвести впечатление. Его равно восхищает и хладнокровие английского рыцаря, и ум женщины из династии Габсбургов — когда он достиг семнадцатилетия, ее доставили для него из Вены, и она с рождения их первого сына заседала в государственном совете и являлась истинной правительницей королевства. Как хорошо, если бы вместо надменного, грозного, мрачного человека, восседающего на троне в Мадриде, его отцом был кто-нибудь похожий на Кавалера! Разве Кавалер не любит музыку? И король тоже любит, музыка для него все равно что еда. А разве Кавалер не прекрасный спортсмен? Он же не только лазит на свою ужасную гору, он еще и ловит рыбу, и ездит верхом, и охотится. А уж охота — главная страсть короля, ей он предается, забывая об усталости, трудностях, опасностях. Что, как не опасность, хоть и мешает, но в то же время придает законность и азарт истреблению животных? Обычно король стоит в каменной будке без крыши в пар-

ке загородного дворца или сидит на коне среди поля, а егеря гонят мимо бесконечные вереницы диких кабанов, оленей, зайцев. Из сотни выстрелов разве что один не достигает цели. Тогда он выходит или спешивается и, до локтей закатав рукава, приступает к работе, свежует дымящиеся кровавые туши.

Король наслаждается поднимающимся от ободранных скелетов запахом крови, запахом набухающих в котлах макарон или требухи, запахом достающихся тяжким трудом собственных экскрементов или экскрементов своего потомства, запахом сосен, одуряющим ароматом жасмина. Длинный луковицеобразный орган, благодаря которому он заслужил прозвище Король-Большенос, величественен — и чудовищно безобразен. Его влекут сильные, горячие запахи: перченой еды, только что убитых животных, выделений готовой уступить женщины. И, помимо всего прочего, запах его грозного отца, дух меланхолии. (Этот запах исходит и от Кавалера, но едва слышно, потаенно.) Влекуще животный запах жены заманивает короля в ее тело, но после, когда он засыпает, другой запах (или сон о запахе) скоро будит его. Едкие молекулы ласкают внутреннюю поверхность толстых ноздрей, летят

прямиком в мозг. Он любит все бесформенное, изобильное. Запах овладевает вниманием, отвлекает. Запах пристает, идет следом. Он ширится, проникает. Им никто не может завладеть, но сам запах завладевает кем угодно — мир запахов неуправляем, — а король не слишком-то любит править. Что там крошечное королевство!

Органы чувств заменяют ему умственные способности. Отец намеренно вырастил его неучем. Ему было назначено стать слабым правителем. Из-за склонности якшаться с бесчисленной братией городских попрошаек он получил еще одно прозвище, Король-Нищий, хотя суеверия его разделяли псе люди в этом городе, а не только необразованные. А вот развлечения носили более оригинальный характер. Он самозабвенно предавался гнусным проказам и жестокой охоте, но, помимо этого, любил сам выполнять обязанности слуг, на время стряхивая с себя рутину дворцового этикета. Кавалер, прибыв однажды в грандиозный дворец в Казерте, застал короля за странным занятием: тот снимал со стен закопченные лампы и заботливо их чистил. А когда на территории дворца в Портичи расположился отборный полк, король устроил для солдат таверну и сам подавал там вино.

Король вел себя неподобающе (какое разочарование!), король не стремился утвердить свое Богом данное отличие от прочих смертных: ни ума, ни величия, ни сдержанности. Только грубость и аппетит. Но Неаполь вообще умел шокировать, так же как умел очаровывать. Леопольд Моцарт, этот добрый католик из провинциального, безжалостно клерикального Зальцбурга, пришел в ужас от языческих предрассудков высшего света и от размаха идолопоклонства в церковных обрядах. Путешественников из Англии возмущали и отвращали непристойная настенная живопись и фаллические предметы во дворце в Помпеях. Всех без исключения оскорбляли капризы недоразвитого короля. А там, где всех все шокирует, рождается больше всего слухов и сплетен.

* * *

Как и всякий иностранный дипломат, Кавалер умел услаждать слух почетных гостей тщательно подобранными и многократно отшлифованными историями о невыносимых выходках короля. От других король отличается отнюдь не копрологическим юмором, — так обычно начинал Кавалер. — Насколько мне известно, шутки на тему дефекации популярны практически при

всех итальянских дворах. Неужели? — ронял слушатель.

Затем, от вступления о том, как он сопровождал короля в уборную, Кавалер переходил к другой истории, где известную роль играл шоколад.

Эта история, которую Кавалер рассказывал многим визитерам, касалась событий, происшедших через три года после его прибытия на место в качестве посланника. Тогда Карлос III Испанский, отец короля Неаполя, и Мария-Терезия Австрийская завершили переговоры о союзе между двумя династиями, и для брака императрица назначила одну из своих многочисленных дочерей. Уже было собрано приданое в размере стоимости поместья, и плачущую невесту вместе с ее огромной свитой готовили к отъезду. В Неаполе тем временем полным ходом шли приготовления к сверхпомпезной королевской свадьбе. Подробнейшим образом обсуждалось убранство общественных мест, виды аллегорических фейерверков и тортов, сочинялась музыка для всевозможных процессий и балов. Аристократия и дипломатический корпус туже затягивали пояса, готовясь к расходам на банкеты и пышные наряды… И никто, никто не был готов к прибытию одетого в черное эмиссара габсбург-

ского двора, привезшего убийственное известие: вечером накануне отъезда пятнадцатилетняя эрцгерцогиня скончалась от оспы, которая свирепствовала тогда и Вене и едва не унесла жизнь самой императрицы.

В то же утро, узнав о трагедии, Кавалер облачился в придворные регалии и в лучшей своей карете отправился выражать соболезнования. Прибыв во дворец, он попросил, чтобы его проводили к королю. Его отвели не в королевские покои, а в нишу внутри сводчатого перехода, откуда открывался вид на огромную, длиною свыше трех сотен футов, галерею, увешанную изображениями сцен охоты. Там, задумавшись, стоял королевский наставник, князь Сан-***ский. Нет, не задумавшись. Молча кипя от злости. С другого конца галереи приближалась шумная, раззолоченная, окутанная ароматными клубами, освещенная факелами и масляными лампами процессия.

Я прибыл, чтобы выразить мои искренние…

Обиженный взгляд князя.

Как вы видите, горе Его величества не знает границ, — процедил князь.

К ним двигались шестеро молодых людей. Они волокли на плечах затянутый малиновым бархa-

том гроб. Чуть поодаль, размахивая кадильницей, шел священник. Две хорошенькие служанки несли золотые вазы с цветами. Следом брел укутанный в черное, прижимающий к лицу черный носовой платок шестнадцатилетний король.

(Вы не можете себе представить, что здесь вытворяют на похоронах, — вставляет Кавалер, всегда готовый поделиться интересной информацией. — Никакая демонстрация горя не бывает чрезмерной.)

Процессия приблизилась к Кавалеру. Опустите ее, — приказал король.

Он подошел к Кавалеру и схватил его за руку. Идем, ты тоже будешь плакальщиком.

Ваше величество!

Идем! — взревел король. — Мне не разрешили поехать на охоту, не пустили ловить рыбу…

Только на один день, — гневно прервал его старый князь.

Целый день, — король топнул ногой, — мне нельзя выходить. Мы уже играли в чехарду, боролись — но это интереснее. Гораздо интереснее.

Он подтащил Кавалера к гробу. Там лежал юноша в белом, отороченном кружевами, платье. Его бархатистые ресницы были плотно сомкнуты, а розовые щеки и сложенные на груди руки

испещрены крошечными бледно-коричневыми точками.

(Играть покойную эрцгерцогиню выпало самому молодому из гофмейстеров, которого часто дразнили за почти девичью красоту, — поясняет Кавалер. Пауза. — А шоколадные капельки… вы и сами можете догадаться, что они обозначали. — К сожалению, нет, — признается слушатель. — Это, — объясняет тогда Кавалер, — были оспины.)

Грудь юноши тихонько вздымалась и опускалась.

Смотрите, смотрите, совсем как живая!

Король выхватил факел у одного из участников процессии и принял театральную позу. — О, моя любовь! Моя невеста мертва!

Несущие гроб прыснули.

Нет, нельзя смеяться. Свет моей жизни! Радость моего сердца! Такая юная. Девственница. По крайней мере, надеюсь. И вот — мертва! И эти красивые белые ручки, которые я мог бы целовать, красивые белые ручки, которые она могла бы положить вот сюда. — Он, пользуясь собственной анатомией, показал, куда.

(Кавалер не упоминает, что уже не однажды имел честь лицезреть королевский пах — очень

белую кожу, усыпанную пятнами лишая, что королевский доктор считал признаком хорошего здоровья.)

Разве тебе не жаль меня? — крикнул король, обращаясь к Кавалеру.

(Кавалер умалчивает и о том, как ему удалось все же отделаться от участия в процессии, но не забывает упомянуть, что на протяжении всего фарса священник, человек карликового роста, безостановочно читал заупокойную молитву. Но не настоящий же священник, — восклицает слушатель, — какой-нибудь переодетый гофмейстер. Если учесть, какой чепухой занимаются здесь священники, — отвечает Кавалер, — он вполне мог быть и настоящим.)

Юноша в гробу начал потеть, и шоколадные оспины потекли. Король, стараясь не расхохотаться, приложил пальцы к губам. Я непременно прикажу сочинить об этом оперу, — воскликнул он.

И так далее, и тому подобное, — завершает рассказ Кавалер.

Возможно, именно слово «опера» напоминает Кавалеру одну сцену в Сан-Карло, свидетелем которой недавно явились они с Катериной во время премьеры нового творения Паизьелло. Это

было в последний вечер Карнавала. Через две ложи от них сидел король, посещавший оперу регулярно, тюбы смотреть, подпевать, кричать и есть. Он не любил своей, королевской, ложи и часто занимал одну из верхних, держатели абонементов на которые почитали за честь лишиться постоянного места таким манером. В тот вечер король приказал принести макароны, чем вынудил окружающих вдыхать ароматы масла, сыра, чеснока и мясного соуса. Затем король перегнулся через барьер и принялся обеими руками швырять вниз обжигающе горячие куски пищи.

(Кавалер делает паузу, ожидая реакции. Что же сделали несчастные зрители? — непременно интересуется слушатель. Казалось бы, они должны возражать, — говорит тогда Кавалер, — но нет, они оказались более чем снисходительны к баловнику.)

Некоторые, само собой, расстроились оттого, что на их лучшем платье расцвели жирные пятна — наблюдая за их попытками отчиститься, король покатывался со смеху, — зато остальные сочли макаронный душ знаком королевского благорасположения и, вместо того чтобы уклоняться, напротив, отпихивали друг друга, стараясь ухватить и съесть кусочек.

(Как странно, — восклицает слушатель. — Здесь, похоже, Вечный Карнавал. Надеюсь, это безопасно?)

Позвольте мне также рассказать, — обычно продолжает Кавалер, — еще об одном, на этот раз — менее комичном случае давки за еду, устроенной королем. Это случилось через год после мнимых похорон. Тогда из Вены на замену покойной невесте была доставлена ее младшая сестра, которая, узнав, за кого ей предстоит выйти замуж, рыдала еще горше, чем старшая. К счастью, эта эрцгерцогиня прибыла целой и невредимой, и последовала свадьба, продолжавшаяся много дней. Здесь я должен пояснить, — поясняет Кавалер, — что празднование всякого важного дворцового события в этих местах сопровождается сооружением искусственной горы, уставленной всяческой снедью.

(Горы? — удивляется слушатель.)

Да-да, горы. Гигантской пирамидальной конструкции из балок и досок, которую посреди большой дворцовой площади возводит несколько плотничьих артелей. Затем ее драпируют и превращают в весьма правдивое подобие небольшого парка с железной оградой и двумя аллегорическими скульптурами, охраняющими

вход.

(Могу я поинтересоваться, какова высота сооружения? — Точно не знаю, — отвечает Кавалер. — Футов сорок, самое меньшее.)

Как только гора была установлена, поставщики продовольствия и их помощники принялись ходить вверх-вниз. Пекари складывали в предгорьях громадные бревна хлеба. Фермеры тащили к вершине тяжеленные корзины с арбузами, грушами, апельсинами. К деревянным перилам проходов, ведущих наверх, торговцы домашней птицей прибивали гвоздями за крылышки живых цыплят, гусей, каплунов, уток, голубей. Пока гору в надлежащем порядке обставляли пищей, украшали гирляндами цветов и флажков, на площадь прибывали и становились лагерем тысячи людей. Гору круглосуточно стерегло кольцо охраны, вооруженных конников. Лошади нервничали. Во дворце, не прекращаясь, шел пир, и ко второму дню толпа на площади выросла в десять раз. Повсюду мелькали лезвия ножей, тесаков, топоров, ножниц. Около полудня раздался рев — на площадь прибыли мясники. Они волокли за собой стадо быков, овец, коз, телят и свиней. Когда животных стали привязывать к стойкам у основания пирамиды, гомон толпы смолк, и

повисла напряженная тишина.

(Кажется, мне следует подготовиться к тому, что последует дальше, — говорит слушатель, после внушительной паузы, которую в этом месте делает Кавалер.)

Вскоре на балкон, держа за руку невесту, вышел король. Снова раздался рев, немногим отличающийся от того, которым встретили появление животных. Пока король кивал в ответ на приветственные крики и здравицы, прочие балконы и верхние окна дворца стремительно заполнялись главными из придворных, важными представителями знати, членами дипломатического корпуса, пользующимися наибольшим расположением…

(Я слышал, что никто не пользуется большим расположением короля, чем вы, — перебивает слушатель. Действительно, — говорит Кавалер, — я там был.)

Затем с вершины крепости Сан-Эльмо раздался пушечный выстрел, подавший сигнал к началу штурма. Изголодавшаяся толпа ответила утробным воем и прорвала сторожевое оцепление. Солдаты на брыкающихся лошадях ускакали под укрытие дворцовых стен. Пихая друг друга локтями, коленями, кулаками, самые сильные

мальчишки и молодые люди прорвались вперед и полезли на гору, и вскоре та кишмя кишела людьми. Кто-то лез наверх, кто-то, уже с добычей, вниз, кто-то задерживался посередине и резал птицу, поедая сырые куски или швыряя их в протянутые руки жен и детей. Другие тем временем вонзали ножи в привязанных к подножию животных. Невозможно определить, какие органы чувств страдали при этом более всего: обоняние ли — от запаха крови и экскрементов испуганных животных; слух ли — от воя забиваемой скотины и криков людей, падающих или сталкиваемых с горы; зрение ли — при виде агонии несчастных животных или того, как кто-то, обезумев от происходящего (а к этому следует еще добавить аплодисменты и подбадривающие выкрики с балконов и из окон дворца), вонзал нож не в брюхо свиньи или козы, а в шею соседа.

(Надеюсь, из-за моего рассказа вы не станете считать здешние нравы слишком уж низменными, — беспокоится Кавалер. — В большинстве случаев эти люди вполне дружелюбны. Неужели, — восклицает слушатель и, погружаясь в размышления скорее о человеческой дикости, чем о несправедливости земного устройства, не прибавляет ничего более.)

Вы бы поразились, узнав, как мало времени потребовалось на то, чтобы все растащить. А в наши дни это происходит еще быстрее. Тот год оказался последним, когда животных резали живыми. Ужасный спектакль настолько потряс нашу юную австрийскую правительницу, что она упросила короля внести в варварский ритуал некоторые изменения. Король издал указ: скотина должна быть предварительно забита, туши разделаны, тогда только их разрешается вывешивать на ограду. И теперь все происходит именно так. Как видите, — заключает обыкновенно Кавалер, — даже этот город не чужд прогресса.

* * *

Как Кавалеру донести до собеседника, *насколько* омерзителен король. Описать это невозможно. Нельзя влить источаемое королем зловоние в бутыль, чтобы поднести ее к носу слушателя или отослать друзьям в Англию, как он посылает в Королевское общество серные и солевые растворы. Нельзя приказать, чтобы в комнату внесли ведро крови и, окунув в него по локоть собственные руки, изобразить короля, только что освежевавшего сотни туш — добычу целого дня, полностью отведенному на убийство животных

(у него это называется охотой). Кавалер не способен изобразить короля, на закате дня торгующего своим уловом на рынке в гавани. (Он сам продает свой улов? — Да, и зверски торгуется. Правда, надо отметить, — говорит Кавалер, — что заработанное он бросает свите попрошаек, которая повсюду за ним следует.) Кавалер, хоть и умеет притворяться при дворе, все же не актер. Он ни на минуту не может представить себя королем, чтобы сыграть его, показать собеседнику. Актерство — не мужское занятие. Кавалер лишь повествует, и отвратительная гнусность превращается в легенду, в миф; ничего ужасного. В этом царстве перехлестывающей через край неумеренности, излишеств, король — только один из экземпляров. Поскольку Кавалер всего лишь произносит слова, он имеет возможность пояснять (убогое образование короля, безвредные предрассудки местной знати), снисходить, иронизировать. Он высказывает свое мнение (нельзя описывать события, не принимая по отношению к ним той или иной позиции), и это мнение становится важнее фактических ощущений, обесцвечивает их, приглушает, дезодорирует.

Запах. Вкус. Осязательные ощущения. Невозможно описать.

* * *

В книге одного из тех французов-безбожников, самые имена которых вызывали у Катерины недовольную гримаску и вздох, Кавалер наткнулся на следующий пассаж. Представьте себе парк, говорилось там; а в парке — красивую статую женщины, точнее, статую красивой женщины, статую женщины с луком и стрелами, не обнаженную, но *словно бы* обнаженную (так плотно мраморная туника облегает грудь и бедра). Это не Венера, а Диана (стрелы — ее атрибут). Чудесные кудри придерживает лента, женщина прекрасна — но мертва. А теперь, — призывает автор, — представим человека, который обладает возможностью оживить эту статую. Представим себе Пигмалиона не скульптором, не тем, кто создал статую, а неким мужчиной, который случайно увидел ее в парке такой, как она есть, — на пьедестале, размерами чуть превосходящую человека — и решил проверить на ней свои способности. Скажем, это исследователь, ученый. Статую создал кто-то другой, создал и покинул. И теперь она принадлежит ученому. Он отнюдь не очарован ее красотой. Но в нем есть дидактическая жилка, и он хочет до конца раскрыть

возможности этой красоты. (Не исключено, что потом он против собственного желания влюбится и захочет овладеть ею, но это Крутая история.) Пока же он приступает к работе, медленно, вдумчиво, вдохновенно. Желание не подгоняет его, не принуждает оживить статую как можно скорее.

Что же он делает? Как он ее оживляет? Очень осторожно. Ему нужно, чтобы у нее появилось сознание, поэтому, исходя из простого соображения, что всякое знание приходит через ощущение, он решает разбудить органы чувств. Постепенно. Для начала он даст какое-нибудь одно. Какое же он выбирает? Не зрение, прекраснейшее из чувств, не слух — впрочем, нет нужды оглашать весь список, каким бы коротким он ни был. Лучше скажем сразу: прежде всего он награждает ее (и пожалуй, это не очень благородно с его стороны) самым примитивным чувством — обонянием. (Допустим, он не хочет, чтобы она его видела, до поры до времени.) Следует добавить, что за непроницаемой поверхностью божественного создания мы предполагаем реагирующую на окружающее внутреннюю сущность, иначе эксперимент не удастся. Впрочем, это лишь гипотеза, хоть и необходимая. До сих пор ничто не говорит нам о присутствии подобной сущности.

Богиня, воплощение красоты, неподвижна.

Итак, богиня охоты может обонять. Ее яйцевидные, немного выпуклые мраморные глаза под тяжелыми бровями не видят, полураскрытые губы и изящный язык не ощущают вкуса, гладкая мраморная кожа не способна почувствовать прикосновения, очаровательные раковинки ушей ничего не слышат, однако точеные ноздри улавливают все запахи, и близкие, и далекие. Богиня вдыхает смолистый, острый запах платанов и тополей, запахи крошечных испражнений червя, ваксы на солдатских сапогах, жареных каштанов, подгорающего бекона, она упивается ароматами глицинии, гелиотропа и лимонных деревьев, она способна ощутить едкий дух оленей и диких кабанов, убегающих от королевских гончих, пот трех тысяч королевских загонщиков, испарения совокупляющейся в ближайших кустах пары, свежесть только что подстриженного газона, дым из труб дворца и — далеко-далеко — жирного короля на стульчаке, она слышит даже запах промытых дождем трещин на мраморе, из которого сделана, запах смерти (хотя о смерти ей ничего не известно).

Есть запахи, которых она не чувствует, ибо находится в парке — или потому что находится в

прошлом. Она избавлена от городского смога, зловония горшков, выплеснутых ночью из окон на улицы. Вони маленьких машинок с двухтактными двигателями и мягких брикетов коричневого угля (запах Восточной Европы второй половины нашего века), химических и нефтеочистительных заводов под Ньюарком, сигаретного дыма… Но зачем говорить «избавлена»? Она могла бы наслаждаться и этими запахами. Ведь они идут из такого далека — это запах будущего.

И все запахи, которые мы называем хорошими или плохими, гнилостными или чарующими, вливаются в нее, проникают в каждую пору мраморного существа. Она трепетала бы от наслаждения — но ей пока не дали ни возможности двигаться, ни даже дышать. Мужчина — который обучает, просвещает, берет на себя право решать, что лучше для женщины, — действует с оглядкой, не собирается раздавать все сразу. Его устраивает идея создания ограниченного существа — такой женщине легче быть и оставаться красивой. (Невозможно представить себе эту историю с участием женщины-ученого и красивой статуи Ипполита, точнее, статуи красавца Ипполита.) Таким образом, богиня охоты отныне обладает обонянием, особым внутренним миром.

Пространство еще не рождено, но уже рождено время — ибо один запах сменяет другой. А вместе со временем рождается вечность. Получив в дар обоняние, всего лишь обоняние, богиня становится обитательницей мира запахов, которыми, естественно, она хочет упиваться постоянно, ad infinitum.[4] К несчастью, запахи имеют обыкновение исчезать (некоторые из них так быстро!), впрочем, некоторые возвращаются. Едва запах ослабевает, богиня ощущает себя — и действительно становится — ущербной. В ней, в Той, Что Умеет Нюхать, зарождается мечта сохранить запахи при себе, внутри себя, так, чтобы никогда их не потерять. Именно из этой мечты возникает пространство, пусть внутреннее — по мере того, как у Дианы появляется желание хранить различные запахи в различных частях своего мраморного тела: собачьи испражнения в левой ноге, гелиотроп в сгибе локтя, сладость скошенной травы в паху. Она лелеет их все, жаждет обладать всеми вместе и каждым в отдельности. Она способна теперь испытывать муки, но не муки (а точнее сказать, неудовольствие) от дурного запаха, ведь она не имеет счастливой

---

[4] Примечания: 4
До бесконечности *(лат.)*.

возможности различать хорошее и плохое (всякий запах хорош, ибо любой запах лучше его отсутствия, лучше небытия). Она испытывает муки потери. Любое наслаждение — а ощущение запаха, неважно какого, есть чистое наслаждение — обращается предчувствием потери. И у богини появляется желание стать — если бы она только знала, как — коллекционером.

4

Очередная зима. Месяц кровавых расправ с животными у подножия Апеннин в обществе короля. Рождественские балы. Визиты высокопоставленных зарубежных гостей, которых надо развлекать. Разрастающаяся переписка с многочисленными научными обществами. Поездка с Катериной в Апулию — взглянуть на новые раскопки. Еженедельные концерты (правда, Катерина похварывает).

Задрапированная снегами гора сердится, дымит. Коллекция Кавалера, до сей поры состоявшая исключительно из работ старых мастеров, теперь включает в себя несколько десятков картин местных художников. Гуашь и масло: пейзажи с изображениями вулкана и расфранченных веселящихся крестьян. Эти картины (измеряемые в ладонях или даже ярдах покрытого краской холста) чрезвычайно дешевы, Кавалер помещает их в галерее, ведущей к кабинету. Он посещает миракль, который дважды в году ставится в соборе: твердый сгусток крови святого покровителя храма превращается в жидкость. Считается, что от этого представления зависит благопо-

лучие всего города. Твердый сгусток местных суеверий. Желая увидеть менее привычное воплощение отсталости здешней публики, Кавалер договаривается о встрече со знаменитой прорицательницей Эфросиньей Пумо.

Антураж: извилистая улочка, осыпающаяся кладка стен, убогая дверь с не поддающейся расшифровке надписью. Странная женщина в сырой комнате с низким закопченным потолком и беленными стенами, оплывающие жертвенные свечи, котел на огне, солома на выложенном плиткой полу, черный пес, метнувшийся обнюхать пах Кавалера. Валерио оставлен ждать у двери вместе с жалкой гадалкиной клиентурой, ждущей своей порции пророчества и исцеления, и Кавалер ощущает в себе изрядное, так сказать, вольтерьянство — интерес к этнологическим изысканиям. Он — одинокий сторонний созерцатель чужих предрассудков. Он чувствовал себя более развитым существом и наслаждался этим чувством, он презирал суеверия, колдовство, религиозный фанатизм и вообще все иррациональное — но в то же время не отвергал возможности испытать удивление, подвергнуть сомнению свои убеждения. Он жаждал услышать отзвуки мертвых голосов, увидеть, как встанет на дыбы столик,

вынудить эту сумасшедшую произнести имя, которым он в детстве называл свою мать, или описать форму малинового родимого пятна у себя в промежности… тогда это все-таки будет волшебный мир, пусть не в том вульгарном виде, как здесь принято считать.

Вместо этого — чем и пришлось удовлетвориться — он попал в мир чудес. Красот. Диковин, среди которых главная — вулкан. Но никакого волшебства, нет.

Говорили, будто несколько лет назад эта женщина точно предсказала год и месяц обоих извержений, большого и малого, которые прервали долгий сон вулкана. Кавалер намерен об этом побеседовать. Однако — как подсказывает опыт более чем десятилетней жизни среди этих ленивых хитрых людей — приступить сразу к делу нельзя. Сначала он должен выслушать множество раболепных благодарностей за честь, оказанную посещением столь высокого и знатного Кавалера, ближайшего друга и советника молодого короля (и да ниспошлет ему Господь с годами мудрость!), снизошедшего озарить своим присутствием стены ее жалкого обиталища. Потом он вынужден цедить переслащенный настой, который она называет чаем и который подает

долговязый мальчишка лет пятнадцати, чей левый глаз напоминает перепелиное яйцо. Потом ему приходится положить изящную открытую ладонь на шершавую ладонь гадалки.

Она начинает с того, что обещает ему длинную жизнь. Кавалер в ответ поднимает брови и морщит нос.

Длинную жизнь здесь, — бормочет гадалка. Нельзя сказать, что Кавалеру приятно это слышать, воображение отказывается рисовать подобные картины. Он рассчитывает, что за Неаполем последует лучшее назначение, Мадрид, скажем. Или Вена.

Затем она сообщает, что впереди его ждет большое счастье.

Давайте побеседуем об иных материях, нежели моя судьба, — предлагает Кавалер, отнимая руку. — В действительности, я вовсе не ищу дополнительной информации о себе.

В самом деле? Его превосходительство необычный человек, в чем я уже убедилась. Кто, скажите, не интересуется самим собой?

О, — восклицает Кавалер. — Я не претендую на отсутствие интереса к себе. Я люблю себя не меньше, чем всякий другой.

По его прикидкам, гадалке должно быть около

пятидесяти, хотя с теми, кто называется «народ» (то есть большинство), никогда нельзя быть уверенным. Все они, особенно женщины, выглядят, как правило, старше своего возраста. У этой женщины умное, приятное лицо, желтые, нет, скорее зеленые глаза, твердый подбородок. Седеющие волосы заплетены в косы и уложены на голове. Плотное тело скрыто под бесчисленными, свисающими с плеч шалями, розовыми, красновато-коричневыми. Гадалка сидит у стены на большом дубовом стуле. Кавалера же с подобающими церемониями поместили в кресло, обложив для удобства драными подушками.

Большинство тех, кто ко мне приходит, интересуются, когда они встретят свою любовь, — бормочет женщина. — Или получат наследство. Или умрут.

Кавалер отвечает, что обожает свою жену и твердо уверен, что шансы получить наследство у него нулевые. И что только дурак захочет узнать точную дату своей смерти и тем самым испортить себе остаток жизни.

Его превосходительство считает себя пожилым человеком.

Я никогда не чувствовал себя молодым, — раздраженно бросает Кавалер. И эта мысль — новая

для него. Так называемая гадалка еще не успела удивить его, но он уже удивил самого себя.

Поэтому вы и моложе своего возраста, — сообщает гадалка, театрально взмахивая рукой. В том, что касается возраста и молодости, Эфросинья настоящий… эксперт! — Как я сказала Его превосходительству, он проживет еще много лет. Разве не это хотят услышать все?

Он промолчал.

Разве Его превосходительству не любопытно знать?

Напротив, — брюзгливо роняет он, — мне чрезвычайно любопытно. Любопытство привело меня… сюда.

И жестом поясняет: в эту комнату, в эту страну, в эту нелепую ситуацию. Надо быть терпимее, уговаривает он себя. Я среди дикарей. Он отводит глаза в сторону и перехватывает пристальный одноокий взгляд притулившегося в углу мальчишки — слуги? ученика? Взгляд такой же проницательный, как и у гадалки, но более выразительный за счет своей половинности.

Мне любопытно узнать, как в точности вы работаете. Гадаете ли по картам или по следам животных, или жуете горькие листья и впадаете в транс…

Вы нетерпеливы, мой господин. Истинный сын севера.

Как интересно, подумал Кавалер. Эта женщина не глупа. Она хочет вести со мной беседу, а не просто показывать фокусы.

Эфросинья на мгновение опустила голову, вздохнула, затем кивнула мальчику. Тот вытащил из углового шкафа нечто, завернутое в малахитово-зеленую ткань, и поместил это на столик-козлы, разделяющий Кавалера и гадалку. Под тканью, которую она медленно сняла, оказался ларчик из толстого непрозрачного молочно-белого стекла без крышки. Не спуская глаз с ларчика, гадалка пристроила ткань на груди, пробормотала непонятные слова, проделала в воздухе странные пассы, перекрестилась и склонила голову. Представление началось. Итак, — сказал Кавалер ободряюще.

Я вижу слишком много, — прошептала она.

Кавалер, всегда желающий видеть больше, улыбнулся про себя, отмечая разницу между ними.

Она подняла лицо. Глаза широко распахнуты, рот кривится.

Нет, не хочу видеть несчастья! Нет!

Кавалер кивнул, по достоинству оценивая

разыгрываемую пред ним борьбу с трагическим озарением. Вздыхая, гадалка обеими руками поднесла ларчик к глазам.

Я вижу… вижу воду! — Ее голос сделался хриплым. — Да! Дно моря, усеянное открытыми сундуками. Из них высыпаются сокровища. Я вижу корабль, огромный корабль…

Ах воду, — перебил он. — Потом землю. Потом воздух, а потом — надеюсь, еще до наступления ночи — мы доберемся и до огня.

Она поставила ларчик на стол. Голос снова приобрел вкрадчивую монотонность. Но ведь Его превосходительство любит воду. Весь Неаполь радуется, когда видит, как он целыми днями ловит рыбу в нашем чудесном заливе.

А еще я хожу в гору. Это также известно.

Да, все восхищаются смелостью Его превосходительства.

Он не ответил.

Возможно, Его превосходительство все-таки заинтересуется обстоятельствами своей смерти.

Смерти, смерти. Кавалер уже закрывал клапаны своего внимания.

Вас нельзя убедить, мой господин, — бормотала она в это время, — а можно ли вас напугать?

Я не из пугливых.

Но ведь уже не раз лишь чудом вас миновали раскаленные камни. Вы могли наклониться над кратером и потерять равновесие. Забраться туда и не суметь выбраться.

Я на удивление твердо стою на ногах.

Вы же знаете, как непредсказуема гора. В любой момент может случиться все, что угодно.

У меня превосходная реакция, — ответил он. И добавил про себя: я наблюдаю, собираю свидетельства. Он поудобнее уселся в плетеном кресле.

Я дышу, — вдруг сказал он.

Из-за тесноты помещения у него закружилась голова. Он слышал, как шепчет гадалка, как выходит из комнаты мальчик, слышал тиканье часов, жужжание мухи, лай собаки, звон колоколов, грохот тамбурина, крик продавца воды. Магма звуков, откатившись, обнажила безмолвие, сквозь которое — более отчетливые, словно завернутые отдельно, — проступали голоса, стук часов, колокола, лай, крик, возвращение мальчика, стук собственного сердца. Затем тишина. Громкий, полнозвучный голос тягуче повествовал об опасностях, которые таит в себе гора, а Кавалер тем временем старался расслышать другой голос — очень слабый, еле слышный. Его

необходимо расслышать. Кавалер, всегда твердо нацеленный на приобретение нового опыта, хорошо умеет сосредотачиваться. Достаточно переместить направление мысли, нацелить ее на что-то одно: мысленно уставиться. Это очень просто, если знаешь, что делать. Темнота при этом необязательна. Это все внутри.

Вы не спите?

Я никогда не сплю, — объявляет Кавалер. Он сидит с закрытыми глазами.

Вот теперь вы по-настоящему слушаете, мой господин.

Откуда-то из глубин сознания пришло удивление — зачем он здесь? Потом вспомнилось, что из этого приключения выйдет интересный рассказ, которым можно будет позабавить знакомых.

Должна ли я начать с вашего прошлого, — произнес голос Эфросиньи.

Что? — ворчливо переспросил он. Вопрос повторился. Он потряс головой. Только не с прошлого!

Не желаете, чтобы я вызвала дух вашей покойной матушки?

Боже сохрани! — восклицает Кавалер. Он открывает глаза И встречает странный, проникающий в душу взгляд гадалки. Видимо, ее посетители всегда демонстрируют обожание к

своим матерям, и ей невдомек, насколько нежелателен для Кавалера пусть даже воображаемый визит бесчувственной, величественной красавицы, от которой он в самом раннем детстве выучился ничего не ждать. Ничего.

Я хотел бы узнать о будущем, — бормочет он. Кавалер занижает удивиться тому, что Эфросинье известно о смерти его матери, но затем ему приходит в голову: я стар, следовательно, моя мать к настоящему времени была бы очень, очень стара. И некрасива.

Ближайшем будущем, — осмотрительно поясняет он.

Он помимо воли закрывает глаза и тут же открывает их, заслышав непонятные конвульсивные звуки.

Эфросинья очень бледна. Она смотрит в ларчик, стонет, хрипит.

Мне не нравится то, что я вижу. Мой господин, зачем вы просили меня заглянуть в будущее? Нет. Нет. Нет…

Она дрожит, обильно потеет, тело сотрясают жесточайшие приступы кашля и икоты. Она стремится показать, как ей плохо. Нет, разумеется, это неверно: тому, кто так дрожит, потеет, кашляет и икает, *действительно* плохо. Тем не

менее, это спектакль.

Что ж, поиграем в эту игру.

Вы что-то видите? Что-то связанное с вулканом?

После этого она не сможет не перейти к делу.

Как я сказала Кавалеру, он еще не стар, — хрипловато бормочет гадалка. — Это *я* стара! Мой Бог, на что я похожа. Да. Вижу: как только стану слишком старой, то буду спасена. И снова стану молодой. Я буду жить веками! Я стану, — гадалка начинает хохотать, — я стану Эмилией. А потом Эсапией. А потом я буду путешествовать по разным местам, получу всемирную известность как паладина Эсапия, и мною даже заинтересуется американский профессор. А потом… о чем я? — Она промокает глаза кончиком шали. — Ах да, Элеонора. Элеонора ужасно плохая. — Гадалка смеется. — Но… потом я уеду из Неаполя, перееду в Лондон. Теперь меня зовут Элли, и я глава крупного…

Вулкан! — кричит Кавалер. Указав Эфросинье, что сеанс не должен касаться его судьбы, он не ожидал, что она начнет нести непонятный бред о себе самой.

Вы можете увидеть, когда будет следующее извержение?

Эфросинья обращает на него дерзкий взгляд. Мой господин, я могу увидеть все, что хотите.

Она нагибается, задувает свечу на столике и впивается взглядом в ларчик. Вот теперь я вижу. О! — трясет она головой в показном изумлении, — о, как ужасно!

Что?

Я вижу черные руины. Вершины больше нет.

Он спрашивает, когда это произойдет.

Как все изменилось, — продолжает она. — Лесов нет. Лошадей нет. Черная дорога. А вот кое-что смешное. На гору лезут толпы людей. Толкают друг друга. Все такие рослые. Такие же, как вы, мой господин. Но одеты странно, слуг не отличить от господ, они все как слуги. А у вершины… маленькая будка, а в ней кто-то продает куски лавы и цветные камушки в коробочках, голубые, красные, желтые, еще шарфы и тарелки, на них нарисована гора. Ох, кажется, я забегаю слишком далеко вперед.

Не надо, — говорит Кавалер.

Будущее — это дыра, — бормочет Эфросинья. — Когда в нее падаешь, то не знаешь, до какой глубины провалишься. Вы просили заглянуть туда, а насколько далеко — этим я не могу управлять. Но я вижу… Да.

Что?

Двадцать шесть.

Она поднимает глаза.

Двадцать шесть извержений? Столько вы их видите?

Лет, мой господин.

Лет?

Столько вам осталось. Это немало. Не сердитесь, мой господин.

Она снова зажигает свечу, хлопочет над ней, будто избегая смотреть на Кавалера. Он вспыхивает от раздражения. Было там что-нибудь еще? Нет. Она снимает с груди ткань, укутывает ларчик.

Знаю, вы разочарованы. Но приходите опять. Каждый раз я вижу разное. Простите Эфросинью, что сегодня она почти не рассказала о вулкане.

Снаружи доносится приглушенный шум.

Люди приходят со своими страхами, — говорит гадалка. — И не каждого я могу успокоить.

Кто-то стучит. Возможно, Валерио.

Мы поговорим об этом в следующий раз, — обещает она. (О страхе? О вулкане?) Она обещает расспросить своего сына, который ходит на вулкан с детства и знает все его секреты.

Кавалер не понимает, о ком речь. Однако ре-

шает, что потратил достаточно времени на сеанс уклончивого ясновидения, и, достав кошелек, кладет на столик несколько монет. Эфросинья королевским жестом останавливает его — ей довольно и чести, оказанной визитом Его превосходительства, ей самой следует вознаградить его. И она приказывает Толо, а может быть, Барто — как там зовут этого одноглазого? — проводить Кавалера и его слугу домой.

* * *

Кавалер считал себя (и являлся) посланником благопристойности и разума. (Не этому ли учит нас общение с произведениями античного искусства?) Камни, черепки, загадочные предметы из мрамора, серебра, стекла были не только выгодным вложением средств и выражением его страсти к коллекционированию, но несли в себе определенную мораль, являли собой образцы совершенства и гармонии. Эти ранние меценаты не умели разглядеть в античности ее дикости, неотесанности, близости к демоническому. Но то, чего Кавалер не был готов увидеть в античности, он ценил в вулкане: страшные черные проломы, отверстия, впадины, пещеры, расщелины, пропасти, водопады, нагромождение скал и впадин

— все ненужное, дикое, опасное, несовершенное.

Редко кто способен увидеть то, к чему не готово сознание. Веком ранее великий предшественник Кавалера, собрат по любви к вулканам, Афанасий Кирхер, наблюдал за извержениями Этны и Везувия, спускаясь в кратеры на канатах. Однако отчаянные по своей смелости исследования, сопряженные с таким риском и такими неудобствами (как, должно быть, страдали его глаза от дыма, а грудь — от врезающихся веревок!), не помешали хитрому иезуиту представить вниманию публики целиком и полностью выдуманный отчет о внутреннем устройстве вулканов. Картины, иллюстрирующие его «Mundus Subterraneus»,[5] показывают Везувий — в разрезе — как полую раковину, скрывающую отдельный мир с небом, деревьями, горами, долинами, кавернами, реками, как водными, так и огненными.

Кавалер не знал, осмелится ли когда-нибудь предпринять спуск внутрь вулкана, даже пока тот спит. Разумеется, он был столь же далек от мысли увидеть подземный мир Кирхера, сколь мог считать кратер вулкана входом в ад или извержение (так же как и голод) — карой небесной.

---

[5] Примечания: 5
Подземный мир *(лат).*

Он был человеком рационального мышления, плывущим в море суеверий. Он, как его римский друг Пиранези, был знатоком руин — чем еще считать гору, как не огромной руиной? Руиной, способной ожить и создать новые руины.

На иллюстрациях, дополняющих два фолианта, изданных Кавалером на основе «вулканических» писем к Королевскому обществу, он кое-где появляется собственной персоной, на коне и пешком. На одном рисунке наблюдает за слугой, купающимся в озере Авернус, на другом — незабываемое событие — подводит короли и его гостей к краю ущелья, по дну которого ползет лава. На пейзаже с заснеженными вершинами, где гора выглядит особенно безмятежной, люди отсутствуют, но на большинстве рисунков, демонстрирующих вызванные вулканической деятельностью непостижимые и чудовищные изменения ландшафта, обязательно есть человеческие фигуры: чтобы подчеркнуть зрелищность, нужен зритель. Извержение — натура вулкана, его природа, пусть проявляемая лишь изредка. Поэтому на картине вулкан обязан извергаться… особенно если такая картина у вас одна.

Очередное извержение приближалось, и Кавалер взбирался на Везувий все чаще. Помимо

прочего, ему нравилось подвергать проверке свое бесстрашие. Способствовало ли этому обещание долгой жизни? Иногда он чувствовал себя в безопасности, лишь взбираясь по склону клокочущей горы.

Гора дарила ощущения, совершенно отличные от всего, что он когда-либо знал, — другое измерение. Земля простиралась, небо вырастало, залив ширился. Можно было забыть о собственном «я».

Вот на исходе дня он стоит на вершине. Наблюдает, как солнце, багровеющее, набухающее, опускается все ниже к горизонту, все ближе к морю. Он ждет того прекраснейшего момента, момента, который хочется продлить до бесконечности, когда солнце, перед тем как уйти за горизонт, на секунду замирает на пьедестале собственного отражения — а затем тонет с неотвратимой окончательностью. Устрашающий рокот готовящегося к очередному извержению вулкана. Мечты о всемогуществе. Усилить это. Прекратить то. Убрать звук. Так барабанщик в заднем ряду оркестра извлекает из двух огромных барабанов гулкую дробь — а затем быстро опускает палочки и, положив ладони, такие нежные и такие решительные, на кожу барабана, убирает звук, склоняет ухо и проверяет настройку

(как изящны его движения, словно не он только что отчаянно лупил по несчастному инструменту) — если бы так же можно было убрать мысль, чувство, страх.

* * *

Узкая улочка. Лежит прокаженный, греется на солнышке. Скулят собаки. Продолжаются визиты в низкую комнатку Эфросиньи Пумо.

Кавалер не перестает удивлять сам себя. Он, скептик (так считают все, включая и его самого), — к великому отчаянию Катерины абсолютно невосприимчивый к зову религии, атеист как по убеждению, так и по характеру, — тайно посещает какую-то пошлую гадалку. Ему приходится держать свои походы в секрете, ведь, сказав о них кому-либо, он будет вынужден подвергнуть их осмеянию. И тогда все это *действительно* станет чепухой. Его слова могут убить волшебство. До той же поры, пока о посещениях никому не известно, этот интересный опыт можно придержать в сознании. Быль и небыль. И убеждает, и нет.

Кавалер наслаждается тем, что у него есть тайна, он может позволить себе эту маленькую слабость, этот очаровательный недостаток. Нель-

зя же быть последовательным во всем. Как и вся его эпоха, Кавалер не столь рационален, как о нем говорят.

Сон разума рождает… матерей. Большегрудая женщина с обломанными ногтями и странным взглядом дразнит, забавляет его, бросает вызов. Ему нравится противостоять ей.

Она с видом оракула вещает о своих сверхъестественных способностях, объявляет о своем двойном — в прошлом и в будущем — гражданстве. Будущее существует в настоящем, утверждает она. Будущее, как она говорит, это перекошенное настоящее. Какой кошмар, думает он. К счастью, из этого мне доведется увидеть очень немногое. Затем он вспоминает, что ему напророчили еще целых четверть века. Пусть до тех пор никакого будущего не наступит!

* * *

В третий или четвертый визит она предложила наконец погадать ему на картах.

Мальчик принес деревянную коробочку. Эфросинья открыла крышку, достала колоду карт Таро и поместила ее, обернутую в пурпурный шелк, в центр стола. (Все ценное должно храниться завернутым и разворачиваться очень, очень

медленно.) Освободив карты, она расстелила шелковую ткань на столе. (Все ценное следует оберегать от соприкосновения с грубыми поверхностями.) Гадалка перетасовала карты и протянула их Кавалеру, чтобы он перетасовал их еще раз.

Карты оказались сальными на ощупь. К тому же, в отличие от карт ручной работы, которые Кавалер привык видеть в гостиных благородных семейств, эти были неаккуратно отпечатаны с деревянных клише грязными красками.

Получив колоду обратно, гадалка ласковым движением развернула карты веером, долго смотрела в них, а потом закрыла глаза.

Я стараюсь сделать краски яркими, — пробормотала она.

В самом деле, — сказал Кавалер, — краски выцвели.

Я представляю себе людей, — продолжала гадалка. — Я их знаю. Они начинают двигаться. Я слежу за их движениями, вижу, как ветер треплет одежды. Я слышу взмахи лошадиных хвостов.

Она открыла глаза и запрокинула голову: Я чувствую запах травы, слышу лесных птиц, журчание воды и звук шагов.

Это же только картинки, — перебил Кавалер и

удивился собственному нетерпению: по отношению к Эфросинье? Или к картинкам?

Она сложила колоду и протянула ему, чтобы он выбрал карту.

А разве не полагается раскладывать их на столе?

Эфросинья делает это так, мой господин.

Он вытащил карту и отдал гадалке. Ах, — воскликнула она, — Его превосходительство выбрал самого себя.

Кавалер, улыбаясь: — И что же говорит обо мне эта карта?

Она посмотрела на карту, нерешительно помолчала, а потом завела певучим голосом: — Карта говорит, что вы… покровитель наук и искусств… умеете направлять реки фортуны и нужные вам русла… стремитесь к власти… предпочитаете действовать за сценой… неохотно доверяете людям… Я могу продолжить, — она подняла глаза, — но скажите Эфросинье, мой господин, права ли она?

Вы говорите это потому, что знаете, кто я такой.

Мой господин, таково значение этой карты. Я ничего не придумываю.

А я пока что не узнал ничего нового. Дайте взглянуть.

На карте, которую она протянула ему, зажав между указательным и средним пальцем, грубо нарисован мужчина в элегантных одеждах, с большой чашей или вазой в правой руке. Левая рука небрежно покоится на подлокотнике трона. Нет.

Но это *точно* Его превосходительство. Король Кубков. Это не может быть никто другой.

Она переворачивает колоду и расстилает ее перед ним на шелковом платке, чтобы показать, что все карты разные и из семидесяти восьми он мог выбрать любую. А выбрал именно эту.

Хорошо. Давайте следующую.

Эфросинья снова перемешала колоду и протянула ему. На этот раз, прежде чем отдать, он сам посмотрел на карту, которую выбрал. Женщина с большой чашей или вазой в левой руке, в длинном развевающемся платье, на троне более скромных размеров.

Гадалка кивнула. Это супруга Его превосходительства.

Почему? — раздраженно спросил он.

Королева Кубков — чрезвычайно одаренная личность, — сказала Эфросинья. — Она очень нежная… романтичная… в ней чувствуется нечто нездешнее… она очень восприимчива… обладает

внутренней красотой, которая не нуждается во внешнем обрамлении… и у нее нет ни одного…

Довольно, — оборвал Кавалер.

Правильно ли я описала супругу Его превосходительства?

Вы дали такое описание, под которое желала бы подходить любая женщина.

Возможно. Но не всякая подходит. Скажите Эфросинье, права ли она.

Сходство есть, — неохотно процедил Кавалер.

Готов ли Его превосходительство вытащить еще одну карту?

Почему бы и нет, — подумал Кавалер, — следующая карта уж точно не может относиться к моей семье. — И выбрал карту.

Ах…

Что?

Энергичный… приятный… носитель новых идей и возможностей… артистичный и утонченный… часто скучает, нуждается в постоянной стимуляции… человек строгих принципов, но легко увлекающийся… Это Рыцарь Кубков!

Эфросинья какое-то мгновение изучает карту. Мой господин, это человек, способный на большое двуличие.

Она смотрит на Кавалера. Его превосходитель-

ство узнал человека, которого я описала, я вижу по лицу. Они в близком родстве. Это не сын. Не брат. Может быть…

Дайте посмотреть, — говорит Кавалер.

На карте изображен Чарльз — молодой человек на коне, с непокрытой головой, с длинными, рассыпанными по плечам волосами, в простой тунике и коротком плаще. Вазу или чашу он держит перед собой в руках, точно протягивая ее кому-то. Кавалер вернул карту Эфросинье.

Не представляю, кто это может быть, — сказал он.

Она ответила загадочным взглядом. Не желает ли Его превосходительство попробовать еще раз? Вы не верите Эфросинье. А карты не лгут. Смотрите, сейчас я их хорошенько перемешаю.

Еще одна карта, еще один молодой человек.

Но это поразительно! — вскричала Эфросинья. — Никогда за все время, что я гадаю по картам, никто не вынимал четыре связанные между собой карты подряд.

На сей раз молодой человек идет по дороге, внимательно глядя в сосуд, который несет в левой руке и поддерживает ладонью правой. Чаша прикрыта полой плаща, будто для того, чтобы спрятать содержимое. Молодой человек одет в

короткую тунику, открывающую бедра и выпуклость гениталий.

Паж Кубков, — сурово изрекла гадалка, — поэтический юноша, склонный к… размышлениям и ученым занятиям… большой ценитель прекрасного, но, кажется… не обладающий достаточными способностями, чтобы самому заниматься искусством… еще какой-то младший родственник… точно не вижу, но, по-моему, он является другом вашей жены… которая вскоре…

Кавалер нетерпеливо отмахнулся. Покажите что-нибудь еще, — сказал он. — Меня интересуют все ваши трюки.

Еще одну карту, мой господин.

Только одну. — Демонстративно вздохнув, он протянул руку за картой, последней.

Ах, вот это для меня! — воскликнула Эфросинья. — Но также и для вас. Какая удача!

Надеюсь, не очередной представитель семейства Ваз.

Она, улыбаясь, покачала головой и показала карту.

Не узнает ли Его превосходительство этого светловолосого юношу с кожаным мешком цвета индиго через плечо и сачком для бабочек?

Кавалер молчит.

Его превосходительство не видит, как юноша оступается и падает в пропасть?

Пропасть?

Но это не страшно, — продолжает она, — ведь он бессмертен.

Ничего не понимаю! Кто это такой?

Дурак.

Что еще за дурак? — кричит Кавалер, вспыхнув. Из угла выходит одноглазый мальчишка.

Мой сын.

* * *

Снова у Эфросиньи.

Она сказала, что может ввести его в транс, хоть и не уверена, что ему это понравится. Его превосходительство желает видеть только то, что и так видит.

Ее приходится уговаривать. Но вот все свечи, кроме жертвенной, загашены. Юный Пумо принес напиток. Кавалер откинулся на спинку кресла.

Я ничего не вижу, — сказал он.

Закройте глаза, мой господин.

Он поплыл куда-то. Позволил апатии, кроющейся под его энергией, взять верх. Раскрыл, как разводной мост, свои убеждения, чтобы пропу-

стить огромный корабль ясновидения.

Откройте глаза…

Комната исчезла. В напитке, должно быть, содержался опиум — Кавалер видит себя в громадном подземелье, или гроте, или пещере. Повсюду сияют картины. Стены молочно-белые, как тот стеклянный ларчик, который гадалка доставала во время его первого визита, как жирные руки короля. На стене танцует толпа.

Вы видите свою мать? — спрашивает голос Эфросиньи. — Люди всегда видят своих матерей.

Разумеется, нет, — отвечает Кавалер и протирает глаза.

Видите ли вы вулкан?

Он начинает слышать отдаленное шипение, рокот. Почти неслышный звук — и почти недвижные перемещения танцующих.

Звук и рисунок меланхолии.

Я вижу огонь, — говорит Кавалер.

Он хотел бы видеть огонь. А на самом деле видит черную, обрушившуюся вершину, о которой как-то упоминала гадалка. Гора, похороненная под своими же обломками. Он видит ее всего мгновение и скоро забудет об этом — об ужасном будущем. Залив без рыбы, без купающихся детей, вершина горы, лишенная привычного плюма-

жа, — одинокая куча пепла. Что же случилось с моим прекрасным миром? — вскричал Кавалер и взмахнул рукой в направлении свечи, словно желая зажечь ее вновь.

5

Маркиз де Сад назвал Италию — он посетил ее в 1776 году и встречался с Кавалером, который в то время готовился отбыть в очередной отпуск, — «самой красивой страной мира, населенной самыми отсталыми в мире людьми». Счастлив тот, кто много странствует: приехал и уехал, полный впечатлений, и те постепенно превращаются в суждения, а со временем — в ностальгию. Но каждая страна по-своему мила, как мил и каждый народ. В каждом фрагменте, в каждой частичке сущего есть что-то милое!

* * *

Через четыре года после первого отпуска Кавалер и Катерина вновь приехали в Англию и вновь пробыли там около года. Незначительность занимаемого Кавалером поста становилась все более очевидной — английских министров куда больше интересовало восстание в американских колониях и соперничество с Францией, — но его вклад в науку и в дело развития общественного вкуса ценились как никогда. Кавалер стал сим-

волом — таким же, как звезда и красная лента ордена Бани, в которых он позировал перед сэром Джошуа Рейнолдсом. На портрете он узнаваем безошибочно — благодаря эмблемам главных своих увлечений. Кавалер сидит у открытого окна на фоне увенчанной белой дымкой вершины Везувия, а на колене изящной, обтянутой белым чулком ноги покоится раскрытая книга, посвященная его коллекции ваз.

Порой на ассамблее, в театре или на аукционе рядом с Чарльзом Кавалер вдруг вспоминал о вулкане. Он гадал: в каком состоянии сейчас, в этот самый миг, пребывает своенравный Везувий? Кавалер явственно чувствовал жар на щеке, вибрацию под ногами, биение сердца в сонной артерии после трудного восхождения, потаенную пульсацию под внешней поверхностью лавы. Перед глазами вставала обрамленная валунами картина залива, изогнутые очертания города. Тем временем гости спокойно продолжали беседовать. Непостижимо, что он — здесь, а гора — там. Находясь в Англии, нельзя уразуметь суть Везувия. Конечно, и здесь случаются катаклизмы (исключительно холодная зима, лед на Темзе), но нет такого возвышающегося над миром самодержца — царя всех катастроф.

Где это он? Ах да. Здесь. В Лондоне. Тут друзья, которых надо навестить, картины, которые надо купить, вазы, которые он привез, чтобы продать, доклад о последних извержениях, который надо зачитать перед Королевским обществом. Его ждет посещение Виндзора, завтрак с родственниками, поездки в Уэльс, в Катеринино поместье. Там мало что изменилось. Да и везде все по-старому, разве что Катеринина астма стала хуже. Друзья, казалось, привыкли к его постоянному отсутствию. Никто не считал нужным высказываться по поводу его загара, худощавости, моложавого вида. Его лишь поздравляли с достойным всяческой зависти положением — он имеет возможность постоянно жить в теплой стране, куда все мечтают поехать хотя бы ненадолго. И как это хорошо для дорогой Катерины. Кавалер превратился в экспатрианта. Он стал интересен тем, что он — оттуда. Впрочем, друзья по-прежнему журили Кавалера за его, как они выражались, «бесшабашность». Собирай, привози нам сокровища легендарной страны, но не надо так сильно рисковать на этом ужасном вулкане. Помни о судьбе Плиния Старшего. Это было больше похоже на визит в чужую страну, чем на возвращение домой.

* * *

Прошел год с момента возвращения на место службы. Чарльз писал, что в этом году Катерино поместье должно принести хороший доход, рассказывал о недавно приобретенной скромной коллекции скарабеев и редких драгоценных камней. Также пришло письмо от Уолпола, близкого приятеля. Он извещал, что, к сожалению, не сможет приехать навестить Кавалера, как планировал. Письма в Лондон и из Лондона шли около месяца.

Обширная переписка — на английском, французском и итальянском — отнимала у Кавалера по три-четыре часа каждое утро. Он должен был посылать начальству в Лондон депеши с характеристиками главных персонажей местной политической сцены, самые нелицеприятные из которых составлялись шифром. Настоящие письма — Чарльзу, например, или Уолполу, или хорошему знакомому Джозефу Бэнксу, председателю Королевского общества — непременно были длинными и затрагивали множество тем. Это могли быть события при дворе («политика здесь пребывает в упадке»), текущее состояние археологических раскопок, пошатнувшееся здоровье

Катерины, новости касательно сексуальной активности местной знати и иностранных дипломатов, прелести недавней поездки на Капри или в деревеньку на побережье Амалфи, новые «красивейшие» или «истинно элегантные» или «любопытные» приобретения, и вулкан («источник мудрости и вдохновения»). Хитросплетенные любовные приключения занимают все время этих людей, отмечает Кавалер в письме к лорду Палмерстону. Сам же я занят совершенно другими делами, учитывая, что подобное проведение мною досуга было бы неприемлемо для Катерины, а кроме того, изучение естественной истории, археологии и вулканической деятельности поглощает меня всецело. Кавалер пишет записки об очередных выходках горы. Об опыте с электричеством, имеющим целью проверить один из экспериментов Франклина. О том, что обнаружил новый вид морских ежей среди прочей необычной живности, выловленной в скальной бухте неподалеку от летнего домика, который он теперь снимает в Посиллипо. О кабанах и оленях, убитых на охоте, и о бильярдных партиях, намеренно проигранных королю. Это письма, вдохновляющие на ответ. Вдохновляющие на сплетни, на пустую, но необходимую болтовню.

Письма говорят: я все тот же. Мне не на что жаловаться. Мне хорошо. Здешняя жизнь не изменила меня, у меня все те же, усвоенные дома, идеалы, я не одичал.

Иногда он чувствует себя в ссылке, иногда — дома. Здесь так спокойно. Ничто не меняется: Неаполь красив как на картинке, главное занятие богатых — развлечения. Король развлекается крайне экстравагантно, Кавалер — крайне эклектично.

Он пишет и рекомендательные письма… для музыканта, уволенного из оперы, для священнослужителя, рассчитывающего на более высокий сан, для наводняющих живописный город немецких и английских художников, для торговца картинами, для пятнадцатилетнего рыжеволосого ирландского тенора, нищего и невероятно талантливого (его вскоре ждет всемирная известность): Кавалер — неутомимый благодетель. Он выписывает для короля двух щенков ирландской гончей, выпрашивает у нелюбезного премьер-министра пятнадцать билетов на бал-маскарад во дворце (достать их совершенно невозможно) — живущие в Неаполе англичане возмущены тем, что не получили приглашения.

Он пишет быстро, неровно, большими буквами,

мало заботясь о пунктуации. Даже в чистовиках он делает кляксы и вымарывает слова — чрезмерная аккуратность ему несвойственна. Однако его (как и многих, кто в детстве страдал меланхолией) отличает повышенная самодисциплина. Он не отказывается ни от какой работы, ни от каких поручений — это входит в его широкие понятия о долге, благотворительности, взаимной выгоде.

Каждую неделю он получает несколько десятков просьб о помощи, патронаже или каких-либо других актах благотворительности, при этом многие приходят из отдаленных владений неаполитанского двора. Один сицилийский граф просил содействия Кавалера в том, чтобы его восстановили в должности начальника археологических раскопок в Сиракузах, откуда, по его словам, он был изгнан в результате заговора, выношенного в Палермо. Этот же граф, при распродаже имущества разорившихся семей сицилийской знати, посредничал для Кавалера и помог заполучить несколько замечательных картин, в том числе обожаемого Корреджо (до сих пор непроданного!). Просьбы часто подкреплялись подарками — интересными сведениями или материальными подношениями. Так, монсеньер из Катании, обратившись к Кавалеру за

помощью в получении должности архиепископа епархии Монреале, любезно сообщил, что на горе Этна есть место, где между двумя пластами лавы пролегает пласт глины. Каноник из Палермо, сопровождавший Кавалера при его единственном восхождении на Этну, вместе с прошением о помощи в продвижении по церковной службе прислал следующее: список найденных на Сицилии античных предметов, морские окаменелости из своей коллекции, каталог собранных за последние двенадцать лет камней, два куска лавы с Этны и один агат.

Наряду с репутацией «лица, к которому можно обратиться», Кавалер приобрел известность как человек, которому можно рассказать о своем увлечении, интересе, о ярком событии. Живущий в Катании француз прислал ему подробное описание недавнего извержения Этны. Монах из Монте-Кассино намеревался прислать словарь неаполитанских диалектов. Впрочем, любой человек, достаточно любознательный и дерзкий для того, чтобы считать себя «всем интересующимся», должен ожидать большого потока писем от незнакомцев.

Люди слали Кавалеру поэмы и образцы вулканического пепла, предлагали на продажу

картины, бронзовые шлемы, вазы, урны с прахом. Со всей Италии шли письма от директоров общественных библиотек: с благодарностями — за четырехтомник, посвященный коллекции ваз, за двухтомный фолиант писем о вулкане с прекрасными иллюстрациями выпестованного Кавалером местного художника — либо с просьбами прислать экземпляры упомянутых трудов. Житель Бирмингема, изготовитель коробочек из папье-маше, возносил Кавалера до небес за то, что тот предоставил ему и Джозии Веджвуду образцы рисунков с древних ваз из своей коллекции. Теперь эти рисунки повсюду распространяются на коробочках (на благо всего сословия, как он надеется) и на так называемом этрусском веджвудском фарфоре — что неминуемо должно способствовать развитию современного вкуса. Энтузиазм и особый талант к благотворительности связывали Кавалера с множеством разных миров. Ему предлагалось почетное членство в Академии Сиены и «Берлинском обществе любителей природы» (письмо пришло на французском). Председатель последнего также просил Кавалера прислать некоторое количество образцов вулканической породы для их коллекции. Какой-то молодой человек

из Лечче умолял Кавалера вступиться за честь изнасилованной сестры, в благодарность предлагая рецепт чудесного снадобья, увеличивающего количество грудного молока. Один из агентов в Риме прислал калькуляцию: реставрация недавно приобретенных Кавалером фрагментов скульптур — барельефа с вакхическим сюжетом, маленького мраморного фавна и головы Купидона — обойдется в сто пятьдесят скудо. Из Вероны от Società? dei Li-tologi Veronesi[6] пришел подписной лист на издание альбома ископаемых рыб, с призывом к Кавалеру пожертвовать средства. Посланник в Риме от имени князя Анхальт-Дессау испрашивал содействия в сохранении редких изданий о находках в Геркулануме, опубликованных за последние два десятилетия Королевской Геркуланумской академией. Некто из Ресины важно оповещал Кавалера о том, что высылает образцы вулканического пепла. Поставщик вина из Бона почтительно интересовался, когда он может надеяться получить плату за сотню ящиков шамбертена, высланного Кавалеру полтора года назад. Изготовитель шелка из Патерсона, Нью-Джерси, посещавший Кавалера в прошлом

---

[6] Примечания: 6
Минералогическое общество Вероны *(ит.).*

году, прислал, согласно обещанию, копию отчета об используемых на неаполитанских шелковых фабриках методах фиксации красителей с помощью гидроокислов алюминия. Местный осведомитель описывал, каким именно образом французам на неаполитанских фелюгах удается ввозить контрабанду. Другой осведомитель подробно освещал обстоятельства восхождения к власти и последующей гибели Тито Греко, главаря калабрийских бандитов. Кто-то из Неаполя прислал амулет, охраняющий от дурного глаза. А кто-то из Позитано, обладатель дурного глаза, чей порог соседи еженощно заваливали рыбьей требухой, просил защиты.

* * *

Кавалер обладал феноменальной памятью. И редко что записывал. Все хранилось у него в голове: обязательства, суммы, перечни… феноменальное изобилие. Он отправлял списки необходимых для пополнения библиотеки экземпляров книготорговцам Парижа и Лондона. Переписывался с антикварами и другими продавцами произведений искусства. Торговался с реставраторами, упаковщиками, перевозчиками, страховыми агентами. Деньги отвлекали от сути

коллекционирования — являясь как мерой стоимости, так и фальсификацией ее.

Чарльзу и торговцам картинами он жаловался, что цены на интересующие его вещи — картины и, хуже того, вазы — постоянно растут. Растут, в частности, из-за того, что *он* их собирает. Что повышает их ценность.

Сладкое бремя коллекционера (или законодателя вкуса… хотя все они, как правило, коллекционеры) — опережать остальных, но, когда другие начинают догонять, выпадать из конкурентной борьбы за то, интерес к чему сам же и создал. (Причем теперь, когда этим интересуются слишком многие, оно перестает казаться столь желанным.)

Некто — чаще всего это «он» — случайно находит нечто забытое, никому не нужное. Невозможно назвать такую находку открытием, назовем ее узнаванием. (С натяжкой — предчувствием открытия.) Он начинает собирать это нечто, или писать о нем, или делать и то и другое. Благодаря таким просветительским усилиям, то, на что никто не обращал внимания, что никому даже не нравилось, становится объектом интереса или восхищения многих. Они тоже начинают собирать это. Цены растут. И так далее.

* * *

Творение Корреджо. Промежность Венеры. Этим можно по-настоящему владеть — пусть короткое время. Самым ценным предметом, когда-либо попадавшим в руки Кавалера, была римская стеклянная ваза с камеей первого века до нашей эры, и ею он владел всего один год. (А затем продал старой герцогине Портлендской за двойную цену.) И бог с ней. Вещей много. Сами по себе они не важны. Моногамии в коллекционировании не существует. Зрение неразборчиво в связях. Алчный взгляд всегда ищет нового.

Вы дрожите, когда вдруг обнаружили *нечто.* Но вы молчите. Нынешний владелец не должен догадаться о том, что значит для вас эта вещь. Ни к чему, чтобы он взвинтил цену или решил не продавать вовсе. Поэтому вы храните спокойствие, рассматриваете что-то еще, идете дальше или выходите, небрежно бросая, что зайдете потом. Это целое театральное представление: вы заинтересованы, но не чрезмерно, вам нравится, даже очень, но не настолько, чтобы купить. И вовсе эта вещь вас не околдовала. И вы не готовы немедленно заплатить, сколько попросят (или даже больше), лишь бы срочно завладеть ею.

Коллекционер — лицемер, обманщик, человек, чья радость всегда омрачена тревогой. Потому что всегда есть нечто большее. Или лучшее. То, что на шаг ближе к идеалу, к предмету, который явится достойным завершением коллекции, — и этим тоже необходимо завладеть. Однако идеальное завершение, которого алчет всякий собиратель, есть цель иллюзорная.

Полное собрание не имеет той завершенности, к которой стремится коллекционер. Все до единой работы некого умершего знаменитого художника могут — теоретически, практически это трудно себе представить, — в конце концов, быть собраны где-то во дворце, в подвале или на яхте. (Все до единой? А уверен ли ты, гордый владелец, что не найдется еще одной?) Но даже если такая уверенность существует, удовлетворение от обладания полным собранием неизбежно проходит, рано или поздно. Полное собрание — мертвое собрание. Оно не дает потомства. Создав его, вы постепенно начинаете к нему остывать. И вскоре вас посещает желание продать его или подарить музею и отдаться новым поискам.

Великие коллекции огромны, но не полны. Незавершенность: повод искать завершенности. Всегда есть нечто *еще.* Но даже если есть все

— неважно что, — нужна лучшая копия (версия, издание) того, что уже есть; а если речь идет о массовой продукции (глиняной посуде, книгах, артефактах), тогда дубликат, на случай потери, порчи, кражи. Запасные копии. Тень коллекции.

Огромное частное собрание есть некий субстрат, который постоянно стимулирует, подхлестывает владельца. Не только возможностью пополнения, но и своей избыточностью. Коллекционер жаждет именно излишества, неумеренности, чрезмерности.

Этого чересчур много — но мне едва хватает. Тот, кто сомневается, спрашивая себя — нужно ли мне это? действительно ли необходимо? — не коллекционер. Коллекция — то, чего заведомо больше, чем необходимо.

* * *

Кавалер — на первом этаже, за приемной, где посетители ожидают, пока он сможет уделить им внимание, — в своем кабинете.

Комната производит впечатление захламленной. На столах древние терракотовые черепки, геммы; в шкафах — образцы лавы, камеи, вазы; стены завешаны картинами, одна из которых приписывается Леонардо. Гуаши местных живо-

писцев — извержение Везувия. В окне — телескопы, нацеленные на залив. На одной из стен под карнизом вьется золотая надпись: «La mia patria e dove mi trovo bene» («Моя родина там, где мне хорошо»), и от нее в кабинете сквозит высокомерием. Здесь Кавалер проводит большую часть дня, любуясь своими сокровищами. Их форма, пишет он, проста, прекрасна, разнообразна и не поддается никакому описанию.

* * *

Кавалер — под землей, в подвале, на своей «свалке».

Здесь хранятся отвергнутые вазы, лишние картины, мешанина из саркофагов, канделябров, слишком усердно отреставрированных античных бюстов. Помимо малоинтересных, не достойных показа работ, здесь прячутся и такие образцы античного искусства, известие о попадании которых в руки чужестранца не порадовало бы короля и его советников. Кабинет Кавалера посещают практически все, но мало кого из гостей допускают в подвальное хранилище. Всякий собиратель — потенциальный (если не фактический) вор.

Кто-то сказал: всего иметь нельзя — хранить

негде. Современная шутка. Шутка, которую можно понять в наше время, когда мир перенаселен, когда пространство съеживается и крепнут теллурические силы. Во времена Кавалера подобное вряд ли прозвучало бы.

Вообще-то иметь можно порядочно. Это зависит от желания, а не от наличия площади хранения. Зависит от того, до какой степени вы хотите забыть самого себя — от того, насколько вам плохо.

* * *

Кавалер — в обсерватории, которую устроил на верхнем этаже, вдоль южной и западной стен особняка. Стоя на балконе за окном, занимающим половину круглой комнаты, можно, не поворачивая головы, полностью вобрать взглядом голубое небо, землю, залив. Как счастлив Кавалер: ни в одном европейском городе, в центре, нельзя видеть ничего подобного! А он еще и приблизил этот вид — оказавшись посреди него, будто на утесе. Или в камере-обскуре. Кавалер велел завесить вторую половину комнаты зеркалами, и в них на закате появляется призрак Капри, по ночам — залив, играющий лунными блестками, и, иногда, полная луна, встающая, кажется, из

самого жерла вулкана.

Кавалер — на длинном парчовом сиденье, опоясывающем зеркальную часть комнаты. Он откинулся на подушки, читает книгу. Поднимает глаза. Как хорошо! Можно ли желать большего? Вот моя родина.

* * *

Кавалер — в гостиной на третьем этаже. Наблюдает за колонной серого дыма, поднимающейся, набухающей, повисающей в небе. Наступает ночь. Кавалер следит за продвижением мерцающей красным массы. Катерина в соседней комнате играет на спинете. Густой поток лавы ширится.

* * *

Кавалер — на склоне горы, с Бартоломео Пумо. Они одни. Два человеческих существа. Кавалер с кем-то моложе себя — привычная ситуация. Но Бартоломео — слуга, и Кавалер не ощущает потребности быть дядей. Кроме того, мальчик настолько скромен и настолько не подобострастен в обычном понимании этого слова, что Кавалер позволяет ему собой руководить. Приятно для

разнообразия побыть нерешительным, ведомым. Здесь, в демократии природы они на равных. В присутствии других Пумо играет подобающую роль, занимая положенное место в цепи общественной несправедливости.

К королеве прибыл с визитом брат, эрцгерцог Иосиф, и Кавалер повел венценосное семейство смотреть на новое извержение. Экспедицию, с тем чтобы обеспечить царственным особам максимальный комфорт, сопровождали сотни слуг, однако и они ничего не могли поделать с тем, что по мере приближения к кратеру воздух становился все горячее и горячее. Король начал сердиться и велел поставить паланкин на землю.

Как же мне жарко! — взревел он.

Но этого следовало ожидать, — заметила королева и с усталым раздражением посмотрела на брата, уверенная в его понимании.

Ух, какая у меня холодная женушка, — захохотал король. — Не добьешься сочувствия. Он наклонился к соседнему паланкину. — Смотрика, братец, как я вспотел, — проорал король и, схватив изумленного шурина за руку, сунул ее себе под рубашку. Чудовищная фамильярность мгновенно вызвала у австрийского эрцгерцога приступ самого что ни на есть дурного настрое-

ния. Секунду спустя он объявил, что одноглазый мальчишка невыносимо дерзок, и счел необходимым со всей силы обрушить на его голову палку. (Осторожный Бартоломео всего лишь осмелился выкрикнуть, что там, где они сейчас находятся, оставаться небезопасно.) Кавалер же, обследовавший в это время горку пемзы, выброшенной вулканом, не смог его защитить.

Кавалер — отнюдь не демократ. Однако его холодному сердцу не чужды некоторые понятия о справедливости. Он не смог бы повторить подвиг своего деда — о котором рассказывали, будто тот, напившись в таверне, вышиб мозги мальчишке-прислужнику, после чего, так и не осознав, что наделал, удалился к себе в комнату. Смущенный хозяин вошел вслед за ним и сказал: — «Милорд, знаете ли вы, что убили мальчика?» «Внесите в счет», — пьяно отозвался предок Кавалера.

* * *

Кавалер — в кабинете, составляет депешу лорду Палмерстону. Поднимает от бумаг глаза.

Они привезли это, — доносится от двери голос Катерины.

Это? Только не «это», моя дорогая. Мне обещали, что это будет «он».

Письмо проскальзывает под промокательную бумагу. Кавалер встает.

И где же это?

Она улыбается. В ящике, — говорит она.

Что ж, надо пойти и выпустить его.

«Он» сидел в большом дощатом ящике со щелями, такой черный, что невозможно было различить очертания его тела, и отчаянно чесался. Глаза ярко сверкали. От ящика воняло. Тучный Винченцо, мажордом, величественно зажимал нос платком. Рядом с ним, тоже почесываясь, стояли два мальчика-пажа.

Слуги, должно быть, боятся, что вы начнете коллекционировать животных, — предположила Катерина.

Что же, в окрестностях много диких зверей, — ответил Кавалер. — Но к ним я планирую добавить лишь одного. — И, обращаясь к разинувшему рот Пьетро и хихикающему Андреа: — Не будем больше держать беднягу в заточении, давайте освободим его.

Андреа взял инструменты, сделал шаг к ящику.

Чего же ты ждешь? Смелее! Он тебя не обидит.

Он на меня смотрит, Ваше превосходительство! Мне не нравится, как он на меня смотрит.

Разумеется, он на тебя смотрит. Ему интересно, что ты за терь.

Мальчик застыл на месте с широко раскрытыми глазами. Над верхней губой выступил пот. Кавалер отвесил ему шутливую, даже нежную, затрещину, взял ломик и молоток и начал открывать ящик сам.

Не успел он отодрать и несколько досок, как в образовавшееся отверстие с пронзительным криком выскочила глянцево-черная индийская обезьянка и прыгнула Кавалеру на плечо. Слуги отшатнулись и перекрестились.

Видите, какой он добрый.

Обезьяна уперлась лапкой в парик Кавалера и издала негромкий клич. Похлопала по парику. Затем, сжимая и разжимая пальчики, исследовала черную ладошку. Кавалер потянулся, чтобы снять обезьяну с плеча, но та оказалась проворнее и соскочила на пол. Кавалер крикнул, чтобы дали веревку. Он приказал поместить обезьяну в главную подвальную комнату, привязать и создать все необходимые удобства. После чего вернулся в кабинет, закончил депешу, полистал, уделяя особое внимание вопросам правильного питания, одну из книг об обезьянах, полученных от лондонского поставщика, и начал письмо

Чарльзу. Когда через час Катерина пришла звать его к ужину, Кавалер велел, чтобы обезьяну тоже покормили. Плошку риса и плошку козьего молока с водой и сахаром, — со знанием дела распорядился он.

Во второй половине дня он спустился в подвал проведать нового питомца. Того разместили у высокого углового окна, расчистили там место, постелили постель. Плошки были пусты. Обезьяна бросилась к Кавалеру, но ее не пустила цепь. Я же говорил про веревку, подумал Кавалер. Достаточно и веревки. Обезьяна загремела цепью и начала, почти не переводя дыхания, издавать пронзительное «у! у! у! у!» — это продолжалось самое малое минут десять. Наконец она устала и, часто дыша, улеглась. Кавалер подошел, сел на корточки и стал поглаживать черную голову, перебирать длинную шерсть на руках, пробежал пальцами по животу и ногам. Обезьяна каталась на спине, отвечала на ласку тихим горловым урчанием, а когда Кавалер перестал ее гладить, схватила за большой палец и подтащила его руку к своему животу. Кавалер отстегнул цепь, поднялся и стал ждать, что будет делать обезьяна. Та поглядела на Кавалера, потом обвела взглядом комнату, лес окружающих предметов. Кавалер

мысленно приготовился к тому, что обезьяна снова вскочит на него. Она же с мудрым видом кивнула новому хозяину, легко вспрыгнула на голову Цицерона (копия, семнадцатый век, мелькнуло в голове Кавалера) и стала лизать мраморные кудри. Кавалер рассмеялся.

* * *

Кавалер — в кабинете, заканчивает очередное письмо Чарльзу. Обезьяна свернулась у ног мраморной Минервы, спит или притворяется, что спит. На ней малиновый жилетик (такие носят местные крестьяне), оставляющий открытыми волосатые бедра и длинный толстый хвост. Она вполне освоилась. Самый маленький гражданин маленького частного государства. Кавалер добавляет в постскриптуме: Я практически неразлучен с чудесной обезьянкой из Восточной Индии. Это очаровательное живое создание, которому менее года от роду и которое не только является для меня новым источником забавы, но и дает новый повод для размышлений.

Во времена Кавалера знатоки природы с восторгом — объявляя себя потрясенными до глубины души — отмечали сходство между обезьяной и человеком. Но обезьяны значительно более

людей животные общественные. Когда обезьяна одна, в ней не может выразиться вся обезьянья природа. Одинокая обезьяна суть изгнанник — и приступы депрессии обостряют ее врожденные умственные способности. Будучи в одиночестве, обезьяна лишь удачно пародирует человека.

Джек, продолжает Кавалер, так я назвал его, Джек, обладает умным угольно-черным лицом, обрамленным светло-коричневой бородкой. Вопросы разумности Кавалер наиболее подробно освещает в письмах тем корреспондентам, чьи умственные способности уважает. Джек разумнее многих, с кем мне выпала судьба общаться здесь, пишет Кавалер Уолполу. Движения его утонченнее, а манеры — благороднее.

* * *

Кавалер — в комнате, куда ему подают завтрак. Рядом столик, на котором лежат камеи, инталии, добытые из кратера куски лавы и пемзы; стоит новая, только что купленная ваза. Джек рядом. Меньше чем за месяц он сделался таким ручным, что приходит на зов Кавалера, садится с ним за стол и грациозно таскает с хозяйской тарелки кусочки яйца или рыбы. Жидкости — а он любит кофе, шоколад, чай, лимонад — Джек обычно

поглощает так: обмакивает костяшки черных волосатых пальцев в чашку и после облизывает их. Впрочем, когда он сильно хочет пить, то хватает чашку обеими руками и пьет как человек. Из того, что ест Кавалер, Джек особенно любит апельсины, инжир, рыбу и сладости. Вечером он иногда получает стакан мараскина или местного везувианского вина. Кавалер, почти не употребляющий спиртных напитков, любит, когда его гости наблюдают за Джеком, макающим и облизывающим черные пальчики. Он, этот сморщенный бородатый ребенок, пьянеет так, как пьянеют дети: становится непослушным, а потом внезапно, в неловкой позе, засыпает.

У Джека богатый запас ракушек, цветов, пуговиц, которыми он играет и которые внимательно рассматривает. У него удивительно проворные пальчики. Он тщательно чистит виноградину, потом кладет перед собой и долго, вздыхая, на нее взирает, прежде чем отправить в рот. У него есть спортивное развлечение — охота на насекомых. Он выискивает пауков в трещинах стен особняка и ловит мух одной рукой. Часто, усушившись большими, поразительно круглыми глазами на инструмент, Джек наблюдает, как Кавалер упражняется в игре не виолончели. На ежене-

дельных музыкальных ассамблеях Кавалер стал усаживать его перед гостями. Но нередко, слушая музыку — музыка определенно ему нравилась, — Джек начинал грызть коготки: возможно, музыка его еще и нервировала. Он зевал, мастурбировал, искал вшей в длинном хвосте. Иногда расхаживал из стороны в сторону или, не отрываясь, глядел на Кавалера. Может, ему было скучно. Кавалер не знал, что такое скука.

Джек был мил, чрезвычайно доверчив. Он ходил с Кавалером за руку, помогая себе при ходьбе другой рукой. Кавалеру приходилось склоняться на один бок. Это ему не нравилось, он не нуждался в суррогатном ребенке. В его отношении к питомцу появилась едва заметная жестокость, он начал дразнить Джека, лишать каких-то милостей. Солил молоко. Стукал по голове. «У! у! у! у!» — жаловался Джек, хватая хозяина за руку, когда тот по утрам приходил навестить питомца. Кавалер отбирал руку.

В одно прекрасное утро Кавалер, явившись в подвал, обнаружил, что обезьяний тюфяк пуст. Джек перегрыз веревку и сбежал. Раздраженный Кавалер закрылся в кабинете. Слуги, чертыхаясь, перевернули вверх дном все комнаты. На третий вечер Джека нашли в винном подвале. В руках у

него был изгрызенный почти до неузнаваемости фолиант в кожаном переплете — работа Пиранези по каминным полкам. Алессандро потянулся, чтобы накинуть на обезьяну веревку. Джек оскалил зубы — и укусил слугу. Позвали Кавалера. Джек уворачивался, но все же позволил взять себя на руки. И попытался стянуть с Кавалера парик. Кавалер ухватил обезьяну крепче. Создавалось впечатление, что за время отлучки Джек вспомнил о своей природе и сделался большей обезьяной, чем был до этого, — хитрой, скандальной, похотливой, плутоватой. Кавалер хотел видеть в питомце не ребенка, а скорее, протеже, шута… а бедный Джек любил его самозабвенно и подчинялся требованиям. Тогда-то и началась настоящая дрессировка, его истинное служение Кавалеру.

Тот научил Джека имитировать отрешенный взгляд ценителя искусств, проделывать перед посетителями, рассматривающими коллекцию, разные трюки. Поднимая глаза, гости вдруг обнаруживали, что дрессированная обезьянка Кавалера тоже изучает через лупу вазу, или с ученым видом листает книгу, или вертит в лапках камею, подносит ее к свету. Очень ценная вещица. Да-да. Определенно. Вижу, вижу. Очень

интересно.

Джек, приставив лупу к глазу, щурился, поднимал голову, чесал в затылке, снова возвращался к изучаемому предмету.

Не подделка ли?

Подделка!

Подделка!!

Затем, смягчившись, Джек ставил вещь на место. (Если бы обезьяны умели улыбаться, он улыбался бы.) Мол, проверил на всякий случай. Осторожность не повредит.

Гости Кавалера смеялись над обезьяной. Кавалер смеялся над собой.

Кавалер позволял обезьяне донимать слуг и даже Катерину. Она не любила демонстрировать неприязнь к тому, к чему муж питал склонность, и сумела привязаться к Джеку. Тот же всегда с нетерпением ждал момента, когда Катерина выйдет из комнаты в ватерклозет, летел следом и приставлял глаз к замочной скважине. При Катерине Джек усердно мастурбировал. Хватал за пенис пажа Гаэтано, когда Кавалер брал его с собой на рыбалку. Скабрезные выходки питомца забавляли хозяина. Кавалер не очень сердился, даже когда Джек разбил вазу (не из ценных, разумеется, стоит ее склеить, и никто не заметит

разницы). В жизни Кавалера Джек был маленьким примечанием, гласившим: все пустое, все пустое.

* * *

Кавалер с Джеком стояли в самом центре концентрических кругов сарказма, из которых, казалось, состоял мир. Зоопарк общественного устройства был полностью предсказуем: нового дипломатического назначения он не получит. Жизнь расписана до самого конца — интересная, спокойная, не потревоженная страстью. Сюрпризы преподносил один лишь вулкан.

1766, 1767, 1777… 1779. Каждое следующее извержение было сильнее предыдущего, каждое предвещало грядущую катастрофу. Последнее оказалось самым сильным. Двери и окна летнего дома в Портичи раскачивались на петлях. Джек нервно прыгал, прятался под столами, бросался к Кавалеру на колени. Катерина, в душе питавшая к обезьяне почти такое же отвращение, как и слуги, изображала заботу о бедном крошке: как ему, должно быть, страшно. Обезьяне дали опия. Катерина вернулась к клавесину. Милая Катерина, подумал Кавалер.

Наблюдая с террасы, он видел, как из кратера

один за другим вырываются клубы белого пара. Постепенно облако стало в три раза больше самой горы и заполнило небосвод. Белое все больше прорастало черными прожилками, в точности как описал Плиний Младший: Candida interdum, interdum sordida et maculosa (иногда белые, иногда пятнистые, грязные). Он имел в виду земляную пыль, поднимаемую в воздух вместе с паром. Затем случился летний шторм, потом тропическая жара, а через несколько дней из жерла вырвался огненный фонтан. По ночам тора светилась тусклым зловещим светом, и можно было читать в постели. В письме Королевскому обществу Кавалер описывал черные штормовые облака, яркий огненный столб, раздвоенные молнии: зрелище скорее прекрасное, нежели пугающее.

* * *

Нам свойственно очеловечивать вулкан, наделять его чувствами — жестокостью, равнодушием, стремлением к разрушению — в том объеме, в котором они присущи нам самим. Зверские фантазии, которые маркиз де Сад увез с собой из Неаполя после пяти месяцев пребывания у бездействующего тогда Везувия, могло спровоцировать любое другое страшное природ-

ное явление. И через много лет, в «Джульетте», неизбежно появилась следующая сцена у вулкана: она взбирается к вершине в сопровождении двух мужчин, одного из которых, утомительного господина, вскоре сбрасывает в огненную пропасть, а с другим, приятным, совокупляется на краю кратера.

Пресыщенный Сад не постигал ровной, безмятежной страсти. Кавалер не боялся угасания чувств. Гора рождала в нем желание созерцать. Каким бы шумным ни был Везувий, он дарил Кавалеру то же, что и коллекция: острова тишины.

* * *

Май 1779 года. На склоне. Везувий светится тусклым оранжевым светом. Кавалер, широко раскрыв бледно-серые глаза, стоит неподвижно. Земля дрожит под ногами. Поднимающийся раскаленный воздух шевелит брови, ресницы. Дальше идти нельзя.

Опасность таит не земля, а невыносимый, смертоносный воздух. Они с Бартоломео, с трудом удерживаясь на ногах, пригибаясь к земле из-за клубящегося дыма и падающих камней, идут по диагонали, прочь от потока лавы, по ветру, чтобы их не захлестнуло дымом. Вдруг направление

ветра меняется, и в лицо летят обжигающие струи серы. Повсюду — ослепляющий, удушающий дым. Спускаться невозможно.

Слева — расщелина. Справа — поток лавы. Ничего не понимая, Кавалер озирается по сторонам. Где Бартоломео? Он словно растворился в дыму. Где же он? Ах вот, идет не в ту сторону, кричит и манит Кавалера. Сюда!

Путь преграждает широкий, не менее шестидесяти футов, страшный поток рыжей зернистой лавы.

Сюда! — кричит Бартоломео, показывая на другую сторону. Одежда Кавалера начинает дымиться. Дым разрывает легкие, ест глаза. Впереди — огненная река. Я не буду кричать, говорит себе Кавалер. Но это — смерть.

Идите же! — кричит Бартоломео.

Не могу, — стонет Кавалер, и сознание словно отступает. Мальчик бежит к потоку лавы. Удушающий дым, крики Бартоломео — Кавалер ушел глубоко в себя. Бартоломео ступает на корку, стягивающую поверхность лавового потока, и идет по ней. Те, кто следовал за Христом по воде, удивлялись меньше, чем теперь Кавалер. Мальчик не проваливается. Кавалер идет за ним, идет, будто по живой плоти. Если не останавли-

ваться, верхняя корка выдерживает вес тела. За какие-то секунды страшный переход совершился. На другом берегу они, выкашливая ядовитые пары, снова оказались на подветренной стороне. Рассматривая обгоревшие ботинки, Кавалер исподтишка бросает взгляд на Бартоломео. Тот грязным кулаком трет свой видящий глаз. Это ведь мой талисман неуязвимости. Кавалер со своим Циклопом, Король Кубков со своим Дураком — не то чтобы совсем неуязвимый, но все-таки в безопасности. С ним — в безопасности.

* * *

Август 1779 года. Суббота, шесть часов. Сильнейший подземный толчок должен был по меньшей мере пошатнуть фундамент виллы Кавалера, которая стояла у самого подножья горы — если не хуже. Но Кавалер в это время был в городском доме и спокойно смотрел из обсерватории на фонтаны докрасна раскаленных камней. Через час в воздух взметнулась огненная струя. Она быстро достигла невероятной высоты — вдвое большей, чем высота горы, — огненная колонна в десять тысяч футов, усыпанная черными точками дымных облачков, прорезаемая мгновенными зигзагами молний. Солнце исчезло. Черные тучи

накрыли Неаполь. Закрылись театры, открылись церкви, сформировались процессии. Улицы заполонили люди, они стояли на коленях со свечами в руках и возносили мольбы святому Януарию. В кафедральном соборе кардинал воздел к небесам фиал с кровью святого и начал согревать его руками. Это достойно того, чтобы посмотреть поближе, сказал Кавалер — имея в виду гору, а не чудо. Он послал за Бартоломео и на лошади отправился по тускло освещенным улицам из города, в ночь, по темным дорогам, мимо черных скелетов деревьев и обугленных виноградников к полыхающей горе.

Неожиданно извержение прекратилось, и, если не считать тлеющих на Везувии углей и небольших потеков лавы на верхних склонах, повсюду воцарилась темнота.

Через час, когда на небо выкатилась круглая луна, Кавалер доехал до деревни, расположенной на одном из нижних склонов. Дома были наполовину погребены под вулканическими выбросами, под пылью, колышущейся от жара. Луна взошла выше и осветила мертвенным светом черные, изломанные, чешуйчатые дома.

Спешившись и передав поводья Бартоломео, Кавалер осмотрелся. Улицы залиты лунным све-

том, всюду мерцающий пепел, тусклые камни. Деревня завалена валунами весом до ста фунтов; дома почти не пострадали, но окна все разбиты. Кое-где провалились крыши. К Кавалеру подходили люди с перепачканными сажей лицами и с головешками в руках. Каждый хотел рассказать свою историю. Да, они оставались в домах, что еще было делать. Некоторые пробовали выйти, прикрывая головы подушками, столами, стульями, крышками винных бочек, но пришлось отступить — они не могли дышать от жара, пыли и серы. Кого-то сразу ранило камнями.

Кавалер наслушался ужасов. Затем его отвели посмотреть на семейство, которое спряталось раньше времени, накануне, и загадочным образом погибло. («Никто не заставлял их идти в погреб, Ваше превосходительство, и сидеть там!») Перед низким входом в погреб один из жителей деревни прошел вперед и осветил головешкой печальную немую сцену. Мать, отец, девять детей, несколько кузенов и бабушка с дедушкой: все сидят выпрямившись, прислонясь к земляной стене, и глядят прямо перед собой. Одежда цела. Лица не искажены — значит, они умерли не от удушья. Все в их внешности обычно, за исключением волос, безжизненных волос, посыпанных

белой пылью. Из-за них — крестьяне не носят париков — мертвые похожи на статуи.

Интересно бы знать наверняка, отчего они умерли, думает Кавалер. От мощного, направленного именно сюда подземного толчка? От проникновения в погреб струи смертоносного вулканического газа? В ответ на его мысли из-за спины раздается голос мальчика, юного Бартоломео. Они умерли от страха, милорд.

6

Паж Кубков прибыл в конце октября. В самом деле, кто же еще. Кавалер досадовал на собственную недогадливость: как можно было не понять, кто он.

Действительно, родственник — троюродный брат Кавалера, Уильям Бекфорд. К своим двадцати годам он уже был фантастически богат и являлся автором тонкой иронической книжицы, собрания вымышленных биографий. Активный коллекционер и знаток искусства, он был своенравен, склонен жаловаться на судьбу, охоч до всяческих зрелищ, соблазнов, сокровищ. Сокращенный, пунктирный вариант Гранд-тура (Уильям выехал из Англии лишь два месяца назад) в рекордно короткие сроки привел его в самый южный пункт маршрута, на гостеприимный порог Кавалера. Произошло это как раз перед началом сезона, когда начинает дуть горячий ветер, один из тех знаменитых ветров южной Европы (мистраль, фен, сирокко, трамонтана), которые, как дни перед менструацией, используются для оправдания всякой нервозности, беспокойства, слезливости — коллективный сезонный ПМС.

В воздухе витала тревога. По узким крутым улочкам, поджав хвосты и поскуливая, рыскали собаки. Женщины оставляли новорожденных младенцев на порогах церквей. Утомленный Уильям, с нездоровым блеском в глазах, терзаемый несбыточными мечтами о чем-то еще более экзотическом, более зрелищном, растянулся на парчовой кушетке и сказал: уверен, это далеко не все. Я хочу видеть больше. Больше. Больше.

Кавалер узнал в молодом человеке себя — представителя людей той редкой породы, которым никогда, ни единой секунды на протяжении долгой жизни, не бывает скучно. Он показал Уильяму всю свою коллекцию, все трофеи, все самостоятельно нажитое добро. (Едва ли он был способен отрешиться от мысли, что этот мальчик является, точнее, скоро должен стать самым богатым человеком в Англии.) Кавалер показал шкафы, набитые сокровищами. Картины, висящие в три-четыре ряда на стенах, большинство — семнадцатого столетия, итальянские. Мои этрусские вазы, — сказал Кавалер. Восхитительно, — сказал Уильям. Образец из моей коллекции вулканических пород. О таком можно только мечтать, — сказал Уильям. А вот мой Леонардо, — показал Кавалер. Неужели, — поразился Уильям.

Все замечания юноши были удивительно точны и уместны. Взаимная симпатия взбудоражила обоих. Но Кавалер не нуждался в еще одном (более сложном, более блистательном) племяннике. Уильям был нужен скорее Катерине, робко, но страстно потянувшейся к родственной душе, к тени несуществующего сына.

Они мгновенно оценили друг друга. Он сказал об этом ей. Она сказала об этом ему. Они упивались родством своих душ — красивый, кудрявый молодой человек с сильными бедрами и обкусанными ногтями и хрупкая сорокадвухлетняя женщина с широко посаженными, чуть выпуклыми глазами. Они принадлежали к разным поколениям, вели совершенно разную жизнь. Тем не менее, у них оказались схожие вкусы и схожие горести. От обычных разговоров они — каждый со своим узелком печалей и несбывшихся надежд — перешли к доверительным беседам. Уильям, как младший и к тому же мужчина, счел себя вправе начать первым.

Он раскрыл перед ней свой внутренний мир, полный непонятного (так он сказал) томления. Он описал свою жизнь дома, в Фонтхилле, — как он мрачно ходит из угла в угол по кабинету, как читает книги, как плачет над ними, как он полон

недовольства собой и своими глупыми мечтаниями (от которых не намерен отказываться никогда, до самой глубокой старости), как его бесит недалекость матери, тупость учителей, бездушие окружающих.

Читали ль вы «Страдания юного Вертера»? Я думаю, в каждой строчке этой книги сверкает истинный гений.

Этот вопрос — проверка для Катерины.

О да, — отвечает она. — Я обожаю эту книгу.

Все произошло стремительно, как это часто случается. Только вчера вы изредка, в гостях или на концертах, встречали Такого-то, о котором и думать забывали между встречами. Потом, в один прекрасный день, вы распахнули дверь — и упали в пропасть. И вот, изумленно и благодарно, вы спрашиваете себя: может ли эта удивительная личность быть тем самым человеком, который казался всего лишь… самым обыкновенным?… Да. Может.

Я хочу быть только с вами. А я, мой дорогой, с вами.

Из окна кабинета на вилле в Портичи Кавалер видел, как они, бок о бок, молча замирают на террасе. С террасы он видел, как они медленно удаляются по аллее под сводами мирта и вино-

града. Из галереи он видел их вдвоем за роялем. Иногда играла одна Катерина, а Уильям располагался на канапе у трехногого столика и листал книги Кавалера. Кавалер был рад, что у Катерины появился друг, кто предпочитает ее общество обществу самого Кавалера.

Они не просто играли вместе, как, бывало, Кавалер и Катерина. Они импровизировали, соревнуясь друг с другом, добиваясь наиболее выразительного звучания, наиболее проникновенного декрещендо.

Катерина призналась, что тайно сочиняет музыку. Эти свои «порывы души» она никогда никому не исполняла. Уильям упросил ее сыграть. Сначала это был менуэт, стремительная веселая мелодия. Потом — менуэт произвел впечатление, и Катерина расхрабрилась — сочинение в более свободной манере и более серьезное: медленное, загадочное, с долгими печальными аккордами.

Уильям признался, что всегда мечтал сочинять музыку, но знает, что ему не хватает созидательного пыла. Она возразила, что он слишком молод и не может этого знать.

Нет, — Уильям покачал головой, — я умею лишь мечтать, но вы, — он поднял глаза, — поверьте, я не льщу вам. Вы — прекрасный музыкант,

Катерина. Я не знаю никого, кто чувствовал бы музыку так, как чувствуете вы.

Когда мне нужно было играть для Моцарта, — сказала она, — я вся дрожала, садясь за инструмент. Его отец заметил, я видела.

Я тоже вечно дрожу, — сказал Уильям.

Каждый почувствовал, что понят (наконец-то!) другим. До этого Уильям считал, что удел такого мужчины, как он, — оставаться никем не понятым. Но вот появилась эта женщина — ангел! — которая полностью понимает его. Катерина же, вероятнее всего, считала, и ошибочно, что встретила редкий экземпляр мужчины, лишенного эгоизма.

Он дарил подарки, которые ей льстили. Возвышенные отношения. Он нашел мудрую, образованную, элегантную, доброжелательную женщину старше себя — всякий молодой человек ищет наставника. А она, в том возрасте, когда это уже казалось невозможным, обрела нового мужчину — всякая женщина нуждается или думает, что нуждается, в эскорте.

Катерина с самого начала прониклась отвращением к дворцовой жизни — дочь богатого буржуа отличалась большей щепетильностью, чем ее истинный патриций-муж. Кавалер объяснял

подобные эмоции склонностью жены к уединению и только больше уважал ее за это. Катерина предпочитает вести жизнь отшельницы, писал Кавалер Чарльзу, восторженно преувеличивая, а мне часто приходится проводить время с королем. Союз Кавалера и Катерины был устроен так, что подчеркивал их разность. Так бывает у большинства пар — двух детей в одной семье, мужа и жены, босса и секретаря — разделение ролей. Ты замкнут, а я общителен; ты разговорчив, а я — лаконичен; ты толстый, а я — худой; ты будешь читать стихи, а я возиться с мотоциклом. С Уильямом Катерина образовывала более редкую пару — союз, в котором двое очень разных людей стремятся к максимальной схожести.

Ей хотелось доставлять удовольствие ему, а ему — делать приятное ей. Их трогала, восхищала одна и та же музыка, поэзия; отвращали одни и те же вещи (убийство животных, вульгарные разговоры, интриги аристократических салонов, придворное шутовство).

Кавалер, чья жизнь в силу обстоятельств была во многом посвящена именно убийству животных, вульгарным разговорам, интригам аристократических салонов, придворному шутовству, радовался, что Катерине есть с кем

поговорить по душам, есть перед кем проявить свою чувствительность. Но это должен быть непременно мужчина — удивительно, Катерина никогда не получала удовольствия от общения с особами своего пола, — к тому же, мужчина много моложе, чтобы она могла относиться к нему по-матерински, и, в идеале, сам любящий мужчин, чтобы Кавалер был избавлен от ненужного беспокойства.

Без ревности, напротив, с одобрением, Кавалер замечал, что в обществе этого юноши Катерина выглядит совсем молодой и — счастливой.

Они вдвоем долго сидели на террасе, наслаждаясь видом на Неаполь и залив. Теперь пробило шесть, и они вошли в дом, в комнату с окнами на Везувий. Любимая горничная Катерины принесла чай. Свет стал приглушенным, мягким. Зажгли свечи. Но они не слышали суеты слуг, стрекота цикад. Не обращали внимания на нечастое рокотание вулкана.

После долгого молчания Катерина села за рояль. Уильям слушал со слезами на глазах.

Пожалуйста, спойте, — попросила она. — У вас красивый голос.

Вы разве не споете со мной дуэтом?

О, — засмеялась она. — Я не пою. Я не люблю,

никогда не умела…

Чего, дорогая Катерина?

Кавалер вернулся поздно, в грязных сапогах, весь забрызганный кровью, потный, полный свежих воспоминаний о королевской жестокости, и увидел их за роялем. Они тихо смеялись, их глаза сияли. Но я ведь тоже тонкий человек, подумал он. А удостоился роли того, кто «не понимает».

* * *

Легкий тенор Уильяма долго держал последнюю ноту, затем смолк. Рояль еще некоторое время звучал неслышно — в чем и кроется секрет выразительности этого инструмента.

Катерина, — позвал Уильям.

Она повернулась к нему и кивнула.

Никто никогда не понимал меня так, как вы, — сказал он. — Вы ангел. Вы бесценная женщина. Если бы я только мог остаться здесь, под вашим благодатным влиянием, я был бы совершенно исцелен.

Нет, — сказала Катерина. — Вы должны вернуться в Англию, к своим обязанностям. Я уверена, что вы сумеете победить ваши слабости. Они — продукт вашей исключительной чувствительности, происходящей от чрезмерной

мягкости сердца. Такие чувства подобны горячке, они проходят.

Я не хочу возвращаться домой! — воскликнул он, жалея, что не осмеливается взять ее за руку. Какая она сейчас красивая. — Катерина, я хочу остаться с вами.

Уильям считает, что страдает от душевного расстройства, принявшего форму безграничной жажды всего странного, необычного. Какое лестное объяснение! В действительности, ему лишь не дано заключить в объятия тех, кого хочется заключить. Самая сильная неудовлетворенность — неудовлетворенность сексуальная. Любви всей его жизни, когда они впервые встретились, было одиннадцать. Четыре долгих года Уильям обхаживал свой предмет, пока наконец одним прекрасным утром его не застали в постели мальчика. Виконт Кортиней отказал Уильяму от дома, угрожая подать в суд, если тот еще хоть раз осмелится приблизиться к его сыну. Уильям пересек Канал и отправился на юг.

Он искал пристанища под более древними и снисходительными небесами. Но никакая степень чуждости не способна умерить страдания сексуального изгнанника. Нет места настолько низменного, настолько *другого.* (Разве что по-

том, в памяти — в воспоминании, в рассказе.) На севере южной страны он стал виновником аналогичного скандала, от которого снова пришлось бежать: опять страсть к пятнадцатилетнему отпрыску благородной венецианской фамилии, скорое разоблачение, ярость еще одного разгневанного отца, погнавшая Уильяма из города и сбросившая его на самый низ полуострова — в неаполитанские обольщения, в неаполитанскую апатию, в одинокое сердце Катерины.

* * *

Она чувствовала себя лучше, бодрее и (отметил Кавалер) привлекательнее. Он же под ее благотворным влиянием исправлялся. Ими найдена тихая гавань, крайний вариант интимности: добровольный остракизм. Каждый стремился только и единственно к обществу другого.

Разумеется, они не могли быть наедине в буквальном смысле слова. Как и подобало человеку, превосходящему богатством любого лорда, Уильям не мог путешествовать без наставника, секретаря, личного врача, мажордома, кухарки, пекаря, художника, обязанного зарисовывать виды, которые господин желает запечатлеть, трех камердинеров, пажа и так далее, и тому

подобное. И Катерина с Кавалером тоже держали огромный штат прислуги: в городском особняке, на вилле возле королевского дворца в Портичи, в пятидесятикомнатном охотничьем доме в Казерте. Слуги были повсюду, чтобы обеспечить господам комфорт, однако — подобно черным фигурам театра но, появляющимся на сцене, чтобы поправить сложный костюм персонажа или быть ему опорой — слуги не принимались в расчет.

Да, они были наедине.

Эти отношения, отмеченные прелестью недозволенности, развивались перед лицом — и с благословения — Кавалера. Это был роман, пусть и обреченный остаться незавершенным. Они могли любить друг друга потому, что каждый безнадежно любил кого-то еще. Что, какие самозабвенная, абсурдная любовь Катерины к Кавалеру после двадцати двух лет брака и не импульсивные увлечения Уильяма тщательно оберегаемыми юношами своего круга, позволили им влюбиться друг в друга, нисколько не тревожась об этом, не чувствуя необходимости что-то с этим делать?

Будучи влюблены и не способны это признать, они с удовольствием предавались разговорам о любви вообще. Есть ли чувство более сладкое и

жестокое, — сказал Уильям. — Сердце переполнено так, что не можешь говорить, а можешь лишь мечтать и петь — вам знакомо это чувство, Катерина, знаю, что знакомо. Иначе вы не понимали бы с такой полнотой того, что чувствую я, — чувствую, но вынужден скрывать.

Любовь — всегда жертва, — сказала в ответ Катерина (и она знала, о чем говорит). — Но тому, кто любит, дарована лучшая доля, чем тому, кто позволяет себя любить.

Мне не нравится быть несчастным, — сказал Уильям.

Ох, — вздохнула Катерина и поведала о том, как давно чувствует себя несчастной, не имея для этого, казалось бы, никаких оснований, — ведь она до сих пор униженно благодарна Кавалеру за то, что тот на ней женился. Уверенная в своей некрасивости — и презирающая себя за суетность подобных мыслей, — она с благоговением гадкого утенка взирала на элегантного мужа, который, с его длинным орлиным носом, стройными ногами, тонкими замечаниями, пристальным взглядом, казался таким привлекательным. Она до сих пор тосковала по нему, если он отсутствовал дома более одного дня, у нее до сих пор слабели колени, когда он входил к ней в

комнату… Она обожала его силуэт.

Вы не осуждаете меня? — тихо спросил Уильям.

Дорогой мальчик, вы сами осуждали себя достаточно. Вам лишь нужно неуклонно идти к той высокой цели, к которой вы в душе стремитесь. Ваше чистосердечие, деликатность чувств, музыка, которая нас объединяет, — прошу, скажите, что в сердце вашем живут чистые помыслы.

Взаимные уверения в природной чистоте, невинности — неважно, насколько различно их окружение, насколько порочна его жизнь.

Уильям, сопротивляйтесь обольщеньям этой нежной, но преступной страсти! Так называла она любовь юноши к особам одного с ним пола — такая любовь не могла не пробудить никогда не засыпавшего в ней стремления осуждать. Зато ее мужа — среди друзей которого были Уолпол и Грэй, патрон жуликоватого ученого, переименовавшего себя в барона Д…Анкарвилля (он составлял издание, посвященное вазам Кавалера) — наклонности Уильяма нисколько не шокировали: и в те времена в мире собирателей произведений искусства, особенно античного, имелось необычайно много мужчин, питавших слабость к лицам своего пола. Кавалер гордил-

ся тем, что свободен от предрассудков. Однако он считал подобное пристрастие недостатком, которое делает своего адепта социально уязвимым, а иногда, увы, подвергает его опасности. Невозможно забыть ужасный конец великого Винкельмана — двенадцать лет назад в дешевой гостинице в Триесте он был забит до смерти молодым карманником, после того как вздумал показать ему сокровища, которые вез в Рим. Будь осторожен, Уильям! Придерживайся мальчиков своего круга.

* * *

Они оба не вписываются в окружающую действительность, оба любят то, чего не могут получить. Поэтому они союзники. Она защищает его, он дает ей возможность почувствовать себя желанной. Каждый из них так удачно удовлетворяет потребности другого. Как лестно было бы для обоих, если бы их считали *любовниками.* Это означало бы, что его считают способным любить женщин, а ее — все еще привлекательной. И обоих — храбрецами, способными отбросить все предосторожности. Подобные отношения, очень редко приводящие к постели, есть одна из классических форм проявления гетеросексуальной

платонической любви. Вместо удовлетворения желания здесь возвышение духа. Они — тайное общество из двух человек, они постоянно на взлете, в экзальтации, их возбуждает соучастие.

Их голоса стали глубже. Разговоры перемежаются долгими паузами. Руки соприкасаются над клавишами, ее лицо повернуто к его лицу, она склоняется к нему. Потаенные улыбки, замирание в груди, пронзительная красота Скарлатти, Шоберта, Гайдна. Вулканические спазмы игнорируются. На зрелища отвлекаться некогда.

Когда она играет, он зримо видит музыку — та дугой поднимается от ее изящно двигающихся ног, струится сквозь тело, выходит через пальцы. Она наклоняется, прядь ненапудренных волос падает на лоб, чуть дряблые руки изгибаются, словно обнимая клавиатуру, лицо вдохновенно сияет, губы раскрываются в беззвучном стоне — пении…

Любовник сразу узнал бы это выражение лица, любой другой невольно почувствовал бы себя посвященным в тайну: вот какова она с любовником! Ее лицо искажалось, она вздыхала, кивала, загадочно улыбалась — демонстрируя целый спектр, сразу несколько октав эмоций, от одинокого страдания до удовлетворения. Именно

тогда Уильям яснее всего видел ее сексуальность, именно тогда его больше всего влекло к ней, он робел, и она трогала его до глубины души. Она так невинно показывает, думал он, что значит для нее музыка, что она с нею делает.

Иногда, — говорила Катерина, — музыка завладевает мною до полного самозабвения, и уже ни моя воля, ни мои желания ничего более не значат, они перестают существовать. Музыка проникает так глубоко, что начинает управлять моими движениями.

Да, — говорил Уильям, — я тоже это чувствую.

Они достигли той стадии совершенного согласия, когда все вокруг кажется метафорой их отношений. На экскурсии в Геркулануме они вместе удивляются воображаемым строениям, — они могут существовать только в воображении, Катерина! — на фресках виллы деи Мистери. Стройные колонны ничего не поддерживают, лишь обрамляют изящное пространство — свободно парящие архитектурные элементы, существующие сами по себе для света и красоты.

Я строил бы так же, — сказал Уильям.

У входа в пещеру кумской Сивиллы они испытали единение со всем античным миром.

Они вместе стояли над холодными водами

Авернуса, затопленного кратера. В древние времена этот кратер считался адскими вратами, через которые Вергилий провел Энея в подземный мир.

Помните предостережение Сивиллы Энею? Facilis descensus Averno, — продекламировал Уильям своим высоким нервическим голосом, восторженно глядя на Катерину. — Sed revocare… hoc opus, hie labor est.[7]

Да, дорогой мой мальчик, да. Вы должны работать над собой.

Согласно Вергилию, сойти в ад очень просто. Но вернуться обратно… О Катерина, с вами, с вашим пониманием… это не было бы тяжким трудом.

Теперь, чтобы вместе быть счастливыми, им больше не нужно презирать *низменные* местные развлечения. В Сан-Карло на премьере очередной оперы (сюжет: спасение невесты из мавританского гарема) они рыдают под пение кастрата Каффарелли. Самая кошмарная музыка и самое чудесное пение, которое я когда-либо слышал, — вполголоса говорит Уильям. — Вы заметили, как он держал легато в дуэте? — Да, да! — подхваты-

---

[7] Примечания: 7

Шестая эклога «Энеиды»: «Sed revocare gradum superasque evadere ad auras, Hoc opus, hie labor est» — «Но вернуться по собственным следам к дневному ветерку… тяжкое испытание…» *(лат.).*

вает она. — Прекраснее пения быть не может!

Перед Катериной внезапно раскрылась красота и чувственность Неаполя — она увидела город глазами Уильяма. До сих пор, отвращаемая беспутством королевского двора, праздностью знати, язычеством религиозных обрядов, ужасающей бедностью и жестокостью нравов, она отметала окружающую действительность, закрывалась от любых впечатлений. С Уильямом она позволила себе ощутить эротическую энергию, бившую ключом на улицах города. Следуя за полным желания взглядом Уильяма, она и сама не стеснялась дольше задерживать взгляд на сочных губах, длинных черных ресницах и открытой груди молодого кузнеца. Впервые в жизни, сама поблекнув и не рассчитывая кого-то пленить, она восторгалась красотой молодых людей.

И золотым светом. И чудесными видами. Гранатовыми деревьями. И, мой бог, гибискусом!

В этом городе под наслоениями истории все говорит о любви. Согласно местному фольклору, многие неаполитанские достопримечательности обязаны своим происхождением несчастной любовной истории. Когда-то все они были мужчинами или женщинами, с которыми в результате безответной или невозможной любви произошла

та или иная метаморфоза, и они приняли нынешний, привычный нам вид. Вулкан из их числа. Везувий раньше был юношей, и ему встретилась нимфа, красота которой сияла, как бриллиант. Она ранила его душу и сердце, и он не мог думать ни о ком, кроме нее. Он распалялся все больше и больше и наконец бросился на нее. Нимфа, оскорбленная домогательствами, прыгнула в море и превратилась в остров, ныне именуемый Капри. Везувий сошел с ума от горя. Он стал раздуваться, его огненные вздохи становились все громче — мало-помалу он превратился в гору. И теперь, неподвижный, как и объект его страсти, до которого никогда не добраться, он продолжает гневаться, плеваться огнем и наводить страх на город Неаполь. Как несчастный город сожалеет о том, что юноша не получил желаемого! Капри лежит в воде, на виду у Везувия, и тот горит, и горит, и горит…

* * *

Как глубоко преданы мы друг другу, — могли бы сказать они. (Как часто под видом бескорыстной преданности скрывается самовлюбленность!)

Каждому приходится быть терпимым: у него опасные наклонности, у нее — свои недостатки.

Она, вместе с тем, более осторожна, потому что он уедет (он молод, и он мужчина), а она останется. Ибо когда-то это должно закончиться. А теряет, разумеется, женщина: молодой человек встретит новую любовь, не только романтическую, но и физическую. Для нее же он — любовь последняя.

Он уехал в январе, убитый горем. Рыдал. Она, без сомнения, горевала сильнее его, но глаза ее оставались сухи. Они обнялись.

Я буду жить ради ваших писем, — сказал он.

* * *

Покинув вас, я предался мечтам, пишет он в первом письме. Он говорит о том, как тоскует по ней, выразительно описывает различные ландшафты, напоминающие ему о… нем самом. Каждый пейзаж погружает его в мечтания, становится отображением его мыслей (и их власти над ним), его ассоциаций. Его почерк в высшей степени витиеват — Катерине трудно разбирать его, — а описания в высшей степени многословны.

Где бы ни находился Уильям, он непременно с кем-то еще. В Микенах он был с Плинием Старшим. У входа в пещеру Сивиллы — с Вергилием. На крайний случай — со своими неописуемыми

чувствами. Бесстрашная путаница литературных реминисценций, неукротимое стремление превращать всякую реальность в мечту или видение в письмах очаровывали Катерину меньше, чем в жизни. Очевидно, это происходило оттого, что она теперь была не соавтором, а лишь приемником фантазий.

К себе она была очень требовательна — показатель сильной натуры: никогда, например, не придавала особенного значения тому, что мастерски играла на клавесине. От других же старалась не ждать многого, чтобы потом не испытывать разочарования. Она ничего не ждала и от Уильяма. Она просто сама была Уильямом… или он был ею. Любить кого-то — значит прощать те недостатки, которые никогда не простишь самому себе. И, если бы ей вдруг показалось, что эгоцентризм писем Уильяма нуждается в оправдании, она бы напомнила себе о его молодости или — попросту — о его принадлежности к мужскому полу.

Это было как сон, писал он о чем-то только что виденном. Я мечтал, я мысленно вернулся в прошлое. Я шел, замирая в мечтах на каждом шаге. Я пролежал целый час, глядя на спокойную гладкую воду. Я был недоволен, что пришлось

оторваться от грез.

Каждый шаг своего путешествия он описывал как паломничество. Каждая остановка превращалась в место возвышенного уединения, некоторой дезориентации чувств. Где бы он ни оказался, в какой-то момент ему хотелось спросить себя: где я?

И Катерина, Катерина, я не забыл. Где вы?

Их духовная близость тоже казалась сном.

Я слушал ее как завороженный, — говорил Уильям через много лет о Катерининой игре. — Никакое другое исполнение не волновало меня так сильно. Вы не можете себе представить, как чудесно она играла (вспоминая ее за клавесином, Уильям всегда имел в виду музыку других композиторов). Казалось, — говорил он, — что она вкладывает в музыку все свое существо, это эманация чистого, неосквернённого сознания. Личность и искусство соединялись в единое целое. Среди разврата неаполитанского двора она жила безгрешным ангелом, — вспоминал Уильям. А поскольку в те времена хвалить женщину можно было лишь двумя способами — называя либо ангелом, либо святой, Уильям стремился, чтобы эти слова звучали чаше и громче обыкновенного. Чтобы понять все значение моих слов,

писал он, нужно знать, что это был за двор. Я никогда не встречал столь возвышенной натуры.

Все время стремительного путешествия вверх по полуострову, включавшего в себя бесполезную остановку в Венеции (чтобы еще раз вздохнуть по сыну Корнаро), Уильям писал Катерине. Он делил с нею (с ней одной!) безумные фантазии, объявляя, что, будь у него достаточно силы духа — и тысячу раз безразлично, что люди сочтут его эксцентричным! — он бы забыл о своем решении ехать в Англию и немедля повернул бы назад в Неаполь. Ничто не способно дать ему того счастья, которое дали бы еще несколько месяцев в обществе Катерины: они вместе встретили бы весну, и он снова читал бы ей под их любимым утесом в Посиллипо и слушал бы ее игру.

Из Швейцарии Уильям писал о музыке, которую сочинял *он.*

Вы когда-нибудь читали о гномах, шныряющих в подземельях огромных гор? Под странные, необыкновенные мелодии, которые я только что наигрывал на клавесине, могли бы танцевать гномы и эльфы. Эти отрывистые мелодии — печальные, звучащие словно из-под земли, — похожи на пение без слов. Немногие смертные — разве что мы с вами, Катерина! — способны

уловить тихий шепот, исходящий в ночное время от мертвых скал.

И опять: как жаль, дорогая Катерина, что у меня не осталось надежды провести весну в Портичи, побродить с вами по густым лесам Калабрии. Все мои молитвы о том, чтобы вернуться и слушать вас много часов подряд, все мои тревоги — о том, что мы долгое время не сможем видеть друг друга. Я не смел и надеяться на то, что когда-нибудь встречу человека, способного столь полно понимать меня. Надеюсь постоянно узнавать от вас, что в вашей душе еще сохраняется капля жалости к вашему самому нежному и преданному…

Пересекая Альпы, сообщал он, я вдыхал воздух самый чистый и прозрачный, что мне доводилось вдыхать. Он описывал долгие прогулки, во время которых бесконечно брел по долинам, окутанным ароматами трав и цветов, окруженным высокими скалами, или повествовал о мысленных путешествиях, во время которых, перемещаясь с одной горной вершины на другую, строил там замки в стиле Пиранези. Он уверял, что ни на минуту не прекращает думать о ней. Вы одна можете понять, какие грустные мысли овладевают мною прозрачными морозными ночами, когда в небе отчетливо видна каждая звездочка.

И дальше: жаль, что вы не можете слышать того, что шепчет мне на ухо ветер. Я слышу то, чего не слышит ни один человек во Вселенной, мой слух улавливает голоса эфира. Какое множество Голосов доносят до меня ледяные ветры, дующие в этих фантастических, грандиозных горах. Я думаю о вас, вы там, где всегда лето.

Но в Неаполе зима выдалась на удивление холодная. Катерина почувствовала себя хуже. Ее почти каждый день навещал доктор, старый шотландец с морщинистыми щеками (ей вспоминались гладкие щеки Уильяма), обосновавшийся в Неаполе много лет назад. Разве я так уж больна? — спросила она. — Всего-то десять миль, и мне, старику, прогулка, — улыбаясь, ответил он. От необычной мягкости его взгляда ей стало жутко.

Вот я и в Париже, написал Уильям. Мое чудесное уединение заканчивается. Англия ждет. Но боюсь, о Катерина, что от меня никогда не будет проку, ибо я пригоден разве что для сочинения странных мелодий, строительства башен, составления планов разбивки садов, коллекционирования произведений древнего японского искусства и воображаемых путешествий в Китай или на луну.

В Неаполе первый раз за последние тридцать лет пошел снег.

Как бы ни был далек Неаполь от Англии, он еще дальше от Индии, родины Джека. Кавалер с болью в сердце заметил, что обезьяна больна. Джек больше не прыгал повсюду, он лишь волочил ноги от стола к стулу, от вазы к бюсту. Медленно-медленно поднимал голову на зов Кавалера. Из его крохотной грудки доносился хриплый свист. Кавалер задумался: не слишком ли холодно Джеку в подвальном помещении? Он собирался сказать Валерио, чтобы тот перенес обезьяний тюфяк в один из верхних этажей, но как-то позабыл об этом. Ему будет не хватать маленького шута. Он постепенно начал изгонять Джека из своего сердца. Да и забот было куда более обыкновенного.

Подошло время королевской охоты на кабанов. Кавалер перевез все самое основное — Катерину, необходимые музыкальные инструменты, избранные книги и минимальный (тридцать четыре человека) штат прислуги — в жилище в Казерте, где было еще холоднее, чем в Неаполе. Чтобы избавить Джека от неудобств переезда и от более сурового климата, его оставили в городе на попечении юного Гаэтано, которому было

приказано ни на минуту не выпускать обезьяну из виду. Король на неделю увез Кавалера в Апеннинские предгорья на охоту. О, я привыкла к его отлучкам, — заверила Катерина доктора Драммонда, наезжавшего через день. — И я не хочу быть причиной беспокойства для моего мужа.

Она также не хотела, чтобы он тревожился о бедном Джеке. Как подготовить его к неизбежному? Она волновалась и об этом. В воскресенье пришло известие, что Джек утром не проснулся. Кавалер отвернулся и надолго умолк. Потом заново застегнул пуговицы на охотничьем сюртуке и повернулся обратно. Земля еще не оттаяла? — спросил он. — Оттаяла, — ответили ему. Кавалер вздохнул и приказал похоронить Джека в саду.

Она с облегчением увидела, что он не слишком горюет, но обнаружила, что сама очень опечалена судьбой маленького чужеземца, столь преданно служившего ее мужу. Ей вспомнилось, как Джек сидел, похожий на скрипичный ключ, аккуратно свернув под задиком мохнатый хвост.

Из Англии Уильям написал, что начал и уже почти закончил новую книгу. Эта книга — рассказ о его путешествии, обо всех его фантазиях и воображаемых встречах с духами, которыми населены эти места. Но, спешил он заверить

Катерину, она не должна беспокоиться, ибо, хотя книга проникнута ее присутствием, ее имя нигде не будет упомянуто. Он принимает на себя ответственность за все идеи, которые они породили совместно, дабы оградить ее от людской злобы и зависти. Никто и ни в чем не сможет ее упрекнуть. Ее роль в его жизни навсегда останется священной тайной. Он будет представлять перед миром их обоих.

Неужели.

Она чувствует себя так, словно исчезла с лица земли. Что ж, по крайней мере, останется книга, что воплощает их обоих.

Я издал пятьсот экземпляров, известил Уильям. Потом написал, что передумал и приказал уничтожить все издание, за исключением пятидесяти копий. Она защищена от всего, но он — нет. Попав в плохие руки, книга может быть истолкована неверно. Он не желает становиться объектом насмешек.

Но книга всегда будет принадлежать вам, Катерина.

Она не хочет чувствовать себя покинутой — но чувствует.

Он пишет, что еще раз перечитывает свою — нет, нашу — любимую книгу.

Катерина, Катерина, помните ли вы этот пассаж в начале «Вертера», после того, как герой говорит: «Удел такого человека, как я, быть непонятым остальными», где он вспоминает подругу своей юности. Конечно, вы помните. Но я не могу не повторить этих слов о себе, настолько точно они выражают мои чувства: «Я мог бы сказать: «Глупец! Ты стремишься к тому, чего не сыщешь на земле!» Но ведь у меня была же она, ведь чувствовал я, какое у нее сердце, какая большая душа, и с ней я сам казался себе больше, чем был, потому что был всем тем, чем мог быть. Боже правый! Все силы моей души были при этом в действии, и перед ней, перед моей подругой, полностью раскрывал я чудесную способность своего сердца приобщаться Природе. Наши встречи порождали непрерывный обмен тончайшими ощущениями, острейшими мыслями, да такими, что любые их оттенки, любые шутки носили печать гениальности. А теперь! Увы, она была старше меня годами и раньше сошла в могилу. Никогда мне не забыть ее, не забыть ее светлого ума и ангельского всепрощения!»[8]

О, подумала Катерина, он уже похоронил меня.

---

[8] Примечания: 8

Иоганн Вольфганг Гёте. Страдания юного Вертера, кн. 1, пер. Н. Касаткиной.

Но эта мысль не потрясла ее до той степени, до какой должна была бы потрясти.

Кавалер вернулся с охоты, нервный, с красным лицом. Наутро за завтраком он вгляделся в бледное, покрытое морщинами лицо Катерины. Она совсем постарела… И это сейчас, когда он чувствует себя таким молодым, таким бодрым, когда тело покалывает от усталости, от недавних острых ощущений, от ветра и криков, и острых запахов, оттого, что ноги еще помнят широкую лошадиную спину… Кавалер почувствовал ненависть к ней — за то, что она стареет, что вечно сидит дома, за весь ее хрупкий, болезненный вид. За то, что она грустна, — он полагал, что знает, почему. И, приревновав, не смог удержаться от жестокости.

Позвольте напомнить вам, дорогая, что мы оба в трауре.

Она не ответила.

Вы лишились моего юного кузена. А я потерял Джека.

Еще одно письмо от Уильяма. Он сетует, что она не ответила на его последнее и предпоследнее письма. Не покидайте меня, мой ангел! В действительности, период траура по нему подходил к концу. Уильям начинал казаться далеким про-

шлым. Неужели я и правда так чувствовала? Так сильно? Звуки неизбежно сменяются тишиной, эйфория — равнодушием, и поразительно, как со временем слабеют, исчезают сильные чувства. Ей становилось все труднее помнить, какой она была при Уильяме. Сила ее чувств казалась теперь… казалась… Она даже могла без содрогания употребить слово «сон».

7

СИМПТОМЫ. Затрудненное дыхание, боль в области сердца. Потеря аппетита. Расстройство кишечника, боли в боку и груди, хроническая рвота — пища не удерживается в желудке, ощущение слабости в правой руке. На это она уже не жалуется. Головные боли. Бессонница. На подушке каждое утро — выпавшие бледные волосы. (Женские слабости: неясные, обобщенные. Мужчину поражает недуг, благородная женщина угасает.) Самоуничижение. Переживания: она доставляет беспокойство мужу. Отвращение к пустой болтовне знакомых женщин. Религиозные настроения. Равнодушие ко всему земному.

ДИАГНОЗ. Доктор Драммонд подозревает паралич. Либо крайнее истощение жизненных сил. Ей всего сорок четыре, но она больна уже не один десяток лет.

МОЛИТВЫ. Бесконечная благодарность Богу за все его милости, униженные просьбы о прощении всех грехов, жаркие мольбы о снисхождении к нечестивому мужу. Снова и снова, мысли о небесах, где прекращаются страдания. Господи, пожалей меня и направь.

ПИСЬМА. Друзьям и родственникам в Англию. Крайний упадок духа. Боюсь, больше мы с вами не увидимся. И мужу, в феврале (охотничьи оргии в самом разгаре, и Кавалер часто отсутствует), душераздирающее любовное письмо. Как утомительны долгие часы, которые я провожу без любимого, как тяжко видеть все вокруг. Вот его кресло, но оно пустует, и сердце мое сжимается от боли, глупые глаза наполняются слезами. Сколько лет мы вместе! Но с годами мои чувства не угасли, напротив, стали сильнее, вплелись в ткань существования, и ничто не способно их изменить. Напрасно старалась я совладать с этими чувствами, урезонить себя! Никто, кроме тех, кто сам испытал подобное, не знает, сколь жалки муки неразделенной любви. Когда любимый со мной, все вокруг обретает смысл, когда его нет — о, как тоскливо мне, как горько! Тщетны попытки найти успокоение в обществе других, с ними я лишь острее чувствую одиночество. Увы, мне дано одно успокоение, одно счастье — и все оно сосредоточено в вас.

МУЗЫКА. Это не совсем правда, что без него она теряет интерес ко всему. Но клавесин звучит жалобно. Музыка возвышает над страданием, но не устраняет его.

СТРАСТЬ. После отъезда Уильяма она стала более уязвимой. Но подобная страсть в браке противоестественна. Более того: такую страсть следует искоренять. Чтобы как-то отвлечься, Катерина вновь осматривает мертвые города, участвует в музыкальной ассамблее в особняке австрийского посла. Посещает высокородную сицилианку, которая с помощью яда и кинжала отправила на тот свет десять, нет, одиннадцать человек. Семья в конце концов отказалась от преступницы, и ее в наказание заточили — в самых роскошных условиях — в монастыре близ Неаполя. Ей года двадцать три, — рассказывала Катерина мужу. — Она принимала меня, сидя в постели, опираясь на гору шелковых подушек, предложила миндальные пирожные и другие угощенья, разговаривала вежливо и с большой веселостью. В голове не укладывается, что женщина с такими благородными манерами способна на такие злодейства. У нее робкое, даже доброе выражение лица, — с изумлением продолжала Катерина. Это обстоятельство не удивило бы и самого тупого коренного обитателя страны, в которой ей приходится жить. Любой крестьянин знает, что под хорошей вывеской часто продается гнилой товар, но Катерина — не крестьянка и не

аристократка, а северянка, истинная протестантка, — свято верит в соответствие внутреннего и внешнего облика. — Она совсем не похожа на убийцу, — тихо сказала Катерина.

Катерина всегда говорила очень тихо, вспоминал потом Кавалер. Чтобы ее расслышать, приходилось наклоняться. Мольба о близости? Да. И признак подавляемого гнева.

* * *

Пришла весна, теплый ароматный апрель. Катерина большую часть времени оставалась в постели. Письма Уильяма с раздражающим ликованием говорили о будущем. Но она знала, что будущего для нее нет. Она могла думать только о прошлом, любить одно прошлое.

Кавалер больше чем на неделю уехал в археологическую экспедицию в Апулию. Катерина была не в силах встать с постели, слабела с каждым часом. Однажды, жаркой апрельской ночью, терзаемая астматическим припадком, который, как думала Катерина, мог быть началом конца, она попыталась найти забвение в письме.

Она никогда ничего не боялась, но теперь ей страшно. Долгий тяжкий труд умирания придает новый смысл еженощной необходимости

переживать астматический кошмар. Будет легче, если она оставит Кавалеру записку, чтобы после ее смерти гроб три дня не закрывали. Но прежде необходимо написать, чего она опасается: что через несколько дней, а возможно, и часов, уже не сможет держать перо; затем, что нет слов выразить всю любовь и нежность, которые она к нему чувствует; что лишь он один был источником всех ее радостей, он — главное из всех дарованных ей земных благословений… и это слово, «земных», заставляет ее перейти от неподдельных, но несуразных излияний, к теме величия благословений небесных, и выразить надежду, что когда-либо ему будет дарована истинная вера.

В глубине души она не надеется, что он станет верующим человеком (этого и не произошло). Стремление обратить его рождается из потребности говорить возвышенным, экстатическим языком. Ей хочется, чтобы он признал реальность существования иного мира и, тем самым, существование такого языка, на котором они могли бы объясняться — и обрести наконец истинную близость.

Но едва ли он познает счастье, даруемое возвышенным… Ибо все гнетущие чувства, которые…

Тут она начинает задыхаться и вспоминает, что собиралась о чем-то попросить его в этом действительно последнем, прощальном письме. Не только заверить в любви, умолять простить и забыть все, в чем она перед ним виновата, самой простить его за то, что он так часто оставлял ее одну, благословить и попросить поминать ее добрым словом… нет, она хотела просить о чем-то еще. Ах да! Пусть, после того, как я умру, гроб не закрывают до тех пор, пока в этом не будет абсолютной необходимости. Она заканчивает письмо напоминанием, чтобы он не забыл внести в свое завещание, во исполнение данной ей клятвы, пункт относительно того, чтобы, когда Господу будет угодно призвать его, а она надеется, что этого не произойдет еще многие десятилетия, его прах был похоронен рядом с ее прахом, в слибичской церкви, а пока они не воссоединятся — это такое бесконечное, на едином дыхании, предложение, которое астматику написать особенно приятно, — пока они не воссоединятся, она надеется, что он не будет один. И да пребудут над вами все благословения земные и небесные, и дарует вам небо любовь, какой вас любила ваша преданная жена, остаюсь, и т. д.

Она запечатала конверт, физически ощутила,

как с души свалился камень, и уснула таким спокойным сном, каким давно уже не спала.

Наступило лето, влажное, удушающе жаркое. Кавалер злился на Катерину за то, что она умирает — причиняет ему неудобства, оставляет одного. Когда в июле они перебрались на виллу рядом с Везувием — из трех резиденций эту она любила больше всего, — Кавалер находил тысячу причин, чтобы по целым дням оставаться в королевском дворце. Доктор Драммонд приезжал каждое утро, привозил сплетни, чтобы заставить ее улыбнуться, конфетки, чтобы вызвать у нее аппетит, и раз в неделю пиявок, чтобы пустить ей кровь. Однажды в начале августа он не приехал утром, как обычно. В три часа дня она велела унести нетронутый обед и отправила лакея справиться о докторе. Лакей возвратился с известием, что доктор сегодня решил ехать не в карете, а верхом на новом гунтере и в миле от виллы был сброшен с лошади и доставлен обратно в город на носилках. Повреждения серьезные, сказали ей. Очень серьезные: перелом спины и разрыв почки. Доктор умер неделю спустя. Когда Катерине сообщили об этом, она плакала последний раз в жизни.

Кавалер уверял, что чувство вины за этот

несчастный случай, произошедший как раз, когда доктор ехал навестить ее, ускорило смерть Катерины — она умерла всего двенадцатью днями позже. Она сидела в любимом кресле лицом к миртовой рощице и читала, но вдруг потеряла сознание. Ее отнесли в дом, уложили в постель. Она попросила маленький овальный медальон с портретом Кавалера и положила его лицом вниз себе на грудь. Потом закрыла глаза и, больше ни разу не открыв их, к вечеру скончалась.

Тем, кто плохо знал Катерину, Кавалер описывал ее так.

Моя жена, — говорил он, — была маленькая, изящная женщина элегантной наружности и благородных манер. У нее были светлые волосы, не поседевшие с годами, живой взгляд, прекрасные зубы, умная улыбка. Она вела себя достойно и сдержанно, обладала умением незаметно, с помощью нескольких слов, направлять беседу в нужное русло, ни в коей мере не будучи навязчивой. Она обладала чрезвычайно деликатной конституцией, и слабое здоровье очень сказалось на ее образе мышления. Она была хорошо воспитана, образована, прекрасно музицировала, ее всегда хотели видеть в обществе, которого она, по причине хрупкого здоровья и склонности к

уединению, часто избегала. Она была истинным благословением для всех, кто ее знал, и нам всем будет ее сильно недоставать.

Он вспоминал ее добродетели, таланты, предпочтения. На самом же деле он, в основном, говорил о себе.

Горе сильно меняет человека, писал Кавалер Чарльзу. Я переживаю потерю значительно острее, чем ожидал.

С ним, впервые в жизни, случилось что-то непоправимое. Судьба очень вероломна. Человек живет своей жизнью, занимается своим делом, и вдруг в один миг все кончается или ужасным образом меняется. Вот буквально на днях в Портичи один из королевских пажей открыл дверь в давно неиспользуемую часовню, попал в *мофетту* — так называется застойный слой холодного ядовитого газа, испускаемого вулканом, — и умер на месте! Король так напуган, что с тех пор редко говорит о чем-то другом, и даже решил добавить еще несколько амулетов к той огромной коллекции, которая обычно украшает его нижнее платье. И посмотри, что случилось со стариком Драммондом, когда он ехал с визитом к… нет, внезапно вспоминает Кавалер, это со мной случилось страшное, непоправимое. У меня

нет амулетов, но у меня есть ум, характер.

Непоправимое. То, что нужно встречать мужественно. У меня была счастливая жизнь, думает он.

Мудрый человек готов ко всему, он знает, как принимать неизбежное, смиряться, быть благодарным за те дары, которые преподносила жизнь, — он не ропщет, не хнычет, когда счастье проходит (что неизбежно).

Кавалер был настоящим коллекционером. А именно — человеком, вечно погруженным в себя, отрешенным, он постоянно переключал внимание на другое. Он не знал, что его чувства, его привязанность к Катерине так глубоки. Не знал, что нуждается в ком-то настолько сильно.

Коллекционеры и хранители коллекций часто — и без особой необходимости — признаются в своей мизантропии. Они утверждают, что да, неодушевленные предметы их волнуют значительно больше, чем люди. И пусть это кого-то шокирует — они-то знают, о чем говорят. Вещам можно доверять. Их характер не меняется. Они не теряют привлекательности. Вещи, редкие вещи, обладают подлинной ценностью, в то время как люди ценны лишь постольку, поскольку вам необходимы. Коллекционирование возвы-

шает эгоизм до уровня страсти (что приятно), но защищает от других страстей, делающих вас уязвимыми. Оно защищает того, кто не желает быть уязвимым. Оказывается, любовь Катерины тоже давала ему чувство защищенности — и он не осознавал, до какой степени.

Он ждал большего от своей способности к отрешению, которую путал с холодным темпераментом. Чтобы справиться с горем, отрешенности недостаточно. Тут нужен был стоицизм — подразумевающий наличие истинного страдания. Он не ожидал, что страдание сломит его, что жизнь будто остановится. Исчезнув, любовь Катерины стала казаться драгоценной. Он не пролил ни слезинки, когда сидел у постели жены, когда вынимал из ее коченеющих рук свой портрет, когда вернул его, положив в гроб, перед тем, как закрыли крышку. Он не плакал, но волосы (еще более поседевшие), кожа (сделавшаяся суше, морщинистее) говорили о его горе, оплакивали ее за него. Однако он ни в чем себя не укорял. Он любил столько, сколько мог, и хранил верность больше, чем это было принято. Кавалер всегда отличался особым талантом к самооправданию.

Как-то он сидел под шпалерой с видом на миртовую рощу, там, где сидела Катерина до того, как

упала в обморок, и ее отнесли в дом. Там, где она часто сиживала с Уильямом. Наверху в овальном просвете между листьями висела плотная паутина. Кавалер долго и рассеянно смотрел на нее, прежде чем догадался поискать паука, которого в конце концов обнаружил на самом краю, на длинной нитке. Тогда он приказал принести палку, с которой обычно взбирался на гору, потянулся и снял паутину.

Его письма говорили об устойчивой, неизбывной меланхолии. Грусть, тоска, апатия — как утомительно писать эти слова — вот мой удел. Кавалеру не нравилось испытывать сильные чувства, но их явное угасание тревожило. Он хотел постоянно чувствовать не слишком много, но и не слишком мало (так же, как хотел всегда оставаться не молодым и не старым). Он не хотел меняться. Но менялся. Ты бы не узнал меня сейчас, писал он Чарльзу. По природе живой, энергичный, восприимчивый, всем интересующийся, последнее время я стал безразличен ко всему, что когда-то доставляло удовольствие. Это равнодушие не к тебе, дорогой Чарльз, и не к какому-то отдельному лицу, нет, это всеобъемлющее равнодушие ко всему. Кавалер отнял перо от бумаги и перечитал написанное.

Надеюсь, апатия завладела мною не навсегда, продолжил он, стараясь придать письму более оптимистическое звучание.

Он собирался приступить к работе над вторым изданием книги о вулканах, дополнить ее новыми иллюстрациями. Эти планы пришлось оставить, писал он Чарльзу, я не могу одолеть охватившей меня слабости. По поводу недавней поездки н Рим, посмотреть новые картины, он сообщал: меланхолия догнала меня и здесь. Новые приобретения почти не радуют. Кавалер все же описал Чарльзу одно из приобретений — картину малоизвестного тосканского мастера. Идея картины состоит в том, что все в человеческой жизни преходяще. Эта мысль передана на удивление зримо, чувственно, картина выполнена с восхитительным мастерством. Но Кавалер взирал на бесхитростно выписанные цветы в зеркале, на мягкую плоть молодой женщины, рассматривающей свое отражение, без эмоций. Впервые в жизни его не радовало пополнение коллекции.

Тело не потеряло гибкости, он, как и раньше, мог плавать, ловить рыбу, ездить верхом, охотиться, взбираться на гору. Но словно какая-то пелена отгораживала его от окружающего мира, лишая происходящее смысла. Однажды ночью,

на рыбалке, он наблюдал за Гаэтано и Пьетро (лишь они сопровождали его). Слуги болтали на непостижимом здешнем диалекте, бодая головами воздух — как будто слова и фразы им приходилось проталкивать подбородками. С других лодок тоже доносились голоса. Отражаясь от берегов, они сталкивались в воздухе, в черной ночи, над черным заливом, и были похожи на крики животных.

Да, физически он был крепок, как прежде. Эмоциональное старение, угасание интереса к окружающему — вот что он в себе отмечал. Его взгляд стал скучным. Слух не так остер. Язык меньше чувствовал вкус. Он решил, что начал стареть. Причин столь одновременного остывания всех чувств может быть множество, рассуждал он — не забывая упомянуть смерть Катерины, — но возможно всему виной годы. Он старался примириться с новым положением вещей, с ограничением возможностей.

Кавалер никогда не чувствовал себя молодым, о чем в свое время сказал гадалке. Но со смертью Катерины он внезапно ощутил себя старым. Ему пятьдесят два. Сколько там еще лет напророчила Эфросинья? Он поднес к глазам ладонь. Хотелось бы понять, чем, черт побери, заниматься

то бесконечно долгое время — двадцать один год! — которое ему предстоит прожить.

* * *

Прожить одному. Без товарища. Погрузившись в бездну собственных чувств.

И видеть там — туман, дымку. Крохотные протуберанцы былых страстей и желаний. И безграничную пустоту. Вспоминать о том, что когда-то делал — делал с охотой, с живостью — *ворочал горы.* Вся эта энергия, ушедшая в небытие. Теперь жизнь превратилась в одно бесконечное усилие.

Эта его неуемность, безграничная жажда жизни. Нынче ему всего хватает.

* * *

Спустя несколько месяцев после смерти Катерины Кавалер осматривал место недавнего землетрясения в Калабрии. Он не отрываясь — в депрессии люди часто склонны к пассивному созерцанию, — глядел на выкопанные из-под развалин, окоченевшие, покрытые пылью трупы, на искаженные лица и скрюченные пальцы, на все еще живого ребенка, который восемь дней

пролежал под руинами с прижатым к щеке кулаком, и кулак в итоге прорвал щеку.

Показывайте свои ужасы. Еще, еще. Я не поморщусь.

* * *

На мгновение, лишь на мгновение, он осознает, что он безумец, замаскированный под разумное существо. Сколько уже раз он взбирался на эту гору? Сорок? Пятьдесят? Сто?

Он останавливается перевести дыхание — широкие поля шляпы защищают от солнца похудевшее лицо — и смотрит вверх на конус кратера. На вершине вулкана — высоко над городом, заливом, островами.

Он стоит высоко наверху и глядит вниз. Человеческая песчинка. Игрой расстояния унесенная от всех обязательств, сочувствия, от своего «я».

Раньше все вокруг утверждало его «я». Я мыслю, следовательно, я существую. Я коллекционирую, следовательно, я существую. Я всем интересуюсь, следовательно, я существую. Только взгляните, сколько всего я знаю, сколько всего мне небезразлично, сколько всего я сохранил и передал. Я сам создал свое наследие.

И вдруг вещи ополчились на него. Тебя нет, —

сказали они.

Тебя нет, — сказала гора.

Вулкан — врата адовы, — сказали священники.

Нет! Эти чудовища, вулканы, эти «огнедышащие горы», не имеют к аду никакого отношения, нет, они — предохранительные клапаны. Без них огонь и опасные испарения куда чаще прорывались бы наружу, сеяли хаос и разрушение.

Он опустился на колени на некое подобие крепостного вала, окружавшее конусовидную вершину, положил ладони на пыльные камни, затем, прячась от ветра, растянулся на животе и приложил ухо к земле. Тишина. Она говорит о смерти. И густой, неподвижный, желтый свет, и поднимающийся из разломов запах серы, и нагромождение камней, тефра и сухая трава, плотные куски облаков на сером, с оттенком индиго, небе, и плоское море — все это говорит о смерти.

Но давайте посмотрим на вещи позитивно. Гора символизирует все виды смерти *разом:* и пожар, и потоп (stermmator Vesevo,[9] выражаясь словами великого поэта), но она же есть эмблема выживания, человеческой устойчивости. В данном конкретном случае безумие природы,

---

[9] Примечания: 9

«Везувий-злодей» *(ит.)* Имеется в виду стихотворение Джакомо Леопарди «La ginestra o il flore del deserto» («Дрок, или цветок пустыни»).

убивающей, разрушающей историю, одновременно порождает культуры, цивилизации, создает артефакты. В катаклизмах есть много полезного.

Под землей — яркие полосы пористых и слежавшихся минералов, камни с вкраплениями руды, мутный обсидиан, постепенно обретающий прозрачность. Под ними — более неподвижный, устоявшийся пласт, он покрывает ядро из расплавленного камня. С каждым извержением все они больше и больше деформируются, утолщаются, покрываются новыми напластованиями. А вниз по склону горы, под землей, — под каменными уступами, под рядами ракитника, спускающегося к деревням, к самому морю, — наслоения человеческого добра, артефакты, сокровища. Похороненные Помпеи и Геркуланум теперь — миракль столетия! — эксгумированы. Зато в Тирренском море, под водой, прячется Атлантида. Всегда остается что-то неизведанное.

Земля хранит свои сокровища для коллекционеров.

Земля — место, где живут, штабелями хранятся мертвые.

Так, припав ухом к земле, Кавалер переходит на минеральный уровень существования. Нет больше его чудесных сокровищ, нет королевского

двора и веселого головореза-короля. Мыслимо ли, что ему больше нет до них дела? Да. Сейчас они ему безразличны.

* * *

Кавалер хочет видеть спасительные просторы, изобилие и красоту — привычный вид с вершины горы. Но для этого ему требуется подниматься выше, выше. Он вспоминает про новомодное французское диво, воздушный шар, и воображает себя в воздухе, со свитой сопровождающих… нет, с одним Пумо. Он мог бы смотреть на Везувий сверху, видел бы, как гора становится все меньше и меньше. Прохладное, блаженное, пассивное воспарение, вверх, вверх, в чистый небесный приют.

Или он хотел бы взглянуть с высоты на прошлое — зрелище, которым так часто потчевал Катерину Уильям. Но на ум почему-то приходят одни катастрофы. Скажем, панорамный вид великого извержения 79 года нашей эры. Страшный грохот, облако в форме горной сосны, гибель солнца, взрыв вулкана, огонь, смертоносные испарения. Пепел, серый, как крыса, потоки коричневой грязи. Ужас обитателей Помпеи и Геркуланума.

Как и в более позднем случае двойного горо-

доубийства, один из мертвых городов известен больше, чем другой. (Как сказал один остряк, у Нагасаки был плохой менеджер по связям с прессой.) Его-то мы и поместим в Помпеи: вот он стоит и смотрит, как с небес льется смерть. Он не хочет бежать, медлит, пока есть время, пусть он — некий доблестный коллекционер. Куда ему бежать без своих ценностей? Может, именно он, глядя, как сначала улица, а потом и собственные колени исчезают под слоем горячего пепла, написал на стене своего дома строки из «Энеиды», которые потом обнаружили археологи: «Conticuere omn…» («Все смолкло»). Он не сумел закончить цитату — задохнулся.

Как спящий (или умирающий), он взлетает над обреченным городом и превращается в наблюдателя. Отчего бы ему не стать знаменитым свидетелем, и одновременно жертвой, извержения? Он, по очевидной ассоциации, представляет себя Плинием Старшим — отчего бы и нет, если воображение позволяет ощутить зверский удар ветра, встретивший адмиральский корабль, когда тот обогнул Микенский мыс; позволяет оставаться с адмиралом до конца, до того момента, когда его ослабленные астмой легкие (о, Катерина!) не выдержали гибельного жара…

Впрочем, Кавалеру — в отличие от его молодого кузена, который вечно воображает себя кем-то (и который в сорок лет будет радоваться тому, что нисколько не состарился), — трудно представить себя кем-либо, кроме себя самого.

Той ночью Кавалер спал на склоне вулкана.

Если он видит сны, то это сны о будущем — не о своем будущем (оно не сулит ничего интересного, ничего радостного), а о том, что будет после его смерти. Думая о будущем, Кавалер вглядывается в свое *не-существование.* Умереть может даже гора. Даже залив — хотя это невозможно представить. Залив отравлен, морские существа мертвы? Кавалер способен увидеть угрозу в природе — но не природу под угрозой. Он не может представить, сколько смертей ожидает в будущем эту самую природу: того, что случится с ласковым воздухом, с зеленовато-голубой водой, где сейчас резвятся купальщики и куда нанятые Кавалером мальчишки ныряют за разной морской живностью. Если бы они нырнули в эту воду в наши дни, то остались бы без кожи.

Во времена Кавалера люди имели иные представления о разрушительном. Им казался достойным упоминания тот факт, что поверхность земли не так ровна, как скорлупа яйца. Гладкость

вод первичных морей нарушали изрезанные береговые линии, земная твердь бугрилась; повсюду дыбились эти кошмарные горы… Да, их мир был неопрятен, хаотичен, искорежен — если сравнивать с Эдемом или примордиальной сферой. Их мир был результатом великого катаклизма. Не знали они, что такое настоящие катаклизмы!

* * *

Он ждал освежающего дуновения ветра. Над всем стыла лавовая корка безразличия.

Он глядел в бездну, и она, как всякая бездна, говорила ему: прыгай. Кавалер вспомнил, как после смерти тестя привез Катерину на Этну во время извержения. Они остановились на нижнем склоне в хижине отшельника (всегда найдется какой-нибудь отшельник). Тот рассказал легенду о древнем философе, который прыгнул в кипящее жерло вулкана, чтобы проверить, бессмертен ли он. Надо полагать, оказалось, что нет.

* * *

Он жаждал катастрофы. Таково губительное воздействие глубокой меланхолии: она порожда-

ет ощущение беспомощности, которому хочется подчинить и других людей, поэтому страдалец спокойно представляет себе тотальные бедствия (а следовательно, желает их).

Зловещее громыхание вулкана радовало не только Кавалера, но и многих туристов. Каждый хотел, чтобы вулкан «сделал что-нибудь». Каждому нужна была своя доза апокалипсиса. Посещение Неаполя между двумя извержениями, когда вулкан спал, неизбежно вызывало легкое разочарование.

* * *

Это было время: когда люди впервые начали задумываться над этическими понятиями, начало исторического периода, который мы называем современностью. Что, если бы кто-нибудь мог (просто нажав на кнопку и избежав при этом неприятных для себя последствий) вызвать смерть какого-нибудь китайского мандарина на другом краю земли (как разумно выбрать столь удаленный объект)? Смог бы он противостоять искушению?

Человек может решиться на самые ужасные поступки, если их совершение не требует усилий.

Как незаметна грань, за которой желание уме-

реть пересиливает желание жить. Как тонка мембрана, отделяющая энергию от апатии. Насколько увеличилось бы число самоубийств, если бы убить себя было просто? Вот, скажем… яма, очень глубокая яма, в общественном месте, для общественного пользования. На Манхэттене, скажем, угол Пятой и Семидесятой. Там, где располагается «Коллекция Фрика». (Или по менее фешенебельному адресу.) У ямы объявление:

«16:00–20:00/пн, ср, пт/САМОУБИЙСТВА РАЗРЕШЕНЫ».

Вот так запросто. Объявление. Разумеется, в эту яму побросались бы и те, кто никогда не думал о самоубийстве.

При хорошей вывеске любая яма — бездна. Представьте, вы возвращаетесь домой с работы или выскакиваете из дома за вредными сигаретами, делаете крюк, чтобы забрать белье из прачечной, оглядываете мостовую в поисках красного шелкового шарфика, сорванного с плеч ветром… и замечаете объявление. Заглядываете в яму, быстро вдыхаете, медленно выдыхаете и говорите — как Эмпедокл у самого жерла Этны — «почему бы и нет».

Часть вторая

1

Ничто не может сравниться с тем подъемом духа, когда на смену затяжной тоске вдруг приходит радость. Но радость не может прийти сразу. Сначала она долго сидит у дверей страдающего сердца. Пусти меня, пусти, — мяукает она. В сердце нужно прорваться.

Это случилось четыре года спустя — столько потребовалось Кавалеру, чтобы его чувствительный организм смог на уровне обмена веществ принять кончину жены. Он испросил еще один отпуск, чтобы отвезти тело в Уэльс для захоронения. Вокруг не было никого, чьи утешения могли бы утешить. Смерть Катерины катастрофически близко подвела Кавалера к тому неприятному для него состоянию, когда нужно думать о себе. Он прибегнул к испытанному лекарству: стал думать о мировых проблемах. Посвятил время, свободное от основных обязанностей, поездке в горную Калабрию на раскопки *(нет больше Катерины).* Оттуда его возили в ближайшую деревню на праздник в честь святых Козьмы и Дамиана. Кульминацией праздника явилась служба в церкви, призывающая Божье благословение на

так называемый Большой Палец Ноги, объект футовой длины, которому поклонялись бесплодные женщины. *Ее больше нет! В* пропыленной одежде, приободрившийся Кавалер вернулся в Неаполь. Оттуда, в адрес одного научного общества, занятого изучением мертвых культур *(и Катерина мертва),* он послал сообщение о пикантном открытии: кое-где под прикрытием христианства все еще сохраняются отголоски древнего приапического культа! Это является новым доказательством схожести папской и языческой религий. Кавалер отметил также, что среди найденных на раскопках предметов преобладают фигурки, изображающие мужские и женские половые органы, и высказал предположение, что в основе всех религий лежит прославление жизненных сил — четырех стихий, сексуальной энергии — и что, возможно, самый крест является не чем иным, как стилизованным фаллосом. *Умерла!* Нет больше Катерины, нет нужды держать в узде скепсис и безбожие.

Изменилось все — и не изменилось ничего. Даже от самого себя он скрывал, что ему не хватает общения. Однако, узнав, что его знакомый и протеже, художник Томас Джоунз, готовится навсегда отбыть в Англию и уже выехал из арен-

дуемого дома, Кавалер на несколько месяцев предложил ему свое гостеприимство и по утрам часто навещал Джоунза в оборудованной под студию комнате. Он внимательно следил за тем, как художник на изящном, оливкового дерева, мольберте создает маленькие одноцветные работы, называвшиеся этюдами пустоты: часть крыши или ряд окон верхнего этажа здания напротив.

Странные творения — но, должно быть, у Джоунза есть какие-то резоны. Эти картины непонятным образом рифмовались с настроениями Кавалера.

Что же, однако, вы хотите изобразить? — вежливо поинтересовался Кавалер. — Я не понимаю вашего предмета.

Ускользающие моменты — когда все возможно, но не все имеет смысл…

В июне из министерства иностранных дел пришло разрешение на отпуск — третий отпуск на родину, — и Кавалер пустился в путь. Он вез в трюме тело Катерины, в своей каюте — римскую вазу с камеей. Предполагалось, что эта ваза — редчайший экземпляр, таких на рынке древностей не появлялось вот уже несколько десятилетий — относится к ранней эпохе правления императора Августа. Кавалер приобрел ее в прошлом году

в Риме, а в Англии намеревался продать. Этой вещи суждено будет стать самой ценной из всех, которые когда-либо пройдут через его руки.

Едва увидев эту вазу, Кавалер ощутил укол, скорее даже укус страсти. Ваза была добыта два столетия назад на раскопках императорского могильного кургана у южной границы Древнего Рима. И по сей день она считается самым прекрасным (из сохранившихся) образчиком романского стекла. Прелесть изображенной на фризе Фетиды, утомленно склоняющейся на ложе сна, казалась Кавалеру непревзойденной. Он привез вазу из Рима в Неаполь, и все его мысли были о ней. Он не мог налюбоваться, брал в руки, подносил к свету — иначе невозможно разглядеть глубокой синевы в кажущейся черноте неба, или истинного цвета земли, — проводил кончиками пальцев по фигуркам нижнего барельефа, вырезанного на молочно-белом стекле. Увы, по-настоящему влюбиться в эту вещь нельзя было себе позволить. Несмотря на то, что по завещанию Катерины все ее имущество беспрепятственно отошло к мужу, Кавалер: как всегда: нуждался в деньгах. Ваза была слишком знаменита, он не имел права оставлять ее у себя. Отдав за нее хорошие деньги, тысячу фунтов, он рассчитывал получить от про-

дажи солидную прибыль.

Поместив вазу в один из лондонских банков, приняв соболезнования от друзей и родственников, Кавалер отвез гроб в Уэльс, в поместье, которое теперь принадлежало ему не только фактически, но и юридически. Под моросящим дождем они с Чарльзом отправились в церковь, где гроб Катерины опустили в склеп. Потом Кавалер проводил Чарльза, а сам на несколько недель задержался в поместье. Была середина лета. Родная земля Катерины буйно зеленела от дождей. Каждый день, нередко — набив карманы мелкой сливой, он гулял по поместью, иногда забредая довольно далеко, подолгу сидел у моря. Траур сделал его мечтательным. Печальные мысли, восторженные воспоминания о Катерине перемежались жалостью к самому себе. Покойся с миром, бедная, бедная Катерина. И мир всем нам. Над головой шумели зеленые листья. Это неяркое солнце в один прекрасный день будет светить и над моим разлагающимся телом, а на этой — он на минутку зашел в прохладу церкви — могильной плите однажды напишут и мое имя.

Еще до приезда Кавалера коллекционеры Лондона возбужденно обсуждали предстоящее прибытие римской вазы. Вскоре пришло письмо

от Чарльза, извещавшее, что вазу жаждет приобрести престарелая вдовствующая герцогиня Портлендская, и Кавалер вернулся в Лондон. Он запросил две тысячи фунтов. Герцогиня вздрогнула. Сказала, что подумает. Прошел месяц, другой; Кавалер и не думал торопить герцогиню. Он проводил время, осматривая ее личный музей — шкафы с переливчатыми бабочками и сверкающими как алмазы морскими раковинами, ветви кораллов, кости мамонта (считавшегося римским слоном), редкие книги по астрономии, античные медальоны и пряжки, этрусские вазы. Своим странным составом эта коллекция ничуть не отличалась от прочих собраний того времени (главная странность заключалась в том, что коллекционером была женщина), но, на вкус Кавалера, здесь было слишком много вычурности. Сын герцогини, человек средних лет, проявляя заботу о будущем наследстве, советовал матери не покупать вазу за непомерно высокую, по тем временам, цену. Герцогиня же загорелась нешуточным желанием ее заполучить.

Кавалер меньше времени проводил при дворе и больше с Чарльзом. Он даже позволил себе поддаться очарованию живой прелестной девушки, которую Чарльз поселил у себя три года назад. Ее

комплименты и приветливость льстили Кавалеру, как льстило и то, что по настоянию Чарльза она называла его «дядя Плиний» и нежно целовала в щеку. Девушка была высокая, статная, и Кавалер считал, что красота ее обрамленного рыже-золотистыми волосами лица, голубых глаз и сочных губ составила бы достойную конкуренцию красоте многих классических статуй — не будь ее подбородок так мал. Он уже знал от племянника ее историю: она была дочерью деревенского кузнеца, в четырнадцать лет приехала в Лондон и работала младшей горничной. Вскоре ее соблазнил сын хозяина дома, и она нашла другие занятия, более сомнительные; в частности, позировала полуодетой, изображая «нимфу здоровья» в кабинете одного доктора, который утверждал, что вылечивает от импотенции. Потом девушку забрал к себе в поместье один баронет, но выгнал, когда она забеременела (маленькая дочка жила сейчас в деревне). С отчаянья бедняжка бросилась за утешением к близкому другу баронета, и другом этим оказался… Чарльз. Он, будучи всего шестнадцатью годами старше, не мог разглядеть того, что в ее крепком девятнадцатилетнем теле сосредоточены многовековые понятия о женской красоте. Он считал, что красота призвана воз-

нести свою обладательницу настолько высоко, насколько позволяют способности последней. Такими женщинами нужно пользоваться, пока они свежи. В целом же в ней, кроме физической привлекательности, нет ничего особенного. И все же — есть. Чарльз отдавал дань справедливости. Кроме Того, его тянуло ею хвастать. Подумать только, — говорил Чарльз. — Такая одаренная натура. Я научил ее читать и писать, и теперь ее не оторвешь от книг самого поучительного свойства, она обожает читать и прекрасно все запоминает. — Действительно, Кавалер обратил внимание, что она запоминает каждое слово, сказанное в ее присутствии. Речь ее вульгарна, смех излишне громок, но когда она молчит, то преображается. От Кавалера не ускользнула жадность, с которой она впитывала все вокруг, как не укрылось и то, что ее глаза постоянно влажны от напряженного внимания. — А как хорошо она разбирается в живописи, — продолжал Чарльз, — очень хорошо, ведь она живет со мной уже три года, а наш друг, Ромни, просто без ума от нее. Она позировала для него добрую сотню раз; он и слышать не хочет ни о какой другой натурщице, правда, иногда я отказываюсь отпускать к нему мою девочку. — Это напомнило Кавалеру о том,

что нужно будет найти время еще раз посидеть перед Ромни. Ему захотелось иметь еще один свой портрет.

Герцогиня предложила тысячу шестьсот фунтов. Кавалер держался твердо.

При дворе он почти не бывал, давно оставив надежды на новое назначение в Мадрид, Вену или Париж. Без Катерины он чувствовал себя совсем старым. Он закончил позировать для портрета. Решил, что пора возвращаться. Сообщил об этом знакомым.

Тысяча восемьсот, — сердито сказала герцогиня. Согласен. Он сделал кое-какие приобретения, в том числе купил картину Ромни, изображавшую подругу Чарльза в виде вакханки, чтобы увезти ее с собой в Неаполь.

Вернувшись, он приступил к выполнению обычных обязанностей — накопилось много дел, и нужно было показать, что у него все хорошо: придумывать себе занятия он был мастер. Кроме того, он понял, что с апатией надо бороться, бороться с помощью новых начинаний. Он разработал проект по созданию пятидесятиакрового английского парка вокруг дворца в Казерте. На разбивку парка должно было уйти несколько лет. Он по-прежнему коллекционировал, ката-

логизировал, взбирался на гору. Научился ловко увозить ценные вещицы с раскопок в Помпеях и Геркуланум из-под носа королевских археологов. В этой стране можно все — если знаешь, кому заплатить.

Среди знакомых Кавалера нашлись вдовые англичанки — приятные, любящие живопись, — которые неявно предлагали скрасить его одиночество. Одна сделала это еще в Лондоне, в день его отъезда, а вторая в Риме, где он на обратном пути остановился, главным образом для того, чтобы переговорить с мистером Байресом, агентом по продаже картин. Дама из Рима чем-то понравилась Кавалеру. Она была богата, отличалась отменным здоровьем и умела хорошо играть на арфе. Он не без удовольствия поведал Чарльзу о достоинствах милой леди, зная, как разнервничается любимый племянник, давно считающий себя наследником бездетного дядюшки. Впрочем, учитывая возраст дамы, рождение детей исключалось. Тем не менее, будучи на целых десять лет моложе Кавалера, она имела все шансы его пережить. Но он вскоре оставил мысль о браке. Даже эта женщина, при всей выдержанности и замкнутости, представляла собой угрозу устоявшимся привычкам. К ней потребуется при-

способливаться. А Кавалер более всего нуждался в покое. Смолоду он хотел остаться холостяком… а закончит свои дни вдовцом.

Сознательно он меньше всего желал перемен. Сейчас ему хорошо, насколько позволяют обстоятельства, и лучше стать уже не может. Но все же известный жар томил чресла. Внутренний пыл пока не угас. Фантазий было не остановить. Поэтому, сегодня он — почти против воли — дал разрешение на ее приезд. Разрешил ей, наивной, невинной девочке — а она была *невинна,* вопреки всему своему опыту — приехать сюда с матерью. Чарльз имел виды на богатую наследницу (что еще оставалось делать второму сыну лорда?) и вынужден был внять голосу рассудка. Ему больше нельзя безудержно предаваться страстям. Придется проявить жестокость. Однако, решив избавиться от девушки, он не находил в себе смелости заявить ей об этом открыто. И потом ему вдруг пришло в голову, что ее общество обрадует овдовевшего дядю. Дядя, наследующий любовницу племянника? Кавалер отдавал себе отчет в том, что Чарльз не только сбрасывает ношу с плеч, не только благодетельствует дяде: племянник рассчитывает на корню пресечь возможность появления у дяди новой жены. Иначе

он рискует остаться без наследства. А если дядя привяжется к девушке (жениться на которой, разумеется, невозможно), тогда Чарльзу беспокоиться не о чем. Хитрюга Чарльз.

Она и ее мать выехали из Лондона в марте, в сопровождении друга Кавалера, пожилого художника-шотландца, возвращавшегося в Рим и согласившегося взять женщин под свое покровительство. Встретить их в Риме и привезти в Неаполь был откомандирован Валерио. Кавалер читал за завтраком, когда до него донесся звук открываемых ворот. Он подошел к окну и увидел въезжающий во двор фаэтон, навстречу которому спешили лакеи и пажи. Валерио сошел со своего места рядом с кучером и подал руку молодой девушке, легко спустившейся на землю. Затем он помог сойти полной пожилой женщине. Дамы направились через двор к красной мраморной лестнице с правой стороны дома. Несколько служанок протянули руки, почтительно касаясь пыльного желтого платья девушки, и она, улыбаясь, остановилась на секунду, встречая ответным прикосновением тянущиеся к ней руки, наслаждаясь впечатлением, которое производит. Кавалер особенно отметил шляпу, большую голубую шляпу, плывущую в море света по мощеному

двору.

Внезапно он вспомнил Джека и остро ощутил тоску по нему. Он вернулся к столу. Ничего, подождет. Книготорговец, кстати, тоже ждет. Кавалер допил какао и направился в малую гостиную, куда приказал проводить девушку и ее мать.

Гаспаро открыл перед ним дверь, и он с порога сразу увидел их. Они сидели в углу и шептались. Старшая женщина первой заметила его и поспешно встала. Девушка, прежде чем подняться, повернулась назад, чтобы отложить на сиденье шляпу, которую до этого держала на коленях. В этом contrapposto[10] ее тела и в повороте обратно было нечто такое, отчего Кавалер испытал настоящее физическое потрясение. Сердце ухнуло куда-то вниз — он не ожидал, забыл, что она настолько красива. Обворожительно красива. Он должен был помнить о ее красоте, ведь вот уже год, как картина Ромни, где она изображена в виде вакханки, висит в приемной его кабинета, он видит ее каждый день. Только в жизни она намного прекраснее.

Глубоко и радостно вздохнув, он пересек ком-

---

[10] Примечания: 10

Contrapposto *(um.)* — противоположность, в изобразительном искусстве — контрастный поворот верхней части человеческого тела по отношению к нижней.

нату и ответил на робкий реверанс девушки и неловкий наскок ее матери, тоже, видимо, мыслившийся как реверанс. Кавалер приказал Стефано показать миссис Кэдоган две отдаленные комнаты во втором этаже, где он решил разместить гостей. Девушка импульсивно припала губами к его щеке. Он отшатнулся, будто его оцарапали.

Вы, должно быть, утомлены длительным путешествием, — обратился он к ней.

Что вы, я счастлива, — ответила девушка. — Сегодня мой день рождения, — сообщила она тут же. — А город так красив. — Она взяла его за руку — руку словно обожгло — и вывела на террасу. Купающийся в солнечном свете город и правда был красив: Кавалер вдруг снова увидел его красоту — эти теснящиеся, спускающиеся вниз красные крыши, цветущие сады, тутовые и лимонные деревья, башни кактусов, стройные колонны пальм.

А это, дядюшка? — воскликнула она, показывая на гору и пламенеющий плюмаж. — Неужели скоро будет извержение?

Ты боишься? — спросил он.

Господи, да нет же, я хочу его увидеть! — вскричала девушка. — Я хочу видеть все-все! Здесь

так… чудесно, — сказала она, улыбаясь, довольная, что вспомнила такое великосветское слово.

Она была так молода, так охвачена радостью бытия, что это не могло его не тронуть. И он знал о ее достоинствах — о безграничной преданности Чарльзу (которому пришлось около года сражаться за то, чтобы дядюшка согласился принять его подругу). Ее страсть — всегда восторг, писал Чарльз Кавалеру. Она давно восхищается вами, добавлял он. Кавалер подумал, что с его стороны будет правильно вести себя по отношению к ней более сдержанно, нежели другие мужчины. Он даст ей приют — быть может, лучше поместить дам в четырех передних комнатах третьего этажа? — покажет достопримечательности.

Вы сможете сделать из нее все, что пожелаете, — заверил Чарльз. — Гарантирую, материал превосходный.

Но вначале у него не было педагогического настроя. Ему хотелось просто смотреть на нее. Он не справлялся с теми эмоциями, которые рождала ее красота. Что это? Старость? Он так мгновенно поддался очарованию юности… Да, он стар. Жизнь прожита. Прибавить эту красоту к своей коллекции? Нет. Он лишь отшлифует ее достоинства. И отошлет домой. Все-таки Чарльз

подлец.

Таким образом, Кавалер несколько недель медлил, тянул время, не в силах поверить, что ему дан еще один шанс, что жизнь можно начать заново. Что ему делать с такой юной девушкой? Он знал, что она передана ему во владение (по крайней мере, так он думал), но боялся попасть в дурацкое положение, и его умиляла ее доверчивость. Она и правда верила, что Чарльз через несколько месяцев приедет за ней. С другой стороны, он будет не меньшим дураком, если не воспользуется своим правом, без суеты и излишней сентиментальности. Должна же она понимать. Должна же она, так часто переходившая из одних рук в другие, знать мужчин и их подлые повадки. Конечно, она искренне любит Чарльза. Но она не может не ждать от него каких-то действий. Бедная Эмма. Гадкий Чарльз. И он накрыл нежную ручку своей, костлявой.

Резкость ее отказа, слезы, крики раздосадовали Кавалера — Чарльз обещал, что она будет сговорчива, — но одновременно произвели впечатление. В соответствии с теми критериями, по которым мужчины испокон веков оценивают женщин, после ее отказа уважение к ней выросло. Тем не менее, она, судя по всему, получала

искреннее удовольствие от его общества, а не просто почитала его. Такая пылкая любознательность — конечно, она счастлива. Он дал ей в личное пользование карету. Объездил с ней — всегда в сопровождении спокойной, уютной матери — все местные красоты. Возил на Капри, где они посетили мрачные руины виллы Тиберия, всего поколение назад лишенные хищными археологами удивительных напольных мраморных плит. На Сольфатаре они гуляли по пропитанной серой, опаленной солнцем равнине. В мертвых городах разглядывали прилепившиеся друг к другу, наполовину ушедшие под землю дома. И, конечно, были на Везувии. Выехали в карете в четыре утра, при полной луне, добрались до Ресины, а там уже ждал Толо с мулами, которые должны были отвезти их к разливу лавы в трех милях от вершины. Она во все глаза смотрела по сторонам — а он наблюдал за ней. Она неподдельно восторгалась всем, что он показывал, забрасывала вопросами. Казалось, ее единственное желание — доставить ему удовольствие. И если иногда, когда он выходил на террасу, чтобы вместе с ней насладиться закатом, ее щеки бывали мокры от слез, это было более чем понятно: она так далеко от дома, а его негодяй племянник обязан был

сказать ей правду, бедняжка так молода, что там говорил Чарльз, сколько ей? (О ее возрасте Кавалер имел самое смутное представление.) Года двадцать три, должно быть. А значит, Кавалер, в свои пятьдесят шесть, в возрасте Плиния Старшего, когда тот сгинул в ужасном дыму, на тридцать три года старше этой деревенской Венеры.

* * *

На самом деле разница между ними составляла тридцать шесть лет. Тем апрельским днем, когда она прибыла в Неаполь, ей исполнился двадцать один год.

Ох Чарлз в этот день ты всигда улыбался и был дома и добр ко мне а типерь ты так далико. Цитата из ее первого письма.

Чарльз должен был приехать осенью. Так он ей сказал. Она писала ему каждые несколько дней. Становилось все жарче, мухи и вши множились. Перед Кавалером, щедро осыпавшим ее подарками, главным из которых было его присутствие, она старалась казаться веселой.

Он завтракаит, обедаит и ужинаит и всигда при мне, смотрит на мое лицо, докладывала она Чарльзу. Я ни могу спакойно пашивилить рукой или нагой он обизатильно скажит это изящно и

прикрасно. Сдесь в доме живут два художника они меня рисуют но не так харашо как Ромни. Я ношу галубую шляпу каторую ты мне подарил. Он подарил мне верблюжию шаль и красивое платие за 25 гиней и всякий мелкий вещи жены. Он гаварит я виликое произвиденье искуства и мне больно видить што он меня любит.

Письма к Чарльзу становятся все более пылкими, душераздирающими. Она заверяет своего дорогого, дорогого Чарльза, что принадлежит и всегда будет принадлежать только ему, что никто не сможет его заменить. Рассказывает об увиденных чудесных местах, которые предпочла бы посетить в его обществе. Умоляет написать ей и как можно скорее приехать в Неаполь, как он обещал. Или послать за ней, чтобы она могла вернуться к нему.

Через два месяца пришло письмо.

Дарагой Чарлз, ответила она, ты разбиваишь мне серце. И Чарлз Чарлз как ты можишь с таким холодным равнодушием говорить штобы я спала с ним. С твоим дядей! Ох это хуже всиво — но я не буду сердится. Еслиб я была с тобой я бы убила тебя и себя нас обоих. Мне ничиво не нужно только поехать домой к тибе. Если этого не будит я поеду в Лондон и буду вести сибя очинь плохо пока не

умру и пусть моя судьба будит придостержением всем молодым женьщинам што нельзя быть слишком хорошими. Потомушто ты заставил меня полюбить тебя — сделал меня харошей — а типерь бросаишь. А нашу связь можит разорвать только штото ужасное если уж такая судьба.

Она закончила: ни в тваих интересах меня не паслушать потомушто ты ни придставляишь какая у меня сдесь власть. Только я низашто не стану ему любовницей — паступишь со мной плохо и я сделаю так што он на мне женится. Храни тебя Гасподь.

Это было написано первого августа. После она еще целых пять месяцев продолжала писать, умолять, прощаться — и держала Кавалера на расстоянии. В декабре она уведомила Чарльза, что из двух зол решила выбрать меньшее. Я приняла ришение быть разумной, написала она. Я красивая женьщина а все сразу ни получиш.

* * *

Невозможно описать…

Невозможно описать ее красоту, — говорил Кавалер, — невозможно описать счастье, которое она мне дает.

Нивозможно описать как я скучаю по тибе Чарлз, писала девушка. Нивозможно описать как я сирдита на тебя.

Извержением вулкана Кавалер тоже восхищался с новой силой: невозможно описать эти огненные жирандоли, их удивительная красота превосходит красоту самых необыкновенных фейерверков, написал он и дополнил эту фразу целой серией всевозможных сравнений, ни одно из которых не могло в полной мере передать его "ощущений. Вулкан, как всякий объект великой страсти, обладал массой противоречивых качеств. И забава — и апокалипсис. Сущность, объединяющая все четыре стихии разом: дым, затем огонь, затем потоки лавы, затем лавовые камни — самые характерные представители земной тверди.

О девушке Кавалер часто говорил (и самому себе, и другим): — Она напоминает… она подобна… она могла бы сыграть… — Но это больше чем схожесть. Это воплощение. Именно ее красотой наслаждался он всю жизнь на картинах, вазах, именно ее красоту видел в статуях. Она и Венера со стрелами, и Фетида, опускающаяся на ложе в ожидании жениха. Раньше он думал, что ничто не способно сравниться с красотой, воплощенной

в картинах, статуях — с отображением, нет, памятником той красоты, которой не существовало никогда или не существует больше. Теперь он понимал: те образы не напоминание о красоте, они — ее предтеча. Провозвестники. Бессчетное число образов, на которые расщеплена реальность, образов, прожигающих сердце человека — оттого, что все они говорят о единственной, драгоценной для него красоте.

Кавалер приобрел красавицу *и* чудовище.

Передав Чарльзу огромную сумму, Кавалер не оставил людям другого выхода, кроме как судачить, что племянник продал ему свою любовницу. Пусть болтают, что хотят. Зачем еще жить так далеко от дома, в отсталом, снисходительном к пороку городе, если не затем, чтобы вести себя как заблагорассудится?

На променаде в Чиайе, куда местная знать приезжала в каретах любоваться на закат, он представил ее обществу и, в одно из воскресений, королю и королеве. Он не мог взять ее с собой во дворец, но под открытым небом она была достойна любого общества. Она мгновенно завоевывала симпатию истинных ценителей красоты, так же как простых людей на улицах, нищих, прачек, — они считали ее ангелом. Когда он привез

ее на Искью, крестьяне опустились перед ней на колени, а священник, зашедший в дом, при взгляде на нее перекрестился и объявил, что она послана на землю с особой миссией. Служанки, отданные Кавалером в ее распоряжение, просили у нее ходатайства перед небесами, потому что, как они говорили, она похожа на Святую Деву. Стоило ей радостно захлопать в ладоши при виде лошадей, украшенных искусственными цветами, малиновыми султанами и плюмажами, как кучер, с самым серьезным видом, тянулся, извлекал цветок и протягивал ей. Как только люди видели ее, их лица светлели. Она была так полна радости, беспечного счастья. Не понравиться она могла лишь закоренелому снобу. Как возможно ею не восторгаться, не наполняться радостью от одного присутствия?

Несмотря на молодость и отсутствие привычек, даруемых знатностью и подобающим воспитанием, она обладала врожденным талантом властвовать. Миссис Кэдоган относилась к дочери скорее как к госпоже, едва ли не побаивалась ее. Эту простую, всегда державшуюся в тени, любившую выпить женщину можно было принять за приживалку, дальнюю родственницу, привезенную в качестве компаньонки, дуэньи, которой

не надо платить жалованье. И то, что их повсюду сопровождала ее мать, дарило Кавалеру особенное наслаждение, вынуждая таить постоянно испытываемый восторг. Рутинные развлечения обрели внутреннюю напряженность, размах. Однажды, ранним июльским утром, они ехали под палящим солнцем по горной дороге между сосен в Поссилипо, в маленький коттедж, чтобы переждать там дневную жару. Там они сидели на террасе под огромной, надувающейся, хлопающей на морском ветру оранжевой маркизой. Кавалер с восхищением смотрел, как девушка смакует охлажденные фрукты и крепкое везувианское вино. Потом наблюдал с террасы, как она по высеченным в скале ступеням спускалась купаться, долго стояла по грудь в воде, храбро плескала руками, затем обхватила мокрыми ладонями шею под самым затылком и, в этой очаровательной позе, застыла. Пока мать и две служанки ждали ее с халатом и полотенцами, из-за скал за красавицей подглядывали мальчишки. Кавалеру было безразлично, любит она его или нет, настолько сильно он сам любил ее, любил смотреть на нее.

Он неустанно подмечал ее настроения, переход одного выражения лица в другое, бесконечное

разнообразие внешних проявлений. Она бывала игрива, бывала девственно скромна. Иногда — величественная статная матрона, иногда — неугомонный ребенок, требующий новых игрушек. Как прелестна она бывала, примеряя шляпку, или пояс, или платье, которые он намеревался ей купить, как искренне смеялась, восхищаясь собой.

Как мне повернуть голову, так? — спрашивала она немецкого художника, которого Кавалер поселил в доме, чтобы тот написал ее портрет.

Или так?

Входя в комнату, она, подобно знаменитой актрисе, знала, какой эффект произведет на людей ее появление. Это было ясно по той уверенности, с которой она входила, по рассчитанной медлительности, с которой поворачивала голову, прикладывала руку к щеке… вот так. Власть красоты.

Но какой именно красоты?

Не той, двумерной, для которой губительно наличие плоти: это красота линий, скелета, профиля, нежного разреза ноздрей и шелковистых волос. (Та красота, которая, когда пройдет первая молодость, должна придерживаться диеты, усилием воли сохранять стройность.) Эта красота

рождена сознанием своего превосходства, классовой самоуверенности. Она говорит, я рождена не для того, чтобы угождать. Я рождена, чтобы мне угождали.

И не той, рожденной уходом, упорством, всяческими ухищрениями… но, в сущности, столь же авторитарной — той красоты, которой приходится отвоевывать место под солнцем, которая ничего не получает даром. Смысл такой красоты в объеме, она должна быть, не может быть ничем иным, кроме как плотью. (И со временем превращается в жир.) Эта красота заявляет о себе полураскрытыми губами, просящими, жаждущими прикосновения. Щедрая красота, тянущаяся к тому, кто ею восхищается. Я могу быть какой угодно, я хочу угождать тебе.

Красота возлюбленной Кавалера скорее — второго типа, наивная и царственная одновременно — не нуждалась ни в завершенности, ни в полировке. Тем не менее, с момента приезда девушка стала еще прекраснее (если такое возможно), ее красота цвела все пышнее, звенела чем-то чувственным, сочным, сверкала на солнце, так не похожем на английское. Возможно, раньше ей именно этого и не хватало — новой обстановки, нового восхищения и даже страданий (она

плакала по Чарльзу, она по-настоящему любила его), невиданной прежде роскоши. Возможно, ей всегда следовало быть не алмазиком, скромно разливающим чай за столом неуверенного дилетанта, обитателя лондонского предместья, — а драгоценностью, предметом гордости великого коллекционера.

* * *

Что обычно делают с красотой? Восхищаются, расхваливают, по мере сил приукрашивают, выставляют напоказ — или прячут.

Можно ли, обладая чем-то в высшей степени прекрасным, удержаться от соблазна похвастаться? Наверное, можно, если вы боитесь зависти, боитесь, что кто-то может отнять ваше сокровище. Тот, кто украл из музея картину или средневековый манускрипт, естественно, будет их прятать. Но каким ущербным должен он при этом себя чувствовать. Ведь это так естественно — демонстрировать красоту, обрамлять ее, ставить на постамент — и в хоре восхищенных голосов слышать эхо собственного восхищения.

Вы улыбаетесь — да, она великолепна.

Великолепна? Она значительно, значительно больше, чем просто великолепна.

Что за красота без свиты, без хора, без шепота, вздохов, восторженного лепета?

И кто лучше Кавалера знает, что такое красота, в которую падаешь как в бездну. Я сражен, я убит. Я падаю, накрой меня своим ртом.

* * *

Красоту нужно показывать. И обучить подавать себя в наилучшем виде.

Ее упоительные совершенства и его безоговорочное счастье не означают, что у него не появляется желания сделать ее еще лучше. Особняк Кавалера с утра до вечера забит учителями — пения, рисования, итальянского языка, игры на фортепьяно. Способная от природы, девушка вскоре свободно заговорила по-итальянски — лучше Кавалера, прожившего в Италии больше двадцати лет. Тогда он добавил к программе уроки французского, на котором сам изъяснялся очень хорошо, но с английской протяжностью. И этот язык она освоила быстро и говорила с меньшим акцентом — что свидетельствовало о превосходном слухе. Кавалер сам давал ей уроки родного языка — «прекрасная погода, не правда ли», — чтобы сделать ее выговор сносным, и неизменно бранил за детские ошибки в право-

писании.

Впрочем, с английским дело обстояло безнадежно. Сколько Кавалер ни бился, ее речь оставалась потоком проглоченных слогов и ребяческих восклицаний. Она хорошо усваивала лишь новые навыки, итальянский, французский, живопись, пение, рисование, — все то, чему никогда не училась раньше. Новая утонченность ложилась на основу исконной вульгарности, от которой невозможно было избавиться. Прыгнуть выше головы она не могла.

Она думала, что ее бросили. А ее передали другому человеку. Она быстро развивается. Вокруг знатные женщины ее возраста, одна утомленнее другой. А она не ходит, она летит. Она умна, ей есть куда направить переполняющую энергию. Ей нужны еще уроки: она хочет, чтобы вся ее жизнь, все дни были заполнены. Восемь утра… девять утра… десять… и так далее, столько, сколько вмещает день. Кавалер озабочен: не устает ли она?

Девушка от души хохочет, потом прикрывает сочный рот ладошкой.

Устает!

Кавалер берет учителей по ботанике и геологии. Есть еще и учитель танцев. Она довольно

сносно играет на фортепьяно. А поет как ангел! Кастрат Априле, нанятый, чтобы трижды в день совершенствовать ее навыки, сказал, что никогда не встречал столь чудесного природного голоса. Кавалер не счел эти слова грубой лестью, это — истинная правда! Он обожал, занимаясь разбором утренней почты, слушать ее чудесные рулады. Если она не занята языками или музыкой, то глотает книгу за книгой из библиотеки Кавалера. Ей хочется доставить ему удовольствие, и это удается — она говорит, что ей нравятся Стерн и Вольтер.

Краснея от удовольствия, девушка поет на ассамблеях Кавалера, и чудный голос, возносясь над головами гостей, улетает к факелам на стенах, к лакеям в задней части комнаты. Ей очень хочется попасть на бал во дворце. Она везде сопровождает Кавалера, но при дворе принята быть не может. Впрочем, она часто встречает короля на улицах с его свитой al fresco[11]бездельников и попрошаек. Тот хватает ее за руки и целует пальчики. Ей улыбается сама королева. Все отпускают цветистые комплименты. Она сидит рядом с Кавалером в обитой шелком ложе в Сан-Карло.

---

[11] Примечания: 11

Al fresco *(um.)* — по-сырому, на манер фрески; зд. — грубо-живописная.

Она именует себя миссис Харт.

Она больше не понимает, кто она, но знает, что движется вверх. Она видит, как сильно ее любит Кавалер. Она чувствует, что у нее есть способности. Знания влетают в голову, словно птицы, и поселяются там навсегда. Она пьет, громко смеется. У нее жаркая кровь. По ночам она согревает Кавалера, его худая голова ложится на ее пышную грудь, острые колени — между ее колен.

* * *

Как многие легендарные красавицы, она не искала красоты в тех, кого любила. (У истинной красавицы всегда достанет красоты на двоих.) Самодовольная смазливость Чарльза ничего не могла добавить к ее любви, как не могло ничего отнять то, что Кавалер — старик со впалой грудью.

Она жадно нуждалась в одобрении Кавалера, вслух читала ему отрывки из руководства по самосовершенствованию для женщин, которое подарил Чарльз. Книга называлась «Победы над характером». Она знакома с автором, мистером Хейли, он друг Ромни. Мистер Хейли всегда поощрял меня. И у меня уже много побед над характером, — хвастается она Кавалеру. — Я

стала очень разумная. Вот увидите. — Милая моя деточка, — говорит Кавалер.

Как она смотрела на него! Не так, как Катерина, робко, прося внимания, ловя ответный призывный взгляд, — нет, игриво, страстно, сама притягивая взглядом.

Ее умение веселиться, неприхотливость, великолепное здоровье восхищали Кавалера. Он был сыт по горло женской хрупкостью, женскими жалобами.

Поэма мистера Хейли никогда не покидала своего места на столике у постели девушки. Главная героиня, Серена, была всегда спокойна, доброжелательна, послушна, неподвластна ни обидам, ни трудностям. Серена,[12] одним словом. Именно такой хотел видеть свою подругу Кавалер — не всегда, разумеется, иначе она лишилась бы шарма и соблазнительности, — но в тех случаях, когда его поступки шли вразрез с ее желаниями, огорчали ее. Она не должна была жаловаться, когда он — совершенно того не желая, конечно, — оставлял ее одну, вынужденный сопровождать короля на охоту или играть с ним на бильярде. В январе, когда охотничья похоть короля разгора-

---

[12] Примечания: 12
Serene *(англ.)* — безмятежная.

лась с наибольшей силой, Кавалер взял девушку в Казерту, где так много страдала от одиночества Катерина. Это была проверка, и она прошла ее с честью. Когда он уезжал с королем, она посылала ему записочки: как прилежно учится, надеясь этим доставить ему удовольствие, как счастлива с ним. Он грезил о ее полных бедрах.

Ему дороги даже недостатки: маленький срезанный подбородок, пятна экземы на локтях, просвечивающие сквозь муслиновые рукава платья, растяжки на животе — последствие беременности, смех, иной раз переходивший в гогот. И это значит, что он любит ее по-настоящему.

Его любовь опровергала расхожее представление о том, что влечение дольше сохраняется (точнее, дольше живет) в условиях разлуки, сомнений, опасности, отчуждения, неудовлетворенности, что страсть несовместима с обладанием, со стабильностью. В его случае обладание ничего не меняло и не уменьшало. Кавалер был околдован сексуально. Он и не подозревал, что способен столь пылко желать чьей-то близости.

Она, по устоявшейся привычке, в силу привязчивости и неспособности таить обиду, продолжала писать Чарльзу — о своих победах. У меня прилестные 4 комнаты с видом на залив и своя

карета и свои лакеи и слуги и мне спицально шьют одежду. Все при дворные дамы вастаргаются какие у меня волосы. Я пела на музыкальной асамблеи 2 сирьозные песни и 2 буффы и мне сказали что у меня голос чудесный как у кастрата. Мне столько много хлопали. Люди плачут когда меня слышут. А твой дядя меня вправду любит а я люблю ево и я учусь штобы он был доволен. Вечерами мы гуляим в общественом парке. Мы все время ходим в оперру и водили какихто инастранцев в Песто смотреть гречиские храмы…

Помимо «мы», обозначающего их с Кавалером как пару («мы считаим што даричиские калоны слишком тижолые и ниэллегантные»), есть другое «мы», общее для всех («наверно скоро будит новое извиржение, мы все очинь этово хотим»). Увидев, как дорог Кавалеру вулкан, она словно бы усыновила его и запросто говорит об изверженнии, случившемся вскоре после его прибытия в Неаполь, двадцать три года назад, как будто сама при этом присутствовала («это было низабываимо, но очинь ужасно»). Твой дядя смиется надо мною, сообщила она Чарльзу, гаварит мы типерь с ним будим соперничать из-за горы.

Но она замещает собою гору.

Она, как и вулкан, становится местной досто-

примечательностью с международной известностью. Русский посол, граф Скавронский, счел ее красоту достойной упоминания в депеше императрице, и та пожелала, чтобы в Санкт-Петербург выслали портрет девушки.

Мог ли Кавалер не обожать ее?

Она заслужила доверие. Страшно подумать, сколько она испытала. Драгоценность не портится оттого, что прошла через руки людей, не способных ее ценить. Важно, что она попала наконец в те руки, для которых предназначалась, и теперь является украшением сокровищницы, достойной ее совершенства.

* * *

Грустно думать об уникальной, драгоценной вещи, чья участь — быть доступной, пусть в некой условной форме, всем. Это сродни воровству, от которого не спасают надежные стены музея или большой частной коллекции.

Такова судьба знаменитой вазы, продажа которой стала пиком карьеры нашего торговца древностями — Кавалера. Поддавшаяся чарам удивительной римской вазы с камеей вдовствующая герцогиня Портлендская через год после совершения сделки скончалась, и ваза перешла

к ее сыну, Третьему Герцогу. Тот продал право на создание копий прекрасного творения знакомцу Кавалера, неутомимому Джозии Веджвуду, отдававшему все силы великому делу совершенствования общественного вкуса. В результате иссиня-черное стекло около двадцати раз возродилось в виде черной глянцевой керамики — и надо полагать, горшечник-промышленник, проповедник упрощенных форм, считал это вершиной своего мастерства. Веджвуд даже не попытался воспроизвести цвет или благородную патину оригинала; благородные формы вазы, вследствие упрощения, безнадежно исказились — ручки скошены внутрь, а не повторяют изгиб «тела», «плечи» слишком покатые, «шея» укорочена. Не исключено, впрочем, что коренастый уродец был снисходительно одобрен Кавалером, давным-давно поборовшим аристократическую неприязнь к новому, рыночному, способу популяризации своей коллекции. Но он, безусловно, поразился бы, будь у него возможность видеть потомков своей вазы, которых в следующем столетии десятками тысяч начала плодить фирма Веджвуда. Портлендские вазы — оливковые, желтые, бледно-розовые, лиловые, лавандовые, серые, черные, коричневые; портлендские ва-

зы всех размеров, малые, средние и большие. Каждый имел возможность, и даже был обязан, купить портлендскую вазу — по крайней мере, должен был хотеть; в этом заключалась рыночная стратегия фирмы. Ваза росла, съеживалась, принимала любой окрас. Ваза превратилась в общее место, в дань самой себе.

И кто в наши дни способен по-настоящему полюбить портлендскую вазу?

Драгоценность равна только самой себе. Главной драгоценностью Кавалера была теперь молодая женщина. Уникальная вещь распространяет свою ценность на владельца. Коллекционер счастлив тем, что известен, главным образом, как владелец доставшегося ему — пусть ценою невероятных усилий — сокровища.

* * *

Таким образом, пожилой человек нашел для коллекции молодую женщину; обратное положение вещей было бы невозможно. Коллекционирование — деятельность не только общественная, но и пиратская. Коллекционирование (столь отличное от приобретения в больших масштабах) подразумевает охотничий азарт, конкурентную борьбу, сражения на аукционе. Считается, что

женщины не получают от этого удовольствия, не имеют для этого достаточно сил. Женщины так же не могут быть истинными коллекционерами, как не умеют правильно рассказывать анекдоты. И собирательство, и рассказывание анекдотов принадлежат тому миру, где вращаются — передаются друг другу, перехватываются друг у друга — некие уже существующие предметы. Чтобы жить в этом мире, ему нужно уверенно, полноценно принадлежать. Женщины в этом мире играют во втором составе. Ведь для них это не состязание, но борьба за право в этом состязании участвовать.

* * *

Вы рассказываете анекдот. Он мне нравится. Я смеюсь так, что начинает колоть в боку, из глаз льются слезы. Как смешно и как тонко. Даже, пожалуй, глубоко. И все в одном анекдоте. Надо его пересказать.

Вон кто-то идет. Ему-то я и расскажу ваш анекдот. То есть — просто анекдот. Конечно же, он не ваш. Вам его тоже кто-то рассказал. В общем, если не забуду, я его перескажу. Хочу поделиться радостью, увидеть свои эмоции в другом человеке (как он самозабвенно покатывается со смеху,

одобрительно кивает, как у него на глазах выступают слезы), но теперь я становлюсь подающим, а не принимающим, и очень важно не испортить рассказ. Надо рассказать его так же хорошо, как это сделали вы, по крайней мере, не хуже. Надо сесть за руль анекдота и провести его до конца пути, не спутав передачи и не свалившись в кювет.

Я — женщина и, конечно, больше вас (вы, разумеется, мужчина) беспокоюсь о том, чтобы донести юмор до собеседника. Я начинаю с извинения, с объяснения, что, хотя я не очень хорошо запоминаю анекдоты и редко их рассказываю, все же не могу удержаться и не рассказать именно этот. И, трепеща от волнения, начинаю рассказывать, стараясь сделать это в точности так же, как вы. Я имитирую ваши интонации, делаю ваши паузы, подчеркиваю голосом те же места.

Я благополучно добираюсь до конца, но все же анекдот звучит не совсем *так,* не так смешно, как у вас. Собеседник ухмыляется, смеется, ахает. Но я не уверена, что получила то же удовольствие, которое получили вы, рассказывая этот анекдот мне. Я делаю то, чего не умею, я имитирую умение. Я хочу быть остроумной и умею составлять красивые фразы — чем обычно и занимаюсь. Но анекдот — не мое. Остановите меня, если вы его

уже слышали, — говорит рассказчик, готовый поделиться новой шуткой, своим последним приобретением. Он прав, предполагая, что другие могли вам рассказать то же самое — анекдоты циркулируют среди людей.

Анекдот — общественная собственность. На нем не стоит подпись владельца. Вы его передали — но не вы его придумали, он находился под моим попечительством, но я решила передать его другому, дальше, дальше. Он же не о нас. Не о вас, не обо мне. У него своя жизнь.

Он вырывается — как хлопок, смех, чихание; как оргазм, как маленький взрыв, как вода из переполненной чашки. Он говорит: а вот и я! У меня хватает знаний, чтобы оценить этот анекдот. Я достаточно общительна и артистична, чтобы пересказать его другим. Мне нравится забавлять людей. Нравится быть в центре внимания. Нравится быть в курсе. Нравится, скрываясь под маской собственного лица, быстро доводить эту маленькую машинку до места назначения — и тут же выскакивать из нее. Я живу в мире, где есть много того, что не мое, но что мне нравится.

Передай другому.

2

Живая картина. Мы видим их со спины, видим, куда они смотрят, видим, что они призывают друг друга поглядеть вдаль, вытягивая руку в сторону и немного вверх — характерный для того века салют всему далекому и удивительному. Повсюду камни, над краем облака плывет сияющая луна, над горой поднимается султан дыма.

Они уже восторгались этим зрелищем издалека — с уступа, — а потом начали взбираться на склон горы. Чтобы не споткнуться, пришлось внимательно смотреть под ноги, на острые камни. И вот, сделав последний рывок, они на вершине — достигли широкой насыпи, окружающей кратер. Оказавшись на ровной земле, они снова смотрят вверх и жестами указывают — *вон там.* Но на самом деле это не *там,* а *здесь,* в опасной близости. Их поливает дождем из камней и пепла. Из жерла вырываются клубы черного дыма. Всего в нескольких ярдах падает раскаленный камень — осторожно, руку! Но все поглощены созерцанием — по крайней мере, поэт поглощен. Вот еще прекрасный вид. Но не затем же он взбирался так высоко, чтобы все время смотреть вверх. Надо

поглядеть и вниз, заглянуть внутрь.

Видите, утихает. Поэт достает хронометр. Спрячьтесь там, за скалой. А я хочу выяснить, как долго способно бесноваться это чудище. Точно раненое. Эти выбросы похожи на прерывистое дыхание раненого животного, с двенадцатиминутными — согласно хронометру — интервалами между вдохами. В перерывах выброс камней прекращается, и поэт предлагает своему боязливому другу, художнику: пусть в одну из пауз проводники быстро подтянут их к вершине кратера, чтобы они смогли заглянуть внутрь.

Так и сделали, и теперь они стояли на краю огромной пасти (как впоследствии написал поэт). Легкий ветерок относил дым в сторону, ворчание, клокотание и плевки на время прекратились, но пар, вырывавшийся изо всех расщелин, заволакивал внутренность кратера и не давал как следует разглядеть его изрытые каменные стены. Зрелище, по утверждению поэта, столь же мало поучительное, сколь и малоприятное.

Затем монстр очередной раз выдохнул, из нутра вырвался оглушительный, громоподобный рев — нет, из глубины котла поднялось жаркое облако грязного пара — нет, из мощнейшей бомбарды полетели сотни камней, больших и малых…

Проводники потянули господ за камзолы. Один из проводников, одноглазый парень, — его рекомендовал поэту Кавалер, — стремительно утащил их за валун. Все вокруг содрогалось от грохота, и это мешало наслаждаться обширным видом на залив и город. Издалека их очертания походили на гигантский стул сбоку или на амфитеатр. Художник закричал: — Все, я спускаюсь. — Поэт еще несколько мгновений оставался за валуном, демонстрируя храбрость, а заодно обдумывая некоторые приведшие на ум метафоры, и лишь после этого счел возможным ретироваться.

Это первое из трех восхождений Гёте на гору. Он был с другом, художником Тишбайном. Поэт не первой молодости, но исключительно бодрый для своих тридцати семи лет, не мог не бросить вызов огнедышащему дракону. То, что по силам старому английскому рыцарю, разумеется, по силам и ему. Собственно, этим занимаются все приезжающие сюда джентльмены, кроме немощных. Но, в отличие от Кавалера, поэт не находит зрелище прекрасным. Напротив, ему тяжело, неудобно, жарко и одновременно холодно, он устал, и ему страшно. Все кажется каким-то глупым. То-то на склоне этой мрачной горы, возвышающейся всего в нескольких милях от

райского города, не видно ленивых и праздных местных жителей. Определенно, эта забава для иностранцев. Скажем точнее, для англичан. Ох уж эти англичане. Такие рафинированные и такие неотесанные. Если бы ихне было, никому не пришло бы в голову их выдумать. Эксцентричные, поверхностные, скрытные. Но зато как умеют наслаждаться жизнью!

Отчего бы не попробовать наслаждаться жизнью вместе с ними.

Поэт прибыл в особняк британского посланника вечером, в сопровождении своего друга и еще одного немецкого художника, проживавшего в Неаполе. Кавалер любезно встретил их, показал свои сокровища — в комнатах, открытых для всех посетителей. Стены, увешанные картинами, гуашами, рисунками; столы, заваленные камеями, заставленные вазами; шкафы, забитые геологическими диковинами. Первым делом немецкие гости обратили внимание на то, что в нагромождении вещей не чувствовалось никакой методы, никакого порядка. Это рождало впечатление не изобилия, не излишества, но неорганизованности, хаоса. Впрочем, если приглядеться внимательнее (о чем и мечтает всякий коллекционер), то можно понять чувствитель-

ность и чувственность особы, вкус которой эти предметы, будучи собраны вместе, отражают, говорил Тишбайн много лет спустя, вспоминая этот визит. Стены, добавлял он, подразумевая стены особняка Кавалера, были зеркалом его внутренней жизни.

Затем Кавалер пригласил поэта — одного — посетить хранилище в подвале. (Такая привилегия предоставлялась только самым знатным гостям.) И там поэт, впоследствии поведавший о своих впечатлениях другу, был потрясен излишеством совершенно иного свойства. В подвале, например, стоит целая, хоть и небольшая, часовня. Откуда, спрашивается? Художник, возведя глаза к небу, помотал головой. Кроме того, там есть два роскошных бронзовых канделябра, которые, не сомневался поэт, взяты с раскопок в Помпеях. И еще множество вещей сомнительного происхождения. Коллекция наверху отражала представления Кавалера о неком идеальном мире. Подвал же был громадным брюхом коллекции, без разбору поглощавшим все то, от чего Кавалер не имел сил отказаться. Ибо в своей страсти к собирательству он достиг той стадии, когда человек приобретает не только нужное, но и ненужное, из боязни, что в один прекрасный

день оно окажется очень ценным или просто пригодится. Он не устоял перед искушением показать мне эти вещи, подумал поэт, несмотря на то, что этого не следовало делать.

Разумеется, желание демонстрировать коллекцию можно принять за обычное хвастовство. Но коллекционер не производит эти вещи, не изобретает, он всего лишь их покорный раб. Показывая их, он не пытается возвысить себя, он униженно предлагает другим восхищаться вместе с собой. Если бы то, чем коллекционер владеет, он изготовил сам или получил по наследству, тогда это действительно было бы хвастовство. Но трудности, связанные с созданием коллекции, беспокойство, с которым сопряжено созидание собственного наследия, освобождает человека от необходимости быть скромным. Выставляя коллекцию на обозрение, коллекционер отнюдь не проявляет дурные манеры. Если вдуматься, коллекционера, как и самозванца, вообще не существует до тех пор, пока он не появится на публике, не заявит людям, кто он есть или кем желает быть. Пока не выставит свою страсть напоказ.

* * *

Поэту рассказали, что Кавалер получил по наследству, а потом и сильно полюбил, молодую женщину, красивую, как греческая статуя. Что он занялся ее образованием и совершенствованием — как поступил бы на его месте любой покровитель, богатый, знатный, немолодой (эпитеты, к его любимой не относящиеся). И что он стал, так сказать, Пигмалионом наоборот, Пигмалионом, превратившим прекрасную леди в статую, а точнее, Пигмалионом с обратным билетом в кармане, который может по желанию превращать женщину в статую, а статую в женщину.

На тех приемах она, подчиняясь вкусу Кавалера, носила античный костюм: белую тунику с поясом. Золотистые — некоторые называли их каштановыми — волосы свободно падали на спину или были подняты наверх и заколоты гребнем. Один из очевидцев рассказывал, что, когда она решила начать представление, какая-то полная пожилая женщина принесла ей две или три кашемировые шали. Этой женщине, экономке ли, вдовой ли тетушке (но явно больше, чем просто прислуге), было позволено сидеть рядом и смотреть. Служанки принесли урну, ящичек для

духов, кубок-, лиру, тамбурин и клинок. Со всеми этими предметами она расположилась в центре затемненной гостиной. Кавалер с масляной лампой в руках вышел вперед, и представление началось.

Девушка набросила на голову шаль, и ткань, свесившись до пола, закрыла ее целиком. Спрятавшись, она стала производить некие внешние и внутренние перестроения (драпировки, мышечный тонус, эмоции), готовясь появиться в образе женщины, полностью отличной от нее самой. Чтобы достичь этого — что труднее, чем взять и надеть маску, — нужно обладать в высшей степени непрочным соединением души и тела. Нужно обладать даром впадать в эйфорию. Ее дух взмывал над телом, спускался обратно, она принимала позу — сердце сильно билось, и она отирала пот со лба. Лицо стремительно менялось, сухожилия напрягались, руки костенели, голова откатывалась назад или набок — затем девушка делала резкий и глубокий вдох…

И сдергивала покрывало — сбрасывала целиком, или приподнимала, или делала частью одеяния живой статуи, в которую превращалась.

Она держала позу ровно столько, чтобы публика догадалась, кого она изображает, а затем

снова скрывалась под покрывалом. Потом опять сбрасывала длинную шаль, открывая другую фигуру, в другом наряде — она знала сотню разных способов драпировки. Одна поза сменяла другую, почти без перерыва, десять-двенадцать раз за представление.

* * *

Впервые она позировала внутри высокого обитого бархатом ящика, открытого с одной стороны, затем — в огромной золоченой раме. Но вскоре Кавалер понял: достаточно одного обрамления — ее артистизма. Сама судьба подготовила ее стать собранием живых статуй Кавалера.

В четырнадцать лет, едва попав в Лондон, девушка мечтала стать актрисой — как те блестящие создания, гордо покидавшие служебную дверь «Друри-Лейн», за которыми она наблюдала по вечерам. В пятнадцать она — едва одетая участница tableaux vivant[13] в кабинете модного сексопатолога. Она научилась стоять неподвижно, дышать незаметно, не шевелить мускулами лица — изображая полнейшее равнодушие к сексуальным экзерсисам, исполняемым под

[13] Примечания: 13
Живых картин *(фр.).*

наблюдением доктора Грэма на Райском Ложе, прямо у нее под носом. В семнадцать ей довелось стать любимой моделью одного из величайших портретистов эпохи. Здесь она научилась вызывать в себе соответствующие сюжету эмоции, мимически выражать их и долгое время удерживать на лице. Художник признавался, что ей нередко удавалось его удивить, вдохновить на новую концепцию воплощения сюжета. Он говорил, что она — соратник, а не просто модель. Перед Кавалером она изображала саму себя, позирующую — одну за другой принимала требуемые позы. Череда живых фресок на тему античных мифов и литературных сюжетов.

* * *

Они стремились очень точно все воссоздать. Сначала выбирался сюжет. Затем Кавалер открывал книги и показывал юной женщине иллюстрации либо отводил к соответствующей картине или статуе из своей коллекции. Они обсуждали древние мифы. Ей хотелось показать их все до единого. Затем, когда она вживалась в сюжет, наступала самая интересная часть постановки — поиск нужного момента, итогового момента, в котором сконцентрирована суть

происходящего, момента, который раскрывает характер персонажа, его судьбу, его чувства. Такой же трудный выбор приходится делать каждому художнику. Как писал Дидро: «Для художника есть только одно мгновение, два разных мгновения он изобразить не может, как не может изобразить два последовательных движения».

* * *

Изобрази страсть. Только не шевелись. Стой… Не двигайся. Это не танец. Ты ведь не стоп-кадр какой-нибудь прото-Айседоры Дункан — пусть у тебя босые ступни, распущенные волосы, расслабленные руки и ноги и греческий костюм. Изобрази страсть. Только как статуя.

Можешь склониться — да, вот так. Или схватить что-то. Нет, выше. И голову влево. Да, пусть кажется, что ты танцуешь. Но только кажется. Полная неподвижность. Вот так. Нет, она бы вряд ли стала на Колени. Левую ногу свободнее. Помотай головой, чуть-чуть. Без улыбки. Глаза полузакрыты. Да. Вот так.

* * *

Все говорили, что выражения ее лица равно

убедительны и удивительны. Еще более удивительной была скорость, с которой она меняла позы. Изменение без перехода. От печали к радости, от радости к ужасу. От страдания к счастью, от счастья к панике. Наверное, это особый, сугубо женский, дар — мгновенно, без усилий, переходить от одной эмоции к другой. Именно этого мужчины ждут от женщин, именно это они в женщинах презирают. То одно. То другое. Ясное дело — бабы!

По сути, ею были представлены все типы характеров, все виды чувств. Но все-таки несчастных женщин, жертв было значительно больше, чем нимф и муз, разных Джульетт и Миранд. Матери, лишившиеся детей, — ее Ниобея; или по каким-то ужасным причинам вынужденные их убить — ее Медея. Девы, влекомые отцами на жертвенный алтарь, — ее Ифигения. Женщины, тоскующие по бросившим их любовникам, — ее Ариадна. Готовые убить себя, оттого, что их бросили, — ее Дидона; или чтобы смыть позор надругательства — ее Лукреция. Эти позы вызывали наибольший восторг.

Поэт видел ее через год после того, как она прибыла в Неаполь, она только-только начала давать представления на ассамблеях Кавалера.

Новый любовник раскрыл в ней новый талант. Этим талантом она будет удивлять зрителей много лет и никогда не перестанет восхищать даже самых злых клеветников. Сначала казалось, что ее актерский дар равен ее красоте. Но красота была скорее гениальностью, со свойственной гению самоуверенностью. Даже когда красота увяла, она чувствовала себя красавицей — готовой к восхищенным взорам. Даже погрузнев, она чувствовала себя изящной.

Она не хотела быть жертвой. И не была ею.

Она больше не скучала по Чарльзу. Успокоилась. Торжествовала победу. Знала, что никогда больше не испытает страстной любви, и смирилась с этим. Она искренне привязалась к Кавалеру, и ей было легко хранить верность. Она знала, как доставить удовольствие, делала то, чего от нее ждали. То, что Чарльз в постели бывал довольно холоден и скован, никак не повлияло на ее самооценку. А то, что Кавалер оказался более страстным любовником, чем его племянник, помогло — впервые, во всей полноте, — ощутить свою женскую власть. Теперь она чувствовала себя настоящей женщиной (это надежнее, чем чувствовать себя девушкой) — одной из многих, неотразимых. И в театре искусственных антич-

ных эмоций ее экспрессивность, неизбывная жажда общения нашли наиболее яркое выражение.

* * *

В те времена люди воспринимали античность как идеальную модель жизни, как набор идеальных доктрин. Прошлое было крохотным мирком, который становился тем меньше, чем дальше от него отходишь. Там жили добрые знакомые (боги, великомученики, герои, героини), олицетворявшие известные добродетели (постоянство, благородство, храбрость, изящество), воплощавшие неоспоримые идеалы мужской и женской красоты, а также сильной, но безопасной — благодаря загадочности, отбитым частям, вылинявшим краскам — чувственности.

Люди жаждали просвещения. Знания были в моде, а филистерство — нет. И поскольку позы, которые принимала протеже Кавалера, принадлежали античной мифологии, древней истории или драматургии, то наблюдение за ее Позициями, как они назывались, было сродни викторине.

Вот она распускает волосы, поднимается с корточек, молитвенно воздевает руки, роняет на

пол кубок, бросается на колени, приставляет к груди нож…

Ахи, перешептывание среди публики. Неуверенные аплодисменты. Тем, кто еще не догадался, соседи подсказывают на ухо. Аплодисменты усиливаются. И крики: «Браво, Ариадна!»

Или: «Браво, Ифигения!»

Кавалер — режиссер и привилегированный зритель — стоит рядом и с серьезным видом кивает. Он бы улыбался, если бы считал это уместным. Поэт же улыбнулся — оглядывая напряженную неподвижность пожилого человека, его столь очевидную в сравнении с молодым пышным телом старческую худобу.

* * *

Великий момент! — произнес поэт на своем высокопарном французском. — Вот что должно отражать великое искусство. Наиболее типические, трогательные, человечные моменты жизни. Мои комплименты, мадам Харт.

Спасибо, — поблагодарила она.

Ваше искусство весьма необычно, — серьезно сказал поэт. — Непонятно, как вам удается столь быстро переходить от одной позы к другой.

Просто удается и все, — сказала она.

О, разумеется, — улыбнулся он. — Понимаю. У настоящего артиста всегда есть свои секреты.

Но мне просто удается, — повторила молодая женщина, краснея. Не хочет же он, в самом деле, чтобы она рассказала, как это получается.

Все же, как вы это делаете? — настаивал поэт. — Что, персонаж предстает перед вашим мысленным взором?

Пожалуй, — сказала она. — Да.

Ее волосы были влажны. Поэт задумался, каково это — обнимать ее. Но она — не в его вкусе. Ему нравятся женщины более образованные либо более скромные, не такие живые. А она так и пышет талантом. Безусловно, исполнение замечательно талантливо. Она — не только всеми признанное произведение искусства, но и сама творец. Модель — и одновременно художник. Отчего бы и нет? Впрочем, гений — это нечто другое. Так же, как счастье. Поэт еще раз подумал о том, сколь счастлив Кавалер. Счастлив, ибо не желает большего, чем у него есть.

Повисла долгая, неловкая пауза. Молодая женщина спокойно стояла под пристальным взглядом чопорного немца.

Не желаете ли вина?

Позднее, — сказал поэт. — Я не привык к такой

жаре.

Да, — воскликнула молодая женщина. — Здесь очень жарко! Очень жарко.

Великая цель всякого искусства — разжигать воображение, — заметил поэт. Она согласилась. Художник, преследуя высокий замысел, имеет право отступить от низкой исторической правды. Ей было жарко, она вспотела. Немного погодя она сказала поэту, что читала и до безумия восхищена его «Вертером», и ей очень жаль бедняжку Лотту — как та, должно быть, корила себя за то, что вызвала столь роковую страсть в душе излишне чувствительного молодого человека.

А вам не жаль излишне чувствительного молодого человека?

Ах, — сказала она. — Конечно. Однако… больше жаль Лотту. Она поступала, как считала правильным. И не хотела ничего плохого.

А мне жаль моего героя, — сказал поэт. — По крайней мере, было жаль. Сейчас это ушло в прошлое. Когда я это писал, мне было двадцать четыре. Теперь я совершенно другой человек.

Молодая женщина — ей всего двадцать два — не в силах представить, что стоящий перед нею господин когда-то был того же возраста, что и она сейчас. Ему, верно, столько, сколько Чарльзу.

Чудные эти мужчины. Не боятся стареть.

Это история из жизни? — вежливо спросила она.

Все об этом спрашивают, — ответил поэт. — Точнее, всем интересно, со мной ли она приключилась. Должен признаться, в эту историю я действительно вложил добрую часть себя. В то же время, как видите, я здесь, перед вами.

Уверена, ваши друзья очень рады этому, — отвечала молодая женщина.

Думаю, для меня смерть Вертера явилась возрождением, — серьезно сказал поэт.

В самом деле?

Поэт всегда пребывал — и будет пребывать — в процессе возрождения. Признак гениальности?

К великому своему облегчению, она увидела приближающегося Кавалера. Я как раз поздравлял мадам Харт с успехом, — сказал поэт.

Разумеется, блистательный Кавалер — более достойный собеседник для этого высокомерного человека. Пусть мужчины общаются, а она будет слушать.

Однако в беседе с поэтом Кавалер преуспел ненамного более. Они не слишком понравились друг другу.

Кавалер не читал знаменитой слезливой по-

вести о страдающем от неразделенной любви эгоисте, в конце концов решившем застрелиться, — и сильно подозревал, что книга ему бы не понравилась. К счастью, прославленный гость — не только один из самых знаменитых писателей континента и важный министр небольшого немецкого герцогства, у него также есть и научные интересы, главным образом, в геологии, ботанике, ихтиологии. И мужчины принялись говорить о камнях, растениях и рыбах.

Поэт начал со своей теории о метаморфозах растений. Несколько лет я изучал листья, пестики и тычинки многих видов растений, и это дало мне возможность постулировать теорию существования растения-прототипа. С его помощью можно создать бесконечное число растений, каждое из которых вполне может существовать в природе — и многие, кстати, описаны. Здесь же, в Неаполе, когда я гулял по берегу моря, мне пришла в голову новая мысль. А лучше сказать, озарение. Я уверился, что растение-прототип существует в реальности! И после Неаполя намерен отправиться на Сицилию — ведь ее называют ботаническим раем, — где очень рассчитываю его найти. И так далее, и так далее, и так далее.

Едва поэт умолк, разговор подхватил Кавалер,

как никогда охваченный страстью к ботанике. Я сейчас занят созданием английского сада в Казерте, на территории дворца. Казерта могла бы составить достойную конкуренцию Версалю, однако я убедил Их величества, что французским стилем не следует чрезмерно увлекаться. И тогда они, следуя моему совету, выписали из Англии самого выдающегося мастера парковой архитектуры. Когда создание прекрасного парка завершится, мы сможем увидеть там Флору во всем ее чудесном многообразии.

Поэт разочарован Кавалером. Он переводит разговор на Италию.

Италия совершенно изменила меня, говорит он. Человек, в прошлом году покинувший Веймар, — совсем не тот, что прибыл в Неаполь и которого вы теперь видите перед собой.

Да, — кивает Кавалер, который интересуется преображением личности (любимая тема поэта) ничуть не более, чем ботаническими или геологическими теориями (при всех своих познаниях в ландшафтной архитектуре и вулканологии). — Да. Полагаю, Италия — самая красивая страна в мире. И, конечно, нет города красивее Неаполя. Доставьте мне удовольствие, позвольте показать, какой восхитительный вид открывается из моей

обсерватории.

Красота, обиженно подумал поэт. До чего примитивно мыслит этот эпикуреец-англичанин. Словно помимо красоты в мире ничего не существует! Вот пример человека, не способного вникнуть в суть интересующего его предмета. Обыкновенный дилетант, назвал бы он его, если бы слово «дилетант» не носило лестного оттенка.

Преображение личности, вздохнул про себя Кавалер. Вот пример человека, не способного отнестись к себе серьезно. Кавалеру подумалось, что путешествие по Италии не может до такой степени влиять на личность, и патологический интерес поэта к изменениям в собственной персоне есть не что иное, как проявление чрезвычайного эгоизма.

Оба были правы. Однако из них двоих мы лучше понимаем поэта — его тщеславие для нас более объяснимо, сознание собственной значимости для нас более… значимо. Гению, как и красоте, все — почти все — прощается.

Через тридцать лет, в «Путешествии по Италии», Гёте напишет, что на ассамблее у Кавалера прекрасно провел время. Он слукавит. Он был тогда слишком молод и неутомим, чтобы испытывать недовольство собой. Чтобы досадовать,

что ни в одной из бесед он не сумел почерпнуть ничего для себя нового. Но его терзал умственный голод, и он чувствовал, что его недооценивают. Я стремлюсь к самосовершенствованию, писал поэт друзьям. И к удовольствиям — да, и к ним тоже. Удовольствия усиливают мою интуицию. Как сильно он ощущал превосходство над этими людьми! И действительно, как оно было велико.

* * *

В большинстве историй про оживающие статуи статуя является женщиной — часто это Венера, спускающаяся с пьедестала, чтобы ответить на чувства страстного мужчины. Или же статуя — мать, но тогда она скорее всего остается в своей нише. Статуи Пресвятой Девы и женщин-святых не склонны к излишним движениям, они ограничиваются сострадательным взглядом, милосердной улыбкой, ласковым жестом — обращаются, протягивают руку к коленопреклоненному просителю, утешают или защищают его. В крайне редких случаях женщины-статуи оживают, чтобы кому-то отомстить. Зато если статуя — мужчина, его целью почти всегда бывает злое дело или месть. Пробудившись, статуя-мужчина — в современном варианте робот

в людском обличье, наделенный способностью двигаться, — отправляется убивать. И тот факт, что он *вообще-то статуя*, в полной мере оправдывает его неумолимую сосредоточенность на одной страшной цели, позволяет быть жестоким, непреклонным, недосягаемым для искушения или сострадания.

Вот званый вечер. Рафинированная публика, красивые костюмы, открытые платья. Та обстановка, в которой любители званых вечеров получают наибольшее удовольствие. Гости отлично проводят время. Их окружает смешанная атмосфера светского салона и публичного дома — впрочем, из нее изъяты риск и скука, присущие обоим местам. Закуски — и деликатесы, и так, пустячки — превосходные, вино и шампанское — дорогие. Приглушенный свет льстит всякому лицу; музыка, аромат цветов — чаруют, обволакивают. Кто-то дурачится, с некоторым сексуальным оттенком, который и приветствуется, и нет («Мы просто шутим», — говорит новоявленный Дон Жуан, остановленный кем-то, кто заметил его неотвязные приставания к некой женщине). Прислуга проворна и приветлива (в надежде на хорошие чаевые). Стулья мягкие — те, кто сидят, испытывают истинное наслаждение.

Это не вечер, а пир для всех органов чувств. Кругом веселье, разговоры, комплименты, флирт. Музыка успокаивает и бодрит одновременно. В кои-то веки боги развлечения на совесть взялись за работу.

И тут входит новый гость. Чужак. Он пришел не развлекаться. Он явился за самым бесшабашным кутилой и намерен утащить его в ад. Вы встретили его на кладбище, на мраморном мавзолее. До этого изрядно выпили, а когда осознали, что каким-то образом очутились на кладбище, вам сделалось не по себе, и вы решили слегка пошутить над неожиданным соседом. Чтобы привлечь его внимание, вы крикнули: «Эй, приятель!». Потом пригласили на вечер. Неудачная шутка. И вот он здесь. У него волосы с проседью, быть может, борода, очень низкий голос и прихрамывающая походка страдающего артритом, не столько потому, что он стар, сколько потому, что он из камня — суставы не гнутся при ходьбе. Огромный, гранитный, грозный отец. Он пришел свершить правосудие, осудить вас за грехи, которые давно не считаются грехами, к которым вы не имеете никакого отношения. Непозволительно жить ради удовольствия. Нет. Нет.

Он протягивает руку, бросает вызов: не страш-

но ль вам пожатье? Тут земля начинает дрожать под ногами, двери в зал распахиваются, пламя охватывает все вокруг…

Допустим, это сон, и вы просыпаетесь. Можно допустить и другое: то же самое, но в более современном варианте.

Он входит, каменный гость. Он не собирается вас убивать, он много моложе, а то и совсем молодой. Он пришел не мстить. Скажем, решил сходить на вечеринку (нельзя же все время быть памятником), ему лишь хочется повеселиться. Но он не в силах отринуть собственное «я», поэтому вместе с ним приходят его высокие запросы, возвышенные идеалы. Присутствие каменного гостя напоминает гулякам о существовании высшего, серьезного измерения. И это, разумеется, убивает веселье.

Вы его сами пригласили, но теперь жалеете об этом — если срочно не принять меры, вечер будет загублен.

Познакомившись с несколькими гостями, он быстро начинает разочаровываться. Пожалуй, даже слишком быстро. Но невзгоды преодолевать он привык. По его мнению, здесь у вас не так уж и весело. Своих чувств он не скрывает — держится в сторонке, в углу. Рассматривает книги, трогает

статуэтки. Его настрой диссонирует с общим настроением. Он погружается в свои мысли. Скучает, спрашивает себя, зачем вообще пришел. И сам себе отвечает: из любопытства. Ему нравится ощущать свое превосходство. Свою непохожесть на других. Он поглядывает на часы. В каждом жесте — укор.

Вы же, один из гостей — а еще лучше, хозяин, — стараетесь его скуки не замечать. Стараетесь быть с ним любезны. Он не идет на контакт. Извиняется и отходит в сторону за каким-нибудь напитком. (Он недоволен вами или просто хандрит?) Потом возвращается, потягивая воду из стакана. Вы отворачиваетесь и — занимаетесь другими гостями. Смеетесь над ним — он будто специально для этого создан. Ну и сноб. Самовлюбленный болван. Совершенно не умеет веселиться.

Развеселись, каменный гость!

Он продолжает возражать всему, что бы ему ни говорили, ясно давая понять: мне с вами неинтересно. Но ему не удается завладеть вашим вниманием. Вы порхаете от гостя к гостю. Ваш вечер — не tête-à-tête, он призван сгладить все противоречия, все различия между гостями. А этот вздумал показать свои дурные манеры. Ему

что, неизвестно, что в приличном обществе принято немного лицемерить?

Вы не можете одновременно быть правы. То есть: если прав он, то не правы вы. И тогда получается, что жизнь ваша пуста, а взгляды — соглашательские.

Он пытается завладеть вашим разумом. Ну, этого-то вы ему не позволите. Вы говорите себе: веселье — дело благородное. Вечеринка — тоже идеальный мир.

Рано или поздно он уходит. Пожимает вам руку. Как холодна его ладонь! Вы даже отпрянули. Но музыка звучит громче, веселее. Какое облегчение. Вы довольны своей жизнью. И не собираетесь ее менять. А этот… претенциозное, деспотичное, агрессивное, высокомерное, эгоистичное чудовище без чувства юмора. Но к тому же — увы! — настоящий человек.

* * *

В следующий приезд поэт попросил Кавалера порекомендовать ему торговца в Неаполе, у которого можно было бы купить образцы лавы — ему хотелось увезти с собой хорошую коллекцию.

Путешествовать — значит, приобретать. Путешествовать — значит, увозить с собой добычу.

Отсюда никто не уезжает без того или иного собрания. Неаполь каждого делает коллекционером-любителем. Даже маркиза де Сада, который одиннадцать лет тому назад, спасаясь от ареста, бежал из Франции и прибыл сюда под чужим именем. Потом его узнал французский посланник, и маркиз был вынужден предстать перед неаполитанским судом — уже под настоящим, к тому моменту печально знаменитым, именем. Возвращаясь во Францию пять месяцев спустя, де Сад отослал вперед два огромных сундука, доверху набитых диковинами и древностями.

До отъезда на Сицилию поэт еще несколько раз посетил королевский музей в Портичи, провозгласив, что это «альфа и омега всех античных собраний». Он побывал в Паестуме — и объявил, что его раздражает неуклюжесть дорических колонн. (Их прелесть он оценил по возвращении, во время второй остановки в Неаполе.) В Помпеи и Геркуланум он, однако, не возвращался, — невзлюбив мертвые города после краткого осмотра еще в первый приезд. Уж лучше наблюдать за крабом, копошащимся в прибрежных водах. Как непостижимо прекрасно все живое, писал он. Лучше гулять в Казерте по парку, которым так гордится Кавалер, любоваться розовыми

кустами и камфорными деревьями. Я истинный друг растений, писал поэт. Я преклоняюсь перед цветком розы. Он купался в волнах здоровья и довольства собой. Как приятно изучать жизнь во всем многообразии проявлений. Прочь, смерть, — эта ужасная гора, эти города, эти прилепившиеся друг к другу жилища, которым, кажется, с самого начала было уготовано стать могилами.

Он писал письма в Веймар государю и друзьям. Я неустанно за всем наблюдаю. Я всегда учусь. И, снова: вы бы не узнали меня. Я сам с трудом узнаю себя. Вот для чего я приехал в Италию, вот для чего оставил свои обязанности.

За время полного сексуальных открытий пребывания в Риме он завершил работу над последним вариантом «Ифигении» и добавил две сцены к так и не оконченному «Фаусту». Он провел множество наблюдений над растениями и осмотрел множество творений Палладио. Стремясь побороть ностальгию по утерянному классическому прошлому, он делает заметки о колоритном быте простых людей. Неустанно совершенствуется в рисовании и очень собой доволен. Подобная работоспособность — еще одно доказательство его благополучия.

Главное — не проявлять чрезмерной востор-

женности. Если отважился выйти в большой мир и вступил с ним в тесные взаимоотношения, нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не быть одурманенным. Не сойти с ума.

Он готовился к возвращению домой. Неаполь хорош для тех, кто живет лишь затем, чтобы жить, писал он — думая о Кавалере. Как бы ни был красив и великолепен этот город, поселиться тут навсегда невозможно. Но я буду с удовольствием вспоминать его, писал поэт. Хранимые в душе воспоминания о столь прекрасных местах способны придать особый вкус всей дальнейшей жизни.

Люди берегли каждый клочок бумаги, где поэт написал хотя бы пару слов. В глазах восторженных почитателей слава сделала его ходячей исторической достопримечательностью — предметом коллекционирования. Великий поэт, благодаря страсти к порядку и разумности ставший государственным мужем, придворным, уже давно был бессмертным, небожителем. Признанный шедевр, произведение искусства, на публике он исполнял роль самого себя. В каждом звуке, исторгаемом его устами, ему слышался отголосок вечности. Любое, самое незначительное событие чему-то учило его, становилось шагом на пути к

самосовершенствованию. Ничто не могло нарушить счастливого течения этой жизни, полной честолюбивых замыслов.

То, с чем мы согласны, оставляет нас равнодушными, но противоречие побуждает к действию. Слова поэта. Мудрые слова. Мудрые, меткие выражения из тех, что совершенно не были свойственны Кавалеру — о чем он никогда не жалел.

* * *

Все постижимо и все изменяемо — современная точка зрения. В наше время можно поверить и в безумные прожекты алхимиков. Кавалер не пытался познать больше того, что уже знал. Импульсы, которые движут коллекционером, не пробуждают стремления что-то постичь или изменить. Коллекционирование — всего лишь способ объединения по некоторому принципу. Собиратель оценивает. Принимает. Изучает. Делает заметки.

Кавалер заказал местному художнику, немцу, серию из двенадцати рисунков с изображением Позиций. *«Рисунки, списанные с натуры в Неаполе»,* назывались они. Но, удивлялся Кавалер, они совершенно не передают соблазнительного очарования ее представлений.

И он нанял человека вести наблюдения и делать зарисовки поз и *позиции* горы.

Кавалер, при всей своей добросовестности, не имел возможности посвящать наблюдениям много времени. Вот уже несколько лет, с момента великого извержения 1779 года, он оплачивал труды священника из Генуи, который жил у подножия горы затворником, без слуг, и делал записи о происходящем. Отец Пьяджио никогда не покидал своего поста — гора притягивала отшельников как магнит, — вставал с рассветом и несколько раз в день через равные интервалы, трепетно, словно отправляя религиозную службу, записывал наблюдения. Вид из окошка его крохотного домика подходил для этого как нельзя лучше. Священник составил уже четыре книги. В них были добросовестные, сделанные разборчивым почерком записи и быстрые карандашные зарисовки: косо разбегающиеся от вершины потоки лавы и парящие над кратером кудрявые облака дыма.

В этих записях и рисунках было много повторений. Да и как иначе? Гора неизменна. Из всех историй, что рассказывал священник, Кавалер особенно любил одну. Сорок лет назад, когда на троне еще сидел Карл Бурбон, отец нынешне-

го короля, к нему прибыл ученый человек из Праги с подробным планом спасения деревень, окружающих Везувий, от нависающей над ними постоянной опасности. Ученый обладал обширными познаниями в различных областях науки, среди которых особо выделял горное дело, металлургию и алхимию. Много лет он занимался вулканическими исследованиями в своей лаборатории в Праге и там разработал следующий план. Гору следовало уменьшить до высоты тысячи футов над уровнем моря, а затем прорыть узкий канал от вершины до берега моря, с тем, чтобы, когда произойдет новое извержение, огненные выбросы текли в определенном направлении и выливались прямиком в залив.

Учитывая грандиозность поставленной задачи, количество рабочей силы, о котором я прошу, отнюдь не велико, — подчеркнул человек из Праги. — Дайте мне двадцать девять тысяч человек, Ваше Величество, — сказал он, — и через три года мы обезглавим монстра.

Не шарлатан ли человек из Праги? Возможно. Не следует ли, тем не менее, позволить ему попробовать? Король, с уважением относившийся к смелым начинаниям, посоветовался с министрами. Министрам проект откровенно не

понравился. Менять природную форму горы, — заявили они, — святотатство. — И человек из Праги был предан анафеме самим кардиналом с кафедры городского собора.

Настала новая эпоха, с новыми воззрениями, новыми машинами, новыми способами выравнивания ландшафта, и нет ничего удивительного в том, что один местный инженер решил вновь обратиться к проекту пражанина — с привлечением современных, более мощных, технологий. Он представил свои чертежи королевской чете. Королева, мнившая себя матерью прогресса и уверенная в необходимости здоровых реформ в политике и промышленности, передала предложение инженера на рассмотрение компетентных ученых и министров. Не думайте о святотатстве, — повелела она, — думайте о выполнимости.

Пришел ответ: да, проект выполним. Разве древние люди, не знавшие чудес современной техники, не возводили колоссальных сооружений с поразительной и, казалось бы, немыслимой в тех условиях точностью? К тому же, ломать — не строить. Коль скоро в Гизе живая машина мощностью во многие десятки тысяч рабских сил могла воздвигнуть это чудо света, великую

пирамиду, то подобные же силы, послушные воле и разуму некоего правителя, могут совершить и другое чудо — понизить Везувий. Однако изменение формы горы не приведет к изменению ее природы. Это не предотвратит извержений и не сделает их управляемыми. Угроза кроется не в самой горе, а в том, что лежит под ее основанием, глубоко под земной корой.

Все же, возможно это или нет? — раздраженно спросила королева. Да, возможно. Тогда, если на то будет наша воля, мы это сделаем. Эти просвещенные деспоты, какое бы расстояние не отделяло их от богоподобных правителей древнего Средиземноморья, царствовали в полной уверенности, что их абсолютная власть гарантирована мандатом, выданным самим Господом Богом. В действительности, просвещение неуклонно подрывало эту власть, подвергало ее осмеянию. Ничего похожего на абсолютную власть у монархов давно уже не было.

3

Той зимой невыносимые холода обрушились на весь полуостров — от Венеции, где по замерзшим каналам можно было ходить и даже кататься на коньках, как нарисовано на голландских картинах, до Неаполя, где стояли морозы более свирепые, чем те, что семь лет назад погубили Джека. Снег укутал гору, неделями не сходил с вымощенных кусками лавы улиц. Град возымел не менее губительные последствия, чем дожди из горячего пепла: погибли сады, а с ними — и наименее стойкие из десятков тысяч бедняков, у которых не было крыши над головой, чтобы укрыться от ледяного ветра. В душах же людей, надежно защищенных от ненастья, невероятные жестокости погоды поселили дурные предчувствия. Ясно ведь: подобные аномалии — не просто капризы природы. Нет, это знаки, символы, провозвестники грядущей катастрофы.

* * *

Ветер, и шторм, и пожар, и землетрясение, и сель, и потоп, и упавшее дерево, и ревущий

горный поток, и плавучая льдина, и цунами, и кораблекрушение, и взрыв, и сорванная крыша, и всепожирающий огонь, и саранча, и чернеющее небо, и обрушившийся мост, и разверстая бездна. И извержение вулкана.

И это, разумеется, много важнее людской суеты: сомнений, мечтаний, лжи, понимания, ошибок, заблуждений, отчаяния, страха; необходимости проявлять храбрость, здравомыслие, постоянство, предусмотрительность, оригинальность, жестокость…

* * *

С наступлением весны активность Везувия не уменьшилась, и в город с новой силой хлынули мощные потоки путешественников. Они восторгались вулканом, рисовали, при возможности взбирались на него. На изображения вулкана во всех его ипостасях возник невероятный спрос, для удовлетворения коего мастеровитым художникам и поставщикам сувенирной продукции пришлось существенно повысить производительность. К концу июля — когда распространилась весть о падении Бастилии — спрос на виды спокойного вулкана, венчающего безмятежный пейзаж, резко упал. Всем понадобились

картины извержения, и какое-то время Везувий представляли только в таком обличье. И для приверженцев революции, и для перепуганных правящих классов всех европейских стран изображение проснувшегося вулкана — жестокие, конвульсивные выбросы, потоки смертоносной силы, коверкающие и навсегда изменяющие окружающую действительность, — как ничто другое символизировало то, что происходило сейчас во Франции.

Французская революция, подобно Везувию, была явлением уникальным. В то же время извержение вулкана есть нечто постоянное. Везувий извергался, извергается и будет извергаться: повторяемость и постоянство природы. Французская революция, напротив, — событие беспрецедентное и повториться не может. Так, исторические силы приравнивались к силам природным, что и успокаивало, и сбивало с толку, ибо подразумевало: даже если это лишь начало эпохи революций, революция, как и все остальное, пройдет.

Кавалеру и его знакомым напрямую ничто не угрожало. По большей части, катастрофы происходят не с нами, и, если они многочисленны, мы теряем способность сопереживать судьбе тех,

кого они коснулись. На данный момент мы целы и невредимы, и, как говорится, жизнь (имеется в виду жизнь тех, кому повезло) продолжается. Мы целы и невредимы… хотя, конечно, ситуация может и перемениться.

Любовь к вулканам означала отказ поставить революцию во главу угла. Жизнь в непосредственной близости от руин, от этих постоянных напоминаний о катастрофах, — в Неаполе или, например, в наши дни в Берлине, — дает уверенность в том, что человек способен пережить любое бедствие, даже самое масштабное.

* * *

Возлюбленная Кавалера продолжала писать Чарльзу. Вначале она умоляла, укоряла, отрекалась, угрожала, пыталась вызвать жалость. Три года спустя письма от нее шли с той же частотой. Коль скоро Чарльз ей больше не любовник, пусть будет другом. Удивительный дар — хранить верность — не позволял ей осознать, что она не нравится или надоела кому-то. И потом, она так привыкла к вниманию, что не поверила бы, доведись ей узнать, что Чарльз тяготится ее письмами, что ему неинтересны ни ее занятия, ни занятия дорогого дядюшки, которого она вся-

чески старается сделать счастливым (разве не этого хотел Чарльз?) и который так бесконечно добр и щедр к ней.

Девушка писала о том, как сопровождала Кавалера при восхождении на гору — восхитительное зрелище! Жаль, правда, луну — на фоне извергающегося вулкана она казалась бледной и больной (как легко было заставить бить фонтан ее сострадания!). Рассказывала о поездке на раскопки в Помпеи — там она горько оплакивала людей, погибших много-много веков назад. В полную противоположность Катерине — та никогда не одобряла восхождений на Везувий и без всякого удовольствия сопровождала мужа в поездках к мертвым городам (хотя с Уильямом дело обстояло иначе!) — она была готова на все, что бы ни предлагал Кавалер. Казалось, ее энергия неиссякаема. Если бы только позволили, она, в сапогах и меховой одежде, с радостью отправилась бы охотиться на кабанов вместе с Кавалером (девушка была превосходной наездницей, о чем он не знал.) Она спокойно смотрела бы на стоящего по пояс в кровавых потрохах короля, нашла бы способ получить удовольствие от этого отвратительного зрелища, хотя вовсе не отличалась склонностью к вуайеризму. Она просто обратилась бы к сво-

ему, отнюдь не самому богатому жизненному опыту (впрочем, отец ее дочери, предшественник Чарльза, который обучил ее ездить верхом, был деревенским сквайром и фанатиком жестокой охоты) или к почерпнутым из книг знаниям.

Поразительно! О да! Однажды я видела… я хочу сказать, это как… как у… как у Гомера! — воскликнула бы она. И вряд ли бы ошиблась.

Кавалер с обожанием наблюдал, как она все больше отдается роли его компаньонки, воспитанницы. Она всегда была способной ученицей. Это помогло ей выжить и преуспеть.

В ней, думал он про себя, виден отпечаток моей личности, как виден отпечаток пальца скульптора на куске глины. Она обладала удивительной плавучестью, приспособляемостью. Ему же почти не нужно было к ней приспосабливаться; разве что в ее присутствии он должен был по возможности воздерживаться от иронических замечаний, к которым имел природную склонность. Этих замечаний она, несмотря на весь свой ум, не понимала. Происхождение и темперамент не позволяли ей чувствовать иронию. В ее характере не было практически ничего от меланхолии, являющейся неотъемлемой частью иронии, кроме того, она родилась в окружении,

полностью лишенном снобизма той среды, где так гордятся умением обтекаемо выражать мысли. Для английского джентльмена, находящегося вдали от родины, ирония — основная реакция на нелепые, грубые обычаи местности, где ему приходится проживать (пусть даже по собственному желанию). Ирония — более или менее вежливый способ отстоять свое превосходство, скрыв при этом возмущение. Или обиду. Молодая женщина не видела причин скрывать обиду или гнев. Она гневалась довольно часто, хотя оскорблялась не за себя (этих обид она либо не замечала, либо легко их прощала), а за других, за выказанное кому-то неуважение.

Свой снобизм, когда он вдруг овладевал ею, она выражала прямо. Господи боже, какие ж они грубые, — восклицала она, возвращаясь из гостей: Кавалер всюду брал ее с собой, и ее всюду привечали. Там не было никого лучше, умнее и красивее вас, — говорила она Кавалеру.

И никого, думал Кавалер, кто обладал бы такой гибкостью ума, как ты.

Подобно Кавалеру, она всю себя отдавала посредничеству, действуя в области, наиболее подходящей для женщины: области душевных переживаний, телесных хворей. Кроме того, в ней

раскрылся талант мгновенно понимать мысли, чувства, нужды других, без слов знать, чего они хотят, от нее ли, для себя ли. Да, она была эгоцентрична, но очень легко откликалась на восторг, сострадание, симпатию… что не свойственно Нарциссу. Горе любого человека вызывало слезы и у нее. Она плакала, увидев похороны ребенка. Плакала, выслушивая на званом вечере откровения молодого американца, торговца шелком, представителя семейной фирмы: того послали с миссией в Европу, чтобы он оправился от разрыва с обманувшей его женщиной: Узнав, что кто-то болен, завидев чье-то увечье, она считала, что должна немедленно что-то сделать. У Валерио бывали головные боли — она варила для него народное уэльское зелье. Любого молчаливого человека она старалась разговорить. Она пыталась даже беседовать с этим мальчиком, у которого один глаз, проводником Кавалера. Бедный глазик!

* * *

В 1790 году, прожив первый после выхода из Бастилии год в Риме, странствующая художница Элизабет Виже-Лебрен надолго прибыла в Неаполь. Ее, разумеется, представили главному в

этом городе покровителю искусств. Подругой покровителя оказалась одна из прославленнейших моделей эпохи. Виже-Лебрен, не теряя времени, попросила Кавалера заказать у нее портрет этой не единожды запечатленной на полотнах чаровницы. Кавалер с готовностью согласился, как согласился и с запрошенной значительной суммой гонорара. У него было уже около десятка ее портретов, но еще один не казался ему лишним. И, вероятно, он не задумывался над тем, что этот портрет станет первым, выполненным одной из немногих в то время профессиональных художниц.

Поскольку подруга Кавалера была не просто объектом, но натурщицей, возник вопрос: какой мифический, литературный или исторический персонаж она должна представлять? Наконец, Виже-Лебрен — не без ехидства — остановилась на Ариадне. Для сюжета художница выбрала тот момент, когда Тезей беспардонно бросает Ариадну, совершенно против воли бедняжки, на острове Наксос. Ариадна изображена, очевидно, вскоре после этого неприятного события, но несчастной совсем не выглядит. Она сидит на переднем плане, привалясь к скале, в гроте, на леопардовой шкуре. Длинное свободное белое

платье частично скрыто под волной роскошных рыже-золотистых волос, переброшенных через плечо и спускающихся по животу к круглым коленям. Одна рука театральным жестом касается щеки, вторая сжимает медный кубок. Ариадна сидит спиной ко входу, обратив взор на внутреннюю часть грота. Создается впечатление, что и зритель, чей взгляд она встречает с бессмысленной доброжелательностью, и источник яркого света, озаряющего лицо, грудь и обнаженные руки девушки, находятся в самой глубине грота. За спиной Ариадны открытое море и далеко-далеко на горизонте крохотная точка — корабль. Надо полагать, это корабль Тезея, героя, чью жизнь она спасла. Он обещал взять ее с собой на далекую родину и там жениться на ней, а вместо этого бросил на полпути, оставив умирать на одиноком острове.

Да, это тот самый корабль, паруса наполняются ветром — негодяй удирает после вероломного, трусливого деяния. Этот корабль не может принадлежать Дионису, богу виноделия, который скоро спасет Ариадну, сделает *своей* супругой и обеспечит ей блестящее будущее, какое она и не полагала для себя возможным. Дионис не простой смертный — чтобы попасть на остров, корабль

ему не нужен. Он может прилететь и так. Но он, кажется, уже побывал здесь, а может быть, он там, в глубине пещеры, готовится заняться с Ариадной любовью. Она, быть может, забыла Тезея, едва тот скрылся из виду — а Тезей, хоть и чувствует облегчение оттого, что избавился от обузы, в то же время терзается угрызениями совести негодяя, желающего считать себя джентльменом… Возможно, Ариадна уже выпила предложенное богом вино, чтобы осушить слезы (Забудь Тезея! Но я забыла…), стать более раскованной, готовой к объятиям.

А может быть; тот, кого она соблазняет здесь, в глубине пещеры, это зритель — так же, как в реальной жизни эта женщина соблазняет всякого и всякого одаряет сиянием призывной улыбки? Только на картине ее улыбка слишком откровенна. В жизни она — более добродетельная, более покладистая, менее самоуверенная женщина. Но никакой другой портрет не выявлял с большей очевидностью ее внутреннюю сущность куртизанки. Так нелестно одна независимая женщина, старавшаяся выжить в большом и страшном мире за счет ума и таланта, изобразила, как другая играет в ту же опасную игру. Однако сколь дерзок ни был портрет, он имел большой успех.

Художница понимала своих заказчиков. Она, должно быть, готова была биться об заклад, что Кавалер (влюбленный до беспамятства) и молодая женщина (наивно тщеславная) не разглядят в портрете того, что смогут увидеть другие, и потому сочтут его всего лишь очередной данью ее всепобеждающей красоте.

Среди множества персонажей, которых талант молодой красавицы позволял сыграть, особое удовольствие ей доставляли те, чья судьба так не походила на ее собственную, счастливую. Например, Ариадна и Медея, принцессы, пожертвовавшие всем — семьей, общественным положением, своим прошлым — ради иноземного любовника, который впоследствии их предал. Для нее они были не жертвами, но особо выразительными персонажами: женщинами, подкупающими своим героизмом, силой любви, отвагой, с которой они подчинили себя всепоглощающему чувству.

Со временем она усложнила свои Позиции, их режиссуру и драматургию. Ей больше не нужен был Кавалер, стоящий рядом с масляной лампой. Теперь ее освещали две высокие толстые свечи, спрятанные по обеим сторонам сцены за занавесом. Иногда в постановках она пользовалась чьей-то помощью. В то время в Неаполь

— где правила сестра французской королевы — приехала бежавшая из Парижа графиня де ***. Здесь она рассчитывала переждать страшные события. Графиня была уверена в скорой и неизбежной каре, ожидающей безбожников-революционеров, а также в обязательной и полной реставрации Богом данной власти Их величеств Людовика XVI и Марии-Антуанетты. У графини была дочь, умная болезненная девочка лет семи или восьми, примерно того же возраста, что и дочь возлюбленной Кавалера, которую та не видела уже года четыре (по распоряжению Кавалера небольшие суммы на ее содержание ныне выплачивал Чарльз из доходов от имения в Уэльсе). Возлюбленной Кавалера казалось, что ее дочь (бедная покинутая крошка!) внешне должна быть похожа на дочь графини. Она поплакала над судьбой своего брошенного ребенка, а потом привлекла дочь графини для участия в Позициях. И однажды вечером они показали гостям целых три живых картины, сменявших одна другую со скоростью стробоскопа — она больше не накрывалась шалью, и ей не требовалось и секундной паузы, чтобы одна Позиция перешла в другую.

Первым сюжетом было похищение сабинянок, передаваемая эмоция — ужас, момент — захват

тщетно пытающейся убежать молодой римской матроны с ребенком, прижатым к груди. К этому сюжету подруга Кавалера готовила испуганную, но послушную девочку по соответствующим иллюстрациям в книгах. Но следующие две картины были плодом вдохновенной импровизации. Молниеносным движением она бросала девочку на пол и, слегка подтягивая ее вверх за тоненькие ручки, молитвенно складывала ладони, отступала на шаг назад, хватала девочку за волосы и приставляла меч к ее горлу. Аплодисменты и «Браво, Медея!». Затем она падала на колени, накрывая своим телом безжизненное тельце ребенка, и сотрясалась в беззвучных безутешных рыданиях — за что получала восторженное «Браво, Ниобея!».

Это больше, чем просто игра, думал Кавалер, наблюдая за реакцией гостей. И в который раз поражался силе ее воображения, способности сопереживать тому, чего она сама никогда не испытывала. Он наслаждался криками «браво!» так, будто они предназначались не ей, а ему. Каким удивительным творением она была.

* * *

Наступала бурная эпоха революций.

Молодая женщина постепенно становилась такой, какой Кавалер хотел ее видеть, и ему в голову стали приходить невообразимые мысли. Он думал о том, что и сам мог бы стать для нее тем, кем она хотела видеть его — хотя у нее хватало деликатности никогда об этом не заговаривать.

Кто еще способен скрасить осень его жизни, как не это обожаемое (и обожающее) создание?

Достаточно взглянуть, как легко она завоевывает симпатии окружающих.

Небольшой, всего на пятьдесят человек, званый вечер в честь герцога дель ***. Возлюбленная Кавалера царит за своим концом длинного стола. На ней греческое платье, хитон, сшитый специально по заказу Кавалера, — копия платья Елены Троянской с одной из его ваз. Пока она одевалась, миссис Кэдоган не пускала его к ней. И когда она вышла, он был потрясен. Ее красота воссияла как никогда прежде — что тут еще скажешь?

Справа от нее — румяный, надушенный князь ***, местный коварный соблазнитель, слева — граф ***, местный невыносимый зануда. Она всегда обладала талантом угождать, делить

свое внимание поровну. И вот она завоевывает соблазнителя, с такой искренностью и пылом расхваливая достоинства его супруги, что он заново поддается очарованию давно безразличной ему женщины, — и в результате сражен скорее проницательностью соседки, чем ее белоснежной грудью. Зануда также покорен, причем меньшими усилиями. Она внимательно выслушивает подробнейший рассказ о его недавней поездке в Париж, обо всех его общественных достижениях, о том, как он встречался с адвокатом по фамилии Дантон и журналистом Маратом, — хотя, возможно, здесь не самое подходящее место говорить об этом, — и нашел, что революпионеры отнюдь не людоеды и не потенциальные цареубийцы, а вполне трезвомыслящие люди, которые всего лишь хотят дать обществу столь давно необходимые реформы, которые можно провести в жизнь в рамках конституционной монархии. Да, — кивает она. Да. Понимаю. А потом? А вы что сказали? О, какой умный ответ.

Она громко рассмеялась и подняла бокал — повернувшись сначала к одному соседу, затем к другому. Кавалер наслаждался звуками ее голоса, сиянием ее лица. Иногда она взглядывала на него, чтобы получить одобрительный кивок.

Сколько бы ни увлекала ее беседа с другими (не было слушателя внимательнее ее), он всегда чувствовал: она ни на минуту не забывает о *его* присутствии, сосредотачивает на нем напряженное внимание, как бы говоря: я делаю все это для вас, хочу, чтобы вы гордились мною. Чего еще желать Пигмалиону?

Зануда взялся донимать сидящую слева от него женщину, княгиню ***, своими соображениями относительно переворота во Франции. Революционеры — всего лишь горячие головы, на крайности они не пойдут, вот увидите. Им нет интереса в том, чтобы повергать страну в хаос, обрывать связи Франции с правящими кругами других стран Европы и т. д. и т. п. Не успела княгиня до конца выразить свое невнятное согласие, как в разговор уже вмешался импульсивный мужчина, сидевший слева от нее, сэр ***. Он услышал слова графа, и до него только что дошел их смысл. Тогда, адресуясь как-то мимо княгини, точнее, поверх ее головы, так, словно ее не существует, — как часто поступают мужчины, когда слова другого мужчины задевают их интересы, — он объявил графа проклятым республиканцем и провокатором. И пролил вино. Все замолчали. Кавалер вмешался с какими-то

примирительными замечаниями, а спутница его жизни с серьезнейшим видом выразила полное согласие с тем, что сказал об опасностях ситуации во Франции сэр *** (это полностью противоречило сказанному графом ***). Она сказала это так искренне и по-доброму, что зануда-граф совершенно не почувствовал себя обиженным. Отчего-то каждый из мужчин счел, что очаровательная и пылкая юная компаньонка Кавалера в данном непростом вопросе согласна именно с ним. Как она умеет вести себя в обществе — вопреки, нет, скорее, благодаря неустранимому налету банальности, размышлял околдованный Кавалер. Она радушная, она щедрая. Он не мог бы жить без ее солнечной улыбки. За столом еще не улеглись споры по поводу проклятых событий во Франции, а он наградил ее своей утонченной, суховатой улыбкой, и она повернулась к нему, с горящими щеками, счастливая его одобрением, подняла бокал, послала воздушный поцелуй и выпила содержимое бокала одним — надо признать, не слишком элегантным — глотком.

Когда правильный человек совершает неправильный поступок, то этот поступок следует считать правильным. И Кавалер (упоенный радостью, он не нуждался в вине) пришел к

заключению, что она, как это ни странно, предназначена ему — всецело, в самом высшем смысле.

Она тем временем развлекала князя ***, который, не имея никакого мнения насчет событий во Франции, заскучал. Судя по всему, она еще раньше обещала рассказать ему одну историю — о том, что произошло четыре года назад, когда она и ее дорогая матушка только-только прибыли в Неаполь. Она, по ее собственным словам, была тогда совсем девочкой, ничего не смыслившей в жизни (пока не попала в руки дорогого друга и покровителя). Все же она понимала достаточно, чтобы сразу поддаться очарованию этого чудесного города. Так вот, через несколько недель после приезда случилась ужасающая драма.

Но вы не поверите, — добавила она.

Чему, дорогая миссис Харт? — спросила леди из Англии, сидевшая напротив.

Во внутренний двор особняка ворвалось восемнадцать бандитов…

Сколько?

Восемнадцать!

Далее она рассказала следующее. На территорию особняка ворвалась банда головорезов, преследуемых городской охраной. Они захватили двух слуг, молодого конюха и пажа (одного из

королевских музыкантов), и, угрожая перерезать им глотки, забаррикадировались в восточном крыле. Солдаты хотели догнать и схватить их, но Кавалер не позволил им пройти внутрь. Он желал избежать кровопролития и особенно тревожился о том, чтобы сохранить жизнь конюха и скрипача, ведь бедняжек связали и бросили в угол. Так они жили целую неделю…

Неделю?

Да! Бандиты разводили костры, пели, пили, орали, проделывали друг с другом всякие непристойности, на которые ей, увы, приходилось смотреть из окна, ведь все они — она сама, ее дорогая матушка, Кавалер и вся дворня — тоже были пленниками и не могли покинуть особняк. Еды, слава Богу, хватало. Она занималась с учителями, Кавалер читал книги и посвящал время науке, но все же они подолгу стояли у окон, наблюдая за восемнадцатью убийцами, а те уже начали ссориться. Окна приходилось держать закрытыми из-за невыносимого запаха, — вы можете догадаться, каково было его происхождение, без нужды уточнила она, — ведь милосердный Кавалер настоял, чтобы во двор дважды в день, утром и вечером, спускали еду. Он сделал это не только затем, чтобы завоевать доверие банди-

тов, но и потому, что не мог допустить, чтобы бедняжка Лука, которому было всего пятнадцать, и бедняжка Франко, скрипач, умерли с голоду. Так все и продолжалось, под безумные крики, отвратительные запахи, ссоры, непристойные песни, под гвалт солдат, стоящих лагерем за оградой особняка, ведь им нечего было делать, кроме как пить и ругаться. Наконец, на шестой день — на шестой? — уточнила она у Кавалера, как бы подтверждая, что это и его история, что они вместе пережили столь ошеломительное приключение; и он, галантно улыбаясь, поправил: на самом деле, на седьмой; ах да, на седьмой, — выкрикнула она победно, — на седьмой день Кавалеру удалось убедить бородатого главаря отпустить заложников (серых от ужаса и совершенно обовшивевших). Положение бандитов было безнадежно, им не оставалось ничего, кроме как сдаться, иначе и без того тяжелая ситуация усугубилась бы, а Кавалер, британский посол, пообещал, что, если они сдадутся, он прикажет солдатам не бить их и будет просить короля по возможности проявить милосердие. И тогда, — заключила она, — бандиты сдались.

Надеюсь, мерзавцы были казнены, как они того заслуживали, — сказала леди напротив.

Не все, — ответил Кавалер. — Король человек очень добрый и сострадательный, особенно к представителям низшего сословия.

Поразительная история, — произнес кто-то.

И совершенно правдивая, — воскликнула она.

Действительно, правдивая, подумал Кавалер, если не считать того, что она произошла на четверть века раньше с ним и с Катериной, вскоре после его вступления на пост. Город тогда едва оправился от страшного голода, и народ находился в состоянии, близком к анархии. Он когда-то рассказал эту историю девушке, и теперь она пересказала ее от своего имени. Пока он, сгорая от смущения, слушал столь мило приукрашенное повествование, у него, разумеется, не возникло искушения прервать ее и сказать: нет, когда это случилось, тебя еще со мной не было. Ты еще даже не родилась. Когда она закончила, смущение прошло, но его место заняло беспокойство: вдруг кто-то за столом уличит ее во лжи, смутно припомнив, что когда-то слышал о подобном инциденте и что тот имел место много, много лет назад. Тогда она будет унижена, а он, ее любовник и покровитель, будет выглядеть глупо. Как только стало ясно, что памятливых людей за столом нет, беспокойство прошло, и тогда он

ощутил острый укол разочарования. Оказывается, его любимая — обыкновенная хвастунья и лгунья! Вслед за разочарованием пришло иное, сострадательное чувство; он испытал тревогу, страх: не означает ли это, что его дорогое дитя не знает разницы между чужой историей и тем, что она испытала на собственном опыте? Потом он почувствовал досаду и легкую печаль, так как решил, что ложь — свидетельство ее незрелости, нет, неустойчивости ее положения. Он предположил, что она присвоила его историю потому, что ей кажется, что в ее жизни нет ничего интересного, по крайней мере, такого, о чем можно было бы рассказать за общим столом. И наконец он почувствовал не смущение, не беспокойство, не разочарование, не тревогу, не досаду и не печаль, а… радость, счастливую радость. Он понял (и был этим глубоко тронут): ее ложь есть свидетельство того, что она чувствует себя его частью и настолько вверила свою драгоценную персону его попечительству и заботе, что уже не знает, где кончается она и где начинается он. Это было равносильно акту любви.

* * *

Как и Ариадну, подругу Кавалера ожидала более славная судьба, чем та, на которую она смела рассчитывать в самых честолюбивых мечтах. Виже-Лебрен увидела больше, чем сумела осознать, — отчего, конечно, ее тайный умысел не становится добрее.

Не верьте художникам. Они не таковы, какими кажутся — даже самые откровенные приспособленцы, кто в придворной жизни чувствует себя как рыба в воде. Виже-Лебрен осыпала Кавалера лестью, принимала от него благодеяния, перехватила массу заказов у местных знаменитостей и, во многом благодаря его патронажу и гостеприимству, имела большой успех в обществе. В его городском особняке она была частой гостьей, а в июле и августе нередко попадала в число тех немногих, кто выезжал с Кавалером в трехкомнатный коттедж на побережье в Посиллипо. Там Кавалер и его любимая проводили самое жаркое время дня, возвращаясь домой, лишь когда поднимался вечерний бриз. Виже-Лебрен бесконечно льстила Прекрасной Леди, и та, наивная как всегда, числила художницу среди своих близких друзей. Никогда не верьте художникам.

Но не верьте и меценатам. На следующий год Кавалер и его новое счастье отправились в Англию — это был четвертый отпуск со времени их с Катериной приезда в Неаполь (с тех пор прошло двадцать семь лет!). С точки зрения новых приобретений, время трудное для Кавалера; расходы его росли, а никаких особых ценностей для продажи не было: лишь кое-какие «отреставрированные» (иными словами, сильно замазанные) статуи, оружие, канделябры, фаллические амулеты, монеты сомнительного происхождения и две картины, предположительно кисти Рафаэля и Гуэрчино. Впрочем, среди багажа было и еще кое-что. Однажды, в те жаркие часы, которые Виже-Лебрен провела в домике в Посиллипо, она, повинуясь импульсу, углем нарисовала на двери две маленькие головки. Дар художника. Кавалер не видел причин не обернуть этот дар к своей выгоде (на что Виже-Лебрен жаловалась в мемуарах много лет спустя) — он спилил верхнюю часть двери и теперь вез ее с собой в Англию, продавать.

* * *

Кавалер созрел для того, чтобы совершить немыслимый, скандальный поступок. Улыбка

царственного «молочного братца» в ответ на намек Кавалера о возможности скорого брака была — в самом лучшем случае — молчаливым согласием; Кавалер осознавал, что дочь миссис Кэдоган ни при каких обстоятельствах не может быть представлена к английскому двору в качестве его супруги. Тем не менее, еще до отъезда из Неаполя он улучил момент, остался наедине с королевой и получил заверения в том, что при дворе королевства обеих Сицилии ему препятствий чинить не станут, и, как только очаровательная молодая леди, которая ей, королеве, давно уже нравится, станет его законной супругой, ее всегда будут рады принять; а стало быть, нет оснований, чтобы не сделать ее и себя самого счастливыми.

Конечно же, Чарльз — который, невзирая на все свои усилия, так и не женился (и никогда не женится) — его поймет. Что же до прочих родственников и знакомых… Если им вздумается потешаться над старым дурнем (Кавалеру был шестьдесят один год), которому взбрело в голову подарить свое имя скандально знаменитой красотке самого низкого происхождения, — пусть отправляются к дьяволу. Рациональным сластолюбцем он пробыл достаточно долго. Слишком долго.

Интересно, узнала бы его сейчас Катерина? Катерина, которая так хорошо его понимала? Нет.

Вначале он никому, кроме Чарльза, не говорил о своих намерениях, но и его сестры, и старший брат, и все друзья уже догадались, что катастрофа неминуема. В гостинице они остановились вдвоем — миссис Кэдоган уехала навестить родственников. Потом Кавалер, молодая женщина и Чарльз отправились в Уэльс. Там Кавалер беседовал с управляющим поместья и просматривал счета. Его подруга смотрела на Чарльза с материнской заботой и каждый день носила цветы на могилу Катерины. На третью неделю пребывания в поместье она упросила Кавалера отпустить ее в Манчестер навестить дочь, которую она не видела уже много лет. Она попросила немного денег для семьи, где воспитывалась девочка, и небольшие суммы, которые миссис Кэдоган должна была передать больному дяде, тете и кузену, жившим в ее родной деревне. С родственниками возлюбленная Кавалера всегда поддерживала связь и даже из Неаполя посылала им подарки, а Кавалер был милосерден и, несмотря на все денежные затруднения, не думал ей отказывать. Итак, она уехала… и много плакала, и совершенно влюбилась в свою дорогую доченьку,

и, когда пришло время расставания, снова много плакала. Ей очень хотелось взять девочку с собой в Неаполь, о большем счастье нельзя было и мечтать. Но попросить Кавалера она не осмелилась, хотя маловероятно, чтобы он ей отказал; она понимала, что присутствие ребенка причинит ему большие неудобства, в том числе этического характера (никто не верил, что она раньше была замужем). Кроме того, было ясно: если дочка окажется при ней, со временем ей будет доставаться все больше и больше любви, а Кавалеру, соответственно, меньше. Не требовалось особенной проницательности, чтобы понимать: ее успех у Кавалера основан на том, что ему ни с кем не приходится делить ее внимание.

Таким образом, ребенка пришлось принести в жертву.

Этого молодая женщина никогда себе не простила — а возможно, не простила и Кавалеру.

Настало лето, и они возвратились в Лондон. Кавалер решил недельку погостить у старого немощного Уолпола — он опасался, что эта встреча может оказаться последней, а кроме того, ему очень хотелось показать спутнице необыкновенный псевдосредневековый замок своего друга, носивший название «Земляничные Холмы».

Витражи, неяркое церковное освещение привели ее в полнейший экстаз и вдохновили па постановку сцены сумасшествия из паизьелловской «Нины». Хозяин был восхищен. По возвращении в город молодую женщину ожидало письмо с предложением ангажемента в Лондонской опере и жалованья в две тысячи фунтов в год. Напиши Таллинн, что тебе уже предложили ангажемент на всю жизнь, — с улыбкой произнес Кавалер и удивился: не ожидал от себя столь глупого и столь *очаровательного* высказывания.

Их лондонская жизнь сводилась к тому, что Кавалер посещал многие собрания Королевского общества и «Общества дилетантов». Также он не мог отказать себе в удовольствии бывать на некоторых аукционах. Молодая женщина проводила время со старым знакомым, Ромни. Она взахлеб рассказывала о своей блестящей неапольской жизни, а он, внимательно и серьезно слушая, тем временем рисовал: пока ее положение позволяло, он хотел написать с нее Жанну д'Арк. Модель болтала без умолку: передавайте привет мистеру Хейли и скажите, что его руководство по самосовершенствованию лежит у меня на ночном столике и что я сделалась поистине невозмутима, поглядите только, какая я стала, настоящая

леди, говорю по-итальянски и по-французски, и пою, и все меня любят, сам король Неаполя флиртует со мной, пожимает ручки, но ничего предосудительного, конечно же, а королева, о, королева, такая чудесная женщина и чудесная мать, недавно родила четырнадцатого ребенка, некоторые дети, правда, умерли — увы, как говорит сама королева, король не может оставить ее в покое, понятно, он мужчина и потому не обладает достаточной самодисциплиной, он ведь, кроме всего прочего, балуется с молодыми крестьянками, которые работают на королевской шелковой фабрике, что на территории дворца в Казерте, их еще называют его тайным гаремом — а мы с дорогой королевой сделались настоящими подругами — я хожу к ней во дворец по черной лестнице, потому что ведь меня не могут принимать там официально, потому что… — она запнулась… — то есть, до тех пор, — поправилась она — …я хочу сказать, что мы с королевой добрые друзья, и вообще у меня замечательная жизнь, и только немножко жалко Чарльза, он ведь так и не сумел жениться на наследнице и теперь один-одинешенек, а для мужчины это нехорошо, хотя, конечно же, у Чарльза есть место в парламенте, и коллекция камней, и имение Кавалера, которым

нужно управлять, все это, разумеется, хоть какие-то занятия, и, поскольку у него наверняка есть денежные затруднения, я собираюсь попросить Кавалера ему помочь, подарить, а может быть, одолжить какую-то небольшую сумму, которая может…

Тут Ромни оторвался от рисования ее светящихся рыжеватых локонов и поднял глаза. И принялся рассказывать о прошлогодней поездке в Париж. Там он познакомился с удивительным художником Давидом, поставившим свое искусство на службу революции (он, Ромни, и сам недавно писал портрет мистера Томаса Пейна, который сочувствует революции), и он должен признаться ей, своему давнему другу, на благоразумие которого может рассчитывать, что находится под большим впечатлением как от самих революционеров, так и от их идей. Например, принялся объяснять Ромни, революционеры намерены разрешить деление наследства, узаконить развод и объявить незаконным рабство, то есть провести в жизнь все те реформы, необходимость в которых, как вам скажет любой здравомыслящий человек, назрела давным-давно. Молодая женщина, которую, если бы щедрость и справедливость были синонимами,

можно было бы назвать очень справедливой, бурно его поддержала. Почему, в самом деле, сыновья-первенцы наследуют все имущество (и обрекают младших сыновей, вроде Чарльза или Кавалера, на пожизненные заботы о деньгах)? Почему люди, которые несчастны друг с другом, не имеют возможности обрести счастье с кем-то еще? И, действительно, что может быть ужаснее рабства? Ей рассказывали о рабах всякие ужасы, вот, например, на Ямайке — из-за этой отвратительной работорговли один из кузенов Кавалера, владелец большинства сахарных плантаций острова, сделался богатейшим человеком в Англии! Она просто не может не согласиться с Ромни! Революционные идеи в его интерпретации (до этого она ничего подобного не слышала) казались в высшей степени справедливыми; кроме того, художник с таким жаром говорил о революции, об очистительном огне свободы, в котором сгорят мертвые, сухие поленья старого общества, что ее сердце забилось сильнее — чужое вдохновение неизменно захватывало и ее. Слова Ромни были настолько красивы и убедительны, что подруга Кавалера, останься она в Лондоне, непременно стала бы тайной революционеркой, по крайней мере, на какое-то время.

В сентябре она начала позировать Ромни для официального портрета, который должен был получить название «Супруга посланника». Впервые — наконец-то! — она не натурщица, а объект, сюжет, тема. На заднем плане картины — темный, огненный Везувий, символ Неаполя, места службы ее будущего мужа и, одновременно, самого мужа. На третий день после того, как она начала позировать, словно бы для придания законности написанию портрета, в маленькой привилегированной церкви Сент-Марилебон состоялась скромная свадебная церемония, на которой присутствовали пять человек из числа знакомых и родственников Кавалера и миссис Кэдоган. Чарльз — он был бледнее обыкновенного — занимал место в третьем ряду. Его мать, любимая сестра Кавалера, приехать отказалась. Но эту женитьбу Кавалер предназначал не для Англии — как здесь не замечать снисходительных улыбочек? — а для своей второй жизни в Неаполе (если верить пророчеству, этой жизни ему было отмерено еще двенадцать лет). Прекрасная Леди, которая умела угождать и которой, как она сама считала, это часто удавалось, в данном случае не могла обманывать себя: она видела, что родные Кавалера глубоко не одобряют его нового

брака, им безразлично, насколько он счастлив. Единственным родственником, которому она, кажется, понравилась, был тот невероятно богатый кузен, о котором Кавалер сказал, что у него есть странности (о них Кавалер пообещал рассказать как-нибудь в другой раз), и они делают его самого изгоем в семье, а его присутствие нежелательным при дворе; поэтому он, объяснил Кавалер, хоть и обожал дорогую Катерину, все же сейчас — один из немногих естественных союзников их брака. К счастью, кое-кто из его друзей, Уолпол, скажем, или молодой кузен, знал, что такое презреть условности в интересах личного счастья, и не находил скандальным стремление Кавалера обрести счастье с любимой женщиной.

На приеме, последовавшем за церемонией, этот кузен, человек едва ли старше ее самой, был с ней особенно любезен. Он взял ее руки в свои, заглянул в глаза — у него были прекрасные кудрявые волосы и пухлые губы — и сказал высоким странным голосом: я счастлив тем, что он счастлив с вами. Еще он сказал, что в этой жизни очень важно суметь сделать свои сны явью. В ответ новобрачная вежливо и немного робко выразила надежду, что дорогой кузен пожелает вновь посетить Неаполь и подарит ей удоволь-

ствие принимать его в своем доме и ближе с ним познакомиться. Разумеется, приглашение распространялось и на Чарльза (и в этом случае было абсолютно искренним): кто знает, доведется ли снова свидеться. Она сказала Чарльзу проказливо: теперь ты можешь сдержать обещание и приехать в Неаполь.

На следующий день, в самый вечер отъезда она едва ли не силой вырвала у нескольких друзей Кавалера согласие посетить их в Неаполе. При мысли о возвращении ее охватывал трепет. Как странно, что она и есть та наивная девочка, которая не так давно впервые отправлялась в далекую страну, чтобы навестить дядю своего любовника (не подозревая, что этот любовник ее предал), — и вот теперь у нее есть все, о чем только может мечтать женщина: почтенный муж, блестящая жизнь, весь мир. О, прошу вас, приезжайте и убедитесь своими глазами!

Однако стоило ей пересечь Канал, как все лондонские чувства испарились: и желание сделать каждого свидетелем своего триумфа, и вдохновленные речами Ромни прореспубликанские настроения. Они остановились в Париже, и там она совершенно неожиданно удостоилась чести быть представленной Марии-Антуанетте, но не

только — ей было ока-1ано высочайшее доверие: из рук самой королевы она получила письмо для передачи царственной сестре. Вновь — мгновенно и безоговорочно — роялистка, жена Кавалера с трепетом повезла письмо *своей* королеве.

* * *

1793. Вот уже год, как они вернулись в Неаполь. Цветок его довольства собственной жизнью распустился и буйно цвел.

Не то чтобы он не был счастлив раньше. Не то чтобы он, почти постоянно, не был доволен. Но чтобы наслаждаться жизнью, Кавалеру требовалось глядеть на себя и свои увлечения с некоторого расстояния. Он смотрел на свое счастье опасливо, как с вершины горы. Оно было полно отдельных выразительных моментов, которыми изобилуют сцены сельской жизни, наблюдаемые с высоты птичьего полета: кто-то сеет и пашет, кто-то везет на базар урожай, кто-то, напившись, валяется на деревенской площади, дети играют, любовники ласкают друг друга…

Разумеется, он знавал счастье! Только раньше оно состояло из множества крохотных фрагментов, как мозаичный портрет, который нельзя разглядеть, пока не отойдешь подальше. А те-

перь он мог встать сколь угодно близко — ему равно были видны и мельчайшие подробности, и весь чарующий лик. Его пристрастия оставались прежними, он, как и раньше, любил читать, ловить рыбу, играть на виолончели, ходить в гору, изучать морских животных, вести ученые беседы, смотреть на красивых женщин, покупать новые картины: мир был театром наслаждений. Но в центре этих наслаждений, венчая их, стояла теперь одна-единственная женщина. Его сердце с неугасающим пылом, снова и снова, желало ее теплой плоти, прижимающейся к его плоти. Она зрела, она наливалась соком. И жарко всем интересовалась. Она сопровождала его на новые раскопки а Паестуме (целиком и полностью разделяя его презрительное отношение к грубым, примитивным дорическим колоннам храма Нептуна); изучала ботанику, чтобы помочь мужу в завершении работ над английским садом в Казерте; восхищалась придворной жизнью, восторгалась вазами и коллекцией минералов. Стоило протянуть к чему-то руку — и это уже принадлежало ему.

Он благодарно встречал незнакомое доселе чувство пресыщенности. Его собирательский пыл, вполне естественно, начал угасать. Им

теперь владел не охотничий азарт, а простая радость обладания. Когда он глядел на то, чем владел, когда показывал свои сокровища гостям и видел их восхищение и зависть, то получал ничуть не меньшее удовольствие, чем прежде. Но стремление пополнить коллекцию становилось все слабее. Он продолжал приобретать новые картины, вазы, бронзу, украшения, но скорее из финансовых соображений, чем по велению сердца. Счастье — живое, эротическое счастье — способно затмить радости коллекционирования, а Кавалер был счастлив, счастлив именно так.

В Англию шли известия о молодоженах. Кавалер, докладывали, все так же влюблен, его женушка все так же вульгарна — говор, манеры, как у кабатчицы, вопит, гогочет, хихикает. Немногие снисходили добавить, что она производит впечатление человека в высшей степени добросердечного. Однако, благодаря необычным требованиям и общей вседозволенности здешних мест, этот немыслимый союз — бывшей содержанки и пожилого, не опускающегося до оправданий аристократа с изысканными манерами и бесконечно расширяющимися горизонтами восприятия, — был очень удачным. Она стала женой, сохранив заботливость и привлекатель-

ность любовницы. Она помогала ему не просто как жена (в отличие от Катерины), а как соратник. Ее таланты — точные копии его талантов. Ему приходится много времени проводить с королем — она много времени проводит с королевой. Их задачи симметричны: он должен быть любимцем короля, она — любимицей королевы.

Кавалер должен разделять причуды короля. Она — делить с королевой тяготы ее жизни. Королева, женщина среднего ума (который, тем не менее, позволял ей быть много умнее мужа), в добавление к обычным обязанностям, неприятностям и развлечениям вынуждена не только самостоятельно выносить тяготы своих многочисленных родов, но и по мере сил вникать в политические обстоятельства жизни. Жена Кавалера, обладавшая уникальным даром воспринимать настрой и образ мыслей другого человека, очень скоро стала для королевы идеальной наперсницей. Они писали друг другу каждый день. Королева, урожденная австрийка, энергично барахтаясь в многоязыком море эпохи, пишет не на немецком, итальянском или английском, а на безграмотном французском. И подписывается: «Шарлотта». Они не только обмениваются письмами, но и видятся по несколько раз в день.

Тайные сторонники якобинцев в Неаполе добавляли к клеветническому портрету королевской четы обвинительный штришок, утверждая, что королева и жена Кавалера были любовницами. Это обвинение с негодованием отметают фанатичные приверженцы красоты. Они не могут представить себе физических отношений между прелестной женой Кавалера и сорокалетней женщиной с безнадежно простым лицом и телом, испорченным четырнадцатью родами. Это свидетельство защиты бессмысленно настолько же, насколько бессмысленно обвинительное клише. (Королева обладала неограниченной властью, а женщин, облеченных властью, боятся не меньше, чем мужчин, и часто называют шлюхами. Участники много более агрессивной антироялистской кампании во Франции пошли дальше: они обвинили сестру неаполитанской правительницы не только в приверженности к лесбийской любви, но и в инцесте.) Обвинение было ложным. Эротика мало интересовала экспансивную, сентиментальную жену Кавалера. Но она действительно очень нуждалась в женской дружбе — в обществе женщин она чувствовала себя гораздо лучше, чем в обществе мужчин. Ей нравилось проводить время с другими женщи-

нами, сидеть, например, в жаркий полдень в своей спальне в расстегнутом платье, с пятью-шестью горничными; нравилось сплетничать, примерять платья, пропускать рюмочку-другую, выслушивать чьи-то любовные печали, показывать фигуры нового танца или новую парижскую шляпку с белыми перьями. Именно там, среди обожающих горничных, при матери, до конца своих дней не покидавшей дочь, она больше всего чувствовала себя женщиной. Слушая женскую болтовню, она успокаивалась. И в одну секунду могла заставить всех смолкнуть и затаить дыхание, и вызвать у всех, и у себя тоже, слезы на глазах, — достаточно было запеть песню.

* * *

Осень 1793 года. Королева, дорогая Шарлотта, не может прогнать от себя одно видение.

Женщина, осужденная на смерть. Сидит в телеге, которая везет ее к этой, этой, этой… машине, этой страшной новой машине. Руки крепко связаны за спиной, волосы коротко острижены, шея обнажена. Вид мученицы. Она вся в белом: простое платье, грубые чулки, бесформенный чепец. Лицо старое, усталое, голова поникла. Единственное напоминание о былой славе — прямая,

строгая осанка.

Она моргает. У нее болят глаза — сказываются долгие месяцы, проведенные в тюрьме. Колеса телеги с грохотом подпрыгивают на камнях мостовой. На улицах неестественно тихо. Солнце сияет. Телега добирается до места назначения. Женщина всходит наверх — десять грубых деревянных ступеней. Вот ее капеллан — бормочет молитвы, вперил невидящий взор в распятие, по лицу струятся слезы. Голос, чей-то голос, произносит: — Больно не будет, Ваше величество. — Кажется, этот голос идет оттуда, из-под капюшона. Она отводит глаза от сооружения футов четырнадцать в высоту, похожего на лестницу, с ржавым от крови лезвием в форме топора. Она чувствует, как кто-то с двух сторон давит на плечи, понуждая наклониться, нет, лечь, живот и ноги на доску, вот так. Кто-то подтягивает ее за, плечи чуть вперед, вот так, чтобы горло легло в желоб нижней части деревянного хомута. После этого сверху на шею опускается другая часть хомута. Одна веревка обхватывает талию, другая — ноги: ее привязывают к доске. Голова виснет над темно-коричневой плетеной корзиной. Кровь приливает к голове. Она сопротивляется тому, что голову тянет вниз, старается поднять ее вы-

ше, видит поверх платформы подпрыгивающие головы толпы, пытается ослабить болезненное прикосновение края доски к ключицам, уменьшить давление хомута на гортань, от которого она давится, ей тяжело дышать, потом видит два приближающихся больших, заляпанных грязью ботинка; рев толпы становится громче, затем стихает; теперь слышен только странный скрип: он поднимается, выше, выше; солнце ослепительно вспыхивает, она зажмуривается; скрип все громче, и вдруг — обрывается…

* * *

Нет!

Голова королевы мечется по подушке. Королева стонет. Потом просыпается, раздвигает шторы балдахина. Встает. Вот уже много недель, как она в ожидании новостей из Парижа плохо спит. Ситуация во Франции с каждым днем ухудшается. Теперь судьба неаполитанцев во власти англичан — это единственная страна, обладающая возможностями и желанием противостоять революции. Командующий британским флотом капитан Нельсон, чьи корабли вот уже пять дней стоят на якоре в заливе, одержал над французами большую победу. Он очень убедительно говорит

о намерениях своей страны, но королева мало доверяет военным. Пусть предложение выкупа было отвергнуто, она не теряет надежды. Революционерам хватит и того, что они казнили короля. (Казнить короля!.. Немыслимо!) Что им до женщины, до иностранки; конечно же, ее младшую сестру не станут убивать.

Не станут, не смогут…

Когда пришло известие о казни Марии-Антуанетты, неаполитанский двор оцепенел от ужаса. Королева скрылась в Портичи, в своем любимом дворце. Опасались, что она сойдет с ума. Она отказывалась видеть детей (у нее только что родился пятнадцатый ребенок), принимать ванну и переодеваться. Она выла от ярости и отчаяния, и ее поддерживал немецкоязычный хор сорока служанок. Горе королевы тронуло даже короля, но ему плохо удавалось ее утешить — каждая попытка проявить сочувствие заканчивалась тем, что король возбуждался и пытался на нее взгромоздиться. Но в объятиях мужа королева нуждалась в последнюю очередь. Ее терзала бесконечная спазматическая рвота. Доктора считали необходимым пустить ей кровь. Жена Кавалера все дни проводила во дворце, кричала и плакала вместе с королевой, мыла ей

голову, пела. Только пение как-то успокаивало королеву. Музыка лечит. Когда дед нынешнего короля, Филипп V, впадал в глубокую депрессию, облегчение ему приносило только пение Карло Броччи, известного под именем Фаринелли, — величайшего голоса первой половины того века. До того, как этот кастрат-чудотворец появился при дворе Бурбонов в Мадриде, — где его на огромном жаловании удерживали в течение девяти лет, — впавший в ступор монарх не ел, не пил, не менял одежды и не правил государством. В течение девяти лет каждый вечер, ровно в полночь, Фаринелли появлялся в королевской спальне и до пяти утра исполнял одни и те же четыре песни, снова и снова, перемежая пение изящной беседой. И тогда Филипп V начинал есть, пить, позволял себя вымыть и побрить и просматривал бумаги, оставленные министрами.

Так же и жена Кавалера своим чудесным голосом успокаивала королеву. Каждый день она отправлялась во дворец и сидела с королевой в затемненной комнате, возвращаясь домой лишь поздно вечером, с красными от слез глазами. Никогда не видела более печального зрелища, — говорила она. — Горе бедняжки не знает границ.

С ее великим даром к состраданию, она го-

ревала почти так же сильно, как королева. Но королева, в промежутках между рыданиями, затихала, и жена Кавалера успокаивалась тоже.

Королева возвратилась в город и заняла свое место в государственном совете.

Она была женщиной, — сказала королева. — Просто женщиной.

(Ваше величество!)

Я отомщу.

(Каким, спрашивается, образом тщедушное королевство обеих Сицилии может отомстить могущественной Франции?)

Францию накажет Бог, Богу помогут англичане, а англичанам поможем мы, — сказала королева.

(Вы хотите сказать, англичане помогут нам, — уточнил премьер-министр.)

Да, — сказала королева. — Они наши друзья.

И, действительно, они — он — помогли.

Спокойные воды разносторонней жизни Кавалера, столь счастливо изолированной от всяческих пертурбаций, утягивало в водоворот реального, большого мира, существование которого сейчас полностью определялось французской угрозой. Туда же уносило и Кавалера, этого рафинированного наблюдателя.

В Неаполе начал тайно заседать клуб, но-

сивший название «Общество друзей свободы и равенства» и имевший целью разработать планы модернизации королевства. Он быстро разделился на два клуба: один ратовал за конституционную монархию, второй готов был решиться на республику. Кто-то оказался предателем; раскрылся заговор (возможно, мнимый) с целью убийства короля; из арестованных — среди которых были юристы, профессора, литераторы, доктора и отпрыски благороднейших фамилий государства — девятерых приговорили к длительным срокам тюремного заключения, а троих казнили. Королева с горечью хвастала тем, как исключительно милосердно неаполитанское правосудие в сравнении с французской бойней. Лава революции растекалась, Террор набирал силу — и в июне 1794 года природа решила спеть в унисон с историей. Произошло жесточайшее извержение Везувия, равных которому на памяти Кавалера не было. С 1631 года это было самое ужасное — или самое прекрасное? — извержение, и оно стало считаться третьим по силе за два тысячелетия, которые насчитывает современная история вулкана.

Выяснилось, в конечном счете, что вулкан не вписывается в банальные рамки красивого,

интересного, величавого, зрелищного. Это был кошмар в чистом виде — черные дни и кровавые ночи. На фоне ночного неба полыхали широкие огненные струи, с ревом взмывающие вверх и в стороны, вдогонку тонкой диагональной оранжевой полоске убегающей вниз лавы. Чернильное море было багровым, луна — кроваво-оранжевой. Всю ночь ширился вал сходящей лавы. В краткое междуцарствие бледной зари было видно, как от вершины в небо поднимаются, разворачиваются, утолщаясь, веревки смоляного дыма, как они превращаются в огромную, во все небо огненно-дымную воронку, которая постепенно становилась все больше похожа на колонну. На ось этой колонны неустанно нанизывались все новые, распухающие кольца дыма, затем колонна расширялась, вбирая кольца в себя. К полудню небо совершенно почернело, солнце превратилось в дымную луну. Кроваво-красный залив кипел.

Зрелище лишало дара речи, способности двигаться.

И все же самое страшное ждало Кавалера впереди, когда небо более или менее расчистилось и взгляду открылась обычная — но так сильно изменившаяся — панорама. Смотреть на это

было больно, как бывает больно смотреть на поваленное ураганом дерево, древнее, ветвистое, с густой кроной. Гора, в отличие от дерева, упасть не может, но и ее можно изуродовать. Верному поклоннику красавца-вулкана хотелось думать, что причиной позора был какой-то внутренний дефект горы. Так вышедшая после бури во двор хозяйка, оторопело глядя на огромное поваленное дерево, показывает на обнажившуюся, отвратительную, источенную термитами, комковато-коричневую внутренность ствола и утешает себя: ураган, конечно, был невероятной силы, но не он один виноват в несчастье — великан так или иначе был обречен. Извержение плоско срезало верхушку Везувия и укоротило его на одну девятую высоты. Жена Кавалера рыдала от жалости к обезображенному вулкану. Кавалер, чувствовавший примерно то же самое, сумел уговорить себя, что так было суждено — и счел это поводом для немедленного, едва утихнет извержение, восхождения.

Толо, ты здесь?

Да, милорд.

Я должен посмотреть на него.

Да, милорд.

В конце июня шестидесятичетырехлетний

Кавалер в сопровождении отпустившего бороду Бартоломео Пумо достиг вершины горы, на которую ходил вот уже тридцать лет. Гора трагически изменилась. Венчавший ее конус исчез. На его месте зиял гигантский кратер с зазубренными краями.

Я хотел бы подойти ближе.

Да, милорд.

Но земля прожигала толстые подошвы башмаков, и он давился ядовитыми сернистыми и купоросными испарениями.

Толо, ты здесь?

Да, милорд.

Не уйти ли нам?

Да, милорд.

Он должен был испытывать страх, но страха не было. Гора имела право обвалиться. Содеянное вулканом рождало в душе — и было трудно себе в этом признаться — странную, с каждой минутой растущую удовлетворенность.

Вполне естественно, что этот великий собиратель ценностей присвоил и вулкан — первооснову разрушения. Сознание коллекционера раздвоено. С одной стороны, он теснейшими узами связан с консервативными силами общества, силами, которые хранят и оберегают. С другой

стороны, каждый собиратель — носитель идеи разрушения. Ибо чрезмерность, свойственная страсти к собирательству, вызывает у коллекционера отвращение к себе. Союз коллекционера и его страсти таит в себе мечту о собственном роспуске. Быть может, и Кавалер, устав от несоответствия идеала, стремление к которому так свойственно коллекционерам, всему материалистическому в его душе ценителя красивых вещей и трофеев славного прошлого, давно жаждал очищающего, всепожирающего огня.

А может быть, любой коллекционер хотя бы однажды мечтал о катастрофе, которая избавит его от коллекции, — превратит в пепел или похоронит под лавой. Истребление — всего лишь окончательное лишение прав. Коллекционер, быть может, настолько разочарован жизнью, что ему хочется лишиться прав на самого себя, — как в романе о помешанном на книгах ученом-отшельнике и его легендарной библиотеке, насчитывавшей двадцать пять тысяч жизненно необходимых, незаменимых томов (непреходящая мечта, идеальная библиотека). Из любимых книг ученый развел погребальный костер и бросился в него. Но доведись такому гневливому собирателю выжить — или отойти

от припадка бешенства, — и он, скорее всего, захочет начать новую коллекцию.

4

Его часто называли маленьким. Он и был невысок (ощутимо ниже Кавалера и его молодой жены) и худощав. У него была большая, слегка квадратная голова, красивое загорелое лицо с огромным лбом, широкими бровями, тяжелыми веками, глубоким желобком под выступающим носом, полными губами и широким ртом, в котором отсутствовало порядочное число зубов. Когда они с ним познакомились, он еще не выиграл ни одного важного сражения. Но у него был особенный взгляд, голодный, пронзительный, который говорил о способности сосредотачивать волю на достижении одной цели, — взгляд человека большой судьбы. Обрати внимание, — сказал Кавалер, специалист по многообещающим (и наоборот) молодым людям, — он станет величайшим из героев, которых когда-либо рождала Англия. — В этом внезапном озарении не было ничего удивительного. Звезда всегда звезда, и до изобретения летательного аппарата, позволяющего ее достичь, и после, когда уже запчастей не сыщешь. А тридцатипятилетний капитан, несомненно, был звездой, — как и супруга Кавалера.

Она, при всей своей восприимчивости, *этого* разглядеть не сумела. Конечно, он прибыл в город с великой помпой. Она и Кавалер стояли у окна обсерватории и смотрели, как гордо входит в залив шестидесятичетырехпушечный двухпалубный корабль, которым он командовал, «Агамемнон», всего через семь месяцев после того, как несносная Франция объявила войну Англии, — это было грандиозно. И конечно, короткое пребывание капитана в Неаполе хорошо запомнилось жене Кавалера — в основном благодаря той роли, которую она играла. Он привез Кавалеру срочные депеши от лорда Худа. Для укрепления сил коалиции, собранной на защиту Тулона (где захватила власть роялистская фракция) от наступавших республиканцев, срочно требовались неаполитанские войска; и именно жене Кавалера удалось получить шесть тысяч солдат, в то время как сам Кавалер не мог добиться от перепуганного короля и его советников никакого ответа. Она обошла всех привычным женским путем, по черной лестнице, отнесла прошение в спальню и заручилась поддержкой обладательницы самого влиятельного голоса государственного совета, которая в то время лежала в уединении, готовясь дать жизнь шестнадцатому принцу (или

принцессе). Капитана пригласили в королевский дворец на обед и усадили на почетное место справа от короля; жена Кавалера сидела справа от капитана и переводила сначала те сбивчивые фразы, которыми он пытался донести до короля правду о жестокостях французов, а потом — длинный и несвязный рассказ короля о гигантском кабане с тремя яичками. Она была очень довольна, когда поняла, что ей удалось произвести на него впечатление. Его визит длился пять дней. Но после они принимали многих других достойных людей, среди которых он ничем особенным не выделялся.

Он уехал. История возвысила его. Наступило время целеустремленных людей маленького роста и непомерных амбиций, людей, нуждавшихся не более чем в четырех часах сна. Он под покровом разных небес, в бурном море, на кренящемся корабле преследовал врага. Теперь на его счету числилось множество выигранных сражений. Война отняла у него некоторые части тела. Его вотчиной, королевством, средством передвижения, трибуной был сначала «Капитан», оснащенный семьюдесятью четырьмя пушками, а потом и другой семидесятичетырехпушечник, «Тезей». Прошло пять лет. Он стал героем, Героем

для правителей Неаполя, живших в смертельном страхе перед другим маленьким целеустремленным человечком, который сумел собрать революцию из обломков и направить ее энергию на достижение, казалось бы, невыполнимой цели, а именно — на завоевание Францией всей Европы и свержение отжившего монархического строя. Он нас спасет, он один может нас спасти, сказала королева. Король выразил согласие. Английский посланник, представлявший в Неаполе мощь британской державы, не мог не поддержать королеву. Последние два года Кавалер часто обменивался с молодым капитаном (теперь уже адмиралом) письмами, в которых рассказывал о своих попытках привлечь трусливый Неаполь на сторону Англии. Жена Кавалера тоже ему писала. Ей нравилось кем-то восхищаться, а этот человек был воистину достоин восхищения. Порывы восторга были ей необходимы. Последнее время все чаще и чаще.

Его кидало по всему Средиземному морю, морю войны, но он не забывал сообщать новым друзьям, очень коротко, о пополнении своей коллекции тяжелых ранений.

Все было просто, осязаемо, больно, возвышенно. Мир состоял из четырех стихий — берега и

воды, огневой мощи и воздушного пространства, отделяющего от врага. Ему посчастливилось командовать многими парусниками, и у каждого было свое знаменитое имя, история, каждый вдоволь попробовал пота и крови. Сейчас адмирал ходил на семидесятичетырехпушечном «Вангарде», команда которого насчитывала свыше шестисот офицеров и матросов. Он очень мало времени проводил в роскошной, просторной адмиральской каюте. Днем и ночью он мерил шагами палубу. Встречал каждый рассвет, провожал каждый закат. Видимость для него всегда была полной. На море человек всегда в Движении, даже при полном штиле. Птицы, подобно крошечным воздушным змеям, парили над головой, отвесные паруса облаков разворачивались, кренились, морщинились, выгибались, увлекая корабль по ветру; движение всегда по ветру. Череда дней и ночей, череда дел — он следил за всем сразу. Когда очень уставал, стоял на шканцах, неподвижно, у всех на виду. Он верил, что самый его вид магически действует на команду, — он неоднократно в этом убеждался, и не только в пылу сражения, — и пугает врага. Так оно и было.

Отомщены, вскричала королева, когда Неаполя достигла весть о том, что эскадра молодого адми-

рала уничтожила французские корабли на Ниле. Hype hype hype ma chère Miledy! Je suis folle de joye,[14] написала она своей дорогой подруге, жене английского посланника. Та, получив радостную весть о блестящей победе, потеряла сознание. Я упала на бок и ударилась но што с того, написала она адмиралу. От таково известия можно и умиреть — но нет я не хотела бы умирать пока не увижу и не обниму Нильского Побидителя.

* * *

Так Герой ворвался в их жизнь.

22 сентября 1798 года. Во главе небольшой флотилии пышно убранных, украшенных государственной символикой кораблей, которые вышли днем, в самую жару, навстречу «Вангарду», — королевская барка, которую ведет адмирал неаполитанского флота Караччьоло. Под расшитым стеклярусом навесом — король, королева, несколько их детей. Следом — барка музыкантов королевской капеллы. На барке под британским флагом — Кавалер и его роскошная супруга, в одежде цветов династии Бурбонов:

---

[14] Примечания: 14

Гип-гип-ура, моя дорогая миледи, я помешалась от радости *(искаж. фр.*

голубом платье с золотыми кружевами, синей шали с золотыми якорями и в золотых серьгах, тоже в виде якорей. Королевский оркестр, умудряясь не фальшивить, играет «Правь, Британия», и Кавалер, улыбаясь, напевает про себя:

Твое – оно твое по праву,
И берега склонятся пред тобой.

Позади, теснясь, раскачиваясь, врезаясь друг в друга, плывет не менее пятисот фелюг, барок, яхт, рыбацких лодок, а в них кричат и размахивают руками люди. Когда царственные особы и Кавалер с женой начали подниматься на борт «Вангарда», толпа принялась громогласно славить короля, а Герой снял и спрятал в карман зеленую глазную повязку.

Наш освободитель, — сказал король. — Хранитель и избавитель, — сказала королева. — Ах! — вскрикнула супруга Кавалера при взгляде на Героя. Он был изможден, кашлял; пудреные волосы чересчур длинны; пустой правый рукав пришпилен к борту мундира; а над ослепшим глазом, там, куда во время сражения на Ниле ударил осколок картечи, багровел шрам. О! — и жена Кавалера упала ему на грудь.

Она упала мне прямо на руки, и это была очень

трогательная сцена, писал Герой своей жене. В длинном письме он рассказывал, какой роскошный, торжественный прием ему оказали. Его пожелало встретить столько людей, что залив кишел кораблями и лодками, кругом развевались флаги, гремели ружейные салюты, с возвышающейся над городом крепости Сан-Эльмо палила пушка. Потом он сошел на берег, и отовсюду с криками «vivo!» к нему потекли люди, разодетые в бархат и ленты, и все протягивали к нему руки. Без повязки его глаз сильно страдал от солнечного света — Неаполь был весь залит солнцем. Затем настал благословенный вечер, и устроили великолепный фейерверк, который завершился появлением в небе британского флага и красиво выписанных инициалов Героя. На крутых перекрестках люди танцевали у костров. То, как меня встречал простой народ, было поистине трогательно. Особняк Кавалера, по случаю банкета в честь Победителя, на котором присутствовал сам адмирал Караччьоло, сиял тремя тысячами ламп. Герой был счастлив и сумел выдержать банкет до конца.

Его правая рука, рука-фантом, сильно болела. Боли начинались от правого плеча. Героя терзали приступы кашля и жар. Он крепился — презирал

жалобы. Он был маленьким, худым, но крепким. И умел выносить невыносимое. Боль — как волна, надо твердо стоять на ногах, и она схлынет. И немыслимая боль ампутации, без спасительного глотка рома, и боль после ампутации — хирург попался неумелый, и обрубок три месяца гноился, — даже это всего лишь волны.

Те же волны раскачивали лодку боли — маленькую лодку, уносившую Героя с места битвы, где он так и не успел сразиться. Лодку, с которой он сошел как герой-правша и вытащил меч, намереваясь повести ночной десант на испанский форт; лодку, куда, после того, как он упал навзничь с раздробленным картечью правым локтем, принесли его бесчувственное тело; лодку, которую обезумевшая команда развернула и вывела из бухты, надеясь добраться до флагманского корабля раньше, чем он умрет от потери крови. Он пришел в себя, схватившись за жгут, наложенный у плеча. Они как раз проходили мимо одномачтового корабля его флотилии. Тот, получив удар в борт ниже ватерлинии, тонул. Герой настоял, чтобы они задержались и подобрали уцелевших. Волны, волны, целый час, прежде чем удалось добраться до покачивавшегося на якоре «Тезея» с потушенными огнями. Яростно

крикнув тем, кто хотел помочь: — Я сам! У меня пока еще есть ноги и одна рука! — Он обмотал вокруг левой руки веревку и рывком взобрался на борт, приказал позвать хирурга, чтобы тот ампутировал правую руку, по самый жгут, а через полчаса был уже на ногах и отдавал приказы капитану флагмана невозмутимым и суровым голосом.

Теперь он был герой-левша.

Но что такое его храбрость по сравнению с храбростью капитана восьмидесятипушечного «Тоннана», который в прошлом месяце во время Нильского сражения от удара британского сферического ядра потерял обе руки и ногу. Он, этот Дюпти-Туар, не позволил унести себя с палубы, приказал доставить с камбуза полную ванну отрубей и погрузить себя в них по самые ключицы, и целых два часа командовал обстрелом, пока из него не вытекла вся кровь и он не потерял сознание. Последними словами, которые произнесла голова, торчавшая из ванны разбухших красных отрубей, был приказ команде потопить корабль, но не сдаваться врагу. Вот доблестный воин! — воскликнул Герой — в мире героев, к которому он принадлежал, большая, необходимая роль отводилась отваге и отважно переносимой

жестокой боли.

И трусости тоже: команда «Тоннана», убедившись, что голова капитана больше не говорит, вывела корабль с места боевых действий и через два дня сдалась побеждавшим англичанам. Но не в этом ли задача всякого героя — заставить врага проявить трусость?

Герой был стоиком. И весьма откровенно жаждал славы. Серьезный мальчик, сын священника, в девять лет он лишился матери, а в двенадцать отправился служить во флот. Он много читал, и голова его была забита всевозможными героическими образами; он любил цитировать Шекспира, а себя самого видел Хотспуром (разумеется, если исключить печальный финал): доблестным, безудержным, милосердным… и, естественно, алчущим почестей. Он не понимал ни своего тщеславия, ни своей суетности. Ценил доблесть, неколебимость, благородство, честность. Хотел собой гордиться и оступиться не имел права. Намеревался стать героем. Он хотел заслужить славу, награды, хотел оставить о себе добрую память, попасть в исторические книги и на картины с историческими сюжетами, представлял собственные бюсты, статуи на пьедесталах и даже мысленно видел себя на вершине

высокой колонны на городской площади.

Он желал быть выше ростом, но нравился себе в военной форме. В Англии у него осталась жена, вдова, на которой он женился по любви и которой, как сам считал, хранил верность. Последний раз он видел ее год назад, когда получил отпуск для поправки здоровья после неумелой ампутации. Он восхищался своей полной достоинства супругой, ее вкусом в одежде и считал, что, согласившись выйти за него замуж, она оказала ему большую честь. Он взял с собой в море пасынка Джозию, единственного сына Фанни от первого брака, и еженедельно информировал жену о достижениях и провинностях мальчика. Иметь собственных детей он уже не рассчитывал. Его имя увековечит слава, его потомками станут великие дела.

Через два дня после ампутации он начал учиться писать левой рукой, стараясь достичь максимальной беглости и разборчивости, хотя это было трудно: он ловил себя на том, что изумленно следит за этим странным зверьком, за тыльной стороной левой руки, — казалось, бумаги и депеши пишет за него кто-то посторонний.

Он не желал поддаваться слабости и до сего момента никогда не чувствовал себя слабым, ни

тогда на лодке, ни потом, когда хирург исполнил приказ. Возможно, он не знал слабости потому, что никто никогда по-настоящему о нем не заботился, не жалел, не утешал. Еще ребенком он объявил, что не желает, чтобы с ним обращались как с ребенком: он сильный, и о нем незачем беспокоиться, он сам будет беспокоиться обо всех; и эти все — отец, братья, сестры, жена — словно поймали его на слове. Люди хотели верить в него; так всегда бывает со звездами.

Предложение Кавалера и его жены остановиться у них в доме вызвало у него протест, он собирался жить в гостинице. Об этом они не пожелали и слышать. Его уложили в постель в лучших, на верхнем этаже, апартаментах резиденции британского посланника. Герой умолял жену Кавалера не тревожиться о нем. Ему только и нужно, что побыть некоторое время одному, и болезнь пройдет. Особняк был очень большой, на итальянский манер, а слуг — больше, чем в английском особняке того же ранга, что вполне естественно для отсталой страны, и, тем не менее, Ее сиятельство настояла, что вместе с матушкой возьмет на себя многие из обязанностей сиделки. Очутившись в постели, он скоро потерял сознание и очнулся под звуки простого

голоса и от простых же действий миссис Кэдоган. Ну-ка, милок, не бойся, больно не сделаю, давайка мы ручку подымем… Ему вспомнилось, как морщилась жена, ежедневно перевязывая рану, как ее пугал воспаленный, красный, горячий обрубок. Тем временем супруга Кавалера широко распахнула окно и стала рассказывать, как красив сегодня залив, описывать вид на Капри и на курящийся вдалеке вулкан, к которому, как он знал, Кавалер питает особенный интерес. Потом пересказала последние дворцовые сплетни. Пела ему. И прикасалась к нему: остригла ногти на левой руке, промыла молоком бедный рассеченный лоб. Когда она наклонялась, он чувствовал запах ее подмышек, похожий на запах апельсинов, нет, более сладкий, как аромат лилий; он и не подозревал, что женщина может так пахнуть. Он закрыл глаза и вдыхал этот запах, раздувая ноздри.

Она, похоже, им восхищалась, и ему это нравилось.

Он, как и все прочие, знал ее историю: падшая женщина, которую Кавалер взял под свое покровительство и которая стала безупречной женой. Но только в придворном мире не сыщешь такого радушия и прямоты. Иногда она задает вопросы,

которые не подобает задавать воспитанным леди. Например, спросила, что ему снится, — довольно дерзкий вопрос, впрочем, ему это понравилось. Беда в том, что ему ничего не снится, по крайней мере, он ничего такого не помнит, только самые обычные воспоминания: сражения, кровь, грохот и страх. Впрочем, вот один сон, за последнее время он видел его несколько раз: снилось, что у него две руки. Он на палубе, в самый разгар битвы, все чувства напряжены, правой рукой он держит у глаз подзорную трубу, а левой подзывает капитана Харди; очень правдоподобная сцена, так и было в жизни (и так могло быть изображено на картине); только так теперь быть не может (и он не помнил, два у него глаза или всего один), поэтому он знал, что это сон, и заставлял себя проснуться. Но рассказать о таком нельзя. Это прозвучит как мольба о сострадании.

Он старался что-нибудь выдумать. Сны, приличествующие герою. Мне снилось, говорил он, что я всхожу по очень высокой лестнице. Или: мне снилось, что я стою на дворцовом балконе. И сразу же (испугавшись, что дворцовый балкон — это слишком тщеславно): снилось, что я один гуляю по необъятному полю, полному цветов. И… (продолжайте же!)… снилось, что скачу на

коне, снилось, что плыву по туманному озеру, снилось, что я на торжественном банкете — нет, это скучно.

Что, черт подери, видят во сне нормальные люди? Он что, забыл, как разговаривают с красивыми женщинами? Проклятье! Он все равно, что животное! Только и мыслей, что о картах, тактике, готовности пушек, погоде, линии горизонта, линии боя, иногда о женщине в Леггорне и всегда о Наполеоне, а теперь вот еще о боли в правой руке, несуществующей руке, о фантомной боли.

Нет, как бы он ни устал, как бы ни мучил жар, он попробует еще.

Мне снилось, что я в театре, — не годится. Снилось, что я пошел в замок и нашел тайную комнату, — нет. Помню, да, точно, я стоял на скале, а внизу ревел бурлящий поток, — нет. Я переплывал море на дельфине и услышал призывный голос, голос русалки, — нет. Мне снилось, мне снилось…

Она, должно быть, догадалась, что он все выдумывает, лишь бы ее позабавить. Ему такие сны казались неубедительными, они походили на рассказ по картинке. Но он готов придумывать сколько потребуется. Жаль только, что он не умеет сочинять лучше. Нужно что-то более

поэтическое…

* * *

Иногда, рассказывая о прошлом, можно не говорить правды, точнее, говорить не всю правду. Прошлое можно приукрашивать. Иногда это даже необходимо.

Нормы исторической живописи того времени обязывали художника ставить основную, великую, правду сюжета выше буквальной, то есть низкой, правды. Художник, избравший для картины великий сюжет, должен стремиться полностью раскрыть его величие. Так, например, Рафаэля хвалили за то, что его апостолы прекрасны телом и духом, а не злобны и уродливы, как сказано в Писании. «Пусть Александр был невысок ростом, Художник не смеет изображать его таким», — провозгласил сэр Джошуа Рейнолдс. У великого человека не бывает злого или вульгарного лица, он не может быть увечным или хромым, он не щурится, для него немыслим нос картошкой или плохой парик, — но даже если и так, все это не отражает сути. А художник обязан показать именно суть предмета.

Мы любим подчеркивать обыкновенность героев. Всякая там суть недемократична. Когда

кого-то провозглашают великим, мы чувствуем себя оскорбленными. Для нас стремление к славе или совершенству — признак душевного заболевания. Мы знаем: те, кто высоко взлетел (слишком высоко, по нашему мнению), страдают избытком честолюбия, а это является результатом неправильного воспитания (слишком мало или слишком много материнского внимания). Мы готовы кем-то восхищаться, но считаем, что это не должно принижать нас. Мы не хотим чувствовать себя ниже идеала. Так что прочь идеалы, к черту суть. Единственно приемлемы здоровые, уютные идеалы — те, к которым может стремиться каждый, те, которых в воображении каждому легко достичь.

* * *

Русалка!

Что, дорогой сэр?

Должно быть, он задремал на минутку. Она нежно на него смотрит.

Смутившись, он бормочет: — Я закончил рассказ?

Да, — говорит она, — вы были в королевском дворце, где король с королевой давали торжественный банкет в вашу честь, мы тоже дадим

такой банкет, через несколько дней, как только вам станет лучше, — чтобы отпраздновать ваш день рождения и выразить бесконечную благодарность этой отсталой, но чудесной страны, которую вы столь доблестно защищали.

Но, разумеется, я вполне здоров, — сказал он и попытался встать, застонал, потерял сознание и упал на подушки.

* * *

Ей нравилось смотреть, как он спит, зажимая левую руку между бедер, как ребенок. Он казался таким маленьким и беззащитным. Она старалась не обращать внимания на сладостное замирание в животе и радовалась, что может говорить: «мы» — мы с мужем, мы с королевой. Мы чувствуем, мы восхищаемся, мы рады, мы так благодарны, мы хотим выразить свою благодарность. И она ее выразила.

Особняк Кавалера никогда еще не выглядел так роскошно и не был так ярко освещен, как неделю спустя, в день рождения Героя, который стал также днем поклонения его славе.

Сбывались юношеские мечты: отовсюду звучало его имя, славословия, а сам он предлагал тост за тостом за сохранение монархии. Все было

именно так, как представлялось в мечтах, — вот только бокал он поднимал левой рукой. Правая болела невыносимо, горела огнем, у него все еще был жар и тошнота, впрочем, не исключено, что из-за вина. Обычно он бывал крайне воздержан.

Он вбирал взглядом улыбки, красивые наряды дам, жену Кавалера в блестящем платье голубого шелка, венки и букеты; повсюду он видел свое имя, свои инициалы, свое лицо — на канделябрах, вазах, медальонах, брошах, камеях, лентах — всюду, всюду, куда ни повернись. Любезные хозяева за последнюю неделю завалили работой местных гончаров, и вот теперь Кавалер с супругой, и он сам, и проживающие в Неаполе англичане, и офицеры его эскадры, стоящей на якоре в заливе, ели с тарелок и пили из бокалов, украшенных гербами с инициалами Героя. А когда все восемьдесят человек встали из-за стола и перешли в бальный зал, где собралось еще две тысячи гостей, приглашенных на бал, а затем на ужин, то всем без исключения раздали ленты и пуговицы с его прославленным именем. Он спрятал по восемь штук того и другого в правый рукав, чтобы потом отослать Фанни, отцу и кое-кому из братьев и сестер — пусть знают, какие ему оказывают почести.

Как вы себя чувствуете, дорогой сэр, — прошептала жена Кавалера. Они направлялись в бальный зал, и она взяла его под руку.

Очень хорошо, очень хорошо.

Но на деле он чувствовал невыносимую слабость.

В центре огромного зала под тентом возвышался предмет, задрапированный «Юнион Джеком» и его собственным голубым флагом. На мгновение Герою пришла в голову абсурдная мысль: он решил, что это часть мачты «Вангарда». Он подошел ближе. Жена Кавалера не выпускала его руки. Ему хотелось хоть на некоторое время опереться на шест.

Не опирайтесь, — сказала она. Будто прочитала мысли. — Понимаете, это сюрприз. Только он не очень устойчивый. Не дай Бог, повалится!

Затем она оставила его и отошла к Кавалеру, который стоял около оркестра. Скоро должны начаться танцы. Герой думал о них со страхом. Танцев ему не одолеть. Не хочется, чтобы его видели сидящим. Но это еще не танцы — оркестр заиграл «Боже, храни короля», и жена Кавалера вышла вперед и запела. Какой удивительный голос! Благодаря этому голосу знакомые вдохновенные слова наполнялись, казалось, новым

смыслом. Вдруг — нет, он не ослышался, — в гимне прозвучало его имя. «Первый на скрижалях славы», — пела она:

О нем поет земля,
Героя славу разнося
По всем Британии морям,
Им Нила берега звенят —
Боже, храни Короля!

Когда тысячи собравшихся в зале людей устроили настоящую овацию, он покраснел. Она еще раз пропела сочиненную строфу, жестами призывая гостей присоединяться, и вот уже все пели ему славу, тянули его имя. Потом Кавалер с женой подошли к Герою, гомон в зале стих, и тогда она сняла флаги со стоявшего под тентом предмета, похожего на мачту. Это оказалась колонна, на которой выгравировали крылатое выражение другого завоевателя: «Veni vidi vici»,[15] а также имена капитанов, принимавших участие в Нильском сражении, его собратьев по оружию. Почти все они присутствовали и подошли, чтобы пожать ему руку и в очередной раз выразить почтительную благодарность судьбе за то, что она

[15] Примечания: 15
Пришел, увидел, победил *(лат.)*.

даровала возможность служить под его началом. Кавалер, стоя у колонны, произнес короткую речь, в которой сравнил Героя с Александром Великим. В конце речи жена перебила его, закричав, что статую Героя, из чистого золота, следует установить в самом центре Лондона, и что так бы и случилось, если бы там, дома, понимали, скольким ему обязаны, — он чувствовал себя прямо-таки в ореоле славы. Потом вокруг собралась толпа, лица людей сияли, многие стремились прикоснуться к нему, здесь это было в обычае, и все улыбались, улыбались. О, если бы его сейчас видели отец и Фанни!

Он повернулся к Кавалеру, намереваясь выступить с ответной речью, поблагодарить за великолепное торжество. Честь, которую вы мне оказываете… — начал он.

Это вы оказываете нам честь, — перебил Кавалер и, в свою очередь, взял Героя под руку.

Тут заиграл оркестр, и Герой, полагая, что жена Кавалера ожидает его приглашения на кадриль, двинулся к ней. Нет, нет, он не будет танцевать, ей придется его извинить, но он хотя бы попытается выразить благодарность.

Кавалер, по-своему так же очарованный молодым адмиралом, как и его жена, смотрел на

Героя с восторгом. Какое великолепное событие! Словно после затмения. Все, что еще недавно было черным, теперь блестит и сияет. Весь дом, все его чудесные, выразительные вещи, которые, опасался он, скоро придется покинуть, этот дом — отныне официальная штаб-квартира Героя, — давно приютивший прошлое, теперь принимал у себя будущее.

* * *

Кавалеру казалось, что его эмигрантский рай рассыпается. В первые месяцы этого года, когда стало ясно, что действия международного альянса против Франции не приносят никаких результатов, Неаполь начал мало-помалу подчиняться воле французов. Самым первым унижением была необходимость принять нового посла — им оказался не кто иной, как месье Тара, человек, зачитавший смертный приговор Людовику XVI. За этим последовало увольнение влиятельного премьер-министра, известного своими антифранцузскими настроениями; его заменил человек, ратовавший за примирение с Францией. Армия Наполеона тем временем беспрепятственно наступала, а молодой английский адмирал бороздил Средиземное море, втуне

надеясь дать бой французам.

Кавалер не поддавался панике: это не в его характере. И все же страшно представить, что будет, если французы начнут продвижение от уже захваченной ими папской столицы вниз по полуострову! Однажды утром он узнал, что враг стоит чуть выше по побережью, за Кампи Флегреи. Оставалось одно — ос жать. Времени у них с женой и у их гостей из Англии (в доме всегда кто-то гостил) было пока достаточно, об этом не стоило беспокоиться. Беспокоился он за сохранность имущества. Ценные вещи очень уязвимы — они могут потеряться, пострадать от грабежа, пожара, наводнения, плохого обращения, от губительных солнечных лучей, по недосмотру слуг, и они беззащитны перед войной (под этим словом Кавалер разумел вандализм, мародерство, конфискацию).

Каждый коллекционер живет в постоянном страхе, понимая свою беззащитность перед превратностями судьбы, которые могут повлечь за собой катастрофу. Поэтому любая коллекция — сама по себе остров — нуждается в островке безопасности. У владельцев грандиозных коллекций часто рождаются грандиозные же идеи по поводу надлежащего хранения и обеспечения

безопасности своих сокровищ. Так, один неутомимый собиратель произведений прикладного искусства из южной Флориды, который ездит за новыми приобретениями на единственном сохранившемся в Соединенных Штатах частном поезде, купил для своего колоссального собрания огромный замок в Генуе; а китайцы-националисты в 1949 году собрали все годные для перевозки шедевры изящного искусства, которые нашлись в тот момент на китайской земле (картины на шелке, статуэтки, нефрит, бронзу, фарфор, каллиграфию), обложили ватой и рисовой травой, перевезли на Тайвань и отправили под землю, в тоннели и пещеры, прорытые под горами недалеко от огромного музея, в котором можно выставить лишь крохотную часть всего собрания. Разумеется, надежным может быть и не столь экзотическое, и не столь похожее на крепость хранилище. Однако собрание, которое хранится в ненадежном месте, является для владельца источником постоянного беспокойства. За спиной удовольствия вечно маячит призрак утраты.

Как знать, может, бежать из Неаполя и не понадобится. Но если все-таки придется, будет не так-то просто упаковать, разложить по сундукам и увезти вещи, копившиеся в течение трех

десятилетий. (Вечный Жид не мог бы коллекционировать что-то существенное, разве что почтовые марки. Великих коллекций, которые можно унести на себе, крайне мало.) Кавалер счел разумным составить список всего, что есть, провести — впервые! — настоящую инвентаризацию.

Едва ли это был первый его список: все коллекционеры — закоренелые составители списков; и наоборот, каждый, кому нравится составлять списки, есть фактический или потенциальный коллекционер.

Коллекционирование — разновидность ненасытного желания, своеобразное донжуанство по отношению к вещам. Словно от каждой новой находки в мозгу образуется нечто вроде опухоли, и коллекционер получает дополнительное удовольствие от пересчета, подведения новых итогов. Масштабность побед могла бы частично лишить неутомимую погоню смысла и остроты — если бы не гроссбух с разложенными по полочкам mille e ire[16] (желателен также доверенный слуга, который обновлял бы записи). Счастливое перелистывание этого гроссбуха служит

[16] Примечания: 16
Тысяча три *(ит.).*

подпиткой для истощающегося желания (этого вечного проклятия атлета от эротики, с которым последний принужден постоянно бороться). Но у человека, посвятившего себя другому спорту, материальным и духовным приобретениям, есть занятие много более вдохновенное — составление списков.

Список — сам по себе коллекция, в высшей ее форме. Человеку не обязательно владеть перечисленными вещами. Знать — значит, владеть (к счастью для тех, у кого нет больших средств). Думая о вещах таким образом, в виде списка, вы тем самым заявляете на них свои права. Это разновидность обладания: вы оцениваете вещи, расставляете их по ранжиру, объявляете достойными того, чтобы помнить о них или желать их.

То, что вам нравится: пять любимых цветков, специй, фильмов, машин, поэм, гостиниц, имен, собак, изобретений, римских императоров, романов, актеров, ресторанов, картин, драгоценных камней, городов, друзей, музеев, теннисистов… всего пять. Или десять… или двадцать… или сто. Какое число ни назови, вы, дойдя до середины, неизменно хотите, чтобы у вас была возможность назвать большее количество любимых вещей. Вы и не подозревали, что вам столько

всего нравится.

То, что вы совершили: партнеры, с которыми переспали, штаты и страны, в которых побывали, дома и квартиры, в которых жили, школы, в которых учились, машины, которыми владели, животные, которых держали, учреждения, где работали, пьесы Шекспира, которые посмотрели…

То, что есть в мире интересного: названия двадцати опер Моцарта или столиц пятидесяти американских штатов или имена королей и королев Англии… Составляя такие списки, вы выражаете желание: желание знать, видеть в определенном порядке, запечатлеть в памяти.

То, что есть у вас: компакт-диски, бутылки вина, первые издания, купленные на аукционе фотографии определенной эпохи, — эти списки лишь придают законную силу вашей страсти к собирательству, если только, как было в случае с Кавалером, собранное вами не подвергается опасности.

Теперь, когда нависла угроза все потерять, он хочет знать, что у него есть. Он хочет обладать этим вечно, пусть в виде списка.

Для Кавалера это — спасательная операция. И он предвкушает ее радостно, несмотря на малоприятный побудительный мотив. Он увидит все,

что собрал, расставит в определенном порядке, оценит каждую из коллекций, поймет, насколько они многообразны, изобильны, великолепны, и, конечно, чего им недостает: это одновременно и удовольствие, и работа, тяжелая работа, перепоручить которую нельзя никому из домочадцев.

Он начал с холла, ведущего к лестнице подвального этажа, и пошел из комнаты в комнату, с этажа на этаж, от воспоминания к воспоминанию (все они были здесь). За ним по пятам шли двое секретарей, Оливер и Смит, которые записывали каждое слово хозяина, Гаэтано с лампой и измерительной лентой и паж с табуретом. Кавалер никогда не видел своего дома в зыбком полумраке, как мог бы его увидеть посторонний — наемный хранитель, мрачный оценщик или грозный посланец иноземного деспота, по приказу господина отбирающий у людей произведения искусства. Увиденное произвело впечатление. Инвентаризация заняла почти неделю — он терял много времени, любуясь, упиваясь каждой вещью. Потом удалился в кабинет и целый день провел за составлением списков. Эти многостраничные записи, сделанные небрежным, но разборчивым почерком Кавалера, два месяца назад помеченные 14 июля 1798 года, были

переплетены в красноватую кожу и убраны в запирающийся ящик письменного стола. Если не считать коллекций вулканических минералов, рыбьих скелетов и других природных редкостей, списки охватывали все: свыше двухсот живописных полотен, в том числе кисти Рафаэля, Тициана, Веронезе, Каналетто, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Шардена, Пуссена; многочисленные работы гуашью, изображавшие извержение Везувия; четырнадцать портретов жены; вазы, статуи, камеи и так далее, вплоть до последнего канделябра, саркофага, агатовой лампы в подвальном хранилище. В список не вошли только те вещи, что могли быть немедленно опознаны как незаконно вывезенные с королевских раскопок.

Таким было настроение лета: Неаполь ждал вторжения французов на нижнюю часть полуострова, а Кавалер, который, к счастью, заранее почувствовал конец своей хорошей жизни (это вам не Помпеи и не Геркуланум), составил список имущества и начал думать о том, как эвакуировать самое ценное.

Но вот, благодаря великой победе несравненного героя над французским флотом, опасность миновала — ясно, что теперь вторжение французов в Италию, начавшееся два года назад, будет

остановлено. Эту победу вместе с днем рождения Героя они и праздновали сегодня вечером. Кавалер уже отдал распоряжение отослать в Англию большую часть упакованного имущества: вторую коллекцию античных ваз, много большую и лучшего качества, по сравнению с той, что была продана британскому музею во время первого отпуска. Вазы были тщательно упакованы слугами и агентами; через несколько дней их уложат в сундуки и погрузят на британский торговый корабль, стоящий в гавани. Глупо отменять эти распоряжения только потому, что угроза французского вторжения (или, того хуже, восстания республиканцев) миновала. Пусть уж вазы отправляются в Англию, на продажу, решил он. Мне нужны деньги. Деньги — вечная забота. Низшая, отправная точка собирательского цикла; ведь коллекционирование — движение по кругу, а не вперед. Самый же сладостный момент — в надире орбиты, когда все продано, и человек получает возможность начать заново, с чистого листа, кавалер утешал себя мыслями о той радости, которую получит от составления новой коллекции ваз, лучшей, чем прежняя.

Он предвкушал, как начнет все заново.

* * *

Кавалер — на причале, следит за погрузкой корзин со своими сокровищами на борт «Колосса». Герой пока в постели — но поправляется. Миссис Кэдоган готовит ему бульон, а жена Кавалера сидит с ним, пока он занят своей корреспонденцией. Он пишет брату (тоже священнику, как и их отец), пишет, чтобы перечислить свои победы и выразить озабоченность — он боится, что его заслуги останутся недооценены. Они должны воздать мне надлежащие почести, несмотря на зависть, пишет он. (За победу на Ниле Герой рассчитывал получить титул виконта.) Письма к Фанни отличаются более откровенной хвастливостью. Так же, как все эти годы жена Кавалера в письмах к Чарльзу бесхитростно пересказывала все комплименты, сказанные в ее адрес, Герой методично передает жене каждое адресованное ему хвалебное слово. Все восхищаются мною. Меня уважают даже французы. Они на удивление похожи, искалеченный герой и роскошная матрона, — в каждом есть что-то детское, то, что чрезвычайно трогает Кавалера.

Люди ходят за мной по улице и выкрикивают мое имя. Герой больше не лежит в постели, и

жена Кавалера сопровождает его во дворец на переговоры с королем и министрами, в гавань, где его присутствие необходимо для улаживания конфликта между английскими матросами и коварными неаполитанцами; я участвую во всех периговорах нашего виликого гостя, пишет она Чарльзу. Она неутомимо поддерживает его во всех делах, живет его интересами. Она подружилась со всеми его подчиненными и взяла на себя труд доводить их нужды до сведения обожаемого, но невнимательного адмирала. Любовь к учебе и нерастраченные материнские чувства заставляли ее помогать молодым гардемаринам писать письма любимым в Англию. Она пыталась обучить Джозию танцевать гавот. Узнав от Джозии, что именно он наложил отчиму спасительный жгут, она наклонилась и поцеловала мальчику руку. Она посылала подарки и поэмы в честь Героя его жене, а получив известие о том, что Герой произведен всего лишь в бароны, низшее дворянское сословие, пусть даже с годовым пенсионом в две тысячи фунтов, незамедлительно кинулась писать Фанни, чтобы выразить возмущение неблагодарностью Адмиралтейства.

Кавалер, со своей стороны, написал в министерство иностранных дел и выразил протест

против выказанного Герою пренебрежения. Для них нет высшего удовольствия, чем быть втроем. Однажды вечером, в Большой гостиной, где висит сорок картин из коллекции Кавалера, происходит обычная домашняя сцена: Кавалер играет на виолончели, его жена поет для Героя. В какой-то момент Кавалер пытается охладить возмущение Героя по поводу нерешительности короля, а жена Кавалера взирает на мужчин, и ее вдруг охватывает невыразимое счастье. Нельзя ожидать, что подобные люди вдруг изменятся, говорит Кавалер. Боже мой, но мы *должны* заставить их понять, какое несчастье их ждет, восклицает Герой, сильно жестикулируя левой рукой, и по мере того, как он впадает в раж, обрубок правой в верхней части пустого рукава тоже начинает дергаться. Она любовно смотрит на Кавалера, выразительно распространяющегося о достойной всякой жалости умственной неполноценности короля. Она пристально смотрит на Героя, и ее жаркий взгляд обволакивает его целительным теплом. Потом все трое гуляют по террасе и смотрят на Везувий, в последнее время непривычно спокойный. Иногда Кавалер идет посередине, а они по бокам, как взрослые дети, которыми вполне могли бы быть. Иногда в

центре она, Герой (меньше ее ростом) слева — ее бока касается горячий обрубок правой руки, — а Кавалер (выше ее) справа. Кавалер продолжает рассказывать Герою о некоторых местных суевериях, касающихся горы.

* * *

Как, собственно, должен выглядеть герой? А король? А записная красавица?

Ни этот герой, ни король, ни красавица не обладают тем, что Рейнольдс назвал бы подобающей внешностью. Герой не похож на героя; король никогда не выглядел и не действовал как настоящий король; красавица, увы, больше не красавица. Попросту говоря: Герой — изувеченный, беззубый, усталый, истощенный маленький человечек; король — немыслимо тучный, покрытый лишаем мужчина с жутким рылом; красавица, отяжелевшая от спиртного, теперь не только высокая, но и весьма крупная женщина, и в тридцать три выглядит далеко не юной. Лишь Кавалер (аристократ, придворный, ученый, изысканный человек) соответствует идеалу: он высок, строен, с тонкими чертами лица, не изменился с возрастом. И хотя он старший среди четырех будущих обитателей вселенной исторической

живописи, однако находится в самой лучшей физической форме.

Для *них* все это, разумеется, не имело значения. Но что интересно: мы, люди столь далекие от того времени, когда на картинах полагалось изображать героев с идеальной внешностью, люди, твердящие о гуманизирующей значимости уродства и физического несовершенства, тем не менее, считаем несуразным и нуждающимся в объяснении тот факт, что увечный мужчина и уже немолодая женщина могут испытывать друг к другу романтические чувства, что они (потеряв голову, говорим мы) способны идеализировать друг друга.

* * *

Их трио воспринималось так естественно. В жизни Кавалера появился новый молодой человек, скорее сын, чем племянник. У его жены появился новый объект для восхищения, равного которому она не испытывала никогда прежде. У Героя появились друзья, каких у него раньше не было; ему льстило восхищение старого элегантного Кавалера, он был ошеломлен добротой и заботливостью его молодой жены. Их объединял не только восторг все сильнее крепнущей друж-

бы, но и то, что они чувствовали себя героями великой исторической драмы — спасали Англию, да и всю Европу, от французского нашествия и республиканизма.

Герой полностью поправился и готовился снова выйти в море. Нужно было разослать депеши и письма: министрам, влиятельным титулованным знакомым в Англию, английским капитанам в Средиземноморье. Нужно было встретиться с неаполитанскими министрами, с королевской четой, с низвергнутым, но по-прежнему влиятельным премьер-министром, известным своими антифранцузскими настроениями. Правительство Бурбонов непрерывно совещалось по поводу того, нужно ли противостоять Франции, при этом Кавалер настаивал на отправке войск в Рим, а Герой, также ратовавший за то, чтобы Неаполь вступил в битву и стал, таким образом, открытым союзником (то есть военной базой) Англии, старался употребить все свое влияние, чтобы добиться одобрения этого решения. Как только согласие на неразумную вылазку было получено, Герою понадобилось продумывать военные маневры, и все это — в каше разнообразных эмоций: патриотизма, чувства собственной значимости, разочарованности, беспокойства и

живейшего презрения к большинству местных актеров, игравших на одной с ним сцене. Так всегда чувствуют себя представители мировой империи, когда, пытаясь внедрить понятия о военных добродетелях и необходимости сопротивления вражеской сверхдержаве, отстаивают свои идеи в удаленной от цивилизации южной сатрапии, где процветают праздность и коррупция.

Командование известило Героя, что его вместе с эскадрой ожидают на Мальте. Он, вернувшись с бесполезного заседания государственного совета, написал графу Сент-Винсенту: жду не дождусь, когда смогу отплыть из страны скрипачей и поэтов, шлюх и разбойников. Но оставлять Кавалера и его супругу не хотелось.

После трех недель в Неаполе, ушедших на выздоровление и прием почестей, в середине октября, через несколько дней после того, как «Колосс» с вазами Кавалера на борту ушел в Англию, Герой отплыл в Мальту с надеждой на новые встречи с врагом. Король, зная, чего от него ждут, — что он примет командование армией и на какое-то время переедет во дворец в самом центре каменного Рима, — отправился в Казерту, чтобы сначала немного поохотиться.

Кавалер тоже поехал в Казерту, предварительно отдав распоряжение упаковывать картины, — на всякий случай. Из огромного дома в Казерте жена Кавалера каждый день писала Герою, как сильно им его недостает. Вечерами, возвращаясь после длинного, насыщенного дня, посвященного созерцанию кровавой требухи, Кавалер добавлял к ее письмам свой постскриптум.

Ежедневное истребление множества животных способствовало укреплению боевого духа короля, и он уже предвкушал, как в красивом мундире будет скакать на коне впереди войска. Королева, которая несмотря на медленное угасание духа до какой-то степени сохранила присущую ей остроту ума, начала сомневаться в разумности похода. Но жена Кавалера — об этом она рассказала Герою в письме — убедила королеву не терять решимости. Нарисовала монархине яркую картину того, что их ждет в случае, если не будет предпринято немедленное наступление: ее саму, супруга и детей отправят на гильотину; а ее память будет покрыта вечным позором за то, что она не бросила всех сил на сохранение своей семьи, своей религии, своей страны от рук узурпаторов, проклятых убийц ее сестры и французской королевской фамилии. Жаль Вы не

могли видить меня, написала жена Кавалера. Я встала протянула вперед руку как это делайте Вы и произнесла привосходную реч и дорогая королева плакала и сказала что я права. Она часто и без всякого стеснения упоминала об его увечье — Герой был не из тех, кто вынуждает делать вид, что вы не замечаете физического дефекта: так, бывает, слепая женщина уверяет, что вы прекрасно выглядите, и расхваливает вашу красную блузку, а однорукий мужчина рассказывает, как бурно аплодировал вчера в опере. В адресованных обоим своим друзьям посланиях, писать которые Герой каждый вечер удалялся в свою каюту, он и сам, бывало, упоминал потерянную руку. Моей корреспонденции хватило бы и на две руки, пишет он. Часто это занятие очень утомляет. Но, помимо величайшего счастья видеть вас воочию, для меня нет другого удовольствия, чем ежедневно писать вам. Он поблагодарил жену Кавалера за то, что она укрепила боевой дух королевы. И еще раз повторил, как сильно скучает по ним обоим, как благодарен за подаренную ему дружбу, благодарен больше, чем может выразить; они осыпали его незаслуженными почестями, — такое впечатление, будто раньше никто никогда не был к нему внимателен, — жизнь с ними, их

трогательная забота испортили его, ему теперь не нужно никакое другое общество, в разлуке с ними мир для него опустел, самая заветная мечта — вернуться к ним и никогда больше не расставаться. Миссис Кэдоган я тоже очень люблю, добавил он.

* * *

Через три недели, снова больной, снова нуждающийся в уходе, Герой вернулся и воссоединился с друзьями в Казерте. Оттуда он и жена Кавалера писали письма (каждый свои) жене Героя. Жена Кавалера рассказывает о состоянии здоровья Героя, посылает поэмы, подарки. Он в еженедельных письмах сообщает жене, что, если не считать ее самой и отца, на всем белом свете у него нет более близких людей, чем Кавалер и его супруга. Здесь, в доме, я как сын. Кавалер так добр, что взял на себя труд наставлять меня по многим интереснейшим научным вопросам, а его супруга делает честь всему своему полу. Ни в одной стране мира не видел я женщины, которая могла бы с нею сравниться.

Прошло еще две недели, и всем было приказано вернуться в Неаполь. Оттуда на север, в Рим, отправлялась армия, состоявшая из тридцати

двух тысяч необученных солдат — под командованием некомпетентного австрийского генерала и номинально возглавляемая королем. Призывником ее был и одноглазый проводник Кавалера, Бартоломео Пумо. Кавалер с женой — на причале, среди ликующей толпы, провожают Героя, который ведет дополнительные четыре тысячи человек на захват нейтрального Леггорна, чтобы прервать сообщение между Римом и французскими войсками, занимающими практически всю северную часть полуострова.

Герой с некоторым беспокойством отметил, что Кавалер довольно слаб, сутулится, жена его очень бледна, но изо всех сил храбрится. Возвращайтесь к нам поскорее, — говорит Кавалер. — С новым лавровым венком, — добавляет его жена.

Несколько часов назад она дала ему письмо, но заставила пообещать, что он не станет его читать, пока не окажется на борту «Вангарда». Герой поцеловал письмо и положил в карман у сердца.

Он распечатал его через несколько секунд после того, как сел в шлюпку, которая должна была доставить его на борт флагмана.

Ее милый почерк! Поток пожеланий безопасного похода, заверения в вечной дружбе, выражения благодарности. Но этого уже мало. Он хочет боль-

шего — чего-то большего. Чтобы она призналась ему в любви? Но о любви она говорит постоянно, о том, как она, она и дорогой Кавалер, его любят. Чего-то большего. Жадно заглатывая слова, зажимая между колен забрызганные морской водой прочитанные листочки, он дошел до последней страницы. Матросы старательно гребли к «Вангарду». Чего-то большего. Ах, вот оно.

Когда будите в Леггорне не сходите на берег. Прастите меня дорогой друг но вам в этом городе делать нечево.

Он вздрогнул. Стало быть, ей рассказали про ту ничего не значившую интрижку, единственную за все годы его брака; он знал, что об этом много болтали. Четыре года назад, еще на «Капитане», во время стоянки в Леггорне он познакомился с очаровательной женщиной, женой морского офицера, холодного, равнодушного человека. Сначала он пожалел ее, потом в нем пробудилось желание, потом показалось, что он влюблен, — это длилось пять недель.

Герой улыбнулся. Любезный друг ревнует. А значит, он — любим.

* * *

Глупцы! Глупцы! То, что и сам он глупец, не приходило Кавалеру в голову. Пусть он первым поверил, что правительство Бурбонов в состоянии создать боеспособную армию и к тому же ею командовать, поверил, что эта армия сможет победить французов, все равно — Кавалер не имел привычки брать вину на себя.

Герой выполнил то, что от него ожидалось, — привел войска в Леггорн и оставался там три дня (храня целомудрие). Но мог ли он подумать, что Франция сдаст Рим неаполитанцам?

Королевство обеих Сицилии, два года назад подписавшее с Францией мирный договор (Фарс! Позор! Бесчестье! — бесновалась королева), официально считалось нейтральным, поэтому король и его советники — хитроумно, как им казалось, — не стали объявлять Франции войну. Этот поход, объявили они, не против Франции. Это всего лишь братская помощь народу Рима, который вот уже девять месяцев страдает под гнетом республиканского правительства, навязанного ему фанатиками-якобинцами, ответ на просьбу восстановить закон и порядок. Французский генерал, занимавший Рим с февраля

(римская республика была провозглашена под его эгидой), спокойно отвел войска на несколько миль от города. Как только неаполитанская армия без единого выстрела взяла Рим, король с величайшей и, по его представлениям, подобающей помпой вступил в город, отправился в свою резиденцию, Палаццо Фарнезе, издал приказ о возвращении изгнанного республиканцами Папы и принялся веселиться. Прошло две недели. Франция объявила войну королевству обеих Сицилии, и французская армия двинулась обратно в город.

Узнав о том, что французы возвращаются, король в тот же вечер сменил королевское платье на одежду простого горожанина, которая, будучи на несколько размеров меньше, плохо прикрывала его тучное тело, и, замаскировавшись таким образом, сбежал домой. Неаполитанская оккупация Рима, эта жалкая комедия, продлилась от силы еще неделю. Герой предсказывал, что, если поход на Рим окажется неудачным, Неаполь можно считать потерянным. Предсказание оказалось верным.

Когда измотанная, изнуренная неаполитанская армия, — вслед за королем, но впереди французов, двигавшихся к югу в надлежащем

порядке, — вернулась домой, Кавалер послал за 11умо. Он беспокоился о своем проводнике. Как подействовали на него тяготы солдатской службы, жив ли он или лежит где-нибудь в канаве с пулей в голове? Кавалеру сообщили, что Толо пока не вернулся. Кавалер не очень расстроился — скорее, не поверил. Мыслимо ли, чтобы Толо, счастливчик Толо, НС сумел избежать этой опасности, как он избегал многих других? Но прочие события развивались в точном соответствии с опасениями Кавалера.

Король ныл, стонал, ругался и крестился. Королева, на которую сильно подействовали неудавшиеся игры в просвещенность, сделалась не менее суеверна, чем супруг. Она писала на клочках бумаги молитвы, глотала их или засовывала за корсет. Она объявляла всем и каждому: только неаполитанская армия могла потерпеть поражение при численном превосходстве шесть к одному, она, королева, всегда знала, что у беспомощных неаполитанцев нет ни единого шанса удержать Рим. Каждое утро на стенах появлялись антироялистские лозунги: французы были на подходе, и в расчете на их покровительство — какое было оказано патриотам Рима, — сторонники якобинцев с радостью заявляли о себе.

Городские бедняки, самые верные подданные короля, замазывали эти лозунги краской и толпились на большой площади перед дворцом, требуя опровергнуть слухи о том, что королевская семья намерена бежать в Палермо. Их совсем не беспокоила судьба королевы-иностранки, но обожаемый король должен остаться, должен пообещать, что останется. Выйди, покажись, король-нищий! И королю с королевой пришлось выйти на балкон, показаться перед этим сбродом, — вот они, вот их король, он остался, он будет сражаться с французами, будет защищать своих подданных, — а королева, невидящим взглядом уставившись на площадь, пыталась отогнать видение гильотины на том месте, где обычно возводилась cuccagna. Спасения можно ждать только от Героя. Он должен немедленно увезти их отсюда. Их жизнь — или смерть — в его руках.

* * *

Королева и слушать бы не пожелала о том, чтобы доверить бриллианты короны, собственные драгоценности и почти семьсот бочек золота (в слитках и монетах, на общую сумму приблизительно в двадцать Миллионов фунтов) кому-либо другому, кроме жены Кавалера. По ночам все

это переправлялось в особняк британского посланника, заново опечатывалось английскими морскими печатями и затем перевозилось в порт на флагманский корабль Героя. И не кто другой, а именно жена Кавалера нашла и исследовала заброшенный подземный ход, ведущий из королевского дворца в маленькую гавань неподалеку; и именно по нему оставшееся движимое королевское имущество — в том числе лучшие картины и ценности из дворцов в Казерте и Неаполе, лучшие экспонаты музея в Портачи, а также королевская одежда и белье в сундуках, корзинах и ящиках, со специальной пометкой королевы на каждом, — было перенесено на спинах английских моряков и сложено в трюмы стоявших в заливе грузовых кораблей.

Жена Кавалера, вихрь энергии и отваги, сновала между королевой и своим домом, где они с матерью руководили разбором одежды, белья и лекарств, — считается, что лишь женщины умеют укладывать такие вещи, — а Кавалер распоряжался упаковкой культурных ценностей: писем и документов, музыкальных инструментов и нот, карт и книг. Слуг, не занятых сборами, посылали ко всем англичанам, живущим в Неаполе, с записками от жены Кавалера, с указанием

собраться и быть готовыми к отъезду на следующий день после получения уведомления.

Кавалер удалился к себе в кабинет. Он читал, стараясь отрешиться от происходящего, — для этого, главным образом, и нужны книги.

Как хорошо, что вазы он отослал уже два месяца назад и большая часть трехсот сорока семи картин уже упакована. Коллекционеры Италии жили в паническом страхе перед ненасытным хищником Наполеоном, который в качестве своеобразного военного налога обязывал побежденные города сдавать картины и другие произведения искусства. Парма и Модена, Милан и Венеция — каждый город обязан был сдать двадцать избранных шедевров; Папе же велели предоставить сто сокровищ Ватикана. Все это предназначалось для «Триумфального шествия произведений науки и искусства, привезенных из Италии» по французской столице, состоявшегося в прошедшем июле, через две недели после того, как Кавалер составил свой список. Тогда длинную процессию бесценных артефактов, в том числе ватиканского «Лаокоона» и четырех бронзовых коней Сан-Марко, торжественно провезли по парижским бульварам, представили на официальной церемонии министру внутренних

дел, а затем отправили в Лувр.

Его картин французы не получат. Но как же коллекция вулканических минералов, статуи, бронза и прочие античные ценности? С собой можно взять лишь малую часть. Как выясняется, быть коллекционером — такая обуза!

Бывало, ему снился пожар, посреди которого он стоял, окаменев, не зная, что делать, не в силах распорядиться слугами, выбрать те немногие из вещей, которые надо спасать. И вот сон об ужасной потере становился явью. Но все же лучше бежать от пожара войны, чем от извержения, когда пришлось бы выскочить на улицу в ночной рубашке, с пустыми руками, или, при попытке вынести что-то из имущества, увидеть, что путь преграждает поток лавы. Как-никак, он многое может увезти. Но не все. А ведь каждая вещь ему так дорога.

* * *

Народ роптал — и Герой почел за благо отвести свои корабли подальше от берега, из зоны поражения неаполитанских пушек. Там они и стояли, качаясь на бурных волнах. Двадцать первого декабря, холодной дождливой ночью, Герой подвел к берегу три барки, высадился, пробрался

во дворец и по тайному подземному ходу вывел короля, королеву, их детей, включая старшего сына с женой, новорожденным младенцем и кормилицей, королевского доктора, королевского капеллана, главного егеря и восемнадцать камергеров и фрейлин к гавани, а потом по зыбким водам изобилующего рифами залива переправил на «Вангард». Для прикрытия побега королевского двора Кавалер с женой и тещей в тот вечер отправились на прием к турецкому послу, откуда позднее потихоньку ускользнули и пешком добрались до порта. Там они взошли на борт своей барки — их встретили возгласы облегчения слуг, которые должны были ехать с ними. Английские секретари Кавалера пребывали почти в таком же возбуждении, какого, казалось, можно было ожидать только от неаполитанцев, а именно, мажордома, двух кухарок, двух конюхов, трех камердинеров и нескольких горничных жены Кавалера. Ее новая любимица, подарок Героя, чернокожая красавица Фатима, — из коптов, трофей Нильского сражения, к которому он не притрагивался, — при виде хозяйки разразилась бурными рыданиями. Следом за их баркой — волнение на море все усиливалось — шла еще одна, с двумя бывшими премьер-министрами коро-

левства обеих Сицилии, австрийским послом, русским послом, их чадами и домочадцами.

Герой рассчитывал отплыть назавтра, рано утром. Вот уже какое-то время трезубец Нептуна впивался ему в обрубок руки, и тот пульсировал от боли — собирался шторм. Но Король не разрешал «Вангарду» поднять якорь, пока из Казерты не доставят семьдесят лучших его гончих и те не будут погружены на один из английских кораблей, давно готовых к отплытию в Палермо. Король, который даже гончих не мог доверить кораблю своего государства, стоял на палубе «Вангарда» и возбужденно говорил с Кавалером о том, как славно они поохотятся на тетеревов на Сицилии, а адмирал Караччьоло тем временем, стараясь пережить унижение, мерил шагами палубу «Санниты». Королевская семья не только сама плыла с британским адмиралом, но и не доверила неаполитанскому флагману ни единой корзинки из своего имущества. Наконец к вечеру следующего дня «Вангард» смог выйти из залива в бушующее море. Он не возглавлял, а замыкал флотилию, включавшую еще два боевых корабля эскадры Героя; «Санниту» и второй неаполитанский боевой корабль, с которых разбежалась практически вся команда и которыми

теперь управляли английские моряки; португальский военный корабль; и торговые судна, где разместились два кардинала, неаполитанская знать, представители английской и французской колоний Неаполя (среди французов было много бежавших от революции аристократов), бесчисленные слуги и большая часть имущества Кавалера и его окружения.

Королева взяла в путешествие множество сундуков, но ни в один не догадалась положить постельное белье. Как только об этом стало известно, жена Кавалера сразу же отдала свое, миссис Кэдоган постелила королю постель, и он лег спать. Жена Кавалера сидела рядом с королевой на складном чемодане, содержавшем шестьдесят тысяч дукатов королевских сбережений, и держала ее за руку. На матрасе в углу каюты лежал самый младший принц, шестилетний Карло Альберто. Он спал очень неспокойно, дышал хрипло, с присвистом втягивая воздух. Перед тем как уйти от королевы жена Кавалера прочистила малышу глаза и вытерла липкий пот с его бледного лица. Остальные королевские дети были наверху — бегали по качким палубам и путались под ногами у матросов, которые сновали по кораблю, спешно подготавливая его к нападе-

нию шторма. Дети были совершенно зачарованы татуировками и незаживающими, покрытыми струпьями язвами на лицах, шеях, бицепсах и плечах моряков.

К утру шторм был в разгаре, и казалось, что с каждым ударом корабль кренится все сильнее. Волны били в корпус. Небо хлестало паруса. Дубовая обшивка трещала и стонала. Матросы проклинали друг друга. Взрослые пассажиры совершали все те, как правило, шумные действия, которые совершают люди, когда думают, что скоро умрут: молились, плакали, острили, сидели неподвижно, сжав зубы. Герой, который клялся, что никогда за время своих морских странствий не видел такого свирепого шторма, оставался на палубе. Жена Кавалера ходила из каюты в каюту с тазами и полотенцами и помогала тем, кто страдал от морской болезни. Кавалер оставался в каюте, отведенной под спальню, и его рвало до тех пор, пока желудок совершенно не опустел. Он попытался глотнуть воды из фляги и удивился, как сильно дрожит рука.

* * *

Для слепого все происходит неожиданно. Для объятого ужасом каждое событие преждевре-

менно.

Вот за вами идут, чтобы отвести на расстрел, на виселицу, на костер, на электрический стул, в газовую камеру. Надо встать — но вы не можете. Тело, скованное страхом, слишком тяжело, неподъемно. Вам бы и хотелось подняться, с достоинством выйти между конвоирами в открытую дверь камеры — но вы не можете. И вас приходится выволакивать.

Или: приближается *неизбежное,* оно нависает над вами, над вами и всеми остальными; воет сирена, или бьют колокола (воздушный налет, ураган, наводнение), а вы прячетесь в похожем на камеру убежище, подальше от опасности и от тех, кому положено иметь дело с чрезвычайными ситуациями. Но становится только хуже — вы загнали себя в ловушку. Бежать некуда; даже если бы и было куда, все равно ваши ноги от страха налились тяжестью, и вы едва в состоянии двигаться. С кровати на стул, со стула на пол вы с трудом перемещаете не свое, а чье-то чужое тело. Вы дрожите от холода или страха и совершенно ничего не можете сделать. Вы лишь пытаетесь унять панику и, впадая в абсолютную неподвижность, убеждаете себя, будто это — единственное, что можно сделать в такой ситуации.

Кавалер не мог бы сказать, что в шторме хуже всего. Может, то, что приходилось сидеть, сжавшись в комок, в полутьме содрогающейся, грохочущей, клацающей каюты, стены которой, смыкаясь, грозили раздавить его? А может, влажная одежда и холод? Было смертельно холодно. А может, шум; треск обшивки — доски ходили ходуном и терлись друг о друга; страшный удар — кажется, рухнула мачта; какие-то взрывы — наверное, разрывает ветром топсели; завывания ветра, какофония людских воплей и выкриков. Или нет — отвратительные запахи. Иллюминаторы и люки задраены. На корабле — немногим шире и в два раза длиннее теннисного корта — свыше шестисот человек команды и примерно пятьдесят пассажиров, при этом всего четыре гальюна, да и теми нельзя пользоваться. Кавалеру хотелось вдыхать острый, бодрящий, свежий воздух. Вместо этого в ноздри било зловоние кишечного содержимого.

Будь он на палубе, он мог бы противостоять стихии, поскольку видел бы все: как вздымается корабль, как его швыряет вперед, как он падает меж двух высоченных стен черной воды. Боялся ли он умереть? Такой смертью — да. Лучше уж выйти на палубу — если только дрожащие

ноги одолеют скользкий переход. Он вышел из каюты поискать жену и побрел по узкому кренящемуся коридору, шлепая ногами в холодной морской воде, в экскрементах и рвотных массах, на несколько дюймов поднимавшихся над полом, потом повернул направо. Но тут у него погасла свеча. Он испугался, что потеряется. Он мысленно умолял свою Ариадну прийти и снасти его — протянуть нить. Но он не был Тезеем, нет, он был Минотавром, запертым в лабиринте. Не герой, но чудовище.

Хватаясь, чтобы не терять равновесия, за неприятно-скользкие стены и грубые веревочные поручни, он вернулся в крошечную каюту. Свеча в фонаре еще горела. Он захлопнул дверь, и в этот момент корабль вдруг повалился вниз. Кавалера отбросило к стене. Он соскользнул на пол и схватился за раму кровати, потом прислонился к ней, задыхаясь от испуга, от острой боли в ребре. Фонарь замигал. Кавалера швыряло из стороны в сторону. Мебель была привинчена к полу, а он не был. Он закрыл глаза.

Как там говорила гадалка? Дыши.

Рецепт: если вам грустно или одиноко и рядом никого нет, призовите духов. Кавалер открыл глаза. Рядом сидела Эфросинья Пумо. Она сочув-

ственно кивала. И Толо тоже был здесь, значит, неправда, что при отступлении из Рима его убил французский солдат. Толо держал Кавалера за лодыжки, помогая сохранять равновесие, не падать. Эфросинья гладила его по лбу.

Не бойтесь, мой господин.

Я и не боюсь, подумал он. Я унижен.

Он не видел гадалку много лет. Она, должно быть, совсем старая, а выглядит моложе, чем в тот первый, давний визит. Это удивило его. И Толо тоже молодой — не тот бородатый, загорелый мужчина с полузатянувшимся глазом, который на протяжении двадцати лет ходил с ним в гору (постепенно теряя проворство — да, и он тоже), а снова изящный, ранимый мальчик с открытым молочно-белым глазом.

Я умру, — пробормотал Кавалер.

Гадалка помотала головой.

Но ведь корабль перевернется.

Эфросинья сказала господину срок… У вас еще четыре года.

Всего четыре, подумал он. Это же так мало! Но он понимал, что должен радоваться.

Я не хочу умереть вот так, — сказал он мрачно.

И тут заметил — как же не увидел раньше? — что Эфросинья держит в руках колоду карт.

Позвольте показать вашу судьбу, мой господин.

Но он едва может разглядеть выбранную карту. Он видит одно — на ней изображен человек вверх ногами. Это я, подумал он. Корабль так скачет, уже давно кажется, что я вверх ногами.

Да, это Его превосходительство. Посмотрите, как безучастно лицо Повешенного. Да, мой господин, это вы.

Кавалер — человек, подвешенный к виселице за правую лодыжку, со связанными за спиной руками?

Да, определенно, это Его превосходительство. Вы бросились в пропасть головой вниз, но вы спокойны…

Я не спокоен!

Вы сохраняете веру…

Нет у меня никакой веры!

Он внимательно изучил карту. Но ведь она означает, что я должен умереть.

Нет, это не так. Гадалка вздохнула. Эта карта значит не то, что вы думаете. Взгляните на нее беспристрастно, мой господин. Она безрадостно засмеялась. Вас не только не повесят, мой господин, но, обещаю, вы проживете достаточно долго для того, чтобы успеть повесить других.

Но он не желал ничего слушать про карты. Он хотел, чтобы Эфросинья отвлекла его, превратила шторм в картинку на стене, сделала темные стены белыми, расширила пространство, подняла потолок.

Волны в очередной раз тяжело ударили о борт корабля, и с палубы донеслись грохот и крики. Еще одна мачта упала? Корабль накренился сильнее. Все, он опрокинется, это ясно! Толо! Скоро вместо воздуха здесь будет вода! Толо!

Мальчик сидел рядом, массировал Кавалеру ногу.

Я не могу успокоиться, — пожаловался Кавалер.

Возьмите пистолет, милорд, вы почувствуете себя лучше. Голос Толо. Совет мужчины.

Пистолет?

Толо принес дорожный чемоданчик, где лежали два пистолета, которые Кавалер всегда возил с собой. Эфросинья тем временем отирала пот с его лба. Он вытащил пистолеты. И закрыл глаза.

Вам лучше? Не так страшно?

Да.

В таком виде, с пистолетами в руках и совершенно неподвижного, помощники оставили Кавалера одного превозмогать удары стихии.

* * *

Жена Кавалера вышла из каюты австрийского посла, князя Эстерхази, которого страшно рвало и который неустанно молился, и вдруг с ужасом поняла, что уже несколько часов не видела мужа. И побежала по дыбящемуся коридору в свою каюту.

Какое облегчение она испытала, когда распахнула дверь и увидела, что он сидит на сундуке, и как испугалась, когда поняла, что в каждой руке он держит по пистолету.

Ой! Что это?

Буль-буль-буль, — ответил он бесцветным замогильным голосом.

Что?

Так булькает в горле соленая вода! — выкрикнул он.

В горле?

В горле! И на всем корабле! Как только я пойму, что корабль тонет, — он потряс пистолетами, — я застрелюсь.

Держась за содрогающуюся дверную раму, она смотрела в упор на мужа до тех пор, пока тот не отвел глаза и не перестал размахивать пистолетами.

Буль-буль, — пробурчал он.

Ее окатила волна жалости, сострадание к его страху и отчаянию. Губы у него будто распухли. Но она не бросилась успокаивать его, как успокаивала многих других пассажиров корабля. Впервые она не принадлежала ему. Иначе говоря, она впервые пожалела, что он таков, каков есть — несчастный пожилой человек, ослабленный рвотой, оскорбленный дурным запахом, неприятной близостью скопища людей, отсутствием декорума.

Корабль не потонет, — сказала она. — Ведь у руля наш прославленный друг.

Посиди со мной, — попросил Кавалер.

Я вернусь через час. Королева…

У тебя все платье запачкано.

Самое большее через час я вернусь. Обещаю!

Она выполнила обещание, и тем же вечером — это был сочельник — ветер стих. Жена уговорила Кавалера выйти на палубу и полюбоваться чудесным видом: вулканами Липарских островов, Стромболи и Вулькано, выбрасывающими в небо огненные фонтаны. Супруги стояли рядом. Ветер награждал их мокрыми, солеными пощечинами, вулканическое пламя озаряло усеянный звездами небосвод.

Видите, видите, — пробормотала она и обняла мужа одной рукой. Потом отвела его обратно в каюту, где до сих пор ощущалось присутствие Толо и Эфросиньи.

Она уложила Кавалера спать, а сама решила не ложиться, ее помощь может еще кому-то понадобиться. На заре она вернулась в каюту, разбудила мужа и вывела его на заваленную обломками палубу. Море совершенно успокоилось, красный шар восходящего солнца подсвечивал розовым раздутые паруса, а призраки тех, кто приходил утешать Кавалера, постепенно рассеивались. Жена показала записку, которую получила в четыре утра, когда в каюте королевы убаюкивала беспокойного, вырывающегося Карло Альберто. Записка была адресована ей. Герой просил Кавалера, ее светлость и миссис Кэдоган почтить своим присутствием рождественский ужин, который состоится сегодня в полдень в адмиральской каюте. Какое чудесное утро, сказала она.

В середине обеда, за которым измотанный до предела Герой не ел ничего, страдающий от тошноты Кавалер пытался съесть хоть что-то, а обе женщины (миссис Кэдоган спала всего час) ели с большим аппетитом, кто-то постучал, потом заколотил, потом забарабанил в дверь. Оказа-

лось, это одна из горничных королевы: задыхаясь от рыданий, она стала умолять жену Кавалера поскорее прийти в каюту своей госпожи. Миссис Кэдоган извинилась и ушла следом за дочерью. Королеву и доктора они застали склонившимися над постелью принца. Взгляните, закричала королева. Il meurt![17] Глаза мальчика закатились, тело извивалось в судорогах, дрожащие пальчики сжимались в кулачки, большими пальцами внутрь. Жена Кавалера обхватила ребенка и поцеловала в холодный лобик.

Конвульсии — обычное проявление страха, — сказал доктор. — Когда юный принц придет в себя и поймет, что шторм прекратился…

Нет, — закричала жена Кавалера. — Нет!

Пока королева кляла судьбу, жена Кавалера укачивала коченеющее тельце, а миссис Кэдоган, просунув между зубов мальчика полотенце, утирала пену с его рта. Раздались крики матросов: показался Палермо. Палермо! Промежутки между судорогами стали короче, жена Кавалера крепче прижала ребенка к груди, она баюкала его, дышала вместе с ним, будто это могло помочь ему дышать, напевала английские псалмы из

---

[17] Примечания: 17
Он умирает *(фр.)*.

своего детства. Он умер вечером у нее на руках.

Вскоре после полуночи «Вангард» бросил якорь, а час спустя обезумевшая, рыдающая королева с двумя дочерьми и несколькими слугами погрузились в небольшую шлюпку. Король отказывался покидать корабль, пока сицилийские подданные не организуют для него на этой великолепной марине торжественную встречу с надлежащими почестями; он еще никогда не бывал во второй столице своего государства.

Жена Кавалера хотела бы сопровождать королеву, но ее беспокоило, что Герою, скорее всего, утром потребуются услуги переводчицы.

Силы ее были исчерпаны. Теперь можно и поспать.

На следующий день, ближе к полудню, под громогласные крики охваченной жадным любопытством толпы, под оглушительные пушечные залпы, король сошел на берег. Адмирал, стоя рядом с двумя своими друзьями, угрюмо наблюдал за этим со шканцев. Он был в плохом настроении. Конечно, люди, вверившие себя его попечению (не считая несчастного принца), живы и здоровы, но победным переход не назовешь. Прочие боевые, а также двадцать торговых кораблей, вышедших из Неаполя, — на которых в нечелове-

ческих условиях, зато без происшествий плыло около двух тысяч беженцев, любимых слуг и гончих короля, горничных королевы — были уже на месте. Отчего-то шторм подстерег только его корабль, флагманский. Теперь три топселя порваны, грот-мачта и такелаж повреждены. И сам он тоже чувствовал себя избитым. Наверно, просто очень устал. Жена Кавалера, напротив, была бодра, очень довольна своим поведением в чрезвычайных обстоятельствах, — умница, она заботилась только о других, — и получала истинное удовольствие от спектакля, который разворачивался у нее на глазах. Как это мило: народ приветствует своего короля! Пережитое было для нее лишь захватывающим приключением. Ею овладело какое-то легкомыслие, и было жалко, что нельзя остаться на корабле еще немного. Кавалер стоял между ними — потустороннее трио, частью которого он был во время шторма, сменилось реальным: он, его жена и их друг. Немного кружилась голова, он испытывал облегчение от того, что его больше не тошнит, и с нетерпением ждал момента, когда сможет вновь ступить на твердую землю. Они поздравляли друг друга со счастливым избавлением.

5

Еще один шторм.

Неповоротливое грузовое судно «Колосс», в октябре покинувшее Неаполь с двумя тысячами редких античных ваз в трюме, пробороздило воды Средиземного моря, хладнокровно избегая кораблей воюющих держав, вышло через Гибралтарский пролив в океан, обогнуло Иберийский полуостров, прошло вдоль французского побережья и, прижимаясь к западной оконечности Европы, взяло прямой курс на Англию. В самом конце двухмесячного путешествия, недалеко от островов Силли, попав в безжалостный хаос шторма, «Колосс» дрогнул, накренился, черпнул воды, дал течь и через какое-то время затонул. Этого времени хватило на то, чтобы спасти команду, и даже на то, чтобы перетащить в спасательную шлюпку ящик, в котором, как полагали матросы, хранились сокровища, — но не сокровища Кавалера. Над истинным сокровищем, над второй, лучшей, любовно собранной Кавалером коллекцией ваз, сомкнулись мутные морские воды.

Вода. Огонь. Земля. Воздух. Четыре разновид-

ности бедствий. Имущество, погибшее в огне, исчезает. Оно превращается в… воздух. Имущество, погибшее во враждебной огню стихии, воде, не исчезает, но может попортиться (или, если это, скажем, бумага, то набухнуть и сгнить). Оно продолжает существовать, пусть даже в нетронутом виде — но оно затоплено, секвестровано, недосягаемо. Оно где-то там, незаметно разрушается, в нем поселяются морские существа, течения бесцельно перемещают его с места на место, оно то поднимается над придонным илом, то вновь увязает в нем, — участь менее счастливая, чем если бы оно лежало под землей; морское дно дальше, глубже, недоступнее. То, что погребено под землей, не так трудно извлечь на свет божий, возможно даже, что именно под землей оно лучше сохраняется. Вспомните города, похороненные Везувием. Но под водой…

Кавалер, одолевший *свой* шторм, пока не знал, что его вазы лежали на дне морском уже тогда, когда до побега из Неаполя оставалось несколько недель. «Вангард» сумел добраться до Палермо. И облегчение от того, что, как их ни трепало штормом, он все-таки выдержал унизительный морской переход, заглушило в Кавалере тоску, вызванную поспешностью отъезда, из-за кото-

рой он, помимо картин, смог взять с собой лишь малое количество избранных, самых любимых вещей. Он старался не вспоминать обо всем том, что осталось в его роскошных особняках без присмотра, доступное лапам грабителей. Он думал о лошадях, о семи красивых каретах, о Катерининном спинете, клавесине и рояле.

Но никто ведь не сказал, что ему никогда больше не увидеть покинутого добра. Никогда не принимать гостей на вилле около Везувия. Никогда не выезжать на рассвете верхом из дома в Казерте навстречу крикам загонщиков и лаю гончих. Никогда не смотреть со скалы в Посиллипо на купающуюся в озере красавицу. Никогда не стоять у окна обсерватории, наслаждаясь грандиозным видом на залив и милую его сердцу гору. Никогда. Никогда. Но, может быть?... Нет. Никогда. Как любой теоретик, Кавалер не был готов к столкновению с реальностью.

* * *

Итак, совсем недолго, временно, им придется жить в Палермо: на юге юга.

В каждой культуре есть свои южане — люди, которые стремятся поменьше работать и побольше танцевать, пить, петь, драться, убивать

неверных супругов; люди, у которых чрезмерно оживленная жестикуляция, блестящие глаза, яркие одежды, причудливо украшенные средства передвижения, удивительное чувство ритма и — обаяние, обаяние, обаяние. Они не амбициозны, нет, они ленивы, невежественны, суеверны, открыты, ничего не делают вовремя, они заметно беднее (что же тут удивительного, говорят северяне); эти люди, которые, вопреки нищете и убогости, живут столь завидной жизнью — завидной для замученных работой, сдержанных и не обремененных столь коррумпированным правительством северян. Мы выше их, говорят северяне, определенно выше. Мы не увиливаем от работы, как они, не лжем по любому поводу, много трудимся, пунктуальны, нашим бухгалтерским отчетам можно верить. Но им веселее живется. Свой юг есть во всех странах, в том числе южных: за экватором он лежит к северу. У Ханоя есть Сайгон, у Сан-Паулу — Рио, у Дели — Калькутта, у Рима — Неаполь, а у Неаполя (для тех, кто находится наверху полуострова, свисающего с брюха Европы, это практически Африка) есть Палермо — раскинувшаяся полумесяцем, жаркая, дикая, лживая, живописная вторая столица королевства обеих Сицилии.

Они приехали сразу после Рождества. На пальмы Палермо, словно специально для того, чтобы разрушить стереотип, падал снег. Половину января они прожили в нескольких огромных неуютных комнатах на вилле, где почти не было мебели и полностью отсутствовали камины; южный город никогда не бывает готов к морозам. Герой не отходил от письменного стола, строчил гневные депеши. Закутанный в одеяла Кавалер дрожал от холода, грустил и страдал тяжелейшей диареей. И только его жена, которая не выносила безделья, часто уходила из дома, главным образом для того, чтобы побыть с королевой, надзиравшей за обустройством своего большого семейства в королевском дворце. По вечерам она рассказывала мужу и Герою о неряшливости местных слуг, о вполне понятной подавленности королевы и о ренегатстве короля, который без устали посещал маскарады, театры и прочие увеселительные заведения своей второй столицы.

Погода погодой, а Кавалер, его жена и их друг знали, что заехали далеко *на юг,* а следовательно, находятся теперь среди совсем уже ненадежных людей, среди мошенников и лгунов, чудовищно странных, чудовищно примитивных. Из этого естественным образом вытекала мысль о том,

насколько важно сохранить привычный образ жизни. Они, люди, осознающие свою принадлежность к другой, более высокой культуре, предостерегали себя: нельзя распускаться, нельзя опуститься до уровня… джунглей, улицы, леса, болота, гор, пустыни (нужное подчеркнуть). Иначе и мы начнем танцевать на столе, размахивая опахалами, засыпать над книгой, заниматься любовью, когда вздумается, у нас разовьется чувство ритма, а тогда — сами понимаете… Пиши пропало.

* * *

Потеплело к середине месяца, как раз когда Кавалер неохотно согласился расстаться с непомерной суммой, которую запрашивали за аренду дворца у Мола. Дворец принадлежал благородному сицилийскому семейству, славившемуся — даже по местным меркам — своей эксцентричностью. Вообразите себе князя, на чьем гербе красуется сатир, держащий зеркало перед женщиной с лошадиной головой! Но дворец, стены которого были затянуты цветным шелком и увешаны портретами суровых предков, мог похвастаться чудесным расположением и превосходной меблировкой и как временное

пристанище вполне подходил для британского посольства. К несчастью, сделать дворец своим домом, то есть музеем своих увлечений, Кавалер никак не мог: стены здания пропитывала чужая, тяжелая, мрачная история. Прошло уже несколько недель с тех пор, как они въехали, а большая часть вывезенных из Неаполя вещей оставалась нераспакованной.

Здесь, во внезапном и неприятно дорогостоящем изгнании, они, как никогда прежде, едины: большая женщина и маленький мужчина, переполняемые чувствами друг к другу, и страстно любящий обоих, оживающий в их обществе высокий худой старик. И, хотя временами Кавалер радуется, когда жена и друг куда-нибудь уходят — их оживленность утомляет его, — но если их нет дольше трех-четырех часов, он начинает скучать. При этом он определенно желал бы, чтобы за столом не собиралось всякий раз столько гостей. Каждый вечер изрядное число тех, кто прежде составлял английскую колонию Неаполя, а теперь делил судьбу изгнанников, тем или иным путем попадало в дом Кавалера. Непредвиденно обильные ужины на двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят персон заканчивались, лишь когда жена Кавалера поднималась из-за стола, или падала,

или становилась на колени — ей не нужны были просьбы, чтобы перейти к Позициям, — или шла к роялю, чтобы сыграть и спеть; она уже выучила несколько красивых, печальных сицилийских песен. Кавалеру эти вечера казались невыносимо долгими. Однако он не чувствовал себя вправе отказывать в гостеприимстве соотечественникам: ни у кого из них не было такого хорошего жилища. Во всему Палермо имелась только одна (ныне переполненная) гостиница, которая отвечала требованиям англичан, да и там комнаты от наплыва гостей-пленников подорожали вдвое или втрое. Соотечественники испытывали такие неудобства, что у Кавалера непроизвольно возникало желание обеспечить им привычный комфорт, дать возможность ненадолго покинуть временные дома. Пусть они, приехав в наемном экипаже, за проезд в котором с них запросили непомерно много, войдут в ярко освещенную резиденцию британского посланника и подумают: вот как живем *мы.* Вот на что *мы* имеем право. На эту роскошь, на это сумасбродство, на эту утонченность, на этот богатый стол, на эту обязанность приятно проводить время.

После ужина и представления, устраиваемого женой Кавалера, гости обычно плавно переме-

щались за карточные столы. Играли допоздна, обмениваясь последними сплетнями и снисходительными замечаниями о развращенности здешних нравов. Изгнанники пересказывали друг другу старые истории и делали вид, что не придают большого значения неудобствам теперешнего положения. Они старались создать друг у друга впечатление, что ничто не может повлиять на их способность получать удовольствие от жизни — как и на самые удовольствия. Жалобы, горестные жалобы, приберегались для писем, особенно писем в Англию, к друзьям и родственникам. Но ведь затем и письма: в них следует рассказывать о чем-то новом, и рассказывать выразительно. Общество же — для того, чтобы лениво изрекать старое — предсказуемое, прописное — такое, что не может смутить слушателя. (Одни дикари лепят наобум все, что думают.) А в письмах вы говорите: надо признаться, буду откровенен, должен сказать. Письма идут долго, и это питает надежды адресата на то, что за прошедшее время дела отправителя успели поправиться.

Некоторые хлопотали о возвращении в Англию. Ибо новости не радовали, — то есть были именно такими, каких и ждали беженцы. Французы через

две недели после побега правительства из Неаполя ввели в город шесть тысяч солдат, а к концу января клика просвещенных аристократов и ученых породила чудовище, назвавшее себя Партенопейской, или Везувианской, республикой.

Большинство изгнанников склонялось к мнению, что Неаполь следует считать потерянным навсегда. Иностранец, которому посчастливилось жить хорошей жизнью в бедной стране, жизнью *до революции,* очень быстро, едва утеряв свои привилегии, и с редкой прозорливостью, понимает, какие ужаснейшие последствия для всей страны будет иметь революция. Даже Кавалер начал — без всякого удовольствия — подумывать об отставке и отъезде в Англию. Но пока он не мог найти предлога уехать из Палермо. Еще не время. Их блистательный друг, от которого зависит их общая судьба, не говорит ни на одном иностранном языке и уж тем более неспособен уловить скрытый смысл языка придворного — это под силу лишь профессиональному дипломату. Пока судьба страны неясна и может пойти как по одному, так и по другому пути, оставлять короля с королевой нельзя ни в коем случае. Он беседовал с королем, но тот (Кавалер сообщил об этом с большей досадой, чем намеревался) впал

в невыразимую тоску — что случалось всякий раз, когда свежие новости из Неаполя заставляли забывать о том, как ему хорошо в Палермо.

Действительно, король впадал в ярость всякий раз, когда вспоминал, что об удовольствиях следует забыть. Если бы Неаполь сохранял нейтралитет, ничего бы такого не было, — орал он на свою жену. Это все она виновата, это все из-за ее любви к англичанам (то есть к жене Кавалера). Королева выслушивала тирады короля молча. Красноречивое молчание женщины, понимавшей, что она, хоть и умнее мужа, тем не менее, всего лишь жена, послушная его капризам. Она — несмотря на несокрушимое недоверие к народу, со всей его хваленой преданностью королевской династии и церкви — была убеждена, что и французская оккупация, и эта непонятная республика, которая появилась на свет под защитой и при финансовой поддержке Франции, долго длиться не может. Неаполитанцы убивали французских солдат, имевших глупость гулять по темным закоулкам города. Двоих солдат убили в публичном доме какие-то посетители из местных, и двенадцать было зарублено при налете на одну из французских казарм. А потом, сказала королева жене Кавалера, у нас есть еще союзник — си-

филис. Эта страшная по тем временам болезнь, часто смертельная или быстро делавшая человека инвалидом, которую итальянцы называли французской болезнью, а французы — le mal de Naples, была вполне способна унести по меньшей мере тысячу человек.

В доме Кавалера основное внимание уделялось не занятиям хозяина, а деятельности Героя. Капитаны других кораблей собирались к нему на совещания. Нужно было продумать план обороны Сицилии — на случай, если Наполеон предпримет попытку вторгнуться на остров. Кардинал Руффо, вместе со всеми оказавшийся в Палермо, добровольно вызвался вернуться в Неаполь и возглавить организованное вооруженное сопротивление французской оккупации. Он предполагал тайно высадиться на берег родной Калабрии, где ему принадлежало несколько огромных поместий, и из своих крестьян составить армию — кардинал сказал королеве, что, посулив освободить их от налогов и предоставить право беспрепятственного грабежа после того, как Неаполь будет отвоеван, рассчитывает набрать от пятнадцати до двадцати тысяч человек. Идею Руффо королева поддержала, несмотря на то, что за единственным исключением не

доверяла своим подданным. Она больше полагалась на блокаду Неаполя англичанами, которая неизбежно принудит и без того ослабленные войска французов отступить. А как только они уйдут, республиканцы окажутся беззащитны пред праведным гневом народа. Хвала Господу, — королева перекрестилась, — народу будет куда выплеснуть злость.

До сих пор французы не делали попыток продвинуться на юг дальше Неаполя; маловероятно, чтобы в их планы входило пересечь Мессинский пролив. И все же в Палермо поселился страх перед революцией. Революционных речей слышно пока не было, но в город пришла мода на внешность попутчика революции: более короткие волосы у женщин, более длинные — у мужчин. А взгляните, как изменился способ укладки волос у образованного класса! Король издал указ: отказывать в абонементе всякому, кто появится в оперной или театральной ложе и ненапудренном парике. Мужчин, отрастивших волосы ниже ушей, следовало хватать и брить; тех же из них, кто писал статьи или книги, сажать в тюрьму и обыскивать их жилища с целью обнаружения других доказательств революционных симпатий. Одним из таких доказательств были книги Воль-

тера, чьи работы — с 1791 года, когда его прах с пышной, достойной божества торжественностью перенесли в Пантеон, — являлись теперь синонимом якобинства.

Как странно: книга Вольтера может обеспечить смиренному читателю три года тюрьмы. Что за невежа этот безграмотный король! Кавалер в уединенной тиши своего кабинета по-прежнему восхищался мудрецом из Ферне, который, безусловно, оскорбился бы, узнав, что стал святым покровителем Революции и Террора. Можно ли было предвидеть, что восхитительную пародию Вольтера на якобы прогрессивные идеи своего времени современные читатели расценят как призыв к разрушению законно существующего строя, и все это — в интересах порядка и стабильности? Кто, кроме наивных и невежественных, мог всерьез полагать: то, что хорошо в книге, будет хорошо и в жизни? (Разве увлечение артефактами Древнего Рима заставляло его молиться Юпитеру и Минерве?) Увы, именно этим грешили некоторые из его вполне достойных неаполитанских знакомых. Кавалер опасался, что им придется дорого поплатиться за свое простодушие.

Нет, чтение есть вылазка в *другой,* чуждый

читателю мир, откуда он возвращается обновленным, готовым достойно сносить несправедливость и несовершенство *своего* мира. Чтение есть удовольствие, бальзам — но не руководство к действию. Именно чтением Кавалер главным образом и занимался в те первые недели, пока был нездоров. В частности, перечитал эссе Вольтера о счастье. Для него это стало лучшим способом свыкнуться с чужеродностью ссылки: перенестись в чужеродность книги. Окрепнув, он со временем нашел в себе силы примириться с действительностью.

Диарея и ревматизм по-прежнему не давали ему присоединиться к королю, уехавшему на охоту в одну из загородных резиденций. Впрочем, кисло-сладкое очарование Палермо начало исподволь придавать Кавалеру сил. Рыжевато-коричневые дворцы у гавани фантастических смешанных стилей (византийско-мавританского, мавританско-нормандского, нормандо-готического, готико-барочного). Неясные очертания розоватой известняковой горы Пеллегрино: в конце каждой улицы видны либо горы, либо море. Сады из олеандра, плюща, агавы, юкки, бамбуковых, банановых, перечных деревьев. Палермо, признал Кавалер, тоже имеет право

называться красивым городом, по-своему не менее красивым, чем Неаполь, хотя здесь, конечно, так не хватает вулкана, курящегося в отдалении под ослепительно голубым, безоблачным небом. (Ах, будь он хоть чуточку моложе! Он мог бы подумать о восхождении на Этну, на которой был всего раз, и то много лет назад.) В нем снова проснулась тяга к прекрасному — а с ней и старые привычки, привычки собирателя прекрасного. Его, одного из самых известных людей в стране, знакомого, хотя бы по переписке, со всеми достойными и учеными мужами города, завалили предложениями посетить, осмотреть, приобрести. Коллекционеры надеялись возбудить его заиметь. Антиквары выставляли перед ним свои сокровища. Он смотрел, снисходительно соглашался смотреть, чувствовал мимолетное прикосновение желания. И ничего не покупал. Не только из-за беспокойства за свои финансы, нет. Он не видел ничего неотразимого, ничего такого, чем непременно хотелось бы обладать.

* * *

Коллекционер — придирчивый скептик. Его сила кроется в умении сказать: нет, это не то. И хотя в душе каждого коллекционера сидит вуль-

гарный накопитель, его алчность обязана быть уравновешена способностью ей противостоять.

Спасибо, нет. Изумительно, но не совсем то, что нужно. Почти, но не совсем. На горлышке вазы едва заметная трещина, картина не столь хороша, как другая работа того же автора на ту же тему. Мне нужна более ранняя работа. Нужен совершенный экземпляр.

Душа влюбленного — полная противоположность душе коллекционера. Дефект, трещина — часть очарования. Влюбленный не бывает скептиком.

Взять хотя бы трио. Старший — великий коллекционер. Он на закате жизни стал влюбленным, и его тяга к коллекционированию начала угасать. Попав в силки обстоятельств, он выпустил сокровища из-под опеки: некоторые бросил, другие отослал в далекое путешествие (и обрек их на участь, в глазах любого коллекционера совершенно чудовищную), остаток запаковал; он живет теперь без коллекции, он лишен комфорта и покоя, даруемого красивыми вещами, достоинство которых, в частности, заключалось в том, что они принадлежали *ему*. И, самое страшное, он не испытывает желания начать собирать что-то новое.

Двое других — люди, которые больше всего любят то, что их украшает, подчеркивает их статус. Символы того, чего удалось достичь, того, что для них важно, того, как их любят окружающие. Он собирает, точнее, копит медали; она — то, что делает ее красивее и возвещает о ее любви к нему. Кавалер, с его удивительно тонким пониманием вещей — где им лучше дышится, с какой неизбежностью они занимают все предоставленное им пространство, — ощущает в княжеском дворце чрезмерно сильное присутствие личности хозяина и не решается разместить в стенах временного жилища свои сокровища. А супруга, с его согласия, мгновенно заполонила новый дом портретами Героя, флагами, трофеями, фарфором, кружками, стеклом, изготовленными в честь Нильского сражения, создав таким образом еще один музей славы Победителя. И всего этого ей кажется мало.

Отношение к объектам страсти у влюбленного и у коллекционера различно. Коллекционер стремится стушеваться, держаться в тени, скрывает свою страсть. Не смотрите на меня, словно бы говорит он. Я — ничто. Посмотрите лучше, что у меня есть. Разве это — разве они — не прекрасны…

В мире коллекционера все говорит о существовании угнетающе огромного числа иных миров, сил, царств, эпох, помимо той, в которой он живет. Крохотный отрезок исторического существования коллекционера растворяется в его коллекции. А для влюбленного в его отношении к предмету влечения растворяется все, кроме мира любви. Этот мир. Мой мир. Моя красота, моя победа, моя слава.

* * *

Сначала он притворялся, что не замечает, как она, не отрываясь, смотрит на него, потом и сам стал смотреть. Эти долгие взгляды — как глубокие вздохи, передаваемые от одного другому.

Несмотря на готовность отдаться во власть сильных эмоций, которая так отличала их от Кавалера и делала такими похожими друг на друга, они не понимали своих чувств и не жали, как с ними поступить. Кавалер, не знавший страсти до встречи с молодой женщиной, ставшей его второй женой, сумел разобраться в своих чувствах очень быстро. Но Кавалер не нуждался ни в чьем понимании. А Герой жаждал именно понимания: чтобы его восхваляли, жалели, подбадривали. Кроме того, Герой — романтик: его тщеславие

столь же сильно, сколь и непомерная застенчивость в том, что касается нежных чувств. Он так гордился дружбой Кавалера, дружбой, а затем и любовью (он осмеливался называть это любовью) его жены. Раз меня любят такие люди, значит, я действительно чего-то стою. Они вскружили ему голову оба, и ему не хочется знать, что скрывается за тем удивительным подъемом чувств, который он испытывает в их обществе.

Жена Кавалера понимает, какое чувство испытывает, однако впервые в жизни не знает, что с этим делать. Она не может не флиртовать — это такая же часть ее натуры, как и дар хранить верность. Верность — одна из тех добродетелей, которые даются ей безо всяких усилий, хотя нельзя сказать, чтобы она не желала эти усилия прилагать: ведь она человек героического склада. Оба они боятся обидеть, унизить, причинить боль Кавалеру. Боятся разрушить идеальное, нежно лелеемое представление о самих себе. Герой — человек чести. Жена Кавалера — переродившаяся куртизанка, оставившая тою былую сущность в прошлой жизни, чем и гарантирована ее искренняя преданность и безмятежная верность мужу. Герой хотел оставаться таким, каким был всегда. Она хотела оставаться такой, какой она — так

блистательно — стала.

Все считали их любовниками. В действительности они еще ни разу не поцеловались.

Словно по обоюдному соглашению, они пытались истощить влечение друг к другу публичным и абсолютно искренним взаимным восхвалением. Так, на приеме у русского посла она наклонилась и поцеловала его медали. Герой даже не покраснел. Он в свою очередь не уставал рассказывать всякому новому человеку о *ее* героических свершениях — то, что остальные уже столько раз слышали. Обо всем, что она сделала для него, для британской короны. О ее храбрости во время шторма при переходе из Неаполя, — за все путешествие она ни разу не прилегла, — и о беззаветном служении королевской чете: она стала их рабыней, говорил он. И, произнося слово «рабыня», испытывал дрожь, происхождения которой не понимал. Он повторял снова: — Она стала их рабыней.

Святая Эмма, называл он ее иногда, с самым серьезным выражением лица. Образец совершенства! Ему нравилось восхищаться собой, но еще охотнее он восхищался теми, кого любил. Он восхищался своим отцом, восхищался Фанни, восхищался Кавалером и вот теперь — женщи-

ной, которая была женой Кавалера. Он любил ее больше всех, а значит, восхищался ею больше, чем кем-либо другим. Она стала его религией. Святая Эмма! Никто не осмеливался улыбнуться. Но беженцами начало овладевать беспокойство. Благодарность Герою за то, что он вывел их из Неаполя и доставил в Палермо, сменилась недовольством. Они сели на мель, а он ходит с таким видом, словно кругом полный штиль. Не пора ли выйти в Средиземное море, воссоединиться с британским флотом и выиграть еще какое-нибудь сражение? Или вернуться в Неаполь, отбить город у французов и свергнуть марионеточное республиканское правительство? Чего он ждет, почему медлит?

Все, конечно, знали, почему.

Когда бы она ни исполняла сюиту из своих знаменитых Позиций — все тот же репертуар, то же колдовское действо, которое даже самые жесточайшие ее критики признавали обворожительным, — он всегда присутствовал, смотрел как завороженный, его правый рукав подергивался, на полных губах блуждала блаженная, зачарованная улыбка. Клянусь Богом, это великолепно! — восклицал он. — Даже величайшие актрисы Европы могли бы у вас поучиться.

Гости обменивались понимающими взглядами. Она теперь не только изображала Клеопатру, она и была Клеопатрой, обольстившей Антония; Дидоной, своими прелестями удерживавшей Энея; Армидой, околдовавшей Ринальдо, — героиней тех общеизвестных мифов древней истории и народного эпоса, в которых человек героической судьбы делает короткую остановку на пути к великой цели, подпадает под очарование неотразимой женщины и с нею остается. И остается и остается…

Женское влияние на мужчин всегда вызывает неодобрение, этого влияния боятся, оно делает мужчин добрыми, нежными — а значит, слабыми; поэтому считается, что для воинов женщины представляют вполне конкретную опасность. Солдат должен относиться к женщинам грубо или, по меньшей мере, бессердечно, тогда он всегда готов к битве, к жестокости, к смерти, его держат узы воинского братства. Он остается сильным. Но наш воин уже очень устал, ему требовалось время, чтобы залечить раны, он нуждался в заботе. Много времени нужно было и на восстановление «Вангарда», сильно пострадавшего от шторма. И вообще, его присутствие в Палермо полезно. Пусть по состоянию здоровья

он не готов выйти в море, но он не сидит без дела, он разрабатывает планы отправки эскадры капитана Трубриджа для блокады Неаполя с моря. Жена Кавалера помогает ему. Именно благодаря славе она так его любит. Рука об руку они идут к великой судьбе — его великой судьбе. И она не из тех женщин, что купаются в лучах славы Героя, нет — и она в своем роде тоже героиня.

Ему хотелось угождать ей. Ей — так отчаянно — хотелось угождать ему.

Честолюбие и стремление угождать — вещи вполне совместные у женщины. Вы угождаете — и получаете вознаграждение. Чем больше угождаете, тем вознаграждение выше. Вот отчего женщинам так удобна моногамия. Понятно, кому угождать.

У жены Кавалера было теперь двое мужчин, муж и их общий друг, кому она была рада угодить.

Кавалер испытывал все большие денежные затруднения. Несколько раз пришлось занимать у друзей; он был уверен, что сможет вернуть долг, как только его великолепные вазы будут проданы в Лондоне. А пока осторожно продавал кое-какие камеи, драгоценные камни, статуэтки и прочие вещи из тех, что вывез из Неаполя, те, которые

меньше всего любил. У его жены тем временем родилась мысль попробовать выиграть деньги на текущие расходы за карточным столом. Однако то, что вначале было лишь очередным порывом помочь мужу, обернулось безудержной страстью. Новой страстью. Все, что она делала — играла, ела, пила, — было безудержно, становилось неодолимой потребностью. А усилившееся, удвоившееся желание угождать раздувало и ее личность, и ее аппетиты.

Кавалер знал, каковы ее истинные намерения, когда она до поздней ночи играла в фараон или в кости, и начал рассчитывать на ее успех, и поэтому ему было равно невыносимо как наблюдать, так и не обращать на нее внимания. Молить фортуну о благосклонности? Он презирал в себе все жалкое: в эти вечера он обычно уходил спать рано. Герой оставался рядом с его женой, подсказывал шепотом, сиял, если она выигрывала, уговаривал сыграть еще, если проигрывала. Как умно она играет, неважно, выигрывает или проигрывает, думал Герой. Против нее не устоял бы никто, если бы не ее милая слабость, из-за которой иной раз она перестает ясно мыслить. Он заметил, что уже от второго бокала бренди она хмелеет. Как странно, удивлялся Герой. На него

два бокала совсем не действуют. Равнодушный и к спиртному, и к картам (Герой отличался почти такой же воздержанностью, что и Кавалер), он не понимал, что скорость, с которой она пьянела, была признаком не удивительной чувствительности, а развивающегося алкоголизма.

Она и правда играет бесподобно, но иногда продолжает играть даже после долгого везения, рискует драгоценным выигрышем, лишь бы подольше побыть рядом с ним. Никогда она не пьянеет настолько, чтобы забыть о его волнующем присутствии, — рядом, позади, в дальнем конце комнаты, где он с кем-то разговаривает, жестикулируя, и где, если уж на то пошло, он точно так же чувствует ее присутствие, как и она его.

Теперь, когда она испытывает сильнейшую потребность прикасаться к нему, былую свободу обращения с ним заменяют сознательные, осторожные, незаметные жесты. Остановившись у подножия огромной лестницы, чтобы пожелать спокойной ночи гостям, она рассеянно трогает приколотый к борту мундира пустой рукав, смахивает пылинку: заметила крошку, оставшуюся от сна в его правом, слепом, глазу, и жалеет, что не может ее снять.

Он представляет себе, каково будет объятие без

руки: оказываясь с ней лицом к лицу, он иногда чувствует себя так, будто падает на нее.

Она смотрит на его губы, полуоткрытые, когда он слушает; когда он говорит, она иногда спохватывается, что не поняла ни слова. Черты его лица кажутся такими большими.

Им легче, если они не смотрят друг на друга, но, бок о бок, стараются проявлять интерес к другим людям. Понятия «право — лево» получили новое значение. Правая сторона — та, с которой Герой искалечен, там его неподвижный глаз, его пустой рукав. Она заметила, что он всегда садится по правую руку от нее, поворачивается к ней неповрежденной стороной.

Самые обычные ситуации рождают новые, трепетные действия. Он сидит возле нее за карточным столом и видит, что она постоянно чешет левое колено. Ему хочется остановить ее, пока она не поцарапала свою дивную кожу. (У нее обострение экземы, это случается время от времени, но он не мает.) Не задумываясь, он наклоняется поближе, чтобы заглянуть в карты, которые она держит в правой руке, настолько близко, чтобы можно было прошептать на ушко совет по поводу следующего хода, и это — каким-то образом он догадался, что так и будет — заставляет руку под

столом, чешущую колено, остановиться.

Как мучительно помнят они о скрытых под одеждами телах друг друга. Как мучительно ощущают расстояние, отделяющее их друг от друга.

На банкете она вдруг понимает, что его левое бедро находится не больше чем в шести — нет, в семи — дюймах от ее правого бедра. На столе — четвертая перемена блюд. Он вполне справляется с изящным золотым столовым прибором, неким гибридным устройством, ножевилкой (лезвие смотрит вправо, а зубцы влево), подаренным каким-то почитателем после Нильского сражения, но она, тем не менее, берет свои нож и вилку, наклоняет торс к нему, ближе к нему и, чтобы расплатиться за эту дерзость, рожденную непобедимым желанием, отодвигает от него правую ногу, прижимает ее к своей левой ноге. И, чрезвычайно осторожно, чтобы не коснуться плечом его плеча, начинает резать для него мясо.

Этим вечером, за этим столом, не ее одну волнует расстояние между вещами.

Неужели только мне, — одна из приглашенных англичанок разглагольствует об удивительнейшем феномене, который ей довелось наблюдать, — неужели только мне посчастливилось видеть маленький остров очень интересной

формы, чуть более удаленный от города, чем наш прекрасный Капри удален от Неаполя?

Остров?

Но из Палермо не видно никакого острова, — возразил кто-то из гостей.

Все пытаются меня в этом убедить, — чопорно отвечала мисс Найт.

А когда вы видели этот… остров? — принялся допрашивать ее лорд Минто, бывший посол на Мальте и знакомый Героя, гостивший у них уже несколько недель.

Большую часть времени его не видно. Когда небо совершенно безоблачно, его не разглядеть.

А если облачно, то вы его видите?

Если под словом «облачно», лорд Минто, вы подразумеваете, что небо затянуто облаками, то нет. На горизонте должно быть лишь несколько легких облачков.

Леди Минто смеется. Вы, конечно же, видели обычное облако, но приняли его за остров.

Нет, это не облако.

Но прошу, скажите, почему же?

Потому что оно всегда имеет одни и те же очертания.

Гости замолчали. Жена Кавалера очень рассчитывала, что в беседу вступит Герой.

Вполне логично, — заметил Кавалер. — Продолжайте, мисс Найт.

Я не знаю, логично ли это, — сказала она. — Но не могу отрицать того, о чем свидетельствуют органы моих чувств.

Совершенно справедливо, — сказал Кавалер. — Пожалуйста, продолжайте.

Смею сказать, я чрезвычайно упорна, — продолжила мисс Найт и вдруг замолкла в нерешительности, будто не зная, с какой стороны, привлекательной или непривлекательной, выставила свою отличительную черту, которая ее саму так восхищала.

Так вы действительно видели остров? Настоящий остров?

Да, лорд Минто, — воскликнула она. — Видела. А потом, после того, как видела его не менее десяти раз, я сделала зарисовку и показала кое-кому из наших офицеров. Они сразу же узнали один из самых дальних Липарских островов, которые лежат…

Вулькано? — перебил Кавалер.

Нет, другое название.

Стромболи?

Нет, кажется, нет.

Вы так далеко видите, до самых Липарских

островов! — пронзительно вскрикнула жена Кавалера. — О, хотела бы я иметь такое острое зрение.

Предлагаю тост за упорство мисс Найт, — сказал Герой. — Она женщина с характером, а характер — то, что более всего восхищает меня в женщине.

От этих слов мисс Найт покраснела так густо, что жена Кавалера потянулась через стол и похлопала ее по руке. Произошел своеобразный переброс чувства: комплимент, вдохновленный ею, но адресованный другой женщине, дал ей повод косвенным образом вступить в контакт с рукой Героя.

Увидеть отсюда Липарские острова невозможно, — заявил лорд Минто.

Мисс Найт, растерявшейся от столь быстрой смены комплиментов на неодобрение (к тому же и то, и другое было высказано самыми важными джентльменами из присутствующих), овладели очень женские эмоции — она временно лишилась дара речи. Кавалер воспользовался паузой, чтобы поведать собравшимся о научной подоплеке миражей и прочих оптических аномалий: он читал об этом книгу.

Мне кажется, нам следует поверить утвержде-

нию мисс Найт о том, что она видела остров, — тоном знатока произнес он. — Разве сам лорд Минто не мог бы сказать, что видел собственное лицо? В зеркале, разумеется. Так и мисс Найт в неподвижных водах залива Палермо видела далекий остров, отражение острова, полученное тем же способом, каким камера-люцида создает на плоской поверхности образ объекта, только трех– или четырехгранной призмой в данном случае послужили облака и определенный угол преломления света. Многие из знакомых мне художников находят это гениальное изобретение весьма полезным при работе над рисунками.

Жена Кавалера довела до сведения собрания, что ее супруг — специалист по любому научному вопросу. Никто, — уверенно заявила она, — не обладает такими познаниями, как он.

У меня не хватит терпения дождаться малооблачного дня, чтобы увидеть этот остров-невидимку, — сказал мистер Маккиннон, банкир. — Может быть, даже, при благоприятном расположении облаков, мы сумеем увидеть Неаполь…

Не хотела бы я видеть наш Неаполь сейчас, — вздохнула старая мисс Эллис, которая прожила в этом городе тридцать лет.

Что, если Кавалер сможет увидеть Везувий? — весело сказал Герой. — Полагаю, он скучает по своему вулкану.

Жена Кавалера думала в это время, что ей вовсе не нужна способность видеть на далеком расстоянии. Все, что ей хочется видеть, находится рядом.

* * *

Возможно ли, чтобы не один, а сразу двое мужчин сходили по ней с ума? Возможно ли, что оба настолько слепы, что не замечают ни ее вульгарности, ни ее бесстыдной льстивости?

С каждым днем Герой все сильнее влюблялся, Кавалер дряхлел и замыкался в себе, она же становилась все оживленнее, ее все сильнее охватывало лихорадочное желание выставлять себя напоказ. В прошлой жизни, в Неаполе, супруге британского посла и в голову не могло бы прийти дополнить высоконравственный репертуар живых картин танцем, тем более танцем фольклорным, эротическим, развязным. Но здесь, в Палермо, она пляшет для гостей тарантеллу. Новым сицилийским знакомым ее потрясание тамбурином, ее притопывание и кружение казалось чем-то лишь немного странным,

неаполитанским. Но англичане — и беженцы из Неаполя, и те, кто остановился у них проездом, лорд Минто, например, возвращавшийся в Англию, или лорд Элджин, направлявшийся в Турцию послом, — были совершенно шокированы. Они находили, что ее манеры с каждым днем становятся все грубее и вульгарнее.

Ее наряды — кричащие, вызывающие. Смех — оглушительный. Болтовня — не остановишь. В самом деле, та сдержанность, которую люди называют элегантностью, ей совершенно несвойственна. Она не только по природе своей говорлива, но и считает, что от нее постоянно ждут каких-то замечаний, а искусство сдержанного высказывания ей так же чуждо, как и искусство умерять свои чувства. Поэтому она непрерывно говорит: либо о себе, либо о достоинствах мужа и их общего друга.

Разумеется, Герой восхваляет ее не менее рьяно. Гениальнейшая актриса столетия. Величайшая певица Европы. Умнейшая из женщин. Самая бескорыстная. Образец совершенства. Но, сколь бы одинаковы ни были они в безудержности своих излияний, ее как женщину судили много строже. Считалось, что именно она его соблазнила; упорной лестью завоевала его сердце и

сделала своим рабом. Если бы она по-прежнему, как и десятилетие назад, оставалась самой прославленной красавицей эпохи, то достойное жалости помешательство Героя было бы более чем понятно. Но пасть к ногам — вот этой?

Ее недостатки множились. Однако самой злобной травле ее подвергали за несостоятельность в том, что считается величайшим женским достижением: умении поддерживать в должном состоянии свое уже немолодое тело и обеспечивать ему надлежащий уход. Приезжавшие из-за границы гости сообщали, что супруга Кавалера неуклонно набирает вес, большинство считало, что она полностью утратила привлекательность, и лишь некоторые снисходили до признания, что у нее все еще красивое лицо. Современный культ стройности, постепенно заставивший всех, равно мужчин и женщин, чувствовать себя виноватыми за то, что они недостаточно стройны, романтики введут еще через несколько десятилетий, а пока люди хорошего происхождения редко бывают худыми, — и все-таки *она* не заслуживает прощения за то, что позволила себе растолстеть.

Почему-то считается, что так называемые вульгарные люди не способны видеть себя со стороны. Имеется в виду, что если бы они только

знали, как ужасно выглядят или ведут себя, то немедля избавились бы от своих недостатков: поработали бы над дикцией, стали сдержанными и утонченными, сели бы на диету. Самая, быть может, доброжелательная, но от этого не менее тупая форма снобизма. Попробуйте уговорить покладистого, но уверенного в себе взрослого человека плебейского происхождения избавиться от бесчисленных привычек, считающихся вульгарными, попробуйте, — и посмотрите, насколько вы преуспеете. (Кавалер пробовал, и давно уже оставил попытки, и перестал обращать внимание: он любил ее.) Итак, подразумевалось, что она не замечает, как меняется ее тело. Но ведь ее любимые платья каждые несколько месяцев приходится расставлять, это занимает большую часть времени ее любимой матушки и помогающей ей Фатимы: можно ли этого не знать? И если теперь она одевается чересчур пышно, то именно затем, чтобы дать понять: смотрите не на меня, смотрите на мои шелковые платья, на кольца, на пояс с кисточками, на шляпу со страусовыми перьями, — стратегия самоустранения, не очень отличающаяся от поведения коллекционера, только значительно менее эффективная. Ибо злопыхатели смотрят и на то, и на другое.

Ни одно письмо не уходило в Англию без жестокого замечания по поводу ее наружности. Невозможно описать, как она отвратительна. Она чудовищно огромна и с каждым днем становится все больше, писал лорд Минто. Я ожидала увидеть женщину неотразимого внешнего очарования, писала леди Элджин, но увы. Ничего подобного. Настоящая туша!

Рассказы об утере красоты были столь же чрезмерны, столь же преувеличенны, как в свое время рассказы о самой красоте. Получалось, что раньше люди восхищались ею и закрывали глаза на ее низкое происхождение и порочное прошлое только потому, что она была так прекрасна. Только и единственно поэтому. А теперь, когда она больше не была воплощением красоты, все ранее подавляемые суждения — весь снобизм и жестокость — вырвались наружу. Заклятие спало, и голоса людей слились в едином хоре невероятных, злобных оскорблений.

* * *

Однажды весенним днем Кавалер объявил, что договорился о поездке на загородную виллу князя, чей городской дворец они занимали.

Вилла находилась на равнинных землях к

востоку от Палермо, где в течение последнего столетия строили загородные дома многие знатные семьи. Из-за больного глаза Героя, обладавшего повышенной чувствительностью к свету, они выехали во второй половине дня, чтобы солнце светило в спину. В карете жена Кавалера постоянно пересаживалась, чтобы лучше видеть пышные рощи лимонных и апельсиновых деревьев. Мужчины сидели тихо. Герой теребил глазную повязку и наслаждался заботой, которую к нему проявляли, Кавалер предвкушал удовольствие разделить с близкими людьми впечатления от того, о чем он читал сразу в нескольких книгах, написанных англичанами, путешествовавшими по Сицилии. Но он понимал, что сейчас нельзя рассказывать слишком много, иначе он испортит сюрприз, который ожидает его компаньонов. И какой сюрприз!

Нет фантазера большего, чем фантазер-южанин. Даже потрясающий воображение уединенный загородный замок-собор, который строил в Англии богатый кузен Кавалера Уильям, по дерзости замысла не мог соперничать с виллой, выстроенной покойным сводным братом сицилийского князя. Величественное двухэтажное здание из белого и телесно-розового камня трио

увидело издалека, из окон кареты, но внешний облик не давал ни малейшего представления об уникальном внутреннем содержании. Уникальность стала понятна, лишь когда они подъехали к воротам, охраняемым двумя сидящими на корточках монстрами с семью глазами и без шей. Впереди простиралась широкая аллея; по обеим сторонам тянулась вереница пьедесталов, на которых стояли весьма гротескные существа.

О, только взгляните.

Здесь-то Кавалер и начал рассказ. Обращаясь к жене, он особо подчеркнул, что эту виллу двенадцать лет назад посещал сам Гёте, когда ездил из Неаполя на Сицилию, за год до кончины князя, виновника появления здесь этих статуй, мимо которых они сейчас проезжают (здесь еще много других). С видимым удовольствием Кавалер отметил, что реакция великого поэта была вполне предсказуемой: тот нашел виллу ужасающей и пришел к выводу, что ее владелец безумен.

А это что? — воскликнула жена Кавалера.

Карета пронеслась мимо коня с человеческими руками, верблюда-бактриана с двумя женскими головами вместо горбов, гуся с лошадиной головой, человека со слоновьим хоботом и ястребиными когтями.

Это — духи, охранявшие князя, — ответил Кавалер.

А это?

А это — человек с головой коровы, едущий верхом на дикой кошке с головой человека.

Давайте остановим карету, — предложил Герой.

Впереди нас ожидает много больше, — ответил Кавалер. Он указал на обезьяний оркестр с барабанами, флейтами и скрипками, смотревший на них с крыши виллы. — Давайте поедем дальше.

Лакеи ждали их, чтобы помочь выйти из кареты, а на пороге огромных входных дверей, приветствуя гостей, стоял толстый приземистый камергер в черной ливрее.

Я никогда не видел черных ливрей, — прошептал Герой.

Надо полагать, он еще носит траур по покойному господину, — сказала жена Кавалера.

Кавалер улыбнулся. — Я бы не удивился, дорогая, если бы ты оказалась права.

Перед входной дверью (покосившейся, с потрескавшейся древесиной) их встречал карлик с головой римского императора, увенчанной лавровым венком, верхом на дельфине. Жена Кавалера похлопала карлика по голове. Внутри

много интересного, хотя вилла порядочно разорена, — сказал Кавалер. Вслед за камергером, по довольно грязной лестнице, через холлы и вестибюли, мимо самых загадочных созданий и противоестественных пар, они поднялись на первый надземный этаж.

О, смотрите!

Двухголовый павлин верхом на ангеле, стоящем на четвереньках.

Господи боже!

Русалка с собачьими лапами совокупляется с оленем.

А поглядите на это!

Жена Кавалера замерла перед двумя сидящими фигурами — пышно разодетыми, играющими в карты: дамой с лошадиной головой и джентльменом с головой грифона в алонжевом парике и короне.

Хотела бы я один денек походить с лошадиной головой! — воскликнула она. — Почувствовать, каково это.

О, — сказал Герой, — уверен, вы были бы самой красивой лошадью на свете.

А я хотел бы видеть лица наших гостей, когда ты с лошадиной головой сядешь играть с ними в фараон, — сказал Кавалер. — Без сомнения, ты

выиграешь все игры.

Жена Кавалера изобразила громкое лошадиное ржание, и мужчины рассмеялись.

За компанию Кавалер готов был смеяться над увлечениями покойного князя, он хотел единения с женой и другом. Но также он хотел быть уверен, что их изумление столь же просвещенно, как и его собственное. Кавалер, куда бы он ни попадал, имел тенденцию брать на себя роль гида, ментора. Он бы и на похоронах читал лекции по истории кладбищенских памятников для скорбящих рядом людей. Каким прекрасным противоядием от волнения и горя может быть эрудиция!

Пристрастие князя к лошадям с головами и конечностями других животных, а также к людям с лошадиными головами побудило Кавалера вспомнить Хирона, Пегаса и прочих коней античной мифологии, обладавших необычными дополнениями к телу. Ему показалось уместным заметить, что эти мутанты непременно оказывались полубогами. Вспомните мудрого учителя Ахилла. Он был наполовину конем, наполовину человеком. Или гиппогриф, чьим отцом был грифон, а матерью кобыла: у Ариосто это символ любви.

Любви. Жена Кавалера услышала, как отозвалось это слово в замогильной тишине виллы. *Она* его не произносила. Их друг — тоже.

Кавалер не думал о любви как таковой, но это слово показалось ему подходящим амулетом против тревожащего буйства чувств, столь гротескно выражаемых чудищами, которыми князь населил виллу и территорию вокруг нее.

Их друг тоже избегал мыслей о любви и потому рискнул внести скромный вклад в ученую беседу. В Египте, — начал Нильский Победитель, — рассказывали об одной огромной статуе. Это существо с головой и грудью женщины и телом льва. Представьте, как она лежит там, в песках, внушая благоговейный ужас.

Да, да, я читала об этом! Она поджидает путников, останавливает их и убивает. Кроме тех, кому удается разгадать ее загадки, тех она отпускает.

Да, моя дорогая, это жестокое существо, — мягко сказал Кавалер. — Но я бы не удивился, если бы мы наткнулись на твоего сфинкса или на египетского, или на кого-то похожего, прямо здесь, в этих самых комнатах, среди каменных приятелей князя. Пойдем посмотрим?

Уж мы ей зададим загадку! — крикнула жена Кавалера.

Они, то и дело восклицая, чтобы привлечь внимание спутников к очередному уродливому и несовместимому сочетанию, вошли в следующую гостиную. Камергер плелся следом, весь молчаливое неодобрение веселости гостей, их высокомерной снисходительности к окружающему.

Человеческое воображение всегда забавляют фантазии на тему биологических мезальянсов: существа, которые выглядят не так, как им положено, или способны вынести испытания, которые, по логике вещей, выносить не должны. Таких существ с удовольствием выдумывают художники. Таких существ выставляют в цирке и на ярмарке: уродов, мутантов, странные пары, животных, исполняющих трюки, противные их природе. Кавалеру, быть может, и незнакомы представления Босха и Брейгеля об адских страданиях и искушениях святого Антония, но зато он видел чуть менее вдохновенные изображения существ неестественной анатомической сборки, которых называют демонами или монстрами. И если бы дело ограничивалось присутствием во всех углах княжеской берлоги всевозможных уродов, она бы не была столь уж оригинальной. Гораздо сильнее поражало изобилие причудли-

вых, пугающих — нет, безумных — предметов обихода.

Лампы в форме частей тела человека или животных.

Столы из обломков керамической плитки, слишком высокие для того, чтобы за ними сидеть.

Колонны и пирамиды — по' меньшей мере, сорок штук — из разнообразного фарфора и фаянса; у одной колонны основанием служил ночной горшок, вершиной — составленные кружком маленькие цветочные горшки, а стержнем — чайники, постепенно, от основания к вершине, уменьшающиеся в размерах.

Люстры из многоярусных, подвешенных, как серьги, донышек, горлышек и ручек от разбитых бутылок и барометров.

Канделябры высотой более трех футов — зловеще кренящиеся, слепленные на скорую руку из кусочков бульонных чашек, блюдец, мисок, кувшинов, чайников. Изучив один из этих канделябров более внимательно, Кавалер с удивлением обнаружил, что среди жалких обломков, кое-как соединенных друг с другом, попадаются фрагменты фарфора редкостной красоты.

Вазы, из боков или основания которых вылеза-

ет либо свиток, либо очередной мутант.

В конце концов, Кавалеру стало казаться, что его окружает не гротеск, а бесконечный сарказм, и ему стало не по себе. К гротеску Кавалер был готов. Но его потрясло внезапное открытие: оказывается, князь по характеру был коллекционером, в неком безумном воплощении — пусть он копил вещи не найденные или приобретенные, а выполненные по его заказу. Соединение фрагментов дорогого фарфора и обломков кухонной утвари было не просто язвительным отголоском демократии вещей, свойственной многим аристократическим коллекциям, например, собранию герцогини Портлендской, где изысканная живопись соседствовала с коралловыми ветвями и морскими раковинами. Как всякий коллекционер, князь окружил себя предметами, предназначенными для того, чтобы привлекать внимание, вызывать изумление гостей. Эти вещи служили ему визитной карточкой. Он прежде всего был владельцем этих вещей, — они говорили за него, отражали его видение мира. Но говорили они совсем не то, что, как и все великие коллекционеры, хотел сказать с помощью вещей Кавалер: посмотрите, сколько в мире прекрасного и интересного. Вещи князя объявляли: мир

безумен. Жизнь, стоит отойти от нее на некоторое расстояние, превращается в фарс. Что угодно может превратиться во что угодно другое, все может быть опасным, может обрушиться, пошатнуться. Обычный предмет может обернуться совсем не тем, чем кажется. Любая форма может быть нарушена. Любая, самая простая вещь может неожиданно сменить предназначение.

Сколько всего там было! Трио, следуя за камергером, переходило из комнаты в комнату. Постепенно, под грузом эмоций, от переизбытка впечатлений, они перестали воспринимать окружающее. Князь, как всякий одержимый собиратель, не мог остановиться — ему всего было мало. — Как всякий коллекционер, он жил в переполненном пространстве: вещи накапливались, множились. Но он изобрел способ умножать их еще больше.

Камергер привел посетителей в огромный зал, в один из многих покоев дворца, где все — потолок, стены, двери и даже замки — было зеркальным.

Где же чудовища, спросила жена Кавалера. Здесь нет чудовищ.

Кавалер объяснил, что некоторые наиболее затейливые создания покойного князя были вывезены и уничтожены его сводным братом,

нынешним главой семейства, которого огорчала непреходящая дурная слава виллы.

Слуги внесли чай и стали устанавливать все необходимое на огромном буфете, панели которого были составлены из сотен кусочков распиленных старинных позолоченных рам различной резьбы. Одетый в черное камергер, попав в эту комнату, оживился.

Видели бы вы нашу виллу, когда был жив хозяин, вырвалось у него. Канделябры сияли, зал был полон гостей его высочества, все танцевали, веселились.

Князь давал балы? — резко спросил Кавалер. — Я крайне удивлен. Мне казалось, что человек его вкусов и темперамента должен предпочитать уединение.

Это правда, Ваше сиятельство, — ответил камергер. — Хозяин предпочитал бывать на вилле один. Но его супруге иной раз недоставало общества.

Супруге? — воскликнула жена Кавалера. — Он был женат?

А дети у них были? — спросил Герой, не удержавшись от мысли, что беременная женщина, вынужденная находиться в этих стенах, должна была бы родить урода.

У моего господина было все, что составляет счастье человека, — ответил камергер.

Очень трудно в это поверить, подумал Кавалер и пошел осматривать зал.

Осмелюсь намекнуть, — робко начал камергер, — что ваши сиятельства не должны садиться…

Не должны садиться?

Камергер показал. Вот туда.

Вот как. В самом деле. Вряд ли кто-то сможет сидеть на стуле с ножками разной длины. И туда тоже, — заметил Герой, махнув рукой в направлении обыкновенных стульев, поставленных спинками друг к другу. Это было бы в высшей степени нелюбезно, согласитесь.

И туда, — серьезно продолжил камергер, показывая на три красивых резных стула, которые стояли вполне правильно — так, чтобы сидящие на них могли разговаривать, глядя друг другу в лицо.

Почему? — удивленно воскликнула жена Кавалера и, обратив лицо к мужу, закатила глаза, объясняясь на понятном обоим немом языке супружества.

Ваше сиятельство, дотроньтесь до любого из этих стульев…

Она направилась к ним.

Осторожнее, миледи!

Она провела рукой в кольцах по бархатному сиденью и расхохоталась.

Что такое? — спросил Герой.

Там внутри шип!

Не лучше ли нам, — сказал Кавалер, — пропустить чай и выйти в парк. Сегодня прекрасный день.

Мой хозяин пожелал бы того же, — сказал камергер.

Кавалер, недовольный тоном камергера, который с первой минуты показался ему немного дерзким, повернулся, чтобы наградить слугу неодобрительным взором и жестом показать, что он им больше не нужен (один из редких случаев, когда прислуге смотрят в лицо), и тогда только заметил: у камергера один глаз — тусклый серо-голубой, а другой — блестящий карий, что, надо полагать, по замыслу покойного князя, должно было рифмоваться с прочими несуразицами.

Жена Кавалера, за долгие годы преданного супружества научившаяся мгновенно понимать, куда направлено внимание мужа, сразу заметила то же, что и Кавалер. Пока камергер почтительно кланялся и пятился к двери, она тихонько

шепнула что-то Герою. Тот улыбнулся, дождался, когда камергер выйдет, и лишь тогда сказал, что был бы рад иметь разные глаза, голубой и карий, лишь бы оба хорошо видели. Жена Кавалера воскликнула, что с разными глазами он был бы очень красив.

Не выйти ли нам на воздух? — предложил Кавалер.

Надеюсь, вы извините меня, если я не пойду с вами, — проговорил Герой, выглядевший утомленным. Он устал, он часто уставал. Сейчас ему казалось неодолимым даже то усилие, которое потребовалось бы, чтобы опустить на больной глаз повязку, защищавшую от испепеляющего сицилийского солнца.

Пожалуйста, останься с нашим дорогим другом, — сказал Кавалер жене. — Я с удовольствием погуляю один.

Однако, перед тем как их оставить, он, желая быть уверен, что они в полной мере оценили необычность комнаты, в которой находятся, не удержался от еще одного замечания.

Глядя на потолок, на неправильной формы дымчатые зеркальные панели, он объяснил, что изобилие зеркал в комнате кажется ему самой свежей из идей князя. Я и сам когда-то

думал, — сказал он и умолк, горестно вспоминая зеркальную стену и необъятную панораму, открывавшуюся из его обсерватории в Неаполе.

Обратите внимание, — продолжил он, подавив боль, — обратите внимание, как мастерски все сделано. Большие зеркальные листы предварительно разбиты на множество небольших кусков разной величины, а затем искусно собраны воедино, благодаря чему и достигается столь причудливый эффект. Все кусочки положены под небольшим углом друг к другу и в результате отражения множатся. И вот, внизу нас трое, но наверху нас — три сотни! Однако я нахожу, что подобное излишество предпочтительнее монотонности, которая могла бы возникнуть, если бы такой огромный зал был покрыт цельными зеркальными полотнами.

Жена Кавалера и Герой внимали ему с уважением. Обоих искренне интересовало то, что говорил Кавалер. В то же время, на протяжение всей речи Кавалера, они подсматривали друг за другом в зеркале. Зеркала в комнате — всегда соблазн. Еще больший соблазн — огромный купол из битого зеркала, фасеточный глаз мухи, в котором они множились; накладывались друг на друга, деформировались — но уродство, порожденное

зеркалами, только смешило их.

И когда Кавалер удалился осматривать другие залы и гулять по парку, а они осознали, что остались вдвоем, — отец ушел, а дети остались одни в комнате смеха, — они, толстая женщина и маленький однорукий мужчина, замолчали, замерли, изо всех сил стараясь смотреть только в зеркала, но тут на них обрушился шквал столь безграничного счастья, столь бескрайнего блаженства, что они, уставшие от желания, пьяные от восторга, кинулись друг к другу в объятия и поцеловались (их поцелуй длился и длился), и это объятие, этот поцелуй распадался, множился в зеркалах наверху.

В этой странной обстановке, где все говорило о затворничестве, об отказе от обыкновенных сантиментов, где роман был возможен только с вещами, двое людей, давно любивших друг друга, дали волю самой обыкновенной и самой сильной из всех человеческих страстей, и с этого момента для них не было пути назад.

Но Кавалера ждало еще одно откровение. Он отсутствовал почти час, и этого времени было достаточно, чтобы его жена и их общий друг во всей полноте ощутили, какой ураган выпустили на волю, и, смущенные его мощью, решили от-

правиться на поиски Кавалера. Они обнаружили его в парке, на мраморной скамье — Кавалер сидел спиной к алому гибискусу и темно-розовой бугенвилии, стелющимся по низкой, увенчанной монстрами стене. Он заговорил с ними странным, приглушенным голосом. Он рассказал об одной забавной скульптуре, замеченной им по дороге в парк: Атлас, широкая мускулистая спина которого сгибается под тяжестью пустой винной бочки. Они не могли не заподозрить, что его мрачность вызвана догадкой о случившемся. Но Кавалер все это время даже не думал о своих спутниках.

Пока он спускался по одному из двух пролетов монументальной наружной лестницы и шел к задней стороне виллы, он еще помнил о них. Но потом он увидел нечто особенное — то, что заставило забыть и о них, и о себе.

То была часовня князя. Кавалер вошел в сырое помещение и замер. Высоко над головой он почувствовал какое-то движение. Летучая мышь? Он ненавидел летучих мышей. Но потом понял, что для летучей мыши оно слишком велико и только чуть колышется: потревоженное весенним ветерком, который он впустил в часовню, когда открыл дверь. С высокого золоченого потолка свисало нечто — Кавалер уже мог различить

очертания — фигура человека в натуральную величину, коленопреклоненного в молитве, но без какой-либо опоры. Когда глаза Кавалера окончательно привыкли к темноте, он увидел, что человек висит в затхлой пустоте на длинной цепи, прикованной к его макушке. Цепь тянулась к крюку, ввинченному в пупок огромного Христа, прибитого гвоздями к кресту, который, в свою очередь, был горизонтально прикреплен к потолку. И Распятый, и висящий в воздухе человек, взывающий к нему, были выкрашены в неприятно реалистичные цвета.

Богохульство не могло растревожить ярого атеиста: но мог страх — его собственный страх, пронзивший солнечное сплетение при виде повешенного, а также столь явно выраженный неизбывный страх другого человека. Так, значит, кунсткамера князя — не свидетельство его сумасшествия. Нет, все это — выражение ужаса.

Он был смелее меня, подумал Кавалер, стремглав выбежав из часовни и усевшись ждать жену и друга. Князь довел любознательность и жадность коллекционера до их крайней формы, когда привязанность к вещам выпускает наружу неуправляемый дух шутовства. У него были все основания бояться, но он хотел посмеяться над

своими страхами. Вещи утащили князя вниз, на самое дно чувств, и, естественно, опустившись достаточно глубоко, он понял, что попал в ад.

* * *

Кавалер наконец узнал от Чарльза, что его вазы погибли вместе с «Колоссом» в прошлом декабре, 10-го числа. То есть свое опасное морское путешествие он совершал тогда, когда коллекция уже лежала на дне морском. Почему они не спасли хотя бы часть сундуков, хотя бы несколько? Ему стало известно, что в том единственном сундуке, который матросы, полагая, что там драгоценности, спасли, оказалось заспиртованное тело английского адмирала, которое везли на родину для захоронения. Черт бы его побрал, написал Кавалер Чарльзу.

Гибель любимых вещей бывает страшнее смерти любимого человека. Людям положено умирать — хотя об этом они вспоминают редко. Живет ли человек в скучной осмотрительности, как сейчас Кавалер, играет ли со смертью, как его прославленный друг всякий раз, когда выходит в море, — конец всегда один, и он неизбежен. Но казалось бы вечные, великолепные античные вазы! Они, жившие столько веков, несли в себе

обещание бессмертия. Мы и собираем-то их, привязываемся к ним отчасти потому, что их уход из этого мира отнюдь не предопределен. Если же обещание нарушено, по неосторожности или из-за несчастного случая, наш протест кажется бессмысленным, наше горе — чуть неприличным. Но траур, усугубляющий, а потому облегчающий горе, необходим.

Неверие — наша первая реакция на известие о том, что чего-то, безмерно нами любимого, больше нет. Прежде чем начать оплакивать, человек должен избавиться от чувства, будто ничего не произошло. Лучше, если человек присутствовал при несчастье. Кавалер был свидетелем угасания Катерины, склонялся к ней, чтобы услышать ее последний вздох, своими глазами видел, как его несчастная жена прекратила свое существование; оплакивал ее, потом простил за то, что она умерла, и перестал оплакивать. Если бы вазы погибли при пожаре в его доме, если бы их пожрала лава, чье наступление он видел бы собственными глазами, он знал бы, как оплакивать любимые вещи; траур сделал бы свое дело — и закончился бы раньше, чем несправедливость потери нанесла ему безнадежную рану.

То, что случилось не на наших глазах, прихо-

дится принимать на веру. Но Кавалеру становится все труднее верить. Известие о том, что вазы погибли много месяцев назад и так далеко, было для него равносильно известию о кончине любимого человека, столь же далекой по времени и расстоянию. Известие о такой смерти всегда отмечено печатью недостоверности. Представьте: вам сообщили, что некто, отправившийся на другой конец света, некто, встречи с кем вы ожидали со дня на день, на самом деле вот уже много месяцев, как умер. Вы же все это время, не зная о потере, спокойно жили обычной жизнью. Печальная новость воспринимается как насмешка над бесповоротностью смерти. Смерть уменьшается до информационного сообщения. Они же всегда немного нереальны — именно поэтому мы можем поглощать их в таких количествах.

Кавалер оплакивал свои сокровища. Но траур, который начинается с таким запозданием, в сомнении и неверии, не может быть полноценным. По-настоящему оплакивать не получалось — Кавалер злился. Ведь и без этого в первые невеселые недели в Палермо способность его организма к восстановлению, душевная гибкость подверглись серьезному испытанию, серьезному, как никогда. Он сумел собраться с духом и вернуться к преж-

ним увлечениям, пусть и не в таких масштабах, как прежде. Но потеря драгоценных ваз стала для Кавалера последним ударом. Его, человека, который раньше не мог себе и представить, что с ним может случиться несчастье, все больше охватывало горькое разочарование.

Его мир все больше сужался. Он мечтал о возвращении в Англию, несмотря на то, что отставка едва ли означала уход на покой: он задолжал банкирам пятнадцать тысяч фунтов, значительную часть которых рассчитывал вернуть после продажи ваз. (Теперь придется снова занимать у дорогого друга; конечно, денег у того меньше, чем у Кавалера, но он так щедр.) Впрочем, сейчас, как подсказывала интуиция, уезжать из Палермо не стоит. Если есть хоть малейшая вероятность того, что король и королева в ближайшие месяцы смогут вернуться в свою первую столицу, имеет смысл подождать. Такой, как раньше, жизнь в Неаполе, конечно, никогда уже не будет, но, по крайней мере, те, кто разрушил его счастье и вызвал все его потери, понесут наказание.

Расстояние предало его. Время стало его врагом. Его взгляд на время, на перемены сделался таким, как у большинства пожилых людей: он ненавидит перемены, поскольку для него, для его

тела, любая перемена — к худшему. А если уж от перемен никуда не деться, пусть они происходят быстро, пусть отнимают как можно меньше времени, которое ему еще осталось. Ему не терпится дать волю своему гневу. Он пристально следит за новостями из Неаполя и часто совещается с королевской четой и их министрами. Главная добродетель дипломата — терпение, умение дождаться, пока события дадут всходы и созреют, — изменила ему. Он хочет, чтобы события развивались стремительно, и он стал бы наконец свободен, свободен, уехал бы из проклятого Палермо и вернулся в Англию. Почему все тянется так долго?

Для жены Кавалера и Героя мир тоже сузился, но — самым возвышенным образом. Он сузился до них двоих. Любая перемена нынешнего положения чревата опасностью разлуки. Кроме того, Палермо начинает нравиться жене Кавалера, впрочем, она единственная из троих, в ком есть что-то южное.

Не меняйте ничего!

В мае, через пять месяцев после приезда в Палермо, Герой впервые покинул город. Он повел свою эскадру к западной оконечности Сицилии, разведать, нет ли признаков перемещения фран-

цузских кораблей. Друзей он заверил, что его отсутствие продлится не больше недели. Море спокойное. Погода великолепная. Шрам болит «не более обыкновенного», а значит, шторма не будет.

Все это свидетельствовало о выздоровлении их друга и очень обрадовало Кавалера. Женщина, которая, по общему мнению, несла ответственность за бездеятельность Героя, также возрадовалась, увидев, что к нему возвращается здоровье. Она приносила ему счастье и тем самым возвращала здоровье, и это было для нее очень важно; он снова пойдет на войну и завоюет для Англии еще большую славу, одержит новые, более великие победы. В то же время, его отъезд причиняет ей невыносимую боль. Они пишут друг другу каждый день, письма, как молнии, пронзают разделяющее их пространство. Но как грустно бывает отпускать эти дорогие сердцу листочки в большой мир, даже если почти нет опасности, что они потеряются. Отправка письма подтверждает наличие расстояния и расставания. Она только тогда в полной мере осознала, что его нет рядом, когда написала первое письмо — через несколько часов после его отъезда. И тогда все утешения — что он не так уж и далеко, что его

не будет не так уж и долго — потеряли силу. В действительности, понимание того, как скоро ее письмо попадет к нему в руки, как скоро он его прочтет, и причиняло боль. Она смотрела на письмо, на эту птичку, которая полетит к его груди. Она должна вручить его лейтенанту с лоснящимся лицом, который почтительно ждет на пороге гостиной. Он галопом поскачет на запад, быстро одолеет ту сотню миль, которая разделяет их, и отдаст письмо прямо ему в руки. Но ей не хочется расставаться с письмом, которое завтра будет там, с ним, в то время как она будет здесь, без него; и, ошеломленная осознанием потери, она разражается слезами. Неожиданно понятия времени и пространства теряют всякий смысл. Почему все не может быть прямо здесь? Почему не может происходить одновременно?

* * *

Кавалер был околдован женщиной, которая стала его женой, он восторгался ее талантами и прелестями, любил ее, до сих пор любил очень сильно, но, в отличие от Героя, не боготворил ее, не поклонялся ей. Ей было за тридцать, и он желал ее меньше. Любовью они не занимались уже около двух лет. Кавалера немного волновало,

сильно ли она этим недовольна. Но женщины часто бывают рады, когда сексуальное влечение мужа угасает. Она никогда его не укоряла; а в нем ничуть не уменьшилось доверия, восхищения, привязанности — всего того, что проходит под именем любви — он получал все то же удовольствие, заботясь о ней. Но желал он ее красоту, ее непревзойденную красоту.

Герой любил ее такой, какой она была. Именно такой. И поэт тому его любовь была именно такой, о какой всегда мечтала бывшая знаменитая красавица. Герой считал ее царицей.

Там, в большом мире, им обоим требовалось мужество, чтобы предъявить людям свою отнюдь не идеальную наружность. Здесь, в мире их любви, они становились самими собой. В минуты нежности они признавались друг другу, сколько неловкости им приходится испытывать из-за своих тел. Он тревожился, что культя внушает ей отвращение. Она заверила его, что благодаря своим ранам он ей только дороже. Она призналась, что ей стыдно, что она настолько больше его, но она надеется, что ему не противно, ведь она готова на все, лишь бы доставить ему удовольствие, потому что он заслуживает самой красивой женщины на земле. Он сказал, что счи-

тает ее своей женой. Они поклялись друг другу в вечной любви. Как только развод или другое слово, на «с» (его нельзя произносить), освободит их, они поженятся.

Герой никогда раньше не знал любовного блаженства. И она в его объятиях испытывала доселе неведомое счастье. Она заставила его рассказать обо всех женщинах, с которыми он спал; их было немного. Человек, которому для того, чтобы испытать желание, нужно восхититься, обречен на скромную сексуальную жизнь. Он, еще более ревнивый, чем она, не в силах и помыслить спросить о тех, кто был у нее до Кавалера. (Она еще не сказала ему, что у нее есть дочь.) Он признался, что ревнует к Кавалеру. Его преследует страх ее потерять. Она вызывает у него дрожь.

Каждый, так или иначе, попал в ловушку обмана.

Хотя сексуальное влечение Кавалера и угасло, он не мог стать настолько нечувствительным к эротическим флюидам, соединяющим других людей, чтобы не заметить, что произошло между женой и его другом. Собственно, он, как и все прочие, за несколько месяцев до поездки на виллу чудовищ уже считал их любовниками. И он всегда понимал: дурак тот, кто, женившись на

красавице тридцатью шестью годами младше себя, не ждет в один прекрасный день чего-либо подобного. Потом, нельзя не признать, что он последние несколько лет пренебрегал любовными отношениями с женой, хотя это не совсем его вина. Что ж, остается лишь поздравить себя, что до сих пор жена не давала ни малейшего повода для ревности, ни разу не поставила его в унизительное положение; и что после стольких лет брака ее чувства отданы человеку, к которому, после нее самой, Кавалер привязан в мире более всего.

Кавалер не тот человек, который, подобно жене или другу, старался бы не замечать очевидного. С ними ему все ясно. Но его обманули собственные чувства. Он не осознает, что ревнует, что обижен, унижен. Подобные чувства неразумны, зачем же их испытывать? Он считает, что не должен роптать. И, следовательно, не ропщет. Но что поделаешь, если все в нем восстает против этого, ведь он чувствует, что жена испытывает то, чего никогда не испытывала по отношению к нему. Самообман — умение жить вопреки своему характеру, так же, как он живет не по средствам — часть неизбывного таланта Кавалера быть счастливым, его способности не унывать ни по каким поводам, кроме предельно неприятных.

Человек с темпераментом Кавалера и так носит в себе много злости и страха. А он виртуозно владел искусством подавлять опасные эмоции.

Раз он обманывается в собственных чувствах, то, естественно, ошибается и в отношении того, насколько способен обманывать окружающих. Со смешной наивностью одержимого Кавалер воображает, что пока он притворяется, будто ничего не знает, злые языки будут молчать. Он надеется на свою репутацию трезвомыслящего человека широких взглядов: если такой муж убежден, что в дружбе его жены с другим мужчиной нет ничего предосудительного, люди должны верить не своим подозрениям, а его хорошей мине, в умении носить которую, он знает, ему нет равных. Жизнь среди сильных мира сего научила Кавалера, что ложь способна завуалировать неприглядную реальность, а отрицание очевидного затмевает грязные истины. Для него это — лишь очередной выход в свет, когда надо притворяться, будто ничего не знаешь о неком неудобном факте. Ему не приходит в голову, чем дольше он будет закрывать глаза на происходящее, тем большим болваном его будут считать.

Кавалер не понимает, кем он уже предстал перед обществом и кем останется до конца жизни,

да и после: знаменитым рогоносцем. И Герой не способен понять, кем стал в глазах людей и кем его будут считать: наполовину Лоренсом Аравийским, который сам себя назначил спасителем тупоголовых наместников, наполовину Марком Антонием, любовником, безудержно стремящимся к погибели.

В отличие от Кавалера, Герой, по крайней мере, знает, что чувствует сам. Но, если кто-то относится к нему отрицательно, ему трудно это понять. Из негативных чувств ему ясны лишь небрежение и равнодушие. О том, что кто-то не одобряет его, он и раньше узнавал последним — настолько сильно в нем сознание собственной правоты — и сейчас не осознает, что стал предметом насмешек и жалости, а его офицеры и матросы уверены, что их обожаемый командир околдован сиреной. Не осознает он и того, насколько сильно недовольны им в Адмиралтействе: ведь это по его приказу Неаполь начал преждевременное наступление на Рим, это он отвлек ресурсы на эвакуацию королевской семьи, он задерживал возобновление боевых действий против французов, оставался в Палермо, поставив во главу угла восстановление неаполитанской монархии. Неверно оценивал ситуацию? Нет, полностью забыл о самой необ-

ходимости оценки — по личным причинам, о которых судачат все, кому не лень.

Жена Кавалера, наиболее здравомыслящий человек из всех троих, тоже в каком-то смысле обманывалась. Она прекрасно знала благородный характер Кавалера и не могла не верить, что все как-нибудь да образуется. Они оба любят Кавалера. И он любит их обоих. Почему же им не жить всем вместе, с Кавалером в роли доброго отца? Конечно, они будут необычной семьей, но все-таки семьей. (Английская жена Героя в уравнение не вписывалась.) Жена Кавалера осмеливалась даже надеяться, что после всех бесплодных лет с Чарльзом и Кавалером сможет забеременеть.

Недавно ей приснился сон. Она, как в былые времена, шла вместе с Кавалером по склону вулкана. Только это, кажется, был не Везувий. Наверное, Этна. Они, похоже, знали, что несколько часов назад началось небольшое извержение, и спустя какое-то время Кавалер предложил сделать привал, поесть, отдохнуть, подождать, пока вулкан немного успокоится. Она сняла пропотевшую блузку, чтобы просушить ее. Как приятно прикосновение ветра к коже! Они ели голубей, зажаренных на костре, который развел Кавалер. Какие сочные! Потом они снова полезли

вверх, и горячий пепел хрустел под ногами. Ей вдруг сделалось страшно оттого, что откроется взору, когда они дойдут до вершины. Это же опасно, ведь извержение еще не прекратилось — вопреки заверениям Кавалера. И вот они на самой вершине, и перед ними страшная пасть кратера. Кавалер велел ей не двигаться с места, а сам подошел ближе. Чересчур близко. Она хочет крикнуть, предупредить, чтобы он был осторожен. Но, открыв рот, она не может издать ни звука, хотя старается изо всех сил, даже горло заболело. Кавалер стоит на самом краю кратера. Он, как сгорающие страницы книги, постепенно чернеет. Оглядывается и улыбается ей. И когда она наконец вновь обретает голос и начинает кричать, он срывается в огненную бездну.

Отшатнувшись от этой ужасающей сцены, она вырвалась, пробила тяжелую крышу сна и очнулась на кровати, задыхаясь, утопая в поту. Тогда я стала бы вдовой. Сон был так ярок. Первое побуждение — одеться, пойти в спальню Кавалера и убедиться, что с ним все хорошо. Но потом она поняла, *что* нарисовало ее воображение, и была потрясена, шокирована, пристыжена. Значит ли это, что она желает смерти своему мужу? Нет, нет. Все как-нибудь само образуется.

* * *

Еще одна ночь. Поздно, очень поздно. Гости, должно быть, разъехались, подумал Кавалер, уже давно находившийся в своей спальне. Его терзала бессонница стариков и обиженных. О стольком нужно было подумать и еще о большем не думать: об утрате коллекции, о долгах, о неясном будущем, о непонятных болях в разных частях его дряхлого тела, о еще более непонятном ощущении униженности. Жизнь, когда-то полная стольких возможностей, больше не предлагает ни одной приемлемой.

Он больше часа пролежал в постели и так и не нашел удобной позы, которая призвала бы сон. Теперь, на балконе за огромным окном, обрамленном силуэтами высоких пальм, он невидящим взором смотрит в напоенный ароматами воздух. Подсвеченные луной облака висят очень низко, небо излучает розоватое сияние. Ночь неподвижно висит над городом. И эта неподвижность лишь усиливает досаду: время будто остановилось! Это вечная ночь, ночь абсолютная. Даже облака, движение которых могло бы показать, что время все-таки идет, застыли. Доносится чуть фальшивое мужское пение (не иначе, кошачий концерт

какого-то местного жителя, жалобы на муки любви), отдаленное громыхание кареты, крики ночной птицы, еле слышные голоса английских моряков, которые, распевая гимны, переплывают залив на корабле. И тишина.

Злость мешает вернуться в постель. Пусть это глупо и по-детски мечтать о том, чтобы извержение разрушило Неаполь, но иногда, перед тем как заснуть, Кавалер не может отказать себе в подобных фантазиях. Если бы он только мог наказать тех, кто причинил ему горе, если бы мог придумать достойную кару за свои обиды, за свои потери. Тогда он вернулся бы в Англию. Как он зол. Как безутешен.

Кавалер был прав, полагая, что гости уже ушли. Действительно, слуги почти закончили уборку большого зала. Жена и друг разошлись по своим апартаментам, потом, в два часа ночи, жена Кавалера вернулась к Герою. Она принесла берберские фиги, гранаты и сицилийские пирожные, посыпанные белым сахаром и лимонной цедрой. Она беспокоилась, что он мало ест, ведь он такой худой и так мало спит. Только это время — обычно с двух ночи до пяти утра, потом она возвращалась к себе — они проводили вместе, наедине; она могла спать допоздна, но он всегда вставал

с зарей. Сейчас они тоже стояли на балконе, вдыхали теплый ночной воздух, пропитанный ароматами лавра, цветущих апельсиновых и миндальных деревьев, восторгались окрашенными оранжевым и розовым облаками, словно спустившимися с небес. Но их не грызла тоска по утерянному, по тому, чего нет. У них было все, в чем они нуждались.

Она любила его раздевать, как ребенка. Ни у кого из мужчин, которых она знала, не было такой чудесной кожи, нежной, как у девушки. Она прижималась губами к бедному обожженному обрубку руки. Он вздрагивал. Она снова целовала. Он вздыхал. Она целовала его в пах, и он смеялся и увлекал ее на постель, в их любимую позу — у них успели образоваться свои привычки. Она клала ему голову на правое плечо, он обнимал ее левой рукой. Так они лежали всегда: это было очень удобно. Вот твое место. Твое тело — моя рука.

Она перебирала его кудрявые волосы, притягивала его голову так, чтобы чувствовать его дыхание. Она касалась его щеки, его красивой щетины. Она влекла его к себе, ее ногти бежали вниз по его спине, щекоча, царапая. (Потом, заглаживая причиненную боль, ладонь скользила

вверх. Их безмятежный покой начинал обретать ритм. Она закидывала ногу ему на бедро, прижимала его к себе. Он стонал и падал в ее тело. Начиналась упорная работа наслаждения: таз движется, кость в ножнах плоти растворяется в чистом падении. Как глубоко. Прикоснись ко мне там, сказала она. Хочу почувствовать там твои губы. И здесь. Глубже. Надавливая, сжимая, она сначала боялась испугать его силой своего желания, он казался слишком хрупким для нее. Но ему нравилось, когда она овладевала им, нравилось, как она переполняла его своими чувствами.

Тело к телу; жидкость к жидкости; внутренность, наполненная, заполненная извне. Он чувствовал, что она поглощает его, он хотел жить внутри нее.

Она закрывала глаза, хотя ничто на свете не доставляло ей большего счастья, чем видеть его лицо, над своим, под своим; видеть, что он чувствует то же, что и она. Она ощущала, как он переполняется и переливается через край. Она никогда не думала, что мужчина способен любить так же, как она. Ей всегда хотелось забыть о своем теле, бросить его в судороги наслаждения, раствориться в чистом ощущении. Но мужчины, она знала, чувствуют не так. Мужчина никогда

не забывает о своем теле, как может забывать женщина, потому что, совершая акт любви, мужчина должен толкать тело вперед. Он отдает акту любви часть своего тела, но потом, по завершении, забирает обратно. Таковы уж мужчины. Но теперь она узнала, что и мужчина способен любить всем телом. Что и мужчина может стонать и льнуть, когда он ложится на нее и пронзает ее. Что он хочет отдаться ей не меньше, чем она хочет отдаться ему. Что не нужно притворяться, будто она испытывает больше удовольствия, чем на самом деле; что он желает ее с той же силой, с какой она желает его. Что они оба пускаются в поход за наслаждением с одинаковой неуверенностью в своем умении это наслаждение дарить и получать, и с одинаковой легкостью, с одинаковым доверием. Что они равны в наслаждении, потому что равны в любви.

Между тем внешний мир жил своей жизнью: неизбывная тайна единовременности. Пока происходит одно, происходит также и другое. И Везувий, и Этна полыхали и дымили. Трио готовилось отойти ко сну. Кавалер в своей постели думал об утонувших сокровищах, о вулкане, о потерянном мире. В другой постели его любимая жена и любимый друг думали друг о друге, пе-

реплетаясь, утопая в полноте удовлетворенного желания. Они нежно целовались. Усни, любовь моя. Усни, повторяет она. Я не могу уснуть, отвечает он, я слишком счастлив. Поговори со мной, просит он. Я обожаю твой голос. Она, не без умысла, начинает пересказывать последние новости из Неаполя: блокада капитана Трубриджа, начавшаяся в конце марта, не слишком эффективна; Христианская армия кардинала Руффо, насчитывающая уже семнадцать тысяч человек, делает удивительные успехи; трудности, связанные с… Под ее голос он засыпает. Герой теперь очень любит спать.

6

Барон Вителлио Скарпиа был человек исключительно жестокий. Пять лет назад королева поручила ему возглавить борьбу с республиканской оппозицией в Неаполе, и барон, словно для назначения на эту должность не было достаточно удовольствия, которое он получал от проведения экзекуций, приобрел репутацию ее любовника. (Кто из ее приближенных в них не числился?) Скарпиа взялся за дело с удивительным рвением. Сицилиец по рождению, к тому же получивший титул совсем недавно, барон ненавидел старую неаполитанскую аристократию. Он горячо поддерживал королеву во мнении, что все аристократы тайно сочувствуют революции. Разумеется, в революционных симпатиях подозревались не только аристократы, но и богословы, химики, поэты, адвокаты, ученые, музыканты, врачи, да все, все, включая монахов и священников — все, у кого было больше двух книг. По оценке Скарпиа, в государстве насчитывалось по меньшей мере пятьдесят тысяч реальных и потенциальных врагов монархии, что составляло примерно десятую часть всего населения.

Столько много? — воскликнула королева, которой приходилось общаться с неотесанным бароном по-итальянски.

Может быть, и больше, — ответил Скарпиа. — Но все они, Ваше величество, под наблюдением.

Тайные осведомители, огромную армию которых набрал Скарпиа, кишели повсюду. Ведь простое кафе могло оказаться местом встреч подпольного клуба якобинцев, пристанищем для дебатов и дискуссий; согласно последним декретам, научные и литературные собрания были запрещены, равно как чтение иностранных книг и журналов. Лекция по ботанике — неплохое прикрытие для передачи друг другу так называемыми слушателями, при помощи взглядов или жестов, революционных сигналов. Спектакль в Сан-Карло — хороший предлог, чтобы надеть алый жилет или распространить республиканские листовки, нелегально где-то отпечатанные. Тюрьмы были забиты самыми уважаемыми — то есть самыми богатыми и наиболее образованными — гражданами королевства.

Пожалуй, это было единственной ошибкой — казнить всего тридцать-сорок заговорщиков. У смертного приговора есть конечный результат — конкретное дело можно закрыть навсегда. А

тюремное заключение — всего лишь срок. Большинство дел Скарпиа пока оставались незакрытыми. Так, маркиз Анжелотти, отбыв на каторге три года за обладание двумя книгами Вольтера (три года полагалось за одну запрещенную книгу, ему следовало бы отсидеть шесть лет!), перенес свою предательскую деятельность в Рим и там включился в борьбу против законного порядка и Церкви. Невзгоды тюремного заключения ничему их не учат! Брату герцога делла ***, впрочем, хватило и короткого срока (шесть месяцев за ненапудренные волосы). Он вышел из тюрьмы психически больным, удалился в фамильный замок, и с тех пор его никто не видел; у Скарпиа среди прислуги имелся информатор, лакей, так тот докладывал, что брат герцога уединился на своем этаже, приказал забить окна и почти все время проводит за сочинением бессмысленных стишков. Но одних преступников выпускают, а их место занимают новые. Скажем, эта придворная дама, португалка, Элеонора де Фонсека Пиментель. Раньше она писала сонеты во славу королевы, а в прошлом октябре показала одному из знакомых новое творение, «Оду Свободе», и у Скарпиа наконец-то появилась возможность убрать ее на два года.

Поэты!

Когда в прошедшем декабре английский адмирал вывез из Неаполя весь королевский двор, Скарпиа остался. На него была возложена обязанность служить глазами и ушами королевы. В черном адвокатском плаще он крадучись бродил по городу, наблюдая, как предсказания королевы сбываются. Маркиз Анжелотти немедленно вернулся из Рима и с ликованием встретил анархию, последовавшую за побегом законного правительства Неаполя. Банда негодяев штурмом взяла Викарию, чтобы освободить кое-кого из обычных преступников.

К несчастью, именно в эту тюрьму он отправил Фонсеку Пиментель. Мерзавка вышла с гордо поднятой головой, без умолку тараторя о свободе, равенстве и правах граждан. Неужто она не видела бандитских рож, которые и освободили-то ее по чистой невнимательности? Они, господа поэты, ученые, либеральные аристократы, уверены, что выступают от имени народа. А у народа совсем другие чаяния. Простой народ любит короля (будучи слишком туп, чтобы любить королеву), он благоговеет перед пропастью, что отделяет его жалкую, рабскую жизнь от непомерной роскоши фривольного двора. Народ, точно так же,

как король с королевой, ненавидит образованных аристократов. Французская армия успешно продвигается вниз по полуострову, а всю вину за это люди, взбешенные побегом короля, валят на аристократов. Что ж, они правы. Да придет мировой пожар. Да очистит он Неаполь от проклятых мятежников, от их атеистических книг, от их французских идей, от бредней ученых и от гуманистических реформ. Барон отдался экстазу мстительных фантазий. Простые люди — свиньи, но они подготовят почву для возвращения королевского правительства. Ему не придется делать всю работу самому.

* * *

Барон Скарпиа был человек исключительно страстный. Он знал много о человеческих страстях, особенно о тех, что приводят к жестокости. Он знал, насколько унижение, причиняемое объекту желания, способно усилить любовное наслаждение, в том виде, как он его понимал. Он знал, что страх — страх перемен, страх перед всем чуждым (неважно, истинно чуждым или кажущимся таковым) и оттого таящим угрозу, — исчезает, если примкнуть к людям, которые стремятся искоренить, подвергают нападкам это

чуждое (но равно и беззащитное); барон встречался с этим повсеместно. Страсть для Скарпиа означала насилие, агрессию. Он не понимал страсти, счастье которой в том, чтобы бежать насилия, самоустраняться. Страсти, подобной коллекционерской.

Как бы ни были многочисленны в высших сословиях новообращенные сторонники идей просвещения, коллекционеров было еще больше, а именно им принять последствия революционного переворота особенно трудно. Независимо от количества прочитанных трудов Вольтера, их имущество есть вложение в старый режим. Революция для коллекционеров — страшное время.

Само понятие «коллекционирование» подразумевает тесную связь с прошлым — в то время как «делать революцию» значит клеймить, отрицать то, что в данный момент называется прошлым. К тому же прошлое очень весомо, равно как и велико. И если падение старого порядка понуждает вас к бегству, вы едва ли сможете унести все свое прошлое с собой — как это случилось с Кавалером. А если приходится остаться, вы едва ли сможете его защитить.

* * *

Вот кое-что из того, что довелось видеть барону.

19 января 1799 года. Проходит всего три недели после побега королевского двора из Неаполя, и с одним из знакомых Кавалера, собратом-коллекционером, случается нечто ужасное. Этот человек, главными увлечениями которого были живопись, математика, архитектура и геология, входил в число самых эрудированных, преданных науке жителей королевства. Он был отнюдь не склонен разделять республиканские симпатии некоторых рафинированных аристократов, своего брата, например; напротив, подобно большинству коллекционеров, он был сугубо консервативен. Собственно говоря, этого коллекционера происходящие перемены отвращали особенно сильно. Он хотел последовать за королем и королевой в Палермо. Но ему отказали. Оставайся в Неаполе, ученый герцог! Посмотрим, как тебе понравится правление безбожников-французов.

Вряд ли французские солдаты страшнее тех банд мародеров, что шатаются сейчас по улицам, подумал герцог, который остался в своем

дворце, чтобы продумать, составить, предложить на рассмотрение план. Но на семейном совете, продлившемся до глубокой ночи 18 января, герцог, который еще не оправился от жестокого катара, председательствовал не так успешно, как хотелось бы. Ветер опасности сломал семейное иерархическое древо. Младший сын герцога кричал на мать. Юная дочь герцога перебивала отца. Герцогиня сердито спорила с мужем и почтенной свекровью. Однако принятое в конце концов решение относительно того, кому из членов семьи следует укрыться от опасности — нет, не будем называть это бегством, — восстановило нарушенный порядок. Герцог и двое его сыновей удалятся — такое слово было использовано, — удалятся на некоторое время на виллу в Сорренто, а герцогиня, их дочь, престарелая мать герцога и его сошедший с ума после тюрьмы брат останутся в городе, в безопасном дворце.

Герцог с сыновьями должен был покинуть столицу на следующий день, после собрания знати, где предполагалось его участие. Чтобы сберечь силы для путешествия, он отправил вместо себя старшего сына, юношу девятнадцати лет. Молодой человек вежливо прослушал великое множество речей, в которых благородные

господа многократно подтвердили свою преданность изгнанной в Палермо монархии Бурбонов, после чего сошлись во мнении, что не остается ничего иного, кроме как приветствовать приход французов: те, по крайней мере, наведут в городе хоть какой-то порядок. В час дня старший сын герцога по непривычно пустым улицам возвратился домой, чтобы рассказать обо всем отцу. Выяснилось, что за четыре часа его отсутствия дядя пытался повеситься, но был вовремя вынут из петли и уложен в постель. Чтобы не допустить повторной попытки самоубийства, к нему приставили троих слуг.

Юношу послали за дядей, велев привести его, прямо в ночной сорочке, к обеду. Когда несчастного стали осторожно усаживать в кресло, вошел мажордом с известием, что у входа во дворец собралась толпа, требующая герцога. Не слушая возражений жены и матери, герцог в сопровождении одного только секретаря отправился вниз, чтобы лично поговорить с пародом. Около дворца толпилось около полусотни бронзоволицых людей, среди которых герцог узнал торговца мукой, своего парикмахера, продавца воды из Толедо и колесного мастера, чинившего его кареты. Торговец мукой, очевидно, главный зачинщик этой

заварухи, заявил, что они явились сюда с намерением прервать банкет, который герцог дает в честь своих друзей-якобинцев. Герцог мрачно улыбнулся. Дорогие посетители, вы ошибаетесь. Здесь только я и моя семья, и это не банкет. Мы обедаем.

Торговец мукой снова потребовал, чтобы их пустили во дворец. Это невозможно, сказал герцог и повернулся, собираясь удалиться. Тут людской поток, размахивающий палками и бряцающий ножами, подхватил герцога и, отбрасывая в стороны слуг, хлынул вверх по лестнице. Семья герцога, за исключением пребывавшего в ступоре безумного брата, который остался сидеть за столом, кроша в руках кусок хлеба, бросилась на верхний этаж. Обоих братьев выволокли из дворца. Нескольких мужчин отправили стеречь семью герцога, а остальные приступили к грабежу.

Люди шли из комнаты в комнату, срывая со стен картины, распахивая сундуки и шкафы, опустошая ящики, вываливая их содержимое на пол. И дальше, дальше; из картинной галереи, где находилась большая часть роскошной пинакотеки герцога, в библиотеку, вмещавшую и мириады ценнейших документов, и превос-

ходную, собранную сто пятьдесят лет назад выдающимся предком, кардиналом, коллекцию редких книг и бесценных манускриптов, и огромное число современных трудов; в кабинет, где за стеклами шкафов хранилась коллекция минералов; в химическую лабораторию с множеством приспособлений; в мастерскую, где герцог, владевший искусством часовщика, отдыхал от ученых занятий. Окна верхних этажей были распахнуты, и вниз, во двор, летели картины, статуи, книги, бумаги, инвентарь, инструменты. Мародеры тем временем вытаскивали из дворца дорогую мебель, посуду, белье и убегали. Постепенно сняли и унесли двери, окна, перила балкона, балки.

Прошло несколько часов, было роздано огромное количество взяток, и семье герцога, после того, как всех обыскали и убедились, что они не прикарманили ничего из своего имущества, позволили покинуть дворец. Мольбы отпустить также герцога и его брата были встречены глумлением. Отпустите хотя бы моего больного сына! — вскричала старая герцогиня. Нет. — Дайте хотя бы попрощаться с отцом! — вскричала юная дочь герцога. Нет. — Разве сами вы не мужья, не отцы, не сыновья? — кричала жена герцога.

Неужели у вас нет жалости? — Да — ответ на первый вопрос. На второй: нет.

Плачущих домочадцев герцога вывели через заднюю дверь и вытолкали на улицу.

Все это время герцога и его брата, дрожащего от холода в ночной рубашке, держали под стражей в конюшне. Потом во дворе разожгли огромный костер, братьев вывели и привязали к стульям, так, чтобы они могли наблюдать за происходящим.

Всю вторую половину дня бандиты жгли их имущество. Рафаэль, Тициан, Корреджо, Джорджоне, Гуэрчино и все остальные шестьдесят четыре картины — в огонь. Книги, исторические, научные труды, книги о путешествиях, книги по искусству и технике; полные собрания Вико, Вольтера и д'Аламбера — в огонь. В ревущий костер то, что не горит: коллекцию везувианских камней — из пламени вышли и в пламя обратятся. Изящные часы, маятники, компасы, телескопы с платиновыми зеркалами, микроскопы, хронометры, барометры, термометры, одометры, графометры, эхометры, гидрометры, спиртометры, пирометры — разбиты и плавятся. Стало темнеть. Костер все горел. Настала ночь. Вышли звезды. Сожжение продолжалось. Брат герцога некоторое время кричал, умоляя его

развязать, потом уснул. Герцог смотрел в огонь, глаза ел дым. Он захлебывался кашлем, но молчал. Когда бросать в костер стало нечего, бандиты окружили братьев и начали выкрикивать им в лицо оскорбления. Якобинцы. Французские подстилки. Потом несколько человек набрались храбрости и схватились за них, сначала за герцога. С него стащили башмаки и чулки и грубо развязали веревки, которые связывали за спиной его руки, чтобы снять шелковый сюртук, жилет, шейный платок и сорочку. Пока с него стаскивали одежду, герцог извивался, не для того, чтобы помешать, скорее наоборот, чтобы помочь и как можно скорее вновь принять неподвижную, гордую позу, единственное, чем он мог ответить на оскорбление. С обнаженным торсом, он снова поднял голову. До сих пор он не издал ни звука.

Больше куража — больше жестокости. Бочку дегтя, стоявшую в углу двора, подкатили ближе к огню. Несколько человек деревянными мисками зачерпнули из бочки обжигающий деготь и плеснули в брата герцога. Тот проснулся с воплем, отдернув голову, точно в него выстрелили. Потом его действительно застрелили. Тело отвязали и перевалили в костер. Герцог закричал.

* * *

Кто-то наблюдал за происходящим от ворот: человек в черном плаще и красивом пудреном парике и по обе стороны от него несколько солдат в форме муниципальной гвардии. Те среди толпы, кто заметил человека в черном, даже не узнав его, испугались.

Человек в черном неотрывно смотрел на герцога, не на лицо, а на бледный, тяжелый живот, вздувающийся, содрогающийся от рыданий. Ступни герцога были красны — ему прострелили обе ноги, — но он все равно сидел на стуле очень прямо, снова со связанными за спиной руками.

Ни человек в черном, ни его охрана в происходящее не вмешивались. Но мучители герцога замерли в нерешительности. Они, казалось, понимали, что никто не собирается их останавливать, и все же не были уверены, можно ли продолжать. Человека в черном боялись все — все, кроме цирюльника, служившего у него осведомителем.

Цирюльник, с бритвой в руке, вышел вперед и отрезал герцогу уши. Как только те отделились от головы, нижнюю часть лица герцога закрыл фартук крови. Толпа завопила, пламя затрепетало, человек в черном замычал от удовольствия

— и ушел, так что трагедия завершилась уже без него.

* * *

Вы видели, когда я ушел? — спросил Скарпиа на следующий день в таверне около гавани у одного из бандитов, своего наймита. — Что было потом? Он был еще жив?

Да, — ответил наймит. — Да, я же и говорю. Он кричал, и кровь бежала вниз по лицу и по голове.

То есть он был еще жив?

Да, милорд. Но знаете, как бывает, когда пот течет по груди…

(Наймит работал носильщиком портшеза и благодаря своей профессии был особенно хорошо знаком со всеми капризами потоотделения.)

…знаете, когда пот стекает по груди, он иногда собирается посередке…

(Безупречно одетый барон не знал; но продолжайте…)

…понимаете, кровь вот точно так же собиралась посередке, а он все старался сделать так, чтобы она стекла.

Носильщик портшеза прервал рассказ, чтобы показать, как это было: опустил подбородок на

грудь и, собрав губы в куриную гузку, принялся дуть на место воображаемого скопления крови над складкой жира, опоясывавшей его талию.

Он дул, — сказал носильщик. — Понимаете? Дул и дул. Сдувал. И больше ничего. Хотел, чтобы кровь стекла вниз. Потом один из наших решил, что он пытается воспользоваться каким-то заклятием, дует на себя, чтобы исчезнуть, и снова В него выстрелил.

И тогда он умер?

Почти. Он же потерял столько крови.

Значит, он еще был жив?

Да. Да. Потом еще больше наших бросилось на него, с ножами. Один разрезал ему штаны спереди и отрезал… ну, вы понимаете, и поднял вверх, показал ребятам. А потом мы запихали тело в бочку с дегтем и бросили в огонь.

* * *

Когда весть о гнусном преступлении достигла Палермо, Кавалер пришел в ужас и надолго замолчал. Ему нравился герцог, и он восхищался его собраниями. Многие уничтоженные вещи были уникальны. Кроме картин, у герцога имелось несколько неопубликованных работ плодовитого Афанасия Кирхера. И еще, вспомнил Кавалер,

рукопись — Кавалер опасался, что это был единственный экземпляр, — автобиография его друга Пиранези. Какая потеря. Лицо Кавалера исказилось. Какая невосполнимая потеря.

В течение многих дней жена Кавалера и Герой ни о чем другом не могли говорить. В судьбе герцога и его брата им виделось свидетельство предрасположенности любой неорганизованной толпы к возвращению в дикое состояние, а также необходимость защитить святость имущества, имущества привилегированных. Подобные убеждения разделял и Кавалер, но он рассуждал на эти темы менее многословно, менее яростно. Разумеется, коллекция — не просто особенная и особо уязвимая форма собственности, а нечто куда большее, но горе коллекционера никто не способен понять, разве что другие коллекционеры. А с уязвимостью плоти и общественною положения Кавалер уже почти полностью смирился.

Королева не испытывала ни горя, ни возмущения. Длинный отчет о кровавой расправе над герцогом, его братом и другими аристократами, попавшими в руки бандитов, который был составлен ее доверенным лицом в Неаполе, королева читала, когда пила чай со своим доверенным лицом здесь, в Палермо. Закончив читать, она

передала письмо Скарпиа жене Кавалера. Je crois que le peuple avait grandement raison,[18] сказала королева.

Даже жену Кавалера передернуло.

Жена Кавалера не любила Скарпиа. Его никто не любил. Но она, как и всегда, старалась смотреть на вещи с точки зрения королевы. А королева объяснила дорогой подруге, что вот она не доверяла князю Пиньятелли, регенту, которого они назначили перед отъездом, — и оказалась права, и очень скоро получила доказательства своей правоты, когда всего через пару недель Пиньятелли сбежал из города. Этому калабрийцу, кардиналу Руффо, который готовится вернуться и организовать тайное сопротивление французам, королева тоже не доверяет. Но барону Скарпиа я верю, сказала она жене Кавалера.

Vouz verrez, ma chère Miledy. Notre Scarpia restera fidèle.[19]

* * *

В дни, последовавшие за убийством герцога

---

[18] Примечания: 18
Думаю, эти простолюдины очень даже правы *(фр.).*

[19] Примечания: 19
Вы увидите, дорогая миледи. Наш Скарпиа останется нам верен *(фр.).*

и его брата, банды простолюдинов продолжали крушить и грабить дома аристократов, а патриоты, как они себя называли, укрылись в морской крепости Ово, из бойниц которой по ночам были видны костры французских лагерных стоянок за городом. Когда армия генерала Шампьоне вошла в Неаполь, Скарпиа ушел в подполье. Поэтому он не мог представить королеве свидетельства очевидца о тех трех днях, в течение которых между местным населением и французскими солдатами шло кровопролитное сражение, и о том моменте, когда над королевским дворцом водрузили триколор, а из крепости хлынули революционеры.

Укрытие в келье епископа, одного из его осведомителей, было надежным. Хотя, конечно, абсолютно надежных укрытий не бывает; сам бы он сумел себя выследить (зная, где дать взятку, а где применить пытку). В том, что революционеры его разыскивают, он не сомневался. Разве не он несет ответственность за смерть тех, кто чересчур поспешно решил стать заговорщиком? Разве не он преследовал многих из нынешних республиканских лидеров? Юристы, ученые, лишенные сана священники, профессора математики и химии — имена двадцати пяти человек, назначенных французским генералом во временное

правительство, этих космополитов и мятежников, которых Скарпиа под любым предлогом отправлял за решетку, звучали как тюремная перекличка. Впрочем, они, кажется, не знают, где его искать. Не испытывая страха, Скарпиа чувствовал, что с каждым днем его ядовитая сущность все больше разжижается утомительными «я всегда знал» и «но никак не ожидал» епископа, а также, не в последнюю очередь, непривычным целибатом. В первый раз, когда он вышел на улицу, чтобы найти женщину, барон был уверен, что его узнали. Во второй раз, после того, как он постоял в толпе зевак, наблюдавших за посадкой большой сосны перед бывшим королевским дворцом, эта уверенность несколько уменьшилась. Барон провел еще несколько дней у епископа, а затем отправился домой, написал длинное донесение королеве и стал ждать ареста. Ждал он долго. Похоже, его враги были слишком великодушны, чтобы опускаться до мести.

Теперь он просто выжидал. А воспитанники мнимого просвещения нацепили нелепо болтавшиеся фригийские колпаки, начали обращаться друг к другу «гражданин» и произносить речи, поснимали королевские гербы, рассадили по всем городским площадям идиотские Деревья

Свободы и созвали комитет, чтобы составить конституцию на манер французской. Мечтатели. Они еще увидят. Он-то им отомстит.

На что всегда можно рассчитывать — так это на доверчивость идеалистов. Смело идут они вперед, не сомневаясь, что следом идут люди, но вдруг оборачиваются — а сзади никого. Толпа растерялась по дороге, разбрелась в поисках еды, вина, секса, сна, хорошей драки. Толпа не любит идеализма. Толпа желает либо драться, либо разойтись. А якобинствующие господа и дамы с их сентиментальными идейками о свободе и справедливости думают, что сумеют дать народу то, чего он хочет, или то, что для него хорошо. Это одно и то же, как они полагают в своей высокопарной naiveté.[20] Нет, хлыст и неустанное, пафосное прославление государства и церковной власти — вот что нужно народу. Разумеется, профессора и либеральные аристократы уверены, что понимают потребность простых людей в пышных зрелищах, и даже собираются устроить праздник прославления Богини Разума. Разума! Скажите, пожалуйста! Неужели они и правда ждут, что народ станет любить разум — Разум

---

[20] Примечания: 20
Наивности *(фр.).*

— больше короля? Неужели надеются, что люди примут навязанный декретом новый календарь с переведенными на итальянский язык названиями французских революционных месяцев?

С радостью для себя Скарпиа отметил, что республиканцам скоро пришлось понять: взятых взаймы ритуалов и терминов недостаточно, чтобы добиться лояльности темных народных масс. Первым признаком возвращения к реальности стала статья в революционной газете, которая выпускалась под редакцией Элеоноры Фонсека де Пиментель, о чрезвычайной значимости для дела революции успешного проведения знаменитого, ставившегося раз в два года, городского миракля. Но такое откровенное снисхождение к верованиям народа как раз и показывало, что узники Разума страшно далеки от понимания того, как нужно этим народом управлять. Скарпиа, изувер и умнейший из манипуляторов, знал: стоит перестать говорить о вере и начать говорить о религии — и того хуже, о роли религии в поддержании порядка и управлении общественной моралью, — как вера самым серьезным образом дискредитируется, а истинная власть Церкви ставится под сомнение. Значение религии! Это тайна, и о ней ни в коем случае нельзя говорить

публично. Какие же они простодушные!

И какие беспомощные. Ведь традиции, ритуалы, всяческие местные знамения, способные встревожить или, наоборот, успокоить суеверный народ, им неподвластны. Взять хотя бы чудо превращения в жидкость запечатанной в ампулу засохшей крови святого. Республиканцы боятся, что королевский архиепископ, дабы показать, что город лишился покровительства небес, позаботится испортить миракль, и они правы. А уж Везувием, этим знамением на все случаи жизни, этим высшим выражением силы и независимости природы, управлять и подавно невозможно. Правда, последнее время гора ведет себя прилично. Республиканцы очень рассчитывали, что, даже если Сан-Дженнаро придержит свое благословение, от внимания людей все-таки не ускользнет тот факт, что гора явно поддерживает патриотов. Вечером, во время фейерверка в честь провозглашения республики, Везувий, спящий с 1794 года, вдруг начал выбрасывать фонтаны мирного пламени, очевидно, радуясь вместе со всеми, писала эта дама, Фонсека. Поэтические бредни! Но убедить в чем-то народ отнюдь не просто. Зато его всегда можно запугать, заставить испытывать страх сильнее того, что они уже

испытывают. Какая жалость, думал Скарпиа, что извержение нельзя вызвать. Сильное извержение. И прямо сейчас.

Куда уместнее было обращение королевы к вере народа. Она поручила своей ближайшей конфидентке и товарищу по ссылке, жене британского министра, заняться распространением пакетов с фальшивыми республиканскими прокламациями, которые сама же и сочинила.

ПАСХА ОТМЕНЯЕТСЯ!

ПОКЛОНЯТЬСЯ СВЯТОЙ ДЕВЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ДЕТЕЙ КРЕСТИТЬ В ВОЗРАСТЕ СЕМИ ЛЕТ!

БРАК СВЯТЫМ НЕ СЧИТАЕТСЯ!

Англичане должны только подбросить это в Леггорне в почтовые мешки, предназначенные для отправки в Неаполь, сказала королева подруге. Кавалер, узнав от жены об этой затее, поинтересовался, считает ли королева, что англичане, а именно лично он, должны также оплатить почтовые расходы. Нет, нет, ответила жена, королева заплатит сама, из своего кошелька. Интересно, сколько листков дойдет до

моста назначения, сказал Кавалер. О, королеве безразлично. Она говорит, что сколько-нибудь да дойдет. Так и вышло: Скарпиа видел, как их передавали из рук в руки. Он не сомневался, что льстивые обращения к народу, призывы к борьбе были бы менее убедительны, чем простое запугивание. Смотрите, люди, что уготовили для вас посланцы французского Антихриста! Для воздействия на людей обеспеченных более действенным средством были взятки: королева из собственных средств посылала Скарпиа огромные суммы, чтобы с их помощью поддерживать монархические убеждения тех аристократов, которым могло показаться, будто у них нет другого выбора, кроме сотрудничества с мнимыми патриотами.

Эта детская сказочка, революция, была обречена с самого начала. Скарпиа прекрасно видел, что патриоты, хотя и знали, что оружие в руки взять придется, не понимали решающей роли насилия в государстве. Их конституция говорила воинственным голосом Древней Греции и Рима, но сами они не имели ни малейшего представления о том, как создать не то что армию, хотя бы народное ополчение. И что это за полиция, думал бывший глава тайной полиции Неаполя,

гражданская полиция? Никакая это не полиция. На самом деле, их революция совершенно беззащитна.

* * *

Увы, предсказания Скарпиа оказались верны.

Революция в столице, произошедшая по инициативе представителей привилегированных классов, которые не имели поддержки ни со стороны крестьян, ни со стороны горожан, еще больше обедневших после бегства прежнего правительства, переноса столицы в другой город и потери доходов от туризма… Революция, которую возглавляли благородные и щепетильные, не только неохотно применявшие силу для подавления недовольства среди населения, но и лишенные властолюбия, не видевшие смысла в укреплении государственной машины… Революция, которой постоянно угрожало военное вторжение, главный город которой окружало кольцо морской блокады (отчего еще больше усиливалась нехватка продовольствия)… Революция, против которой боролась огромная империя контрреволюции, поддерживаемой правительством в изгнании… Революция, которую защищали оккупационные войска (их

горячо ненавидело местное население) державы противника, завоевавшей весь континент… Революция, которая встретила в сельских местностях серьезное партизанское сопротивление, финансируемое правительством в изгнании и возглавляемое известным émigré grande[21]… Революция, потенциальных сторонников которой развращали огромными деньгами, нелегально ввозимыми из-за границы; революция, которой мешала развернутая правительством в изгнании кампания по дезинформации, убеждавшая простых людей в том, что они могут лишиться любимых традиций и обычаев… Революция, обездвиженная тем, что ее лидеры, вполне осознающие необходимость экономических реформ, делятся на радикалов и умеренных, причем ни одни, ни другие не способны взять верх… Революция, которой не хватает времени осмыслить все эти проблемы.

Такая революция обречена. В сущности, она и разыгрывалась по классическому сценарию — впервые разработанному il то десятилетие и с тех пор многократно использовавшемуся — *обреченной революции.* Революции, которую

---

[21] Примечания: 21
Знатный эмигрант *(фр.).*

историки назовут наивной. Верной по замыслу. Но идеалистической. Преждевременной. Это был переворот, который идеализирует для некоторых само понятие революции; а для всех остальных лишний раз подтверждает, что правление, которое не занимается репрессиями, нежизнеспособно.

Конечно, будущее докажет правоту патриотов. Будущее возведет обреченных лидеров Везувианской республики в ранг героев, мучеников, провозвестников. Но будущее — это другое государство.

А в том единственном государстве, какое было у революционеров, царили голод и немыслимые беспорядки. Едва ли можно сказать, что революционному правительству досталась ПО наследству сбалансированная экономика. Импортировать приходилось все — за исключением основной продукции королевства: шелковых чулок, мыла, табакерок из черепахового панциря, мраморных столиков, орнаментированной мебели и фарфоровых статуэток. Шелковые и керамические фабрики предоставляли оплачиваемую, но очень тяжелую работу лишь отдельным счастливчикам, много было слуг и мастеровых, но подавляющее большинство городского на-

селения привыкло существовать на доходы от нищенства, воровства, а также на чаевые от лакейских услуг вельможам и путешественникам. Со времени вступления Бурбонов на трон в 1734 году в стране начался строительный бум; возведение новых общественных зданий, церквей, театров, дворцов и вилл для богатых граждан было одним из немногих постоянных источников трудовой занятости, но теперь, когда король с королевой опустошили казну и государство осталось без денег, финансовая поддержка строительства прекратилась. Также зачах и туризм (кто поедет в Гранд-тур по революции?). Цены на продовольствие взлетели неимоверно. Работы не было практически ни у кого.

Те лидеры нового правительства, которые не были настолько наивны, чтобы полагать, что для управления государством достаточно образовательных реформ, ясно видели необходимость искоренения коррупции — а точнее, рациональной реорганизации общества с помощью юридической науки. Разрыв между взглядами радикалов и умеренных ширился: умеренные считали необходимым ввести налоги для богатых и урезать льготы для церкви, а радикалы настаивали на отмене титулов и полной кон-

фискации имущества церкви и аристократов. Когда один из правительственных комитетов предложил для пополнения пустой государственной казны проводить общественные лотереи, идею отвергли как несуразную, непрактичную и аморальную, причем последний эпитет был высказан Фонсекой Пиментель на страницах ее газеты. Единственной революционной задачей, ни у кого не вызывавшей возражений, было образование народа и его обращение в республиканскую веру — то есть пропаганда. Толедо, Чиайя и другим главным улицам города были присвоены новые, возвышенные названия: Скромность, Молчание, Умеренность, Торжество. Фонсека Пиментель предложила издавать для населения правительственный вестник и альманахи на неаполитанском диалекте. Она же написала статью о необходимости театральных и оперных реформ. Народу нужны более назидательные, чем раньше, кукольные представления на открытом воздухе о проделках их Пульчинелл, а для образованного класса в Сан-Карло — переименованном в Национальный театр — должны ставиться оперы на аллегорические сюжеты, подобные тем, что идут во Франции: «Триумф разума», «Жертва на алтарь Свободы», «Гимн Выс-

шему Существу», «Республиканская дисциплина» и «Преступления старого режима».

Вся затея продлилась пять месяцев. Пять переименованных месяцев: пьовозо (дождливый), вентозо (ветреный), джермиле (бутонный), фьориле (цветущий) и пратиле (луговой)…

Первые случаи сопротивления были отмечены в дальних деревнях и маленьких городках — в стране имелось более двух тысяч деревенских поселений и городков. Столичные патриоты были потрясены беспорядками и снова объединились в комитет, чтобы обсудить планы экспроприации крупных имений и раздачи их безземельным крестьянам.

Новости становились все более тревожными. Направленные в провинции войска республиканцев оказались не способны противостоять небольшим отрядам англичан, которые высаживались с фрегатов на берег. Самозванная Христианская армия Руффо брала деревню за деревней. К этому времени в ее ряды вступили тысячи заключенных, которых королевским указом освободили из тюрем Сицилии и на английских кораблях перевезли на побережье Калабрии. Республиканское правительство, осаждаемое извне и одновременно вынужденное бороться с

возрастающим недовольством и гражданскими беспорядками в Неаполе, постаралось бросить все силы на завоевание умов и сердец простых людей.

Вспыхивали продовольственные бунты. Все больше и больше французских солдат попадало в засаду. По ночам на городских площадях горели Деревья Свободы.

Дерево Свободы — растение искусственное, писал королеве Скарпиа. Оно не пустило здесь корней, а потому его не нужно и вырывать. Его уже и сейчас усиленно раскачивают верные подданные Вашего величества, а без защиты французов, как только враг отступит, оно упадет само по себе.

В мае Франция, проигравшая ряд сражений Второй Коалиции, недавно сформированной на севере Италии, вывела войска из Неаполя. Английские фрегаты взяли Капри и Ис-кью. Несколько недель спустя в Неаполь ворвались кардинал Руффо и его армия недовольных крестьян и деревенских бандитов. Они слились с толпами ушлой городской бедноты, и под лозунгами вроде «У кого есть чего украсть, тот якобинец» устроили немыслимый разгульный праздник зверств и мародерства. Богатых настигали в особняках,

молодых студентов-медиков, симпатизирующих республиканцам, — в больницах, прелатов, проповедовавших свободу вероисповедания, — в церквях. Около пятнадцати тысяч патриотов снова сумело укрыться в морских крепостях Ово и Нуво.

Толпа текла по улицам, проникая во все поры города, засасывая в свое смертоносное нутро всякого, кто к ней не принадлежал. Толпа охотилась, вынюхивала тех, кто был явно отмечен печатью якобинства (помимо имущества, которое стоило красть): скромно одетого человека с ненапудренными полосами, людей в брюках, в очках, людей, которые осмеливались ходить по улицам одни или начинали паниковать при виде хлынувшей из-за угла толпы. И еще: у всех патриотов мужского пола на бедре обязательно вытатуировано Дерево Свободы! Всех, кого сразу не убили или не ранили серьезно, раздевали и вынуждали, на потеху одетой толпе, шествовать дальше голыми и терпеть насмешки и оскорбления. А то, что ни на ком из раздетых не оказалось татуировки, не имело для погромщиков ни малейшего значения. Все равно они так и напрашивались на щипок, пинок, оскорбление! Толпа громогласно упивалась травлей. Вон идет якобинец! Дайте-ка

поглядеть на его татуировку! Женщина на телеге, связанная, верхняя часть обессилевшего тела едва прикрыта простынкой, грубым подобием античного платья: скажите-ка, Богиня Разума!

Толпа пытает не так, как Скарпиа. Настоящий палач в своей работе руководствуется правилом: чтобы боль возымела нужное действие, жертва должна быть в сознании. Толпа же бывает довольна и тогда, когда жертва уже в обмороке. Толпе доставляет удовольствие воздействие тела на тело, а не тела на разум.

Швырнуть в окно камень, сдавить рукой запястье, с размаху треснуть палкой по затылку, вонзить в мягкую плоть лезвие или пенис, выбросить в канаву или засунуть в нагрудный карман ухо, нос, ступню. Ударить, втоптать, застрелить, задушить, избить, забить камнями, посадить на кол, повесить, сжечь, расчленить, утопить. Полный спектр способов человекоубийства, цель которого много шире, чем просто возмездие или выражение возмущения. Месть деревни городу, необразованных образованным, бедных богатым — нет, этого мало для объяснения той глубинной энергии, которую высвобождает хаос насилия. Река крови и слез, затапливающая, уносящая, поглощающая революцию, представляет собой

угрозу и для реставрируемого режима. Ибо в ней есть нечто, подобное самой природе — которая, как известно, не думает, не блюдет своих интересов, не выносит предвзятых суждений. Поэтому раньше, чем эта энергия исчерпает себя сама, ее должны обуздать те, кто выпустил ее на волю.

Руффо пришел в ужас от бойни, которую сам же и развязал. Он, естественно, предполагал, что без грабежей, избиений, изнасилований, увечий не обойтись — но не в таких же масштабах! Он совсем не собирался допускать массовых убийств, забивания дубинками, резни, расстрелов, а также сожжения нескольких тысяч городских жителей, каждого из которых, благодаря их рангу и знатности, он не мог не воспринимать как личность. Он не рассчитывал на такое количество изнасилований. А тем более на каннибализм. Он не мог заранее представить себе погребальные костры из мертвых или умирающих людей, вонь горелого человеческого мяса, жуткий пир двух мальчиков, обгладывавших белые руки и ноги герцогини, чьим духовником и любовником он когда-то был. Пора обуздать стихию. Последним делом роялистских орд Руффо перед тем, как кардинал приказал прекратить убийства и грабежи, стал набег на королевский дворец, откуда

вынесли все. Даже свинцовые переплеты окон.

* * *

Настал момент, когда господа должны были взять на себя правое дело, импульсивно, но слишком яростно начатое народом. И довести его до конца, не уклоняясь от исполнения долга.

Когда в Палермо пришла весть о выводе французских поиск и об отступлении патриотов в их Масаду, королева выразила опасение, что кардинал Руффо не сможет проявить по отношению к мятежникам той необходимой, решительной суровости, какой заслуживают их преступления. Королева призвала во дворец Героя и попросила его отправиться в Неаполь, чтобы принять безоговорочную капитуляцию повстанцев и от имени короля восстановить справедливость — а точнее, определить наказание. Королева говорит, что вам следует поступать с Неаполем так, как если бы это был ирландский юрод, позволивший себе поднять такое же восстание, перевела жена Кавалера с французского на английский для Героя, остававшегося моноглотом.

Вот как, — сказал Герой.

Год назад в Ирландии случилась своя, навеянная французской, революция, и основательность,

с какой англичане ее подавили, произвела на королеву неизгладимое впечатление.

Разумеется, было немыслимо, чтобы на выполнение благородной миссии Герой отправился без помощи, совета и языковых навыков Кавалера и его жены.

Жене Кавалера предоставлялась идеальная возможность доказать свою незаменимость как королеве, так и обожаемому ею мужчине. Для Кавалера это была обязанность, которой нельзя пренебречь. Но ему не хотелось испортить прекрасные воспоминания о Неаполе. Он очень рассчитывал, что не увидит разрухи, которая, как докладывали, постигла город. Мы можем заставить себя спокойно, лишь чуть морщась, смотреть на ту знаменитую картину, где с Марсия сдирают кожу, или, не теряя самообладания (особенно если мы не женщины), любоваться красочным изображением изнасилования сабинянок — это канонические живописные сюжеты. Пиранези тоже изображал самые изощренные пытки, которым подвергаются заключенные во всех камерах огромных тюрем. Но совсем другое дело — присутствовать при настоящем сдирании кожи или массовом изнасиловании в Неаполе, видеть страдания тысяч людей, израненных,

переживших унижения и пытки воинственной толпы, запертых в душных амбарах, лишенных еды, вынужденных спать в собственных экскрементах.

20 июня, перевесив свой флаг с искалеченного «Вангарда» на восьмидесятипушечный «Фоудройант», Герой во главе эскадры из семнадцати парусников (на три больше, чем было под его командованием в Нильском сражении) вышел из Палермо. Через четыре дня флагманский корабль вошел в Неаполитанский залив. Марс, в парадном мундире, при всех регалиях, расхаживал по шканцам рядом со своей Венерой, одетой в платье из тонкого белого муслина с длинным поясом с кисточками, в широкополой шляпе с лентами и страусовыми перьями. Кавалер, дремавший в каюте, почувствовал, как содрогнулся корпус, когда якорь «Фоудройанта» сквозь все тридцать саженей бирюзовой морской воды упал на дно. Удивительно спокойное путешествие, — изрек он, присоединившись к жене и другу. Перед ним открывалась милая сердцу география, знакомые очертания великолепного города — если не считать некоторых деталей. В городе еще не догорели пожары. Над Ово и Нуво развевались белые флаги. Увенчанный плюмажем Везувий

добродушно дымил. Кругом — ни одного французского корабля.

На следующий день Герой в Большой Каюте — так называлась его штаб-квартира в задней части корабля — принял Руффо и через посредство Кавалера уведомил кардинала, что отныне он, Герой, будет представлять в Неаполе оставшихся в Палермо монархов. Руффо принялся доказывать необходимость остановить кровопролитие и восстановить порядок. Скоро встреча, начавшаяся как церемонная беседа, превратилась в состязание по крику. Кавалер хорошо знал Руффо и не менее хорошо знал своего друга, он мог бы успокоить обоих. Но в помещении было так жарко, что его зашатало — жена и Герой уговорили его пойти к себе. Поэтому, когда Руффо стал объяснять, какой договор он заключил с патриотами, забаррикадировавшимися в морских фортах, обязанности переводчика исполняла жена Кавалера. Как и опасалась королева, капитуляцию кардинал принял с оговорками. Мятежникам было обещано, что им дадут несколько дней на приведение своих дел в порядок, а затем предоставят беспрепятственный проезд в сельскую местность, на вечное поселение. В гавани стояло четырнадцать транспортных кораблей, и мно-

гие из повстанцев были уже на борту вместе с домочадцами и имуществом. Первый корабль, полностью загруженный, должен был отплыть в Тулон завтра на рассвете.

Руффо стоял молча, когда британский адмирал, подняв глаза от письменного стола, попросил жену Кавалера перевести кардиналу, что, после прибытия в город британского флота, договор полностью аннулируется. Кардинал запротестовал, что договор уже подписан и ратифицирован обеими сторонами, но Герой, дернув обрубком руки, сказал, что, если Руффо будет настаивать на выполнении договора, он прикажет его арестовать. Затем Герой отдал приказ взять транспортные корабли, заковать в цепи повстанцев и отправить их в тюрьму, где им предстоит ожидать скорого наказания за свои преступления. Потом он вызвал капитана Трубриджа и велел послать войска, чтобы отбить у французов их последние оплоты в Сан-Эльмо, Капуе и Гаэте.

Мы должны подать пример, — позднее сказал Герой Кавалеру.

Подать пример означает проявить безжалостность — это Кавалер знал.

Первым примером выпало служить адмиралу Караччьоло. В начале марта он вернулся в Неа-

поль и предложил свои услуги республиканцам, а после прихода армии Руффо и падения республики укрылся в одном из своих загородных поместий. Герой приказал Руффо доставить к нему адмирала; кардинал отказался. Мы ожидаем новостей относительно Караччьоло; он будет казнен сразу же, как только его схватят, писал Кавалер в министерство иностранных дел.

Кавалер с трудом признал в переодетом в крестьянскую одежду старике с серым лицом и длинной бородой сорокасемилетнего неаполитанского князя и адмирала. Английские солдаты на следующий же день насильно вывезли его, в кандалах, из поместья в город и сразу доставили на борт «Фоудройанта» к главнокомандующему.

Караччьоло "надеялся, что его положение — а он принадлежал к одной из самых старинных, знатных и патриотически настроенных семей королевства — и беспорочная, в течение нескольких десятилетий, служба на благо династии Бурбонов будут приняты во внимание. Кроме того, его добрые друзья, британский министр и супруга, непременно замолвят за него словечко перед доблестным победителем Нильского сражения. Он и помыслить не мог, что не будет никакого суда, никакого адвоката, никаких сви-

детельских показаний и что приговором ему станет позорная смерть, достойная разве что простого матроса. Напрасно Караччьоло просил о настоящем суде (нет), умолял, чтобы ему разрешили представить свидетельства в свою защиту (нет), чтобы его расстреляли (нет). Кавалер, сидевший в Большой Каюте и составлявший очередную депешу, не мог и представить, что все произойдет так быстро. Иногда события развиваются настолько стремительно! Казалось, прошло всего несколько минут с того момента, когда Караччьоло уволокли з соседнюю каюту на пародийное заседание трибунала, созванного по приказу Героя. Как только приговор, которого потребовал Герой, был вынесен, Кавалер отозвал друга к длинному окну с видом на залив и сказал, что, наверное, будет лучше соблюсти традиции и отложить исполнение приговора на двадцать четыре часа. Герой кивнул и вернулся к столу. К нему подвели Караччьоло, с низко опущенной головой. Приговор привести в исполнение немедленно, отчеканил Герой. Живой труп Караччьоло — пот лился у него из подмышек — вытолкали на палубу, заставили спуститься в небольшую шлюпку и переправили на сицилийский фрегат. Там его втащили на борт и повесили. По приказу

английского адмирала тело неаполитанского адмирала весь вечер болталось на нок-рее. И только когда около девяти вечера июньское солнце село, Герой распорядился перерезать веревку, привязать к ногам преступника железный балласт и, ни во что не оборачивая, утопить труп в море.

По военным законам Герой не имел права ни отменять договор Руффо с повстанцами, ни похищать и казнить старшего морского офицера, подданного династии Бурбонов, ни даже брать его на борт английского корабля в качестве пленника; но это была не война. Это было справедливое возмездие.

Жаль, что мы не можем повесить Руффо, — воскликнул Герой, обращаясь к Кавалеру. Кавалер посоветовал проявить благоразумие. Но в крепостях и государственных тюрьмах томилось множество заключенных, по меньшей мере двадцать тысяч; их дела нужно было рассмотреть и разобраться, кто из них заслуживает наказания. Следом за линчеванием идет узаконенное убийство, а это подразумевает огромное количество бумажной работы. Жена Кавалера сидела в Большой Каюте за отдельным письменным столом рядом со столом адмирала и составляла списки заключенных, чтобы представить их на

рассмотрение королеве.

Мы возвращаем счастье неаполитанскому королевству и делаем доброе дело для миллионов людей, написал Герой оставленной в Палермо миссис Кэдоган, касательно того, что, согласно приказам из его морской штаб-квартиры, творилось в городе в июне 1799 года. Ваша дочь чувствует себя хорошо, но она очень утомлена тем, чем все мы вынуждены заниматься.

Когда жена Кавалера не занята делами Героя и не пишет писем королеве (а это происходило три раза в день), она принимает у себя неаполитанских грандов, которые приезжают засвидетельствовать почтение и просить передать королеве от их имени заверения в совершенной преданности. Я здесь — депутат королевы, пишет она Чарльзу. К несчастью, Кавалер не мог претендовать на аналогичную роль. Едва ли его можно было назвать депутатом короля. Король не писал писем. Король, как сообщила королева *своему* депутату, уехал под Палермо, в один из королевских дворцов, и, хотя он знает, что вскоре должен появиться и принять клятву верности от своих подданных, никаких новостей из Неаполя слышать не желает. Но о чем же тогда король думает, серьезно спросил Герой. Смеясь, жена Кавалера

перевела строчку из утреннего письма королевы. Что касается короля, написала та, неаполитанцы с тем же успехом могли быть и готтентотами.

* * *

Еще примеры.

Публичные казни на большой рыночной площади начались в воскресенье, 7 июля, за день до приезда короля.

Ни Герой, ни его друзья при этих казнях не присутствовали. Они не были кровожадны, они были непримиримы. А со стороны легче сохранять беспристрастность.

И все-таки иногда то, чего не ждешь, подступает очень близко. Так произошло через два дня после начала казней и через день после того, как король на сицилийском фрегате вернулся из Палермо с сушеной лапой цапли — амулетом от дурного глаза — в петлице и поселился на «Фоудройанте». Король с трудом взобрался по лестнице на шканцы, намереваясь пожаловаться Кавалеру на то, как скучно летом в Палермо, и вдруг крик какого-то матроса заставил его подойти к ограждению и посмотреть, в чем дело. Рыба! И, кажется, преогромная. Но внизу, в тридцати футах от кормы, прыгала в волнах голова в ореоле

пены и застывший, разъеденный водой торс его старого друга, адмирала Караччьоло. Перед жутким полусгнившим лицом плавала борода. Если бы перепуганные матросы были неаполитанцами, они бы сейчас крестились. Окаменевший от ужаса король перекрестился, пробормотал проклятие и ринулся вниз. Когда Кавалер отыскал его в темноте под навесной палубой, он что-то бормотал себе под нос, подвывал и хихикал. Вокруг толпилась обеспокоенная свита.

Он там, он еще там? — взвыл король. — Затолкайте его под воду!

Слушаемся, Ваше величество.

Скорее!

Ваше величество, на воду спустили шлюпку, труп отбуксируют на берег и зароют в песке.

Зачем он так делает? — завизжал этот вечный ребенок.

В Кавалере в последний раз проснулся великий царедворец, каким он когда-то был.

Хотя Караччьоло и предатель, — объяснил он королю, — он больше не желает вам зла. Он раскаялся и поэтому не может упокоиться с миром. Он явился, чтобы попросить прощения у Вашего величества.

* * *

Вы пассажир. Все мы частенько бываем пассажирами. Корабль, история — все плывет куда-то. Вы не капитан. Но у вас прекрасная каюта.

Внизу, в трюме, как и положено, голодные иммигранты, или африканские рабы, или силой завербованные матросы. Вы не можете им помочь — хотя вам их очень жалко, — и на капитана вы тоже никак не можете повлиять. Несмотря на окружающую роскошь, вы, тем не менее, беспомощны. Любое действие с вашей стороны может успокоить вашу совесть (если она неспокойна), но едва ли улучшит положение страдальцев. Что толку, если вы отдадите им свою просторную каюту, где так много места для вашего многочисленного багажа? Пусть у них там, внизу, багажа очень мало, зато самих-то их сколько! Еды, которую для вас готовят, вряд ли хватит на всех; да и, в самом деле, если готовить такие блюда в расчете на всех этих людей, то они не будут столь изысканны; и потом, обстановка будет совершенно не та (толпа портит вид, толпа сорит и так далее). И вам не остается ничего другого, кроме как наслаждаться великолепной пищей и обстановкой.

Тем не менее, если вы не равнодушный человек, то происходящее вас очень беспокоит. Пусть вы не несете за это ответственности — как вы можете нести? — но вы участник и свидетель. (Подавляющее большинство исторических свидетельств принадлежит перу пассажиров первого и второго классов.) Если же гонениям подвергаются люди, у которых каюты не хуже вашей, люди одного с вами уровня и одних интересов, то еще менее вероятно, что вы останетесь равнодушны к их бедам. Вы, конечно, не в силах спасти их от наказания, если они и в самом деле виновны. Но, если вы не равнодушный человек, если вы человек порядочный, то вы по возможности постараетесь заступиться. Смягчить приговор. Или, по меньшей мере, воззвать к здравому смыслу.

Кавалер пытался вступиться за одного человека — своего старинного друга Доменико Цирилло. Один из самых выдающихся биологов Италии — его даже приняли в члены Королевского общества, — официальный придворный лекарь и личный врач Кавалера и его жены, Цирилло стал сотрудничать с республиканцами для того, чтобы провести чрезвычайно нужные реформы устройства больниц и медицинского обслуживания бедняков. Мне нужно кое-что добавить

по делу старика Цирилло, — обратился Кавалер к Герою. — Я могу засвидетельствовать, что он руководствовался самыми благими побуждениями. — К сожалению, мы не можем вмешиваться в отправление правосудия, — ответил Герой. Это означало, что Цирилло повесят.

* * *

Корабль стоял на якоре. Они оставались пассажирами. Их жизнь временно замерла.

Забывший о превратностях войны флагман должен лишь обеспечивать собственное существование, подчиняться прихотям и заботиться об увеселении самых важных своих пассажиров. Труднее всего развлекать, естественно, короля. Когда под жарким рассветным солнцем матросы поливают палубу и натягивают розовые тенты над шканцами, там, где король позднее будет проводить утреннюю аудиенцию, они обычно видят, что монарх уже встал и бродит по палубе, стреляет чаек или за несколько сот ярдов от корабля в шлюпке удит рыбу. Во время аудиенции он иногда забывает о своих придворных и, навалившись животом на поручни, кричит что-то шипчандлерам, приплывающим из города в небольших лодках. Король с вожделением меч-

тает о роскошном обеде в адмиральской каюте, который ежедневно подается в полдень, — с Героем, с добрым другом британским посланником и его очаровательной женой, у которой такие длинные белые руки. Она успешно соревнуется с ним в том, чтобы перепробовать все-все из огромной горы превосходной рыбы и дичи. Она, в отличие от него, не становится от еды неповоротливой, как полено, и после устраивает чудесные представления. Она выходит из-за стола, играет на арфе и поет, и он знает, что поет она для него. И уж разумеется, именно для него она, той лунной ночью на полуюте, в сопровождении хора из всей команды «Фоудройанта», исполняла «Правь, Британия». От дивного голоса и вдохновенных стихов короля совершенно разморило. Мне она больше нравится толстой, сонно думал он, пока его «браво, браво, браво!» плавно переходили в храп.

Если пассажиры не идут в город, город должен прийти к ним. На барках приплывают главы благородных семейств: они свидетельствуют свое почтение королю, Герою, Кавалеру и его жене, заверяют, что никогда не сотрудничали с республиканцами, а если и сотрудничали, то исключительно по принуждению. Корабль по-

стоянно осаждает торговый люд города со своим пестрым товаром: мясники, зеленщики, виноторговцы, булочники со свежими продуктами, суконщики с рулонами шелка, модистки с новыми шляпками для жены Кавалера, книготорговцы со старыми книгами, с новейшими изданиями по естественным наукам, рассчитывающие соблазнить Кавалера. Тот охотно поддается соблазну; в Палермо трудно было раздобыть новые книги. Среди предлагаемых изданий попадаются очень редкие книги, Кавалер узнает их, он видел их в библиотеках знакомых, которые нынче томятся в тюрьме, в ожидании — пока не вполне ясно, чего именно. Печально думать о том, по какой причине книги лишились крова, но это не повод, чтобы их не покупать. Конечно, он не из тех, кто без малейших угрызений совести заграбастает то, что несправедливо отобрано у других коллекционеров. С другой стороны, разве не лучше, если фолианты купит именно *он,* человек, который знает им цену и будет бережно их хранить? Ведь иначе они пропадут или их разорвут и пустят на картинки.

Залив — не залив, а лес кораблей. Герой приказал заново выкрасить корпуса черной краской, с желтой полосой вдоль каждого ряда иллюми-

наторов, а мачты — белой, в свои цвета. Повсюду белые, белые паруса, розовеющие каждый вечер, когда солнце садится за Капри. Каждый вечер на весело убранных корабликах приезжают музыканты для развлечения короля и трио; более простенькие привозят шлюх для матросов (от Героя это скрывают). Королю сексуальные услуги оказываются в любое время суток.

Иногда непоседливый король приказывает отвезти себя дальше, на Капри, чтобы пострелять африканских перепелов. Кавалер с ним не ездит. У него уже не такие крепкие ноги, ему не одолеть отвесных, скалистых берегов. Кавалер ни разу не выходил с королем в залив охотиться с гарпуном на меч-рыбу и не ездил на рыбалку один (а уж как любил это занятие). Он проводит дни в теньке на шканцах, читает, а с женой и Героем встречается лишь за ужином. После ужина они иногда поднимаются на полуют любоваться звездным небом и покачивающимися в волнах призраками соседних кораблей. Кавалер знает, зачем на полуюте «Фоудройанта» зажигают три фонаря — это отличительный знак флагмана, — но иной раз, на мгновение, представляет (и тут же журит себя за глупую восторженность), что три фонаря горят здесь в честь его жены, Героя и его самого.

Каждый из них полон сознания собственной важности, ощущения безграничности своего «я», усиленного, быть может, за счет жизни на воде. Для Героя его действия от лица династии Бурбонов — новый театр славы. Для жены Кавалера — и театр, и слава. И бесконечное любовное приключение. Однажды ночью, в каюте Героя, она взяла с полки над кроватью его глазную повязку и примерила себе на правый глаз. Шокированный, Герой стал просить немедленно снять повязку. Нет, позволь мне побыть в ней, — сказала она. Я бы хотела, чтобы у меня тоже был один глаз. Я хочу быть, как ты. Ты и есть я, — сказал он, как всегда говорят и чувствуют любовники. Но она была не только им. Иногда, наедине с ним, она бывала многими другими людьми. Она умела ходить вразвалку, как король, показывать, как он набрасывается на еду, подражать его сбивчивой скороговорке на певучем неаполитанском наречии (Герой, хоть и не понимает ни слова, вполне способен оценить ее мастерство); она умела изображать коварного Руффо, его набрякшие глаза и аристократическую речь (да, точно! — восклицал Герой); она была способна обрести британскую церемонность и мужественные повадки морского офицера, присущие верному капитану Харди

и честолюбивому Трубриджу; меняя выражение лица, очертания тела, голос, она имитировала крики и особую флотскую походку неграмотных матросов. Как она умела рассмешить Героя. В тот раз она смолкла, и Герой каким-то образом догадался, что она намерена сделать; она стала Кавалером, точно скопировав его чопорную осанку и осторожную манеру двигаться, его почти обиженное, вдумчивое молчание. Потом его характерный голос принялся рассказывать о прелести некой вазы или картины, чуть-чуть давая петуха в те моменты, когда приходилось сдерживать восторг. Герой испугался. Он задумался, не жестоко ли со стороны женщины, которую он любит, передразнивать человека, которого он боготворит и к которому относится с ласковой снисходительностью, как к отцу: тот, кто каждый день отдавал приказы убивать, беспокоился, не жестоко ли дразнить кого-то за глаза, — но, быстро и внимательно обследовав свою совесть, решил, что, пожалуй, в этой невинной забаве, в подражании походке Кавалера и манере разговаривать, нет ничего страшного. Они не жестоки, вовсе нет.

* * *

У Героя и жены Кавалера дел более чем достаточно. Герой почти все время проводит в Большой Каюте, совещаясь с капитанами своей эскадры. Для переговоров с неаполитанскими офицерами ему необходимо присутствие жены Кавалера. Мой верный толкователь на все случаи жизни, — называл он ее на публике. Но даже на корабле бывают минуты, когда они остаются наедине, и тогда они целуются, и исходят нежностью, и вздыхают.

Надеюсь, эта страна заживет счастливее, чем когда-либо прежде, пишет Герой новому главнокомандующему британского флота на Средиземном море. В ответном письме лорд Кейт призывал Героя и его эскадру (составлявшую внушительную часть всех кораблей, которые могли противостоять французам на Средиземном море) на Менорку, где ожидалось столкновение с врагом. Герой имел дерзость ответить, что Неаполь важнее Менорки, что его миссия в Неаполе не позволяет привести эскадру на рандеву, и выразил надежду, что к его мнению отнесутся с уважением, хотя он знает, что за невыполнение приказа может пойти под суд, и готов нести ответ

за свои действия.

Так много еще нужно было сделать! Во имя спасения цивилизованного мира, — сказал Герой Кавалеру, — мы должны повесить Руффо и всех, кто участвовал в заговоре против нашего английского неаполитанского короля, и это станет нашим лучшим деянием.

Неделю спустя Кейт сделал еще одну попытку вызвать Героя, и тот снова ответил отказом. Правда, на сей раз он послал четыре корабля своей эскадры для участия в сражении, которое, в конечном счете, так и не состоялось.

* * *

Горячий ветер южного лета. Горячий ветер истории.

С корабля, как из обсерватории Кавалера, открывалась широкая панорама залива.

С корабля Неаполь казался нарисованным. Он всегда был виден в одном ракурсе. С корабля отдавались приказы, они пересекали залив и приводились в исполнение; происходили фарсовые судебные заседания, иногда в отсутствие обвиняемых; осужденных приводили на рыночную площадь, они всходили на эшафот. Имелись разные способы казни. Предпочтение отдавалось

повешению, самому уродливому и унизительному из всех. Но некоторых расстреливали. А кому-то отрубали голову.

Если те, кто был в ответе за смерть людей, хотели подать пример, то те, кто отправлялся на смерть, хотели пример показать. Они тоже видели в себе будущих обитателей мира исторической живописи, искусства дидактики значительного момента. *Вот так* мы страдаем, превозмогаем страдание, умираем. Показывать пример полагалось стоически. Они не могли справиться с бледностью лица, дрожью губ и коленей, с бунтующим кишечником. Но голову держали высоко. Перед самой смертью они черпали храбрость в мысли (абсолютно верной), что превращаются в образ, в символ. А символ, пусть самый печальный, способен дарить надежду. Самые леденящие душу истории можно рассказать так, что они не вызовут отчаяния.

* * *

Поскольку произведение искусства может показать только один символический момент, художник или скульптор обязан выбрать самое важное в сюжете — то, что непременно должен узнать и почувствовать зритель.

Но что же он должен узнать и почувствовать?

Возьмем историю троянского священника, Лаокоона, который, почуяв подстроенную греками ловушку, возражал против того, чтобы ввозить в город деревянного коня. Афина наказала его за проницательность, приговорив к ужасной смерти его самого и двух его сыновей. И возьмем знаменитую скульптурную группу первого века, изображающую их предсмертную агонию. Плиний Старший считал, что она по виртуозности исполнения превосходит все картины и бронзовые скульптуры. В эпоху Кавалера законодатели вкуса восхищались ее сдержанностью — она рассказывала о самом страшном, не показывая его. Согласно расхожему клише, главным достижением классического искусства считалось умение изображать страдание красиво, нечеловеческий ужас — достойно. Мы не видим священника и его детей такими, какими они могли бы быть в действительности: остолбеневшими перед двумя надвигающимися на них гигантскими змеями, с разверстыми в немом вопле ртами, или, того хуже, в уродливый момент самой смерти, с побагровевшими лицами, с вылезшими из орбит глазами, — нет, мы видим мужественное напряжение и героическое противостояние

неминуемой гибели. «Подобно тому, как под бурлящей поверхностью моря лежат тихие донные воды, — писал Винкельман, заставляя вспомнить об установленных Лаокооном нормах поведения, — так и великая душа в разгар страстей хранит невозмутимое спокойствие».

В дни Кавалера символическим при изображении ужасной ситуации считался момент, когда страдание еще не достигло высшей точки, момент, когда мы еще можем вынести из происходящего что-то для себя поучительное. Возможно, за смешной теорией символического момента и ее следствием — тем, что предпочтение обычно отдается сценам не самым трагическим, — лежит стремление найти способ по-новому воспринимать и отображать жестокую боль. Или жесткую несправедливость. Кроется страх выразить чувства слишком неукротимые, протест чрезмерно бурный — протест, способный внести непоправимый разлад в установленный общественный порядок.

В искусстве мы спокойно смотрим на самые неприглядные вещи. Лаокоон, созданный на современный лад, при нашей склонности отождествлять правду жизни с болью, был бы только счастлив, что он мраморный. Змеиные кольца

не могут сильнее стиснуть тела троянского священника и его детей. Их страдания никогда не станут ужаснее. Какие бы события ни изображало произведение искусства, они не развиваются дальше. С сатира Марсия, флейтиста, безрассудно вызвавшего на музыкальное состязание самого Аполлона, только *собираются* содрать кожу. Ножи вынуты; глаза и рот жертвы застыли в туповатой гримасе человека, предчувствующего (а может, не осознающего до конца) приближающуюся пытку; но мучители еще не начали резать. Не тронули ни пяди плоти. От чудовищного наказания Марсия отделяют вечные секунды.

* * *

Тогда люди восхищались искусством (и образцом было искусство классическое), которое стремилось свести боль, вызываемую болью, к минимуму. Оно изображало людей, способных быть красивыми и сохранять монументальное спокойствие даже при нечеловеческих страданиях.

Теперь мы, под именем реализма, восхищаемся искусством, которое в полном объеме показывает увечья, жестокость, физическое бесчестье. (Вопрос: а сочувствуем ли мы этому?) Для нас

символический момент — тот, который способен растревожить более всего.

* * *

Есть разные виды спокойствия, невозмутимости.

Непокорный Герой лорду Кейту: имею честь уведомить вас, что в Неаполе, как ни в какой другой столице мира, царит спокойствие.

И есть покой в сердце Кавалера.

Кавалер говорит себе: спокойно, спокойно. Ты ничем не можешь помочь. Дело вышло из-под контроля. У тебя больше нет власти. У тебя никогда и не было настоящей власти.

Взгляд издалека. Мы здесь, они там.

Проходит июнь, июль, затем август — разгар лета. На «Фоудройанте», полы которого, как и на всех британских военных кораблях, выкрашены красным, чтобы не видно было крови, пролитой в сражениях, днем очень мало света; и нет ничего, что могло бы спасти от сырости между палубами, где (за исключением камбуза) независимо от времени года запрещено разводить огонь. По ночам, даже при открытых иллюминаторах, в каютах очень душно. Любовники потеют в объятиях друг друга, а Кавалер беспокойно мечется в

постели, стараясь утихомирить ревматическую боль в коленях, забыть не то о настоящем, не то о воображаемом запахе пищи, доносящемся с камбуза, расположенного несколькими палубами ниже, о мягком покачивании корабля, о вечном поскрипывании полов и пропитанных водой переборок.

Им было бы много комфортнее, если бы они поселились в побежденном городе. В одном из захваченных дворцов можно было бы быстро и удобно устроиться: либо в бывшем особняке британского посланника, либо в разграбленном королевском дворце. Но для короля и трио нет и речи о том, чтобы высадиться на берег. Неаполь — неприкасаемый город, сердце тьмы.

Казалось бы, Неаполь — центр империи, почти Европа, вечный идеал, ведь в нем есть знаменитый оперный театр, и замечательные музеи, и блестящие гуманисты-реформаторы, и монарх с толстой нижней габсбургской губой. Но нет, правители покинули этот город, он получил новый статус, статус непокорной колонии, маленького государства на окраине Европы — государства, которое надо проучить, безжалостно, как учат все колонии и восставшие провинции. (Как говорит Скарпиа: жестокость — один из органов чувств.

Мне нравится лишать людей свободы. Я люблю брать заложников… Но это вам не Скарпиа. Здесь не личная жестокость, здесь политика.) С Неаполем следовало поступить, как с колонией. Неаполь стал Ирландией (Грецией, Турцией, Польшей). Во имя спасения цивилизованного мира, — сказал Герой. Они выполняли работу цивилизации, что всегда означает — работу империи. Беспрекословное подчинение! Отсеките голову гидре восстания. Казните всякого, кто сопротивляется нашей политике.

Руффо так и не казнили. Зато казнили друга и доктора Кавалера и его жены, старого Доменико Цирилло; и известного юриста Марио Пагано, лидера умеренных; и нежного поэта Игнацио Чиайя; и Элеонору де Фонсека Пиментель, исполнявшую де-факто обязанности министра пропаганды, — через две недели после того, как в августе трио встало на паруса и отплыло в Палермо. И многих, многих других.

Будь они бандитами, про них бы сказали, что звери досыта напились крови. Но поскольку они действовали во имя общественного блага — моя задача восстановить мир и счастье человечества, писал Герой, — про них говорят: они не ведали, что творили. Или: их одурачили. Или они навер-

няка в конце концов раскаялись.

Вечный позор Герою!

* * *

На борту «Фоудройанта» они оставались шесть недель. Шесть недель — долгий срок.

Было странно день за днем видеть Неаполь в зеркальном отражении, с моря — за много лет Кавалер так привык к виду из окон и с террасособняка. Искья и Капри сзади, Везувий — справа, а не слева, в закатном свете — плоский призрачный серый силуэт, в отличие от объемных, подсвеченных с моря морских крепостей и мерцающих золотом дворцов на Чиайя.

И странно было видеть оборотную сторону Героя. Видеть его с другой точки зрения, с точки зрения истории, в свете суждения, которое должны были вынести о Герое и его соратниках потомки — да и многие современники. Видеть его не великодушным рыцарем, но мстительным фарисеем; способным, пусть по заблуждению, ожесточить свое сердце, забыть об элементарном милосердии. Видеть Кавалера не благожелательным и погруженным в себя, но бесчувственным и равнодушным человеком. Его жену — женщиной не просто активной, шумной и вульгарной, но

хитрой, жестокой, кровожадной. Видеть, как все трое самозабвенно творят беззаконие.

У каждого из них появилось новое лицо. Тем не менее, наиболее достойной порицания считали жену Кавалера.

Они были семьей — семьей, поступавшей дурно. Семья же представляла собой форму правления, а если точнее, дурного правления, которому и бросала вызов революция. Одним из следствий старой формы правления, при которой право на трон определялось фактом рождения в правящей семье, было то, что женщины редко, но все же получали вполне реальную, ощутимую власть. Иногда сами монархини, часто советницы монарха — сына, мужа, брата, — вне зависимости от степени подчиненности, женщины не могли быть полностью отстранены от участия в семейной жизни. (Новой формой правления, отменявшей какие бы то ни было юридически обоснованные права женщин на власть, явилось законодательное собрание — оно состояло только из мужчин, и его законность определялась гипотетическим договором между равными. Женщины, существа несвободные и, по мнению мужчин, не вполне разумные, участвовать в таком договоре не могли.)

Они были семьей — семьей, пошедшей неправедным путем, семьей, где влияние женщины стало преобладающим. Скандальность их поступков заключалась отчасти в том, что в них столь видимую роль играла женщина. Еще одна семейная драма старого режима с участием властной женщины — то есть женщины, пользующейся незаслуженно большой властью, — которая вырвалась за пределы сугубо женской деятельности (дети, домашние обязанности, относительно талантливые занятия каким-нибудь искусством), совратила и, посредством сексуальных козней, поработила слабого мужчину и сбила с пути мужчину добродетельного.

* * *

О жене Кавалера рассказывали и сочиняли истории, подтверждавшие репутацию мстительной и бессердечной женщины, которую она приобрела.

Например, история гонений, которым подвергся либеральный аристократ Анжелотти, арестованный Скарпиа за хранение запрещенной литературы, превратилась в историю безжалостного преследования женой Кавалера человека, много лет назад смертельно оскорбившего ее

тем, что он посмел упомянуть в обществе о ее постыдном прошлом.

Это случилось в 1794 году, в год Террора, когда Скарпиа получил от королевы задание выследить всех заговорщиков-республиканцев и всех попутчиков Французской революции. Во время большого приема в особняке британского посланника его жена, с присущей ей крикливостью, распространялась о своей дорогой, дорогой королеве, об ужасах, творимых французами, о революционном позоре и о вероломстве некоторых аристократов, осмеливающихся симпатизировать убийцам порядка, приличия и сестры королевы. Эти предатели, сказала она, не заслуживают никакого милосердия.

Присутствовавший среди гостей маркиз Анжелотти едва ли мог отнести ее слова на свой счет, поскольку в то время еще не был антимонархистом, но тем не менее посчитал нужным ответить. Возможно, его уже тогда возмущали ее вульгарность и агрессивность, как сейчас ими возмущалось все большее число людей. А может, ему не нравилось, когда женщины так много говорят. Так или иначе, он, как гласит история, был настолько разгневан ее злобными выпадами против республиканцев, что хлопнул в ладоши

и поднял бокал. — Я предлагаю тост за нашу хозяйку, — закричал он, — и хочу добавить, что чрезвычайно рад видеть ее в столь добром расположении духа, как рад и тому, что она теперь занимает весьма высокое положение, столь отличное от того, в котором я встретил ее впервые.

Шушуканье за столом. Все взгляды обратились к маркизу.

Где же это было, спросите вы? — выкрикнул он.

Жадное молчание.

В Лондоне, — продолжал он громко. — В Воксхолл-Гарденз, лет десять тому назад. Полагаю, я могу похвастаться, что знаком с супругой Кавалера дольше, чем кто-либо из присутствующих за этим столом, включая Его превосходительство, ее мужа.

Кавалер прочистил горло. Он был единственный, кто продолжал есть.

Итак, — продолжал маркиз, — я тогда прогуливался с друзьями, графом дель *** из здешних краев и нашим общим английским другом, сэром ***, когда ко мне вдруг подошло одно из тех созданий, что бродят по общественным паркам в поисках пропитания и готовы за него расплатиться. Той особе было не более семнадцати, и она, от

шляпки до светлых чулочков, была совершенно неотразима, и у нее были немыслимо прекрасные голубенькие глазки. Полагаю, перед голубенькими глазками мы, неаполитанцы, беззащитны, как никакая другая нация. Я распростился с друзьями и, должен сказать, нашел общество восхитительного создания более привлекательным, чем можно было ожидать, хотя, будучи иностранцем, понимал далеко не все, что она болтала на своем очаровательном сельском наречии. Прелестная крошка обожала болтать, впрочем, к счастью, это было не единственное, что ей нравилось делать. Наш союз просуществовал восемь дней. Думаю, в своем ремесле она была новичком, в ней еще сохранялся аромат деревенской невинности, а это часто добавляет пикантности к тому, что можно назвать одним из наиболее доступных удовольствий большого города. Как я сказал, наш союз длился восемь дней и оставил во мне ровно столько воспоминаний, скольких и заслуживает подобное приключение. Вообразите же мою радость, когда, после стольких лет, я встретил ее снова! Попав в совершенно иную обстановку, барышня преобразилась, заняла среди нас достойное место, является украшением местного музыкального общества, предметом счастья ува-

жаемого британского посла, дорогой подругой нашей государыни…

Говорят, приказ арестовать Анжелотти через несколько дней после приема королева отдала по просьбе жены Кавалера. Очень скоро маркиза приговорили к трем годам каторжных работ, где его приверженность конституционной монархии и сменилась идеями республиканизма. Разумеется, с тем же успехом злопыхатели могли бы сказать, что маркиз был арестован по просьбе Кавалера, от любви давно лишившегося рассудка. Но всегда и во всем вина падала на его жену. И про Героя потом, когда все было уже позади, говорили, будто он никогда не решился бы на столь ужасные поступки, если бы не влияние женщины, в которую он был беззаветно влюблен, и не ее близость к неаполитанской королеве. По собственной воле, считали люди, английский адмирал ни за что не согласился бы стать палачом при дворе Бурбонов.

В этой истории жертвами женщины считались не только мужчины, но и другие женщины. Когда все закончилось, а их действия обернулись скандалом на всю Европу, некоторые утверждали, что именно под влиянием жены Кавалера легко внушаемая королева развязала узаконенное

убийство неаполитанских патриотов, — впрочем, другие настаивали, что это жестокая королева сделала доверчивую, слепо обожавшую ее наперсницу пешкой в своей игре. В любом случае, королеву судили строже, чем короля. Разве она, одна из дьявольского выводка Марии-Терезии, не подчинила себе всецело своего неотесанного, пассивного супруга? (Сам по себе король, как было принято считать, не допустил бы такой жестокости.) Женщину могут винить за само пребывание на месте преступления, пусть она была там только для того, чтобы подбодрить мужчин. Также ее обвиняют, если она, отнюдь не будучи всесильной, на месте преступления отсутствует. Когда было решено, что для придания абсолютной законности кровопролитному делу восстановления монархии в Неаполитанском заливе необходимо королевское присутствие, королева хотела, очень хотела, сопровождать мужа, быть рядом с ним и своими друзьями на «Фоудройанте». Но король, давно мечтавший побыть вдали от властной супруги, приказал ей оставаться в Палермо.

Винить в этой истории женщину или женщин — удачный способ замолчать тот факт, что все события были звеньями одной цепи, единой

политики, определявшейся на флагманском корабле Героя. (Женоненавистничество часто оказывается полезно.) Отзывы о королеве грешили извечной недооценкой, на которую обречены женщины-правительницы и влиятельные жены — они неизменно становятся жертвами либо снисходительных насмешек (за не приличествующее им мужеподобие), либо ханжеской клеветы (которая обвиняет их во фривольности или сексуальной ненасытности). Впрочем, действия королевы еще вписывались в привычные рамки — правление через домашних, — и ее полномочия были законны. Но участие жены Кавалера в Белом Терроре, последовавшем за подавлением Неаполитанской республики, казалось совершенно неправомочным и оттого много более предосудительным. Что возомнила о себе эта выскочка, эта пьянчужка, эта femme fatale,[22] эта кривляка, эта шумливая, вульгарно одетая актриска? Субретка, незаметно пролезшая в самое сердце общественной драмы, а затем сорвавшаяся с цепи, — она ведь женщина? — а следовательно, несет полную ответственность за все, чего бы ни добивалась.

---

[22] Примечания: 22
Роковая женщина *(фр.).*

* * *

Если бы стало известно, что в течение тех шести недель, что «Фоудройант» стоял на якоре в заливе, жена Кавалера, единственная из трио, все-таки посетила несчастный город, то это, скорее всего, расценили бы как еще одно доказательство ее бессердечности. Этого не мог сделать Герой, чья роль требовала, чтобы он не покидал плавучего командного поста и как можно исправнее приводил в исполнение наказание, к которому был приговорен блестящий, разоренный Неаполь. Этого не мог сделать Кавалер, который, появляясь на палубе, был не в силах удержаться от того, чтобы не отыскивать взглядом в поднимающемся над портом амфитеатре строений и садов тот особняк, где он прожил больше тридцати пяти лет, больше половины своей жизни. Самая мысль о том, чтобы поддаться искушению сойти на берег и осмотреть разграбленное и загаженное жилище, наполняла его невыразимым горем. Но жена Кавалера решилась и однажды, обжигающе жарким июльским днем, на несколько часов сошла на берег, со смехом отмахнувшись от просьб сходивших с ума от беспокойства мужа и любовника не совершать этого безрассудного поступка.

Но я ведь переоденусь, — весело сказала она. Пока они здесь разговаривают, Фатима, Джулия и Марианна, три служанки, которых она взяла с собой из Палермо, шьют ей костюм. Разве в Палермо она, переодевшись матросом, не сопровождала Героя, и часто, на ночные вылазки в город? А для прогулки по Неаполю она наденет вдовьи одежды и так полностью спрячется от посторонних глаз.

Маленькую шлюпку с женой Кавалера, причалившую в безопасном отдалении от толкавшихся в гавани нищих, торговцев, шлюх и иностранных моряков, встретила карета с сопровождающими, находящимися на службе у англичан. Рядом, во второй карете, ждали четыре офицера «Фоудройанта», командированные беспокойным Героем с приказом не спускать глаз с Ее сиятельства и, если потребуется, отдать за нее жизнь. Они видели, как она споткнулась, когда выходила из шлюпки, а затем, задержавшись на миг, чтобы закрыть лицо черной шелковой шалью, неверной походкой пошла по причалу. Что-то рано она сегодня начала. Боже всемогущий! Я говорю, может, ей помочь? Нет, смотри-ка, выправилась. Ни для кого не было тайной, что сирена частенько прикладывается к бутылке. Но офицеры ошибались.

Это было не из-за вина, которое она потягивала, пока плыла в шлюпке, а из-за оглушительного шока, который она испытала, когда, после почти четырех недель на постоянно покачивающемся корабле, вдруг ощутила под ногами твердую почву.

Она сказала кучеру, куда ехать, лакеи подсадили ее в карету, где было невыносимо жарко, она уселась поудобнее и, выглядывая из-за занавески, стала смотреть на бегущую мимо череду зданий, людей, повозок. На улицах, как всегда, толпился народ, но женщин, облаченных, как и она сама, в траур, было значительно больше, чем прежде. Она велела остановиться и купила огромный букет жасмина и бледно-розовых роз.

Открыв лицо, жена Кавалера вошла в прохладную пещеру церкви. Она попала между службами, и в церкви было очень тихо. Тут и там между летящих колонн виднелись темные коленопреклоненные фигурки молящихся. Она окунула пальцы в чашу со святой водой, преклонила колена и перекрестилась, а после этого, по местному обычаю, поднесла кончики пальцев к губам. Прежде чем пройти дальше в глубь церкви, она застыла в нерешительности, ибо не могла избавиться от ощущения, что ее сейчас

узнают и люди, как в старые добрые времена, бросятся к ней, начнут прикасаться к ее платью, просить милости и подаяния у жены британского посланника, второй по значимости и влиянию женщине в королевстве. Но никто не обратил на нее внимания, и она почувствовала легкое разочарование. Знаменитость, в противоположность актрисе, вечно жаждет узнавания.

В последний год жизни в Неаполе она часто приходила после полудня в церковь Сан-Доменико-Маджоре и, притворяясь, будто изучает надписи на древних гробницах неаполитанской знати, смотрела, как люди молятся, старалась представить, какой покой возникает в их душах от присутствия некой доброжелательной субстанции, у которой всегда можно попросить защиты. Сейчас она искала защиты для другого человека. Героя мучили боли, самые разные боли — не только в руке и глазу. Он жаловался на тяжесть у сердца, а по ночам, когда она бодрствовала возле него, уже заснувшего, он так жалобно стонал. Она начала молиться про себя за его здоровье — ребенком она никогда не молилась, но сейчас чужая религия стала приносить успокоение, — и на ум часто приходил образ Мадонны. Лежа возле любимого и слушая, как корабельный

колокол отбивает склянки, она убедила себя, что, если снова придет в эту церковь и сделает подношение статуе Мадонны, ее молитвы обязательно будут услышаны. Она просила защиты не для себя — для мужчины, которого любила. Она хотела, чтобы его боли прошли.

Она подошла к боковому алтарю, поставила букет в красивую позолоченную вазу у ног Мадонны, зажгла поставленные в ряд свечи, опустилась на колени и, обращаясь к статуе, начала вполголоса произносить жаркие молитвы. Закончив, она посмотрела вверх, в нарисованные голубые глаза Мадонны, и увидела в них сочувствие. Какая она красивая. До чего же глупо я себя веду, подумала она, и сразу испугалась: не услышит ли Мадонна ее мыслей. Рядом с цветами она положила пожертвование, крупную сумму, в бархатном мешочке.

Никто к ней не подходил, но появилось отчетливое ощущение, что за ней наблюдают. Однако стоило ей обернуться — она увидела у задней колонны широкоплечего человека с пухлыми губами и узнала его, — как он тут же отвел глаза. Видимо, хочет, чтобы она сама подошла.

Он улыбнулся и поклонился. Сказал, что для него встреча с ней — большой сюрприз. Он не до-

бавил: здесь. Конечно, это не сюрприз. У Скарпиа были шпионы на «Фоудройанте», которые и сообщили ему о предстоящей поездке жены Кавалера на берег. Когда причалила ее шлюпка, Скарпиа ждал в порту и проследил за ней до церкви. Она не могла оценить недавних изменений в наружности Скарпиа, который больше не носил своего страшного плаща, а снова был одет в костюм благородного господина, зато от внимания Скарпиа не ускользнули перемены во внешности стоявшей перед ним женщины, когда-то знаменитой красавицы, сумевшей вскружить голову наивному британскому адмиралу. Да, должно быть, в Палермо не жизнь: а сплошное обжорство. Но у нее красивое лицо и красивые ноги.

Смелость Вашего сиятельства достойна восхищения. И все же находиться в городе небезопасно.

Здесь я чувствую себя вполне спокойно, — ответила она. — Я люблю бывать в церкви.

Так же, как и Скарпиа. Церкви напоминают ему о том, что для него наиболее привлекательно в христианстве. Не о доктринах, но об исторической связи со страданием: богатая палитра изобретательных мучеников, пыток инквизиции, истязаний лишенных царствия небесного.

Вне всякого сомнения, Ваше сиятельство молились за благополучие Их величеств и скорое восстановление порядка в этом несчастном государстве.

Моя мать нездорова, — ответила она, злясь на себя, что нашла нужным солгать.

Собираетесь ли вы посетить свой бывший дом? — осведомился Скарпиа.

Разумеется, нет!

Мне никогда особенно не нравилась эта церковь, столь милая знатным господам. Другое дело — та, прихожанином которой я являюсь, это церковь Кармины, что на рыночной площади. Кстати, на два часа там назначена казнь.

Церковь Черной Мадонны, — сказала жена Кавалера, притворяясь, будто не поняла приглашения.

Вы можете своими глазами увидеть, как несколько главных предателей понесут справедливое наказание, — сказал Скарпиа. — Но, вероятно, Ваше сиятельство не в силах присутствовать при этом зрелище, столь радостном для всех верноподданных Их величеств.

Если нужно, она вполне способна это вынести. Храбрый человек спокойно смотрит на кровь. Какая разница? Она может смотреть на что угодно.

Она не брезглива. И она не какая-нибудь нервическая, сентиментальная глупышка вроде мисс Найт. Но она не могла заставить себя принять вызов Скарпиа.

Скарпиа выждал минуту. Во время молчания (ставшего ее ответом) начался Te Deum.[23]

Или давайте займемся тем, что доставит вам удовольствие, — продолжал Скарпиа въедливым, липнущим голосом. — Ваше сиятельство может располагать мною столько, сколько пожелает.

Церковь стала наполняться людьми, и на них уже обращали внимание.

Пожалуй, стоило бы воспользоваться случаем и провести часок со Скарпиа, подумала жена Кавалера. Королеве может быть интересно ее мнение о шефе полиции. Но она понимала, что пока она будет излагать свое мнение о нем, он в то же самое время будет излагать свое мнение о ней. Все ее инстинкты говорили: будь осторожна! И, поскольку она была женщиной: будь очаровательна!

Он обмакнул пальцы в чашу и предложил ей святой воды. Она с серьезным выражением лица кивнула, коснулась его пальцев и перекрести-

---

[23] Примечания: 23

«Тебя, Господи, славим» *(лат.),* благодарственный молебен.

лась. Благодарю вас.

Они вышли на площадь, над которой висело зыбкое, жаркое марево, и она купила с лотка пакет подгоревших, посыпанных сахаром пирожных, несмотря на то, что Скарпиа предостерег ее от этого. — О, у меня превосходное пищеварение, воскликнула жена Кавалера. Мне все годится.

Он еще раз предложил сопровождать ее, и она снова отказалась. Может, она и хотела бы немного погулять, тайно погулять по городу, в котором провела треть жизни. Но не с ним. Почему он вечно улыбается? Наверное, считает себя неотразимым. Он и правда так считал. Скарпиа знал, как действует на женщин, не красотой (он не был красив), но сильным взглядом, заставлявшим сначала отворачиваться, а потом снова смотреть на него; хрипловатым, низким голосом; привычкой переминаться с ноги на ногу; изысканностью наряда; безупречностью чуть грубоватых манер. Но жена Кавалера не любила откровенно мужественных мужчин. Ей и думать не хотелось о том, какой он любовник. Также ей трудно было представить, чтобы кто-то не искал одобрения и вообще не заботился о мнении других; а она подозревала, что он именно такой. Должно быть, правду говорят о Скарпиа, будто бы он очень

злой. Но об этом ей тоже не хотелось думать. Среди множества вещей, о которых она теперь предпочитала не думать, была и человеческая порочность. Зло — как пространство. Как все пространство, какое только есть. Когда вы думаете, что дошли до предела, ваше воображение способно нарисовать лишь некую границу, стену, а это означает, что за ней, С другой стороны, есть что-то еще; если вы считаете, что достигли дна, снизу непременно кто-то постучится.

Ей хотелось поскорее сесть в прохладную карету и съесть пирожные.

Стало быть, мое общество вас не привлекает?

Больше не смущаясь, она легким тоном ответила, что вынуждена отказаться от удовольствия, поскольку…

Этим вы огорчите самых преданных ваших обожателей?

…поскольку я должна как можно скорее вернуться на «Фоудройант», — спокойно продолжила она. Они стояли рядом с ее каретой.

Как она смеет ему отказывать! Но, быть может, все-таки удастся ее спровоцировать. Ведь ходила же история про эту лисицу и Анжелотти, будто они были любовниками? В надежде вызвать у нее неприятное или неловкое воспоминание, он

сообщил: Анжелотти, сбежавшего в Рим, только что арестовали.

Уверен, эта новость вас порадует.

Ах да, Анжелотти, — сказала жена Кавалера.

Она, конечно, не простила Анжелотти. Но эта обида похоронена под огромным ворохом других эмоций и событий, сглажена многими победами, великим счастьем. Жена Кавалера всегда гордилась тем, что не умеет таить обид. И если она желает смерти всем конспираторам, то лишь потому, что этого желает королева. Отсутствие сострадания (к Цирилло) являлось состраданием к другому человеку (королеве). Она не более жестока, чем Герой или Кавалер. Самой жестокой из них она кажется только потому, что наиболее чувствительна — женщина должна быть чувствительной. Но чувствительные женщины, не имеющие власти, реальной власти, обычно кончают тем, что становятся жертвами.

Здесь уместно промотать пленку и перенестись в будущее.

* * *

17 июня 1800 года. Королева Неаполя, продолжавшая жить в Палермо и ни разу, несмотря на то, что с момента восстановления королевского

правления прошел уже год, не посещавшая своей первой столицы, прибыла с коротким визитом в Рим. Это произошло накануне того дня, который должен был стать днем решающего сражения с Наполеоном.

Сегодня она давала прием, чтобы отпраздновать полученное утром известие о победе австрийских войск над Наполеоном под Маренго. За этим приятным, но ложным сообщением (на самом деле, сражение выиграл Наполеон) достаточно скоро, днем, последовало короткое сообщение об истинном положении дел. Анжелотти, которого вот-вот должны были в кандалах препроводить в Неаполь и там повесить, — отнюдь не для того, чтобы, как утверждают клеветники, доставить удовольствие жене Кавалера, в данный момент вместе с мужем и любовником направлявшейся в Англию, — сбежал из тюремной крепости Сант-Анжело, где сидел уже более года. Королева страшно разгневалась на Скарпиа, которого вызвала из Неаполя и поселила в одном из верхних этажей Палаццо Фарнезе. Она ожидает от самого верного своего слуги скорейшего и неотвратимого отмщения. Разыщите его сегодня же, — велела она, — а иначе… — Ваше величество, — ответил барон, — можете считать, что ваше приказание

уже исполнено.

Тюремного стражника, который помог негодяю сбежать, уже схватили, доложил Скарпиа королеве, и тот, перед тем как умереть (допрос оказался чересчур строгим), раскрыл, куда направляется беглец: в церковь, где у его семьи есть часовня. И хотя к тому моменту, когда Скарпиа добрался до церкви, Анжелотти успел скрыться, показания против его сообщника уже получены. — Тоже якобинец из благородных, — сказал Скарпиа. — Они, разумеется, называют себя либералами или патриотами. Но этот будет похуже прочих. Художник. Эмигрант без роду без племени. Он даже не совсем итальянец. Воспитывался в Париже — его отец, женившийся на француженке, был другом Вольтера. А сам он учился у Давида — официального художника Французской революции.

Мне безразлично, кто он таков! — раздраженно воскликнула королева.

Скарпиа поспешил уведомить королеву, что молодой художник уже арестован. И я гарантирую, что через пару часов мы будем знать, где скрывается Анжелотти. Скарпиа улыбнулся.

Королева понимала, на что намекает начальник полиции. И папских владениях, в том числе в королевстве обеих Сицилий, применение пыток

пока еще было легально, хотя в других местах реформаторам удалось добиться их запрета. В более цивилизованных владениях Габсбургов, так же, как в Пруссии и Швеции, пытки теперь считаются незаконными. Она, конечно, не одобряет методов Скарпиа, но — приходится быть реалистами. Королеву очень радовала участь, постигшая неаполитанских повстанцев, но она была бы шокирована, узнав, что есть люди, считающие ее кровожадной. Она, безусловно, за казни, но против пыток.

Анжелотти должны схватить сегодня же, вы понимаете?

Да, Ваше величество.

И Скарпиа попросил разрешения удалиться в свою штаб-квартиру на верхнем этаже, где проходит допрос художника.

Королева, уже излившая на него свой гнев, не намерена позволять этой маленькой неприятности и дальше портить вечер.

Во время их разговора, где-то во дворце, великий Паизьелло, склонившись над клавишами, сочиняет кантату в честь победы, которую должны исполнить вечером. Дирижировать будет сам композитор, а исполнять — новая дива, сенсация нынешнего сезона в Аргентине. Королева питает

слабость к женщинам, умеющим петь. Оперная звезда напоминает ей о дорогой подруге, жене британского посланника, чей голос, конечно, много прекраснее.

Оперная звезда, как и подруга королевы, порывиста, нежна, экспансивна и умеет всецело отдаваться любви.

Дива явилась в бальный зал в самый разгар приема и почтительно поклонилась королеве. Она уже проглядела ноты Паизьелло и вполне уверена (она никогда не чувствует себя иначе) в успехе своего исполнения.

Она слышит, что гости беседуют о политике. Она о политике ничего не знает и не желает знать. Все эти разговоры о Франции, она в них ничего не смыслит. Ее любовник пробовал ей все объяснить. Он заставлял ее читать одну из своих любимых книг, писателя Руссо — что-то вроде этого, во всяком случае, автор был француз, не итальянец. Она ничего толком не поняла, и ей было странно, что любовник так стремился навязать этот роман. Конечно, у него есть всякие друзья, вроде маркиза Анжелотти, неаполитанского аристократа, которого посадили в тюрьму за то, что он был одним из шести консулов безбожной и недолго просуществовавшей Римской

республики, но она-то знает, что любовник интересуется политикой не больше ее самой. Он ведь тоже артист, художник. Как она живет ради искусства и любви, так и он думает только о ней и о своих картинах.

Пока она наблюдала за игрой, которая шла за одним из карточных столов, ее служанка, Лючиана, принесла записку. Записка оказалась от Паизьелло. Он не вполне закончил кантату и просил, чтобы она отвлекла внимание королевы и не дала ей заметить задержки, начав музыкальное представление без него. Он также выражал надежду, что она исполнит арию его сочинения; у него их около ста. В ярости оттого, что ее заставили ждать, дива начала импровизированное сольное выступление с арии композитора Джомелли. Затем королева попросила исполнить другую арию — сцену сумасшествия из паизьелловской «Нины», — заметив, что именно ее так чудесно пела дорогая подруга, жена британского посланника. Дива, хоть и не собиралась исполнять пожелание композитора, не могла не выполнить королевский приказ.

Когда наконец появился Паизьелло с партитурой победной кантаты, представление шло уже давно и имело огромный успех. Оно имело

такой успех, что королева желала только одного: чтобы дива продолжала петь. И она пела и пела… о печной любви, и о звездах, и об искусстве, и о ревности. О ревности она знала много.

Ей очень хотелось, чтобы прием как можно скорее закончился. К сожалению, прежде чем она сможет встретиться с любовником, нужно сделать кое-что неприятное. Она обещала нанести визит знаменитому шефу неаполитанской полиции, которого встретила сегодня днем в той церкви, что заказала у ее любовника большую картину, изображение Мадонны. До этого она заходила к любовнику, и он казался чем-то озабочен, а по возвращении она очень удивилась, не застав его дома, вместо него она обнаружила этого человека, откровенно объявлявшего себя ее поклонником, он вертелся у подмостков. Так вот перед кем дрожит весь Неаполь! Он привлекателен, этого нельзя не отметить. Начальник полиции, весьма навязчиво флиртуя с нею, постарался ее убедить, что любовник увлекся другой женщиной. А она, когда он показал среди грязных кистей веер, чужой веер, имела глупость поверить.

Дива — женщина, которая умеет за себя постоять. Она умеет защитить себя от развратных

мужчин. И, подобно жене Кавалера, она отдается только за любовь. Сначала она узнает, что хочет рассказать полицейский начальник. А потом вернется к любовнику, и они в конце недели поедут на его загородную виллу. У нее появились основания думать, что он, скорее всего, вовсе не изменял ей, но ревность — одно из немногих орудий женщины. В конце концов, она актриса. Не исключено, что он признается в том, что действительно находил привлекательной ту женщину из церкви, с которой писал Мадонну, и тогда она некоторое время будет с ним холодна, но потом простит его, и они станут еще счастливее, чем раньше.

Дива — женщина не мстительная. И она видела много пьес и опер, превозносящих милосердие. За последнее десятилетие поставили большое количество драм о милостивых монархах — в это же десятилетие доселе милосердные аристократы узнали, что железный кулак и виселица тоже бывают полезны. Сама дива считает, что нет ничего прекраснее милосердия. Почему нельзя, чтобы в жизни все было, как в операх Моцарта, например, в той, о похищении, где есть такие величественные слова: нет ничего ненавистнее мести. Или в другой, о милости римского импе-

ратора, которая написана в честь возведения на богемский престол брата неаполитанской королевы, габсбургского императора. Там Тит раскрывает заговор, узнает, что самые дорогие ему люди собирались его убить, но отказывается казнить заговорщиков и поет: звезды велят мне проявить жестокость. Нет, им меня не победить!

Правда, Тит из оперы, чье правление началось в 79 году нашей эры с объявления об извержении Везувия и приказа отдать пострадавшим золото, собранное сенатом на воздвижение храма в его, Тита, честь, а закончилось великодушным прощением друга, замышлявшего его убить, — это еще и исторический Тит, гонитель евреев и разрушитель Храма. Но, наверное, мы нуждаемся в любых примерах великодушия, в том числе и вымышленных. Это понимает даже дива, сколь бы невежественна в вопросах истории она ни была.

Возможно, в жизни все иначе, чем в опере, думает дива, готовясь пройти наверх, к начальнику полиции, но должно быть так же. Нет ничего ненавистнее мести.

* * *

Мы знаем людей злых. Как Скарпиа. Барон Скарпиа — истинный злодей. Он очень умен,

он торжествует в своем злодействе. Он мастер обмана и упражняется в своем мастерстве с редкостным удовольствием. Он превосходно разбирается в характерах людей и понимает, что дива безрассудна и наивна. А для злодея понять человека — значит получить возможность им манипулировать. Как просто было убедить ее, что у любовника есть другая женщина! И в результате она совершила неблагоразумный поступок, и беглец Анжелотти был обречен. Кроме того, есть чистое наслаждение причинять боль. Когда она пришла, он велел привести ее любовника и пытать так, чтобы она слышала крики, — и потому, что он любит пытки, и потому, что с помощью пыток можно добыть необходимые сведения, и потому, что ему нравится наблюдать за ее лицом, когда из соседней комнаты доносятся вопли. Ваши слезы, как лава, прожигают мои чувства, — говорит он. После того как под влиянием этих пыток она заговорила, он объявил, что, если она отдастся ему, он пощадит жизнь ее любовника (расстрельный отряд получит холостые пули) и позволит им уехать из Рима. Разумеется, ничего подобного он делать не собирается. Обещание злодея — это обещание, которое он непременно нарушит.

Мы знаем людей добрых — как знаем и то, что они считаются не слишком проницательными. Дива — благородный человек с добрым сердцем. Но в том, что она так легко стала жертвой обмана, есть и ее вина. Обладай она хоть долей скептицизма — то есть придавай чуть меньше значения своим чувствам, — возможно, Скарпиа не смог бы так быстро заманить ее в ловушку. Ему же пришлось лишь помахать чужим веером, и она в тот же день бросилась на загородную виллу любовника, где нашла его не с другой женщиной, а с Анжелотти, которого он там прятал. Теперь она знала то, что любовник хотел сохранить от нее в тайне, которую и сумел выведать Скарпиа, поставив ее перед невыносимым выбором: предать Анжелотти или позволить любовнику умереть. Сам бы он ни за что, ни под какими пытками (так он, по крайней мере, думал), не выдал бы Анжелотти, но женщина не в силах вынести криков возлюбленного. Она, быть может, ничуть не эмоциональнее мужчин. Злодеем Скарпиа тоже правят эмоции. Но сочетание эмоций с властностью рождает… властность. Сочетание эмоций с бессилием рождает бессилие. И ничто уже не может помочь несчастному Анжелотти, который проглотил яд, как только люди Скар-

пиа протянули руки, чтобы вытащить его из колодца. Но дива думала, что, позволив Скарпиа себя изнасиловать, спасет жизнь любовнику. Шеф полиции при ней отдал приказ на рассвете расстрелять злодея, укрывавшего преступника; затем, когда они остались одни, выписал пропуска на выезд из города. И, хотя дива, когда Скарпиа был уже готов наброситься на нее, схватила со стола острый нож, — казалось бы, что может быть сильнее убийства, — этот храбрый поступок не остановил машину, запушенную в движение ее легковерием. Что бы ни случилось, ее любовник падет под огнем лже-лже-расстрела, и ей придется прыгнуть с парапета замка Сан-Анджело, добавив свою смерть к трем другим.

Есть люди очень плохие и умные, есть очень хорошие и доверчивые.

Но что же остальные: те, кто не плох и не хорош? Обычные важные люди, которые занимаются своими важными делами, и хотят хорошо о себе думать, и совершают самые жестокие преступления?

Вот Кавалер и его жена. Почему их не тронули крики жертв? Несчастного Караччьоло, которого, как и Анжелотти, нашли скорчившимся от страха на дне колодца? Правда, в отличие от Ан-

желотти, он не захотел сразу покончить с собой. В отличие от Анжелотти, он не думал, что смерть неминуема. Караччьоло решил, что у него есть шанс. Он ошибался.

* * *

Вы можете молить о пощаде, и это не принесет ничего хорошего. Дива умоляла Скарпиа пощадить любовника. Закованный в кандалы старый доктор Цирилло через несколько дней после ареста писал из камеры Кавалеру и его жене: надеюсь, вы не разгневаетесь, что я осмеливаюсь беспокоить вас своим письмом и напоминать, что во всем мире никто, кроме вас, не может защитить и спасти несчастного…

Вы можете проявлять чудеса храбрости. Так, молодой аристократ Этторе Карафа, приговоренный в сентябре к усекновению головы, попросил, чтобы его положили на гильотину лицом вверх, а не вниз, и, пока опускался нож, не закрывал глаз. Вы можете вести себя с вдохновенной бесстрастностью и прозорливостью. Элеонора де Фонсека Пиментель, вместе с товарищами ожидавшая телеги, которая должна была отвезти их на виселицу, повернулась к ним и пробормотала строку из Вергилия: «forsan et haec olim meminisse

juvabit» — «возможно, когда-нибудь и это станет счастливым воспоминанием».

Ведете вы себя достойно или пресмыкаетесь, вы не в силах поколебать волю неумолимых победителей, отождествивших себя с силами самой природы. Они так же неподвластны состраданию, как вулкан. Милосердие — то, что возвышает нас над природой, над собственной натурой, всегда полной жестокости. Милосердие не есть всепрощение, но оно подразумевает *отказ* от того, на что дает нам право природа или же собственные интересы. Вполне возможно, у нас действительно есть это право и есть власть. Но как благородно ими *не* пользоваться. Нет ничего прекраснее милосердия.

7

Политика — деятельность яркая и всепоглощающая. О политике, увы, приходится думать, даже если вам этого не хочется. По думать приходится и о многих других важных вещах. Выбор платья, например, может быть делом чрезвычайной важности. Что, скажем, надеть, чтобы скрыть полноту, — нет, чтобы скрыть беременность? Беременность, которую надо прятать, ведь очевидно, что отец ребенка — любовник, а не престарелый муж. Пышное платье? Свободное платье? И, наверное, шаль поверх него, несколько шалей, невзирая на жару, — та, что их надевает, великая мастерица носить шали.

И что надеть, чтобы достойно встретить позор, уже ставший достоянием общественности? Чтобы выразить несогласие с тем, о чем люди, мнение которых вам небезразлично, будут шушукаться у вас за спиной? Если вы герой, то вы надеваете свои нашивки, ордена, звезды, медали. Все сразу. Иногда вы даже носите отороченный соболем алый халат длиною до пят, подарок турецкого посла. И бриллиантовый эгрет с вращающейся звездочкой (он называется «челенгк»),

тоже подарок, от Великого Визиря Константинополя. И золотой меч, эфес и лезвие которого инкрустированы бриллиантами. Его, вместе с титулом сицилийского герцога, вручил вам король в знак благодарности за то, что обернулось для вас бесчестьем. И всегда у сердца кружевной платочек, принадлежащий женщине, под чьим влиянием, как принято считать, вы совершили то, что обернулось для вас бесчестьем.

Также очень важно, как выглядят ваши изображения. Для приема на пять тысяч человек, который королева устраивала в огромном парке загородного королевского дворца, был воздвигнут небольшой греческий храм. Внутри стояли восковые фигуры нашего трио в натуральную величину, с лавровыми венками на головах. Королева попросила, чтобы для этих фигур оригиналы предоставили свое настоящее платье. Стройная восковая жена Кавалера была одета в пурпурное шелковое платье с последнего оперного гала-представления в Неаполе, на котором вышиты имена капитанов Нильского сражения; моложавый восковой Кавалер представал в полном дипломатическом облачении со звездой и красной лентой Ордена Бани; между ними, сияя двумя ярко-голубыми агатовыми глазами, стоял

восковой Герой, адмиральский мундир которого представлял собой поле из сверкающих медалей, звезд и *его* Ордена Бани. На крыше храма за статуей Славы прятался музыкант с трубой, и когда началась церемония, собравшимся показалось, что затрубила сама статуя. Кавалеру вручили портрет короля в инкрустированной бриллиантами раме; жене Кавалера — портрет королевы в инкрустированной бриллиантами раме и увенчанный самой королевой лавровым венком, снятым с восковой фигуры жены Кавалера; Герою король подарил украшенный бриллиантами двойной портрет Их величеств и наградил орденом Св. Фердинанда, обладатели которого имели право не снимать шляпу в присутствии короля. Оркестр заиграл «Правь, Британия». В небе загромыхало: начался грандиозный фейерверк, представлявший Нильское сражение и завершившийся весьма зрелищным взрывом французского триколора. Кто мог устоять против такой лести? Они, не отрываясь, смотрели на свои статуи. Совсем как в жизни, сказал Герой, не сумев придумать ничего лучшего.

* * *

О постыдной роли палача, которую Герой играл при правительстве Бурбонов, говорила вся Европа — вся привилегированная Европа. Повесить лучшего поэта страны? Самого выдающегося знатока древнегреческой культуры? Ведущих ученых? Даже самых ярых противников французских идей и республиканизма шокировала бойня, развязанная неаполитанской знатью. Классовая солидарность легко победила национальные противоречия.

Что же тогда? Объявить Героя злодеем? Но герои необходимы… Нет, легче считать, что кто-то оказывал на Героя дурное влияние, и оно исказило его взгляд на происходящее. Хороший человек не может стать плохим, но сильный может стать слабым. Герой стал слабым потому, что не был больше одинок, — а герой обязан быть одиноким. Герой — тот, кто умеет уйти, разорвать связи. Плохо, когда герой женится. Если же он женат, то не должен быть под каблуком у жены. Если он любовник, то должен (как Эней) разочаровать возлюбленную. Если он участник трио, то должен… но герой не должен становиться участником трио. Герой должен летать, парить. Он не

может пресмыкаться.

* * *

Позор, позор, позор.

Тройной позор. Три, соединившееся в одно.

Героя, находившегося, по сути дела, в самовольной отлучке, нельзя было сместить, уволить по приказу вышестоящих чинов из Лондона — хотя такой вариант рассматривался. Но те, кто манипулировал им, те, чьей пешкой он стал, ощущали на себе всю тяжесть официального недовольства. Из-за своего участия в зверском возмездии неаполитанским патриотам Кавалер стал считаться фигурой, как минимум, противоречивой. Одни говорили, что ему задурила голову жена; другие — что Бурбоны. Никто, разумеется, не ждал от дипломата, что он будет образцом совершенства, как этого ждали от Героя. Но поступать вопреки велению долга он не смеет. Дипломат, открыто и даже фанатично вставший на защиту интересов правительства той страны, где он служит, становится бесполезен для правительства страны, которой он служит и интересы которой должен защищать. И его отставка — всего лишь вопрос времени.

Однажды утром Кавалер получил письмо от

Чарльза, в котором тот с огорчением извещал дядюшку, что, как он узнал из проклятой виговской газетенки «Морнинг Кроникл», новым посланником в королевстве обеих Сицилии назначен молодой Артур Пэджит. Кавалер больше не мог не замечать, в какой жестокой опале он оказался. Его не только уволили после тридцати семи лет службы, не дав возможности уйти в отставку и не посоветовавшись с ним по поводу преемника, нет, их даже не тревожило, что о своем увольнении он узнает последним. Бумага из министерства иностранных дел пришла месяц спустя, с краткой припиской, что его преемник уже выехал из Лондона. Узнав об этом, королева, вся в слезах, бросилась обнимать бесценную наперсницу, дорогую сестру, жену посла. О, что же я буду делать без моих друзей, кричала она. Во всем виноваты проклятые французы.

Роковой Пэджит, как назвала его королева, прибыл в Палермо и через пять дней был принят Кавалером. Вот молодой человек — Пэджиту двадцать девять, он на целых сорок лет моложе Кавалера, — к которому Кавалер не испытывает решительно никаких отеческих чувств.

И с какого же поста вы прибыли? — холодно спросил Кавалер.

Я был чрезвычайным послом в Баварии.

Но не полномочным министром?

Нет.

Я слышал, вы занимали этот пост всего год.

Да.

А до того?

Бавария была моим первым назначением.

Вы, разумеется, говорите по-итальянски, — сказал Кавалер.

Нет, но я выучусь. В Мюнхене я очень быстро выучил немецкий.

Вам еще придется изучать сицилийский, ибо кто знает, когда Их величества соблаговолят вернуться в первую столицу. А также неаполитанский диалект, даже если вы никогда не попадете в Неаполь, — король не говорит на итальянском.

Наслышан об этом.

Последовало молчание, во время которого Кавалер мысленно проклинал себя за излишнюю болтливость. Затем, нервно прочистив горло, Пэджит нашел в себе смелость сообщить, что готов вручить королю и королеве свои верительные грамоты, как только Кавалер вручит свои, отзывные.

Кавалер ответил, что, поскольку он не намерен ни единого дня оставаться в королевстве

обеих Сицилии в качестве частного лица и уже запланировал путешествие сроком на месяц с целью осмотра достопримечательностей, то этим вопросом сможет заняться только по возвращении. И уплыл с женой, миссис Кэдоган и Героем на «Фоудройанте». Он снова на воде, и на сей раз не для того, чтобы попасть в историю (хотя Герой и должен сделать остановку на Мальте), но чтобы выплыть из нее, выбиться из графика своей жизни.

Стало быть, начальство, бывшие друзья из министерства иностранных дел, уволили его? Что ж, а он, пусть на время, увольняет их из своей памяти. Надо взглянуть на мир шире, увидеть его в движении. Глядя на скользящие мимо берега, на вплывающую в поле зрения величественную, увенчанную облаками, изредка громыхающую Этну, Кавалер вспоминал, какой поразительный вид открывается с вершины на заре, окрашивающей все голубым цветом, как далеко внизу видны, словно нарисованные на карте, контуры Калабрии, Сицилии, Мальты, Липарских островов. Да, я достиг этой вершины. Я здесь единственный, кто ее достиг. Какую богатую жизнь я прожил.

Проходя мимо Этны, «Фоудройант» подошел близко к Бронте, поместью, доставшемуся Герою

в дополнение к недавно полученному сицилийскому титулу. Жена Кавалера горела желанием сойти на берег, но Герой сказал, что предпочитает увидеть свое владение, вулканическая почва которого приносила, как ему говорили, до трех тысяч фунтов в год, только когда к его визиту надлежащим образом подготовятся. Герцог Бронтийский, — заявил Герой, — не может явиться на свои земли просто так, без объявления. Кавалер, который подозревал, что при выборе герцогства для английского спасителя король позволил себе маленькую шалость (по преданию, Бронте звали кузнеца-циклопа, деятельность которого и заставляет Этну грохотать), счел за лучшее оставить эти сведения при себе. Одноглазый Герой, так гордившийся тем, что стал сицилийским герцогом, мог и не оценить юмора. Но Кавалера это забавляло.

В своих удовольствиях Кавалер достиг нулевой отметки. Удовольствие заключалось для него в возможности выкинуть из головы неприятные мысли. Увольнение, Пэджит, долги, неясное будущее, которое ждет его в Англии, — все это врывалось к нему в голову и тут же выдувалось, выносилось ветром, как сдувало от кормы к носу морских птиц над его головой. Но, поскольку

можно было забыть о гнетущих неприятностях, ему казалось, будто он наслаждается жизнью. Корабль был его домом. На два дня они остановились в Сиракузах, намереваясь посетить развалины Храма Юпитера, а также знаменитые каменоломни и пещеры. Жена Кавалера, невзирая на утреннюю тошноту, отказалась остаться на борту с матерью. Она не хотела пропустить ни одной из интереснейших лекций Кавалера, которые он читал во время прогулок, и не желала ни на час расставаться с Героем. Жена и друг выглядели такими счастливыми. Он не был ни наивным, ни всепрощающим мужем, но он по-настоящему любил жену и человека, ровесника жены, которого теперь любила она, и они оба по-настоящему любили его, а значит, он не потерял жену, а приобрел сына, разве не хорошо все устроилось?

В присутствии Кавалера они всегда — и во дворце в Палермо, и на флагманском корабле в те шесть недель, что они стояли на якоре в Неаполитанском заливе — ведут себя безупречно. А именно, ластятся друг к другу не больше, чем в те времена, когда еще не были любовниками. То есть лицемерят. Кавалер не имеет ни малейшего представления о том, когда и насколько часто

жена посещает каюту Героя по ночам или он — ее каюту. Он и не хочет этого знать. Жена, с ее железным кишечником и неподверженностью морской болезни, жалуется теперь за завтраком на проблемы с пищеварением и на то, что от покачивания корабля ее мутит. Нет, он, конечно, не хотел бы, чтобы они открыто говорили о своих отношениях или о том, что тошнота вызвана беременностью, — это причинило бы ему боль. И все же, сам себе противореча, он сердится на них за игру, которую они ведут с ним. Из-за этого он чувствует себя так, словно они вычеркнули его из своей жизни, чувствует, что они относятся к нему снисходительно. Чувствует себя заброшенным. Это у него слабое пищеварение, у него иногда случается морская болезнь, хотя на более спокойное море трудно было рассчитывать.

* * *

И что носить теперь, когда они практически сразу снова отправляются в путешествие, ведь Герою не терпится как можно скорее вернуться в Англию, Адмиралтейству же нужно, чтобы их главное оружие использовалось против Наполеона, а не в качестве паладина Бурбонов или капитана прогулочной яхты дискредитирован-

ного, отныне бывшего британского посла и его неотразимой супруги; они, конечно, поедут с ним. Что носить, ведь предстоит длинное, сложное путешествие. Сначала на флагманском корабле Героя, по морю до Леггорна, затем сушей, многими видами колесного транспорта (экипажем, почтовой каретой, дилижансом), с юга на север, от жары и длинных дней к более умеренному лету, через многие страны, со многими остановками и многими торжествами, и на каждом из них нужно появится в наилучшем виде.

Вопрос, ехать ли вместе или порознь, не возникал ни разу. Единственное, что обсуждалось — сколько человек сможет уехать вместе с ними и миссис Кэдоган, помимо мисс Найт, слышать не желавшей о том, чтобы остаться без них, Оливера, одного из двух английских секретарей Кавалера, переданного Герою, и обычного набора слуг. Караван обещал быть огромным.

Через месяц, в начале июня, по возвращении из морского круиза, Кавалер представил двору отзывные грамоты, и Пэджит получил возможность вручить верительные. Королева упрямо сжимала зубы и ни разу на него не взглянула. Королева терзалась не только из-за неизбежного расставания с верными друзьями, нет, она понимала, что, за-

менив Кавалера новым посланником, Британия продемонстрировала недовольство *ею.* Желание унизить Пэджита и проявить солидарность по отношению к друзьям — одна из причин, по которой королева решила покинуть Палермо и отправиться в Вену с визитом к дочери (а также племяннику и зятю) — Мария-Терезия, ее первый ребенок, стала габсбургской императрицей. (Другая причина уехать — горькое осознание того, как сильно ослабло ее влияние на короля.) Герой — с Кавалером, его женой, их окружением и имуществом — рассчитывал вернуться в Англию морем, что позволило бы ему довезти королеву и всех ее фрейлин, капелланов, докторов и слуг до Леггорна. Он запросил разрешение отвести «Фоудройант» в Англию, но получил отказ и после этого не видел причин отказывать себе в удовольствии совершить длительное путешествие по Европе, а заодно выполнить пожелание королевы и сопроводить ее до самой Вены.

Когда они прибыли в Леггорн, исполненный праведного гнева лорд Кейт восстановил наконец справедливость и направил мятежный «Фоудройант» на военную службу, для которой тот и предназначался. Пока шли приготовления к дальнейшему путешествию, пришло известие

о предстоящем сражении австрийских войск с Наполеоном при Маренго, и королева, повинуясь импульсу, приняла решение не ехать пока в Вену, а остановиться ненадолго в Риме, в Палаццо Фарнезе (куда она велела приехать и барону Скарпиа), и подождать, чем закончится битва. Своих английских друзей она догонит в Вене через несколько недель.

Что ж, они отправились дальше, в семи каретах, за которыми следовали четыре багажных фургона с картинами и другим спасенным из Неаполя имуществом Кавалера. Дорога вдоль Арно оказалась тяжелее, чем предполагал Кавалер, она буквально вытрясала из него душу. Он не мог читать, он только закрывал глаза и старался предотвратить боли в спине, бедрах и коленях, а миссис Кздоган прикладывала ему ко лбу влажный платок. Во Флоренции они остановились на два дня, для приемов и визитов. Кавалеру хотелось остаться подольше. И не только потому, что он чувствовал себя нехорошо. Он хотел бы снова посетить галерею Уффици, которую Наполеон подверг чудовищному разграблению, — нельзя быть во Флоренции и не посмотреть картины, — но его жена и друг и слышать не желали об этом. Вы так больны, так устали, вам ни в коем случае

нельзя ходить по галереям и смотреть картины. На картины у меня всегда достанет сил, — сказал он слабым голосом. — Как я себя чувствую, не имеет значения. Это доставляет мне удовольствие.

Нет-нет, — сказала жена. — Вы больны. Мы о вас беспокоимся. Вам нужно отдохнуть. А затем мы продолжим путешествие. — И он, пав духом, стал отдыхать, рационально, скучно, и не получил ни капли удовольствия, на которое рассчитывал. Как неинтересно быть просто телом. А в Триесте, где достойных внимания картин крайне мало, они оставались почти неделю. Кавалер не мог понять, что их здесь держит.

Через неделю после того, как они добрались до Вены, туда прибыла безутешная королева, которая, после известия о победе Наполеона, решила сократить свое пребывание в Риме. Герой, Кавалер и его жена задержались в Вене еще на месяц, целиком посвященный бесконечным приемам и балам в честь Героя. У жены Кавалера тоже были свои победы. Однажды вечером она выиграла в фараон пятьсот фунтов. Четырехдневный визит в загородное поместье Эстерхази закончился празднеством, на котором знаменитый композитор, проживавший в замке, воздал дань

заслугам Героя; исполняя сочинение в его честь, композитор сам сидел за инструментом, а пела жена Кавалера.

Несколько дней спустя она снова пела «Битву на Ниле» Гайдна под собственный аккомпанемент, для царственной подруги, обиженно уединившейся в Шенбруннском дворце. Très beau, très émouvant,[24] — воскликнула королева. Она не могла не вспомнить голоса, почти столь же красивого, как голос жены Кавалера, слышанного ею в Риме. К сожалению, если бы она начала описывать этот голос, то впечатления от кантаты удачливого Гайдна в честь действительной победы над французами смешались бы с воспоминаниями о скучном Паизьелло и *его* кантате. А это могло повлечь за собой необходимость упомянуть, что наутро после представления дива, женщина огромного обаяния, покончила с собой при самых мелодраматических обстоятельствах, после того, как убила начальника полиции, очевидно, преступно некомпетентного.

Baron Scarpia est mort, Miledy, vous l'avez entendu.[25]

---

[24] Примечания: 24
Так красиво, так волнующе *(фр.)*.

[25] Примечания: 25
Барон Скарпиа мертв, миледи, как вы, полагаю, уже знаете *(фр.)*.

Какой ужас, — воскликнула жена Кавалера. — То есть я хочу сказать, вы, должно быть, ужасно расстроены!

Сначала королева это отрицала. После всех смертей — что ей еще одна. Но потом расплакалась и начала жаловаться, что из-за всех пережитых ужасов она перестала испытывать нормальные человеческие чувства — больше не чувствует себя женщиной. И затем рассказала всю историю, с конца. Очевидно, диву оскорбили домогательства любвеобильного барона. Удивительно, воскликнула королева, промокая глаза, как бурно эти итальянцы на все реагируют! Жена Кавалера, такая же мастерица театральных сцен, как и королева, ответила, что она более чем хорошо понимает, что имеет в виду Ее величество. Мой муж всегда говорил, что итальянцам не хватает здравого смысла, — сказала она, рассчитав, что здесь, в своем родном городе, неаполитанская правительница должна испытывать нелюбовь ко всему итальянскому.

Королеву, которая в Вене была, определенно, не самой яркой звездой габсбургского небосвода, министры ее племянника поселили в Шенбруннской резиденции, и она (не без оснований) расценила это как оскорбление. Но горести

королевы уже не могли, как раньше, всецело занимать жену Кавалера. А королева уже начинала понимать, что в Вене ее друзья пользуются не таким большим уважением, как она думала. Не один представитель габсбургского двора вздохнул с облегчением, когда у англичан, после того, как они вкусили всех венских развлечений, выслушали все оды Герою и устали от них, не осталось больше поводов откладывать отъезд. Впрочем, при прощании королева казалась очень расстроенной и вручила своей дорогой подруге еще кое-что в добавление к подаренным ранее драгоценностям и портретам, а Кавалеру — золотую табакерку, оправленную бриллиантами.

Что же, в путь, вихрем по Центральной Европе до Праги, города, где ходят легенды об оживших статуях, города, которым когда-то правил человек самых разнообразных увлечений, одержимый собиратель Рудольф II; он, купив в Венеции Дюрера, о котором давно и страстно мечтал, пришел в ужас от мысли — Кавалер сразу вспомнил, как его самого швыряло в карете с плохими рессорами, — о тряской дороге через Альпы, губительной для его сокровища, и велел, чтобы тщательно укутанную картину по очереди несли в вертикальном положении четверо крепких молодых

мужчин. Нынешний правитель Праги, герцог, тоже племянник королевы, устроил в честь сорок второго дня рождения Героя умопомрачительно пышный прием. Далее — вдоль Эльбы в Дрезден, где они осмотрели коллекцию фарфора и побывали в опере; сообщалось, что во время действия Герой и жена Кавалера были всецело поглощены беседой; в этом же городе, на одном из балов в его честь, Герой потерял бриллиант с эфеса золотого меча (они дали объявление, в котором предложили вознаграждение, но бриллиант не вернули). В Дрездене, как и во время других остановок, Герой мог в полной мере утолить свою жажду наград, подарков и празднеств. И в каждом городе всем проживавшим там англичанам и дипломатическому корпусу трио давало множество тем для сплетен и недоброжелательных разговоров, а также массу поводов разнообразить дневниковые записи и письма. Он увешан звездами, лентами и медалями, писал один человек, у которого они останавливались, и похож, скорее, на оперного князя, чем на Нильского победителя. Никто не забывал выразить горького сожаления по поводу того, как он раболепствует перед женой Кавалера, чья беспредельная *невозможность,* независимо от того, в каком виде она выражалась, — эти

навязчивые концерты, жадность до еды и питья, да и сами ее необъятные формы, — никогда не оставалась без язвительных замечаний.

За все время путешествия Кавалер лишь однажды попросил об одолжении. Он хотел, чтобы по дороге они сделали крюк, заехали в Анхальт-Дессау и нанесли визит тамошнему князю, который несколько раз гостил у Кавалера в Неаполе и был одним из первых подписчиков его вулканических сочинений, а десять лет назад построил на островке посреди озера в своих загородных владениях собственный Везувий. Искусственный вулкан, восьмидесяти футов высотой, с диаметром основания триста ярдов, мог изрыгать настоящие дым и огонь (для этого внутри полого конуса поджигался горючий материал), а также некоторое подобие лавы (вода, подгоняемая насосом к краю кратера, стекала по встроенным в боковые поверхности вулкана желобам из красного стекла, которые подсвечивались изнутри). В отличие от того обобщенного вулкана, сооружения высотой в пятьдесят четыре фута из стекла, стекловолокна и армированного бетона, что стоит перед отелем в Лас-Вегасе и извергается каждые пятнадцать минут (от сумерек до часа ночи), вулкан князя Анхальт-Дессау был именно

Везувием и извергался исключительно по торжественным случаям и для самых почетных гостей. Шесть лет назад он давал представление для Гёте. Кавалер хотел, чтобы вулкан выступил и перед ним. (В конце концов, именно его Везувий и его наблюдения за вулканом вдохновили князя на строительство; кстати, на том же острове была построена точная копия виллы Кавалера в Портичи.) Это было бы очень интересно, сказала жена Кавалера, ничего не имевшая против очередной остановки при дворе очередного игрушечного немецкого княжества. Кавалер послал предупредить князя о предполагаемом визите. Но в ответ личный секретарь князя прислал письмо, сообщавшее, что, к несчастью, господин находится в отъезде, а машина не может быть запущена в его отсутствие. Так Кавалер упустил последнюю возможность увидеть вулкан.

Впрочем, оно и к лучшему, — сказала жена Кавалера. Она видела, что Герой устал и хочет поскорее добраться до Гамбурга и тамошних увеселений. Из Дрездена они решили плыть по реке; и по дороге с каждого моста, из каждого окна с видом на Эльбу к ним неслись приветственные крики ликующих людей. Из Гамбурга, где Герою снова пришлось подписать великое

множество библий и молитвенников, он послал в Адмиралтейство прошение, чтобы за ними для переправки в Англию прислали фрегат. Прошение осталось без ответа.

* * *

И что носить в Англии, куда нога Героя не ступала почти три года? Народ боготворил Героя, и в Ярмуте, куда причалило его наемное суденышко, собралась огромная толпа. Толпы собирались повсюду, где бы по дороге в Лондон ни останавливались Герой и его свита, — люди не знали о недовольстве своего правительства той жизнью, которую Герой вел на протяжении последнего года. Они не читали язвительных репортажей о триумфальном шествии Героя (во всей стране газеты читали только десять тысяч человек). Не знали они и различий между неаполитанскими звездами и звездой Ордена Бани, приколотой к борту его мундира.

Для толпы он оставался величайшим из героев, каких только знала Англия. Что касается Фанни, он оставался ее мужем. Фанни и слегка выживший из ума отец Героя, приехав из деревни в Лондон и поселившись в гостинице на Кинг-стрит, ждали его уже больше недели. Герой

с искренней порывистостью обнял отца и с болезненной сдержанностью — жену. Жена Кавалера, одетая в белое муслиновое платье с именем Героя и словом «Бронте», вышитыми вдоль подола золотой нитью и блестками, обняла жену и отца своего любовника. Они вместе обедали в гостинице — мучительный спектакль. Жена Кавалера имитировала приветственные крики, которые за три дня, что они добирались до Лондона, на каждой из многочисленных остановок издавали ликующие толпы; изображала звон городских колоколов. При каждой реплике Фанни мрачный Герой, на груди которого, под рубашкой, висел миниатюрный портрет жены Кавалера (он будет носить его до самой смерти), кусал пухлую губу. Кавалер видел, как на лице Фанни все более явственно проступает выражение изумленного ужаса и стыда.

На следующий день, для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение в Адмиралтействе, Герой оделся скромно: морской китель, белые морские бриджи с пуговицами у коленей, шелковые чулки, башмаки с большими пряжками. Это было очень уместно, и его старые друзья в Адмиралтействе, ранее склонявшиеся к мнению, что без дисциплинарного взыскания не обойтись,

смягчались все больше по мере того, как Герой серьезно разворачивал разработанные им планы обороны Канала от Наполеона, на случай, если у того достанет глупости совершить попытку вторжения, и говорил о своем желании как можно скорее вернуться к действительной службе. Но после этого Герой совершил серьезный просчет: во дворце, на утренней аудиенции у короля, он появился с наградой Великого Визиря на треуголке, с тремя звездами на груди (одна звезда Ордена Бани, две другие — сицилийские знаки отличия) и с оправленным в бриллианты портретом неаполитанского короля на шее. Неудивительно, что английский король отнесся к нему пренебрежительно, едва отметив его присутствие вопросом, полностью ли он поправился, после чего отвернулся и вступил в оживленную, продлившуюся около получаса, беседу с генералом ***, во время которой, в частности, высказал мнение, что в войне с французами армия должна играть более значительную роль, чем теперь. Английский монарх не признавал сицилийского титула Героя, о чем обладатель титула прекрасно знал. (Король не будет его признавать еще два месяца, пока Герой не получит нового назначения и не одержит новой великой победы.) Если бы Герой

смог хоть на десять минут завладеть вниманием своего суверена, он, без сомнений, отвел бы часть этого времени, чтобы воздать должное жене Кавалера, рассказать, что в Неаполе и Палермо она была незаменима, действовала как настоящий патриот и заслуживает наград и общественной благодарности. Но ни его похвалы, ни пылкое рекомендательное письмо дискредитировавшей себя королевы Неаполя не могут спасти парию, женщину, оказывающую на Героя пагубное влияние; они лишь служат подтверждением тому, о чем все и так знают.

Пресса гадала, будет ли жена Кавалера допущена ко двору, и, когда Кавалер во всей своей безупречности предстал там один, газетчики развязали безжалостную травлю, всячески понося ее изменившийся внешний облик. Скорее всего, многие понимали, что в складках ее жира скрывается беременность: — Ее сиятельство достигли наших берегов как раз вовремя, лаконично высказалась «Морнинг Пост», но общество куда больше волновало не это скандальное обстоятельство, а потеря ею былой красоты. ВНЕШНИЙ ВИД. Ее сиятельство — женщина, столь пышная и цветущая, что, как сказал бы доктор Грэм, представляет собой живое воплощение Богини

Здоровья! (Двойная издевка: и намек на беременность, и напоминание о недолговременной службе, полжизни назад, у некогда модного врачевателя, умевшего восстанавливать функцию воспроизводства.) ФИГУРА. То, чем она раньше особенно славилась, то, с чего началась ее карьера; сейчас она так огромна, что о красоте не может быть и речи. ПОЗИЦИИ. Ее сиятельство оборудует специальную комнату для демонстрации своих Позиций; для них она намерена устраивать особые вечера. Видимо, нынешней зимой в моде будут не фигура и не черты лица, а позиции.

Карикатуристы не щадили ни ее, ни Кавалера. Так, Гиллрэй изобразил нелепого высохшего старика, поглощенного созерцанием ряда уродливых статуэток и разбитой вазы; над головой у старца два портрета: Клеопатры, с обнаженной грудью и бутылкой джина в руке, и однорукого Марка Антония в треуголке, а также картина, изображающая бурное извержение Везувия. Впрочем, явных карикатур на Героя не было; он позировал для бюстов и портретов, был введен в Палату Лордов — о нем ходили только слухи. Например, слухи (достоверные) о том, что Герой стал красить лицо. Или слухи (преувеличенные) о том, что Герой весит не более восьмидесяти

фунтов.

Палата Лордов — театр, королевский двор — театр, званый обед — театр, даже ложа в театре — и та театр. Обе пары вместе посетили «Друри-Лейн», и, когда они заняли свои места, публика встала и начала скандировать, оркестр грянул «Правь, Британия», и Герой должен был встать и поклониться, чтобы выразить благодарность. На следующий день газеты писали, что жена Героя появилась в белом платье и головном уборе из фиолетового шелка с маленьким белым пером, а на жене Кавалера было голубое шелковое платье и головной убор с прекрасным плюмажем из перьев. В драме, которую они смотрели, главную женскую роль исполняла Джейн Пауэлл, про которую жена Кавалера сказала супругу, что знакома с ней ой как давно, еще даже до Чарльза, — то есть, сообразил Кавалер, с той поры, когда она была… когда она была… ему не очень хотелось об этом думать. На самом же деле, с Джейн она познакомилась в четырнадцать лет, когда, только приехав в Лондон, работала прислугой в доме доктора ***. Джейн, тоже младшая горничная, стала ее первой подругой. Они жили в мансарде, в одной комнате. И обе собирались стать актрисами.

Актерская игра — это одно, а светское поведение (хотя и в нем есть элемент игры) — совсем другое. Кавалеру хотелось бы, чтобы Герой, как и он сам, соблюдал условности. Он, конечно, понимает, что Героя раздражает навязчивая любовь Фанни, ее жалкая вера в то, что если она упорно будет делать вид, будто ничего не произошло, то муж останется с ней и со своим отцом в меблированном доме на Дувр-стрит. Но это отнюдь не повод открыто демонстрировать чувства, как тогда, на банкете в его честь, который давал в Адмиралтействе граф Спенсер. Пока Герой рассказывал графине Спенсер, сидевшей справа от него, о четырех основных недостатках французской артиллерии, Фанни, сидевшая слева, занималась тем, что чистила ему грецкие орехи, хотя он ее об этом не просил. Закончив, она поставила вазочку с орехами возле его тарелки, но он оттолкнул вазочку, и та разбилась. Фанни расплакалась и вышла из-за стола. Герой, продолжая сверлить глазами — и мутным неподвижным, и подвижным зрячим — лицо супруги первого лорда Адмиралтейства, подергивая обрубком в пустом рукаве, продолжал блестящий, неподражаемо оригинальный рассказ о тактике морского боя.

Они перестали притворяться. Герой переехал в

дом своих друзей на Пиккадилли, предложив Кавалеру разделить пополам ежегодную ренту в сто пятьдесят фунтов. Кавалер отказался. Фанни вместе с отцом Героя вскоре вернулась в деревню.

Кавалер чувствовал себя обязанным беречь силы. Время, которое он мог бы провести на заседаниях Королевского общества, уходило на совещания с банкирами, пытавшимися разработать для него приемлемую схему погашения долгов. Изобилие и новизна товаров в магазинах совершенно поражали его. Лондон после девяти лет отсутствия неожиданно оказался удивительно современным, энергичным, богатым — почти иностранным — городом. Кавалер побывал на нескольких аукционах, хотя положение и не позволяло ему что-либо купить. Он навестил в Британском музее свои вазы. Нередко его сопровождал Чарльз. Чарльз всегда находил для него время. С Чарльзом, без жены, он совершил поездку в свое поместье в Уэльсе, ныне заложенное за тридцать тысяч фунтов. Кавалер представил в министерство иностранных дел отчет о своих потерях в Неаполе (мебель, кареты и т. д. — тринадцать тысяч фунтов) и огромных расходах (десять тысяч) на проживание в Палермо в течение полутора лет. Несмотря на то, что ему с

трудом удавалось отражать атаки кредиторов, в прошении о предоставлении ежегодной пенсии он указал скромную сумму — всего две тысячи фунтов. Все, особенно Чарльз, говорили, что Кавалер заслужил право на получение звания пэра. Но он сомневается, что может получить и то, и другое. И ему скорее нужны деньги, чем титул лорда. Поздновато для титулов. Чарльз все время спрашивает, рад ли он, что вернулся в Лондон. Кавалер отвечает: как только мне станет лучше, я почувствую себя дома.

* * *

От лондонского декабря с его изобилием приемов, присутствие на которых определяет общественный статус человека, их спасло приглашение затворника Уильяма, скандально известного родственника Кавалера. Он предложил провести рождественскую неделю в его оплоте — загородном особняке, и заодно взглянуть на умопомрачительное строительство, которое он затеял в лесах Фонтхилла.

Он называет его аббатством, а значит, это готическое сооружение, — сказал Кавалер. — Остроконечные арки и витражи, — добавил он для Героя.

Как в «Земляничных Холмах»! — вскричала жена Кавалера.

Упаси бог, моя дорогая, чтобы это услышал Уильям. Он главный соперник и очернитель нашего покойного друга Уолпола и к его замку относится с презрением.

По дороге они остановились в Солсбери, где Герой был принят мэром и получил звание почетного гражданина города, после чего до самых ворот Фонтхилла их карету — которая, учитывая деликатное положение жены Кавалера, ехала очень медленно, — эскортировал отряд конных гвардейцев.

Нет, — после долгой паузы сказал Кавалер, — это что-то гораздо более грандиозное.

Что грандиозное? — спросила жена.

Аббатство! — воскликнул Кавалер. Разве он непонятно выразился? — Ведь мы говорили об аббатстве, не так ли? Уильям говорит, что башня его будет выше шпиля солсберийского кафедрального собора.

Шел снег. Кавалеру казалось, что его заточили в ледяную темницу. Это его первое английское рождество — за сколько лет? Когда он последний раз был в Англии, обратно в Италию отправился в сентябре. Да. Через два дня после свадьбы. А

перед этим, когда привозил тело Катерины и продавал вазу, возвращался в октябре. А до того — но это было почти двадцать пять лет назад, тогда еще шла война с американскими колониями — кажется, они с Катериной тоже уехали до Рождества? Да, он уверен, что они уехали до Рождества. И Кавалер погрузился в вычисления. Имена и даты вплывали в голову и тут же выскальзывали из нее, но почему-то казалось очень важным разложить все по полочкам. Последнее Рождество в Англии, когда это было, сколько лет назад? Сколько?

Сколько? — ворвался в его размышления вопрос жены.

Кавалер удивился: неужели она умеет читать мысли?

Сколько футов? — повторила она. — Какой высоты?

Высоты?

Какова будет высота башни аббатства?

Около трехсот футов, — пробормотал Кавалер.

Я ничего не смыслю в архитектуре, — сказал Герой, — но уверен, что без грандиозного замысла нельзя создать ничего стоящего.

Согласен, — сказал Кавалер, — но грандиозные замыслы Уильяма не столь устойчивы, как хо-

телось бы. Восемь месяцев назад, не достигнув и половины своей предполагаемой высоты, башня повалилась от сильного ветра. Как выяснилось, Уильям разрешил архитектору строить не из камня, а из цемента и штукатурки.

Какая непредусмотрительность, — проговорил Герой. — Как же строить, если не на века?

Ах, но он уверен, что это на века, — ответил Кавалер, — и к нашему приезду велел заново отстроить башню из тех же материалов. Не удивлюсь, если узнаю, что мой родственник собирается однажды переселиться в эту башню, чтобы смотреть сверху вниз на мир, на всех нас и видеть, до чего мы ничтожны.

* * *

Уильям, Катеринин полноватый, томный Уильям, ныне, в сорок один год, был худощав, поразительно молодо выглядел и по-прежнему оставался одаренным музыкантом. В первый вечер он почти час играл для своих гостей в большой гостиной (Моцарт, Скарлатти, Куперен). Затем, из соображений вежливости, уступил место жене Кавалера, и та предложила вниманию слушателей сицилийскую песню, арии Вивальди и Генделя, и «уди-оди-пурбум» — индусскую

песню, которую выучила специально, зная о страстном увлечении Уильяма Востоком, а завершила выступление несколькими военными песнями в честь Героя.

Мужчины пересели к жарко пылавшему камину, а жена Кавалера осталась сидеть у рояля, перебирая клавиши. Уильям, цедивший слова сквозь зубы, затронул тему счастья. Первым делом он повернулся к прославленному гостю, чтобы узнать его мнение.

Счастье! — воскликнул Герой. — Для меня счастье заключается только и единственно в служении моей стране, пока страна еще нуждается в том или хотя бы согласна на то, чтобы ей служил скромный солдат, который уже отдал здоровье, зрение и многое другое для ее процветания. Но если моей стране я больше не нужен, то ничто не даст мне большего счастья, чем простой деревенский домик у ручья, где я вместе с дорогими друзьями прожил бы остаток своих дней.

А леди?

Леди откликнулась от рояля: она счастлива, когда счастливы те, кого она любит.

Глупости, моя дорогая, — сказал Кавалер.

Может быть, вы и правы, — ответила она, улыбаясь, — я глупая. У меня, без сомнения, масса

недостатков…

Нет! — перебил Герой.

Но, — продолжала она, — у меня доброе сердце.

Этого недостаточно, — сказал Уильям.

Жена Кавалера продолжала бренчать на рояле. Уди-оди-пурбум, — дразняще пропела она.

А что же способно сделать счастливым Кавалера?

Я заметил, что в последнее время многие интересуются тем, доволен ли я жизнью, — произнес Кавалер. — Но сами они, кажется, бывают недовольны моими ответами. Мне нужно, чтобы не было раздоров. Волнений. Нужно спокойствие духа. Бурные страсти в моем возрасте ни к чему.

Все дружно принялись уверять его, что он не настолько стар.

А Уильям? Он с нетерпением ждал своей очереди.

Мне кажется, я нашел рецепт счастья, — сказал Уильям. — Он состоит в том, чтобы никогда не меняться, всегда оставаться молодым. Старость — лишь образ мышления. Человек становится старым, потому что позволяет себе стареть. И я горжусь тем, что ничуть, если не считать нескольких морщинок на лице, не изменился по сравнению с тем, каким был в семнадцать лет. У

меня те же мечты, те же идеалы.

Да, подумал Кавалер, быть вечно юным. Не меняться. Это вполне возможно, если не думать ни о ком, кроме себя. И, если бы он мог прожить жизнь заново, именно так бы он и поступал.

* * *

На второй день они отправились в карете осматривать необъятное поместье, большую часть которого Уильям окружил двенадцатифутовой стеной с идущими поверху острыми штырями, чтобы защитить диких животных на своей территории и не дать соседям-охотникам воспользоваться ни единым акром из принадлежавших ему двух тысяч для преследования беззащитных жертв.

Разумеется, сказал Уильям, соседи не в силах представить себе, что кто-то может возражать против истребления невинных зверей, и они уверены, что эту стену я возвел для того, чтобы скрыть от их глаз дикие оргии и сатанинские обряды, которые, по слухам, я здесь устраиваю. В округе меня не любят — но, если бы любили, я сам невысоко бы себя ценил.

Днем, после обеда, Кавалер еще осматривал картинную галерею Уильяма (Дюрер, Беллини,

Монтенья, Караваджо, Рембрандт, Пуссен и т. д. и т. д., а также множество изображений башни), а жена и Герой улизнули, рассчитывая побыть вдвоем. Они надеялись найти укромный уголок, где не будет никого из слуг и где они смогут заключить друг друга в объятия. Как непослушные дети, они забрались в спальню Уильяма. Там висели лазоревые индийские портьеры и стояла огромная кровать. Герой сказал, что никогда в жизни не видел ничего подобного. Но в жизни жены Кавалера эта кровать — вторая по величине; первой было Великолепное Райское Ложе доктора Грэма, двенадцать на девять футов, с двойной рамой, позволявшей изменять наклон основания. Над кроватью, на сорока ярких, красочных колоннах из сверкающего стекла, возвышался Блистательный Райский Купол с зеркальной внутренней поверхностью, изготовленный из ценных пород дерева с вкраплениями душистых пряностей и увенчанный механическими куклами, игравшими на флейтах, гитарах, скрипках, гобоях, кларнетах и литаврах. Гарантируем потомство любой бесплодной паре. Пятьдесят гиней за ночь.

О, она почти такая же большая, как Райское Ложе.

Что это за ложе? — спросил Герой.

А это — любое ложе, на котором я лежу рядом с тобой, — не задумываясь, ответила его возлюбленная и не без лукавства продолжила: — Держу пари, что он, несмотря на репутацию развратника, обычно лежит здесь один. Бедный Уильям!

Но он, кажется, совершенно презирает общество, — заметил Герой.

Кавалер тем временем размышлял приблизительно о том же. Вдоволь насладившись прекрасной живописью, книгами, фарфором в стиле рококо, японскими лаковыми шкатулками, эмалевыми миниатюрами, итальянской бронзой и прочими чудесными вещами, он теперь изумлялся тому, что, если не считать слуг Уильяма, он — первый человек, который все это видит. Кавалер и не подозревал, что мизантропия может послужить причиной собирательства.

Они обосновались в кабинете Уильяма, где эбеновые столики, инкрустированные флорентийской мозаикой, ломились под тяжестью книг. В отличие от большинства библиофилов, Уильям прочитывал каждый приобретаемый том и затем, остро отточенным карандашом, очень мелким почерком, ставшим с возрастом безукоризненно отчетливым, заподнял внутрен-

ние стороны обложки и последние страницы книги пронумерованными глоссами, а также выносил суждение, положительное или отрицательное, о сочинении в целом. Письменный стол был завален аннотированными списками от книготорговцев и аукционными каталогами. Некоторые Уильям передал Кавалеру, показав, что именно он приказал своим агентам приобрести.

Значит, тебе не нравится бывать в книжных лавках и на аукционах, — сказал Кавалер. У него эти занятия числились среди самых любимых.

Бывать на публике для меня пытка, как, впрочем, и уезжать из Фонтхилла по каким бы то ни было делам! — воскликнул Уильям, который, прежде чем воцариться в родовом имении и начать создавать свои коллекции и аббатство, провел долгие годы в странствиях по Континенту. — Впрочем, как только для хранения всех прекрасных, уникальных вещей, которыми я владею, будут созданы надлежащие условия, мне больше не понадобится выезжать отсюда, а также с кем-либо встречаться. Я обоснуюсь в своей крепости, и мне не будет страшен даже конец света, ибо я буду знать, что все самое ценное в мире мною спасено.

И ты не хочешь дать людям возможность

оценить прелесть твоего собрания? — спросил Кавалер.

С какой стати мне должно быть интересно мнение тех, кто менее образован и менее чувствителен, чем я?

Я понял твою точку зрения, — сказал Кавалер, никогда раньше не думавший о коллекционировании как о способе отгородиться от мира. Он был с миром в ладу (хотя в последнее время мир, кажется, был не в ладу с ним) и с помощью коллекции поддерживал с ним связь, столь же выгодную, сколь и приятную.

Да, очевидно, что его родственнику глубоко безразлично дело улучшения общественного вкуса. Но, — осведомился Кавалер, — разве тебе не приятно думать, что в будущем доступ к твоим коллекциям будет открыт, что они будут по достоинству оценены знатоками, обладающими достаточными знаниями, чтобы понять…

Для меня нет ничего более одиозного, чем рассуждения о будущем, — прервал Уильям.

Значит, для тебя прошлое — это…

Не уверен, что испытываю любовь к прошлому, — снова нетерпеливо оборвал его Уильям. — В любом случае, любовь тут ни при чем.

Коллекционирование, как способ мести, — Ка-

валер впервые встречался с подобным. Месть, подкрепленная неограничейными возможностями. Его родственнику, в отличие от него самого, никогда не приходилось задумываться, может ли он себе позволить приобрести понравившуюся вещь, будет ли это хорошим вложением средств. Коллекционирование, как и любое предприятие Уильяма, было путешествием в бесконечность, в загадочные, не подлежащие исчислению или измерению сферы. Извечное счастье коллекционера — составление реестров — не доставляло ему никакого удовольствия. Они способны охватить лишь что-то конечное, мог бы сказать Уильям. Что за интерес знать, что ему принадлежит сорок лаковых шкатулок, выполненных в технике маки-э, тринадцать статуй св. Антония Падуйского и мейсенский обеденный сервиз на триста шестьдесят три персоны? А также все шесть тысяч сто четыре тома великолепной библиотеки Эдуарда Гиббона? Уильям приобрел ее, узнав о смерти великого историка в Лозанне, но так и не послал за нею — он презирал его «Упадок и разрушение». Уильям не только не знал в точности, чем владеет, но иногда приобретал вещи затем, чтобы их *не было,* чтобы сделать их недоступными для других, а возможно, и для самого себя.

В некоторых случаях, — задумчиво пробормотал Уильям, — достаточно самой мысли об обладании.

Но если ты не можешь любоваться, прикасаться к тому, чем владеешь, — сказал Кавалер, — то не можешь ощутить красоту, а ведь именно этого желает каждый, кто любит искусство, — каждый, кто любит, чуть было не сказал он.

Красота! — воскликнул Уильям. — Есть ли на свете человек, более восприимчивый к красоте, чем я? Вам незачем объяснять мне, какие возвышенные чувства она вызывает! Но есть нечто более высокое.

А именно?…

Нечто мистическое, — холодно ответил Уильям. — Боюсь, вы не поймете.

Со мной ты можешь поделиться, — сказал Кавалер, который наслаждался и этой вздорной беседой, и ясностью своих мыслей. Может быть, подумал он, в последнее время они так часто бывали спутаны оттого, что я почти не веду бесед, которые требовали бы хоть какого-то напряжения умственных способностей или затрагивали бы ученые темы. Все превратилось в анекдот. — Расскажи же, — попросил он.

Нужно подняться настолько высоко, насколько

возможно, — провозгласил Уильям. — Туда. Я достаточно ясно выразился?

Абсолютно ясно. Ты имеешь в виду свою башню.

Да, если угодно, мою башню. Я удалюсь в башню и никогда больше не сойду вниз.

И скроешься таким образом от мира, который дурно обошелся с тобой и на который ты обижен. Но ведь ты сам окажешься в заточении.

Как монах, ищущий…

Но ты, разумеется, не хочешь сказать, что живешь здесь монахом, — засмеявшись, перебил Кавалер.

Я стану монахом! Но, очевидно, вы не понимаете. Вся эта роскошь, — Уильям махнул изящной рукой в направлении дамасских штор и мебели в стиле рококо, — такое же орудие духа, как хлыст, который монах вешает на стену своей кельи и снимает каждый вечер, чтобы очистить душу!

* * *

Окружить себя изобилием чарующих, одухотворяющих предметов, чтобы обеспечить чувствам постоянную занятость и непрерывно развивать воображение, — это Кавалер хорошо понимал. Не мог понять он другого — коллекци-

онерской страсти, отданной в залог чему-то, что выше искусства, прекраснее красоты, тому, чему и искусство, и красота служат лишь единственно возможным инструментом. Кавалер искал блаженства — но не экстаза. Никогда, при всех своих размышлениях о счастье, не стремился он подойти к той пропасти, что отделяет счастливую жизнь от жизни экстатической. Экстаз не только, как мог бы сказать Кавалер, требует от жизни неизмеримо много, но неизбежно оборачивается жестокостью.

Как сексуальная потребность, когда она становится центром и смыслом существования, и ее стремятся удовлетворить во всей ее пагубной безудержности, так и любовь к искусству (и красоте), по прошествии некоторого времени, может существовать только как эксцесс, как нечто, что изо всех сил стремится превзойти и исчерпать себя.

Любить что-то по-настоящему — значит хотеть от этого умереть.

Или жить только в этом — что одно и то же. Взойти наверх и больше никогда не спускаться вниз.

Я хочу вон то, — говорите вы. — И это. И это. И еще вот это.

Продано, — отвечает приветливый продавец.

Если вы достаточно богаты и можете купить все, что захотите, вам, возможно, захочется предаваться своей ненасытной страсти в отдельном здании — построить уникальное, необыкновенное жилище для себя и своей коллекции. Оно суть предельное выражение фантазий коллекционера об идеале, о самодостаточности.

И теперь вы говорите «я хочу это, это и то» своему архитектору.

Архитектор ставит вам палки в колеса. Он говорит: это невозможно. Или: я не понимаю.

Вы пытаетесь объяснить. Вы используете невнятные понятия «готический» или «стиль ретро», что бы это на данный момент ни означало. Тогда архитектор вроде бы понимает вас. Но на самом деле вам его понимание не особенно и нужно. Мне видится такой, знаете, Восток, говорите вы. Но имеете в виду не Восток, а восточный декор, всегда казавшийся вам подходящей обстановкой для погружения в пророческий транс, как вы это называете.

Архитектор выполняет ваши пожелания: с вами трудно, но вы его лучший клиент. Однако, с какой бы точностью ни исполнял он ваши прихоти, он не может удовлетворить их полностью. Вы постоянно просите что-то изменить, что-то

добавить. В голову приходят все новые фантазии. Точнее, новые вариации старых фантазий, из-за которых, собственно, вы и затеяли строительство.

Я хочу большего, — говорите вы измученному, покорному архитектору, который к этому времени начинает игнорировать некоторые указания эксцентричного патрона или экономить на стройматериалах. Большего, большего. Ваша стройка обладает незавершенностью коллекции. Вам кажется, что вы хотите ее закончить, — но это не так.

* * *

Только потому, что башня еще не достроена (и никогда не будет достроена), он решается показать ее им, осуществить для них своеобразную постановку. На сей раз это не их театр. Никто, даже Герой, не может отодвинуть Уильяма на задний план.

Он приказал развесить на деревьях, на много миль, фонарики и поставить вдоль специально прорубленной для карет просеки (а также для создания торжественного эха, в сторону, в глубь леса) маленькие оркестрики, чтобы уже тогда, когда на закате гости поедут через лес, создать у

них ощущение волшебства. Когда первая карета выехала на открытое пространство, было еще достаточно светло, и на восьмиугольной башне удивительного крестообразного здания, топорщащегося всевозможными зубцами, фронтонами, эркерами, можно было различить развевающийся флаг с цветами Героя. Во всем спектакле это было единственное, чем Уильям отметил присутствие в своих владениях самого знаменитого человека Англии.

Он провел их в здание через двери восточного трансепта, и сквозь Большой Зал — в комнату, называвшуюся, как сказал гостям хозяин, Приемной Кардинала; там, на монастырском трапезном столе, на серебряной посуде, для них был сервирован парадный обед. После обеда жена Кавалера показала пантомиму: аббатиса монастыря, встречающая новых послушниц. Мне показалось, что это подходящая тема, доверительно сообщила она Уильяму после представления.

Внутри большая часть помещения была заставлена лесами, на которых неотчетливо виднелись фигурки мастеровых, плотников, штукатуров и каменщиков, их было пятьсот, и работали они круглосуточно. Нервно смеясь, проклиная своим высоким, напряженным голосом медлитель-

ность архитектора и нерасторопность рабочих, сразу же забывая о раздражении и отдаваясь восторженным мечтам о том, что здесь когда-нибудь будет, Уильям вел гостей по коридорам с крестообразными сводами, по освещенным серебряными светильниками галереям, вверх и вниз по винтовым лестницам. Жена Кавалера, которой оставался всего месяц до родов, храбро эти лестницы преодолевала. Кавалер, поглядывая на фигуры в капюшонах, с обнаженными мускулистыми руками, освещавшие им путь большими восковыми фонарями, прятал улыбку.

Это храм искусства, — объяснил Уильям гостям, — где будут усиливаться все яркие ощущения, которых жаждут наши убогие органы чувств, и пробуждаться все возвышенные мысли, на которые способен наш хрупкий дух.

Он показал им Галерею длиною в триста пятьдесят футов, где будут висеть его картины, Сводчатую Библиотеку и Музыкальную Комнату, где на клавишных инструментах он будет исполнять все достойные произведения.

Некоторые комнаты, более или менее подготовленные к осмотру, были обшиты панелями, в них висели разноцветные, как павлиний хвост, занавеси, пестрящие голубым, пурпурным, ма-

линовым. Но Уильям, казалось, все больше и больше тревожился о том, что гости не понимают значения увиденного.

Вот моя Часовня, — показал он. — Вы должны представить повсюду золотые подсвечники, эмалевые раки, вазы, потиры, дароносицы, украшенные бриллиантами. Купол будет из полированного золота.

А здесь пусть ваше воображение нарисует двери из фиолетового бархата, расшитого пурпуром и золотом, — сказал Уильям. — А в этой комнате — ее я называю Святилище — решетчатые окна, как в исповедальне.

Я изрядно замерз, — пробормотал Кавалер.

А у каждого из шестидесяти каминов, — невозмутимо продолжал Уильям, — будет стоять золоченая филигранная корзинка с ароматическим углем.

Темнота, холод, мерцающий свет факелов — Кавалер почувствовал дурноту. Его жена жалела, что поблизости нет стула или молельной скамеечки, куда можно было бы опустить тяжелое тело. Дым от факелов ел глаз Героя.

Уильям показал гостям Комнату Откровения, где пол будет из полированной яшмы и где его похоронят.

Он показал им то, что должно стать Малиновой Гостиной, обтянутой узорчатым малиновым шелком, и Желтый Уединенный Приют, который должен быть обтянут желтым, и т. д.

Наконец они пришли в огромный зал под центральной башней.

Восьмиугольный Зал. Здесь нужно представить дубовые панели и витражное стекло во всех этих парящих арках и огромное центральное окно-розетку.

Смотрите-ка, — воскликнула жена Кавалера, — это же и правда как церковь!

Полагаю, высота здесь около ста тридцати футов, — сказал Герой.

Задайте работу воображению, — раздраженно продолжил Уильям. — Впрочем, когда мое Аббатство будет построено, места воображению в нем не останется. Оно само станет воображением, обретшим осязаемую форму.

Он так хотел, чтобы они поняли все великолепие его будущего Аббатства.

Поэтому, в конце концов — на самом деле, Уильям не настолько отличался от остальных коллекционеров — он испытал разочарование. Он ничего не ждал от сына священника, этого сморчка в адмиральском мундире, у которого,

помимо жены Кавалера, не было в жизни другого интереса, кроме как убивать людей. Не вселяла надежд и inamorata[26] Героя, принадлежавшая к той презренной расе людей, которые приходят в восторг по любому поводу. Но от ее мужа, Катерининого мужа, разборчивого пожилого человека с исхудавшим лицом и отсутствующим взглядом, он все же чего-то ждал. Но в нем не было ничего. Ничего. В двадцать лет, подумал Уильям, я дал себе клятву, что навсегда останусь ребенком; стало быть, я должен смириться со своей детской уязвимостью, с нелепым детским желанием найти понимание.

Как только строительство Аббатства дойдет до той стадии, что в нем можно будет поселиться, он ни за что не станет приглашать к себе гостей. Аббатство — не кафедральный собор, но храм для посвященных: тех, кто разделяет его мечты, кто, как и он сам, прошел через великие испытания, пережил тяжелые разочарования.

Впрочем, как покажет будущее, подобные грандиозные памятники чьей-то чувствительности и самомнению рано или поздно непременно начинают использоваться в полном противо-

---

[26] Примечания: 26
Возлюбленная *(ит.).*

речии с благочестивыми намерениями своих создателей. Потомки считают их безумными, но очаровательными образцами дурного вкуса, и они обречены на то, что на них, раскрыв рты, дивятся многие поколения туристов, тянущих, пока не видят смотрители, руки за бархатные ограждения, чтобы потрогать удивительные сокровища или шелковые занавески мегаломана. Но Аббатство Уильяма, высокомерный предшественник дворцов следующих двух столетий (как реально существовавших, так и выдуманных романистами), полных эстетства, неумеренности, синестезии и внутренней театральности, не дожило до диснейлендизации, постигшей Нойшванштайн Людвига II и Витториале дэ Аннунцио. Аббатство Уильяма возводили неграмотные строители, и оно с самого начала было, по сути своей, руинами. И поскольку храм искусства, этот театр одного актера со всеми его яркими декорациями, был главным образом предлогом для возведения башни, то кажется только справедливым, что судьба башни стала судьбой и самого здания. После первого падения башня простояла двадцать пять лет, но, вскоре после того, как Фонтхилл был продан, упала опять, и клубящееся облако известки и прогнившей штукатурки унес-

ло с собой большую часть Аббатства. И никто не счел нужным сохранить то, что уцелело.

* * *

Вещи портятся, разбиваются, пропадают. Таков закон мироздания, думал Кавалер. Мудрость старости. А те немногие, которые стоят того, чтобы их реставрировать, обречены вечно нести следы постигшей их жестокой участи.

Однажды, февральским днем 1845 года, в Британский музей пошел молодой человек девятнадцати лет. Он направился прямиком в неохраняемый зал, где с 1810 года, со времени передачи музею во временное пользование четвертым герцогом Портлендским, в застекленной витрине стоял один из самых ценных и знаменитых экспонатов — Портлендская ваза. Юноша взял в руки вазу, которую впоследствии назвали «редким образцом античного гончарного искусства», и принялся избивать ее до смерти. Ваза раскололась, распалась на черепки, прекратила свое существование. Молодой человек тихо присвистнул и уселся перед кучкой осколков любоваться делом рук своих. Прибежала охрана.

Вызвали констеблей, молодого человека забрали в полицейский участок на Боу-стрит, где

он назвал вымышленные имя и адрес; директор музея отправился сообщать неприятное известие герцогу; хранители музея ползали на коленях и собирали осколки, все до единого. Не дай бог хоть что-то потерять!

Злодей, оказавшийся ирландцем, студентом богословия, бросившим Тринити-Колледж после нескольких недель обучения, был значительно менее самоуверен, когда предстал перед мировым судьей. На просьбу объяснить, что заставило его совершить столь бессмысленный акт вандализма, он ответил, что был пьян… или страдает чем-то вроде нервного расстройства, постоянным страхом перед всем, что видит… или услышал голоса, приказавшие ему это сделать… или позавидовал создателю вазы… или возбудился при виде Фетиды, возлежащей на ложе и ожидающей жениха… или посчитал изображенное на вазе эротическое томление святотатством, оскорблением христианской морали… или не смог вынести того, что такая красивая вещь является предметом восхищения, в то время как сам он беден, одинок и неудачлив. Привычные объяснения, что даются после истребления бесценного произведения, являвшегося объектом всеобщего восхищения. Это всегда истории о навязчивом

преследовании. Люди (почти всегда мужчины), сами себя назначившие на роль изгоев, одиночек, вдруг начинают подвергаться настойчивому преследованию со стороны необыкновенно прекрасных зданий, таких, например, как Золотой Павильон, или со стороны изображений томной женской красоты, таких, как Фетида Портлендской вазы или «Венера перед зеркалом» Веласкеса из музея Рокби, или идеальной нагой мужской красоты, как, скажем, Давид Микеланджело. Начав охоту на человека, они преследуют его, пока не доведут до безнадежного, безграничного отчаяния (состояния, полностью противоположного экстазу) и до убеждения, что он заслужил право избавить себя от этого кошмара. Человек чувствует необходимость бороться, вырваться из пут невыносимого состояния. Ведь вот же он — предмет восхищения. Он провоцирует. Он дразнит. И он — ах, это хуже всего — безразличен к страданиям несчастного.

Поджечь храм. Стереть вазу в порошок. Искромсать Венеру. Отбить безупречные пальцы со ступней эфеба.

А потом впасть в ступор, в бездну стыда, во враждебную неподвижность: отныне преступник опасен только для самого себя. Рецидив невозмо-

жен. Подобная связь с произведением искусства — навязчивая идея уничтожить его — моногамна. Можно быть уверенным, что мистер *** больше не придет в Британский музей и не нападет на Розеттский камень или на мраморные скульптуры Элджина, — и вряд ли это сделает кто-то еще. Во всем мире есть, кажется, всего десять-пятнадцать произведений искусства, вызывающих маниакальную привязанность (по последним, быть может, заниженным оценкам главы департамента изящных искусств Флоренции, города, которому принадлежит честь обладания двумя такими произведениями — статуей Микеланджело и «Рождением Венеры» Боттичелли). Портлендской вазы в этом списке нет.

В судьбе мистера *** уже ничего не поправить; магистрат приговорил его к штрафу в три фунта или к двум месяцам исправительных работ. В кармане мистера *** было всего девять пенсов, и его посадили в тюрьму, но несколько дней спустя, после того как кто-то уплатил за него штраф, преступника освободили. (По слухам, благодетелем оказался не кто иной, как сам герцог Портлендский, милосердный аристократ, заявивший, что не может требовать наказания молодого человека, вероятнее всего, сумасшедшего.) Но ваза — все

ее сто восемьдесят девять кусочков семь месяцев, решительно вооружившись лупой и пинцетом, изучали в подвале музея специалист, сотрудник музея, и его помощник — была собрана воедино.

Может ли то, что было разбито, а затем умело склеено, стать таким же, как раньше? Да, визуально, если не приглядываться слишком внимательно. Нет, идеологически.

Вернувшаяся за стекло реинкарнированная ваза, не копия и не оригинал, была в достаточной степени похожа на себя прежнюю: швов, если только на них не указывали специально, не замечал никто из посетителей музея. Прекрасная для того времени работа реставратора. Но время сделало свое черное дело. Прозрачный клей пожелтел, проступил, невидимые швы стали видимыми. В 1989 году было принято рискованное решение отреставрировать вазу заново. Для этого, прежде всего, ее нужно было разобрать на части. Чтобы размягчить старый клей, группа экспертов погрузила вазу в особый растворитель, потом осторожно, осколок за осколком, разобрала ее на сто восемьдесят девять кусочков, промыла каждый в теплом растворе неионизированного мыла и заново склеила современным клеем, застывающим естественным образом, и смолой,

твердеющей под ультрафиолетом за тридцать секунд. Работа, каждый этап которой фотографировали и проверяли электронным микроскопом, заняла девять месяцев. Результат всех удовлетворил. Теперь ваза может жить вечно. По крайней мере, еще лет сто.

* * *

Некоторые вещи — жизнь, репутацию — склеить нельзя.

В первую неделю января Героя назначили заместителем командующего флотом Ла-Манша — тень официального неодобрения за предосудительное поведение в течение последних двух лет провисит над ним еще некоторое время — и дали ему новый флагман. Гиллрэй отпраздновал возвращение Героя на героическую стезю гравюрой под названием «Безутешная Дидона». Дидона — малоприятная на вид женщина-гора, вылезающая из постели; огромные, как у Гаргантюа, ноги широко расставлены, мамонтоподобные руки с мясистыми ладонями простерты к открытому окну, откуда видно море и отплывающую эскадру военных кораблей.

Ах, куда же, ах куда же, славный мой

моряк уплыл?

Он уплыл с французом драться, за Георга, что на троне,

Он уплыл, чтобы последний глаз и руку потерять,

А меня оставил плакать, рядом с древнею руиной,

Ах, я плачу и рыдаю, рядом с ней ложась в кровать.

И действительно, в темном углу кровати виднеется маленькое морщинистое личико спящего супруга.

Есть очень немного людей, подобных Герою, чьи жизни и репутации, как Портлендская ваза, являются музейным достоянием и слишком ценны, чтобы позволить им разбиться.

Он воин, лучший воин своей воинственной страны, которая вот-вот станет величайшей империей мировой истории. Героем все восхищаются. Его репутация создавалась так долго. Ее никак нельзя ронять.

Но кого волнует судьба грузной вульгарной матроны и дряхлого, изможденного старика. Их можно и уничтожить. Общество ничего не потеряет. Оно не вложило в них ничего особенного.

Поэтому отныне, что бы ни делали они, — все неправильно.

Позор, позор. Двойной позор.

А Герою, уже очень скоро, вечная слава.

Конечно, репутация Героя дала трещину. И ее ничем не замажешь. Ни великой победой, которую он одержит через несколько месяцев, — второй из трех его великих побед, благодаря которой Наполеон лишится контроля над Балтикой; ни даже последней, величайшей, победой, когда, игнорировав совет не делать из себя мишени, он во время боя появился на палубе при орденах и звездах, и в него попала пуля, выпущенная из мушкета с крюйс-марса ближнего французского корабля. Всякий, кто рассказывает историю его жизни, вынужден в отношении Средиземноморского периода, когда Герой вел себя неподобающе, занять определенную позицию, пусть даже объявить эту тему не стоящей обсуждения. Рассказчику необходимо поддерживать определенную скорость повествования, так же, как необходимо держаться на некотором расстоянии от разбитой и после склеенной Портлендской вазы. Замедлите темп, подойдите чуть ближе, чтобы вглядеться внимательнее, и вы не сможете не замечать трещин. Наберете скорость,

будете описывать только то, что действительно важно, — и они исчезнут.

* * *

И что надеть, чтобы скрыть неожиданную потерю веса? Именно это заботило жену Кавалера через две недели после того, как Герой отплыл на Балтику. К счастью, сейчас начало февраля, и стоит жуткий холод. Ответ: просторные одежды последнего месяца беременности, а под них что-то подложить, тогда, по мере изъятия слоев, изменение силуэта будет воспринято как результат действия поразительно эффективной ускоренной диеты.

И что надеть ночью, чтобы в строжайшей тайне вынести дочь, которой всего неделя от роду, из дома на Пиккадилли, отвезти в наемной карете на Литл-Тичфилд-стрит и оставить у кормилицы до тех пор, пока вы не решите, как забрать ее обратно, уже в качестве чужого ребенка, отданного на ваше попечение? Ответ: меховую муфту.

Пришла новость о великой победе под Копенгагеном, которую одержал ваш настоящий муж, отец вашей драгоценной доченьки, вашего первого ребенка, как считает ваш возлюбленный, который горевал как безумный оттого, что не мог

присутствовать при рождении девочки и который обезумел от радости, когда стал отцом; он пишет вам об этом один-два раза в день; вы пишете ему по три или четыре раза. Пишет он теперь в основном о ребенке, о том, как ее окрестить, о том, что он, вне всяких сомнений, признает отцовство, о том, как он тревожится за ее здоровье. А еще о своей ревности. Он, конечно, не думает всерьез, что вы можете изменить ему, но убежден, что вами увлечены все мужчины Лондона. И, откровенно говоря, некоторые действительно увлечены. Пусть вы не можете быть приняты при дворе, пусть мисс Найт, которую в первый же вечер по возвращении в Лондон предупредили, что дальнейшие встречи с вами могут повредить ее репутации, не нанесла вам ни одного визита. Зато другие не стесняются это делать. Вас принимают, вы принимаете, вы должны устраивать званые обеды и музыкальные вечера, хотя бы потому, что ваш муж — вы теперь относитесь к нему как к отцу, которого у вас никогда не было, вы ведь вышли за него совсем девочкой, а теперь вы взрослая женщина, — так вот, ваш муж-отец должен делать вид, что он по-прежнему состоятельный человек и что ему нет необходимости продавать свои коллекции. Вы решаете устроить

прием и пригласить самого принца Уэльского! Какой-то знакомый с восторгом сообщает Герою, что принц всему городу твердит, как вы ему нравитесь. Он сядет рядом с вами, будет говорить вам нежности, стонет Герой. Он поставит свою ногу рядом с вашей! Вы обмениваетесь горячечными письмами, вы оба обезумели от разлуки. Вы заставляете его дать клятву, что он не станет сходить на берег, сколько бы ни продлилась стоянка, и не пустит на корабль ни одной женщины. Он держит обещание. И, в свою очередь, берет с вас клятву, что вы никогда, ни на одном приеме, не позволите принцу Уэльскому сесть рядом с вами (вы обещание не сдержали), но, когда принц все-таки прижал под столом свою ногу к вашей, вы быстро отодвинулись и, под предлогом необходимости подготовиться к выступлению, поспешно вышли из-за стола. Клятвы, что вы не будете выступать перед публикой, он с вас не брал.

На торжественном званом обеде в честь великой победы Героя в Копенгагене вы, недолго и сдержанно поиграв на клавесине, пускаетесь плясать тарантеллу, тянете к себе лорда ***, но он, по всей видимости, не решается принять приглашение, тогда вы хватаете за руку сэра *** и лишь через несколько минут вспоминаете, что

прежде всего должны были пригласить мужа, он, бедняжка, галантно присоединяется к вам на несколько фигур, и вы чувствуете, как дрожат его подгибающиеся ноги. Затем вы маните Чарльза, но он отказывается. Перетанцевав с теми немногочисленными партнерами, которые нашлись для вас в зале, вы не чувствуете усталости, вы, конечно, выпили — как еще дожить до вечера, — и выпили, быть может, слишком много, это часто случается, вы же знаете. Но не желаете остановиться. Какое-то время вы танцуете одна. В Палермо, желая поразить гостей неаполитанским фольклорным танцем, вы плясали тарантеллу много раз, но в холодном сером Лондоне вы ее танцуете впервые. Но это неважно, тарантелла у вас внутри. У вас всегда находился повод для перевоплощения, вы были живой статуей или моделью художника, воспроизводили позы и жесты исторического лица или поэтического персонажа, воплощали их, или Позиционировали, как любят выражаться те, кто ныне подвергает вас осмеянию, вы пели, у вас на устах был чужой плач или чужая радость. Сейчас вам не нужен повод, на вас нет маски. Есть только ликование, сейчас, когда вы пляшете под музыку, звучащую у вас в голове, здесь, в Лондоне, в вашем доме;

и ваш муж — вон он сидит — не смотрит на вас, отводит глаза, а все остальные уставились, смотрят, вы так глупо себя ведете, но это неважно, вы чувствуете себя такой *живой.*

Вы знаете, что лишились прежнего изящества, но это вы, уж какая есть, снова набираете вес, мать и служанки снова расставляют швы, и вы маните к себе черную Фатиму и светловолосую Марианну, они рядом с другими слугами стоят в дверях и наблюдают за весельем хозяев, зовете их вместе плясать тарантеллу. Обе стыдливо выходят на середину и начинают танцевать; Марианна заливается краской, бормочет что-то неслышно и убегает, но Фатима танцует так же страстно, как вы. Может, это все вино, а может быть, черная лоснящаяся кожа Фатимы, а может быть, безудержное счастье из-за Копенгагена, но вы теперь танцуете, взяв Фатиму за черную потную руку, — быстрее, быстрее, сердце бьется как сумасшедшее, увеличившиеся, полные молока груди бьются о ребра. У вас всегда был повод для перевоплощения, а сейчас он не нужен. Сейчас вы — это вы. Сама энергия, само неповиновение, само предзнаменование. И вы слышите гортанные крики, вопли, издаваемые вашим ртом, звуки самого странного происхождения, даже вам

понятно, что это неприлично, что гости шокированы. Но этого они и хотели. Именно такой они вас и считают. Вам хочется сорвать с себя одежды, чтобы они увидели тяжелое тело, пятна и растяжки на животе, огромные, бледные, испещренные голубыми прожилками груди, экзему на локтях и коленях. Вы хватаете одежду на себе, на Фатиме. Вот такая, по их мнению, вы и есть, кружащаяся, орущая, вопящая, вся — рот, вся — груди, вся — бедра, вульгарная, необузданная, похотливая, сладострастная, мясистая, мокрая. Что ж, пусть увидят то, что они, как им кажется, и так видят. И вы тащите к себе Фатиму, чувствуете ее дыхание, дыхание, думается вам, Африки, и вы целуете ее в губы, ощущаете пряные ароматы дальних стран, везде хотелось бы побывать, но вы здесь, только здесь, и что-то переполняет вас, и вы танцуете, быстрее, быстрее. Что-то рвется изнутри, почти так же, как прорывался ребенок сквозь фундамент вашего тела, вам страшно, как и тогда, ведь вы думали, что умрете, женщине всегда кажется, что она умрет, когда схватки учащаются, казалось невозможным, что вы сумеете вытолкнуть такую огромную штуку из своего нутра. Как и тогда, вам страшно, хотя и не больно, не так больно, как рожать. Нет, это радость, это ощущение бьющей

через край жизни; вы стали скандальной личностью, но вы так счастливы, так гордитесь им, и мир так велик, — он далеко, он, может быть, вернется не скоро, его могут ранить, могут убить, однажды его обязательно убьют, вы это знаете, — а вы так одиноки, всегда так одиноки, не так уж вы и отличаетесь от покорной Фатимы, вы чужие в этом мире, женщины, рабыни, обязанные быть такими, какими вас хотят видеть. Он так велик, мир, и вы так жадно в нем живете, но все вами недовольны. Но зато есть слава, его слава, и вы падаете на колени, и Фатима падает тоже, и вы обнимаетесь и целуетесь еще раз, а затем обе поднимаетесь, и Фатима с закрытыми глазами издает странное улюлюканье, оно вырывается и из вашего горла. И все гости чувствуют себя очень неловко, но вы давно уже привыкли всех смущать, вы теперь всегда всех смущаете. Вы видите это по их глазам, вы можете быть какой угодно, но ненаблюдательной вас не назовешь, вы просто притворяетесь, что не замечаете. Конфузятся? Пусть их. Это же так прекрасно — петь, и топать, и кружиться. Почему они порицают вас, смеются над вами? Почему так стыдятся вас? Ведь и они когда-нибудь чувствовали то же, что вы сейчас. Зачем же они хотят остановить вас?

Вы же пытались стать такой, как они желают.

* * *

Моя обожаемая женушка, пишет Герой жене Кавалера. Расставание с тобой так невыносимо, от меня словно бы оторвали кусок. Так тяжело, я не могу поднять головы.

В феврале Герой получил трехдневный отпуск и навестил дочь на Литл-Тичфилд-стрит. Он плакал, когда взял малютку на руки и прижал к груди. Когда он уезжал на корабль, они плакали вместе.

Она всегда хотела рассказать ему о своей другой дочери, которой было уже девятнадцать и которой она дала собственное имя. Но подходящего момента как-то не нашлось, а теперь было слишком поздно. Первая дочь — это она сама, а эта малышка носила имя Героя, с женским окончанием «я». Так что крошечный младенец считался ее единственным ребенком.

Стоило Кавалеру уехать куда-нибудь с Чарльзом, как она тут же приказывала привезти девочку с Литл-Тичфилд-стрит. Она снова забиралась в постель и спала рядом с дочерью. Как мило с его стороны, что он никогда не упоминает о ребенке, она так ему за это благодарна. Ведь

мог бы попрекать ее. Нет, он не станет. Когда Кавалер вернется, мать стукнет ей в дверь. Не хочу навязывать ему чужого ребенка, говорила она себе. На самом же деле, она не хотела делить с ним этого ребенка, но когда-нибудь… конечно, уже скоро… когда он… и она уже не будет… тогда ребенка больше не придется отсылать!

* * *

Кавалер попрекал жену только за расточительность — за бесконечные траты на развлечения, например, и в особенности за счет на четыреста фунтов от виноторговца. Но она была не только расточительна, но и нерасчетлива. Она сама вызвалась продать все, что получила от королевы, и бриллиантовое колье, которое Кавалер много лет назад подарил ей на день рождения, и все остальные украшения. Лондонский ювелирный рынок был перенасыщен бриллиантами (слишком много нищих французских эмигрантов-аристократов пыталось продать здесь свои драгоценности); то, что в Италии могло бы принести тридцать тысяч фунтов, здесь ушло за двадцатую часть этой суммы. Но зато хватило денег на то, чтобы обставить дом на Пиккадилли.

Теперь Кавалеру ничего не оставалось, как

продать свои сокровища.

Список он составил два с половиной года назад, еще в прошлой жизни, перед отъездом из Неаполя. Те немногие из картин, которые были распакованы и украшали стены дома на Пиккадилли, запаковали снова, после чего четырнадцать ящиков с произведениями живописи и прочие вещи отправились к аукционеру.

Трудно бывает выбирать. Оставлю это, но отдам то. Нет, это я отдать не могу. *Это* трудно.

Но, как только вы решаете расстаться со всем сразу, вам уже нетрудно. Наоборот, вы чувствуете себя легко, бесшабашно. Важно ничего себе не оставлять.

Коллекция, в идеале, покупается предмет за предметом — так больше удовольствия, — но продавать ее таким образом предельно неприятно. Вместо долгого умирания от тысячи ран — один четкий, фатальный удар. Когда мистер Кристи прислал Кавалеру отчет о результатах торгов первых двух дней, полностью посвященных продаже его картин, он едва взглянул на цифры. Он не хотел знать, что Веронезе и Рубенс ушли за большую цену, чем он ожидал, а Тициан и Каналетто — за меньшую. Главное, что в целом он получил за них гораздо больше, чем заплатил,

почти шесть тысяч фунтов.

Герой, несмотря на то, что находился в море, велел своему агенту выкупить две из пятнадцати картин с изображением жены Кавалера. Соглашайтесь на любую цену. Они должны быть моими. И жене Кавалера: так и вижу на тебе табличку «продается». Как он может, как он может расстаться с твоими портретами? Как подумаю, что они достанутся невесть кому… Как бы я хотел купить их все! Больше всего Герой желал бы приобрести сладострастную Ариадну Виже-Лебрен, но, к несчастью, этой картины никогда не было в коллекции Кавалера.

Следующие два дня торгов в начале мая принесли еще три тысячи фунтов. Тогда Кавалер составил завещание — такое, какое всегда собирался составить, — он не видел причин менять что бы то ни было. И почувствовал облегчение, будто сбросил с плеч тяжелую ношу.

* * *

И что носить дома, в том доме, о котором ты всегда мечтал, в настоящем доме — загородном поместье, на ферме, с ручьем, пробегающим по твоей земле? Простой черный костюм — даже за парадным столом. А при обходе владений,

осматривая скот, приглядывая за обрезкой деревьев, — мятую шляпу и наброшенное на плечи полосатое коричневое пальто.

Несмотря на летнюю панику, ожидаемое вторжение флота Наполеона в воды Канала так и не состоялось. Герой направил в Адмиралтейство еще одно письмо. Нижайше прошу разрешения сойти на берег, ибо мне необходим отпуск. Он обратился к жене Кавалера с просьбой присмотреть дом, где он мог бы поселиться по возвращении, предположительно, в октябре. Она нашла поместье с двухэтажным домом в не испорченном цивилизацией пригороде Суррея, всего в часе езды от Вестминстерского моста. Друзья Героя считали, что кирпичный дом прошлого века и размеры угодий чересчур скромны и чересчур дороги — девять тысяч фунтов, — но, несмотря на это, Герой занял денег на покупку и попросил жену Кавалера подготовить дом к его приезду. Они с матерью занялись обустройством. Надо, чтобы дом был очень красивым, надо оштукатурить его, покрасить, повесить зеркала, расставить мебель (здесь будет все, и рояль, и флаги, и трофеи, и картины, и фарфор в честь побед Героя). Дом должен отвечать современным требованиям: она велела установить пять ватерклозетов и новомодные

плиты на кухне. И он должен быть похож на ферму, с овчарнями, свинарниками и курятниками.

Офцы и свиньи и куры также забавны как королевский двор в Неаполе, — пишет она Герою. — Надеюсь я тебя не очень утомляю этими подробностими.

Моя драгоценная, ответил Герой, мне больше по сердцу твои разговоры о свиньях и курах, простынях и полотенцах, солонках и суповых ложках, плотниках и обивщиках, чем любые речи в палате лордов, ибо нет такой темы, которой, благодаря уму и красноречию, ты не могла бы придать живейшего интереса. Я согласен на африканских попугаев на веранде. Заверь Фатиму, что к ее крещению я постараюсь быть дома. Пожалуйста, не забудь распорядиться, чтобы мистер Морли протянул по берегам ручья и на мосту сетку, чтобы наша дочь, когда приедет к нам, не упала, упаси Бог, в воду. Будь так добра, не забывай, что я не хочу в своем доме ничего, что не является моей собственностью. Рассказывай обо всем, что вы с миссис Кэдоган делаете. Ты пишешь о нашем рае. Не знаю, как я смогу дольше выносить разлуку с тобой. Победитель жаждет вернуться и снова стать Побежденным.

Когда Герой вернется, жена Кавалера и ее мать

будут постоянно жить в Суррее, поэтому у Кавалера, хотя он по-прежнему снимает дом в Лондоне, нет иного выбора, кроме как поселиться там с ними. О нем не забыли. Ручей, переименованный женой в Нил, заселили для него рыбой. Но ему не разрешили взять из лондонского дома книги и французского повара. Жена сказала, что в его распоряжении будут библиотека и слуги Героя. Он не мог объяснить, зачем ему французский повар. Но он устал расставаться с вещами.

Вы отдаете это, это и то. И всегда остается что-то еще.

Как-то после целого дня, проведенного в Уондле на рыбалке, Кавалер остановился отдохнуть в гостинице, и с козел его кареты украли покрышку. Выйдя, Кавалер сразу увидел, что ее нет. Форейтор дремал. На глаза Кавалера навернулись слезы. По дороге домой он не мог думать ни о чем другом. Вернувшись, он, как только смог завладеть вниманием жены, тут же рассказал ей о происшествии. Она ответила: ой, да их все время крадут.

Из-за того, что его так взволновала потеря куска ткани, Кавалер почувствовал себя очень глупо. Стоимость покрышки невелика. Но дело не в деньгах. Иногда привязываешься к вещам, которые вообще ничего не стоят. Иногда, особенно

если ты стар, именно к таким вещам и привязываешься больше всего. Потеря ручки, булавки или ленточки причиняет боль, боль неизбывную. Он настоял на том, чтобы подать в газету объявление о пропаже покрышки.

Пустая трата денег, сказала жена. Это же не бриллиант, который мы потеряли в Дрездене.

«С козел кареты джентльмена утеряна покрышка, малиновая с бело-голубой вышивкой, отороченная белым шелковым кружевом».

Ее не вернут, сказала жена Кавалера.

И ее, конечно, не вернули. Но она часто ему снилась. Пожалуй, эта утрата подействовала на него больше, чем утрата всего остального, с чем за последнее время пришлось расстаться.

* * *

Лежать в постели, отдаться во власть невероятной слабости, плыть между сном и явью, вспоминать прошлое, не думать ни о чем и думать обо всем, видеть склоняющиеся над тобой встревоженные лица — вот моя жена, вот ее мать. Кто-то прикладывает к его губам влажный платок. Что это за странное сипение? Кому-то здесь трудно дышать.

Приходится идти по каким-то бесконечным

переходам, пока наконец он не осознает, что ноги больше не слушаются. У него остались неоконченные дела. Сейчас весна, и окно открыто, и слышатся голоса. Ему задают так много вопросов. Как вы, как вы себя чувствуете, вам лучше? Но они, конечно же, не ждут от него ответа? Не может ведь он сказать, хоть и собирался, что ему надо помочиться. И тем более не скажет, что простыня мокрая. Они могут рассердиться. А он хочет, чтобы их лица оставались такими же, как сейчас, улыбающимися, внимательными — ее лицо, его лицо. Они держат его руки в своих. Какие теплые у них руки. Они поднимают его. Он слышит шелест ткани. Вот, слева, его жена. Он чувствует ее грудь. А вот, с другой стороны, его друг. Держит его левой рукой. Надеюсь, я не слишком тяжел для них. В груди, где была такая боль, теперь огромная, гулкая пустота.

Он вырвался из подземелья раздумий. Он готов воспарить. Он взбирается вверх. Это трудное восхождение. Но в гору больше не нужно карабкаться. Он взошел. Как будто взлетел. Он так долго смотрел вверх, а теперь, с этой высоты, может посмотреть вниз. Какая широкая панорама. Так это смерть, догадался Кавалер.

Часть третья

6 апреля 1803 года

Я лежу неподвижно, с закрытыми глазами, и только поэтому они думают, будто я не слышу, о чем они говорят, а я слышу их прекрасно. Но так, пожалуй, лучше, комната такая огромная, занавески на окне так тревожно колышутся, и всего взором не охватишь. И свет такой яркий, что пришлось закрыть глаза. Очень тихо кто-то сказал: долго это не продлится. А я слышал все, что они говорили, пока я спал, только не хотелось просыпаться. Не сейчас. Проснешься — жди сюрпризов. А я их никогда не любил. Толо и моя жена прижимаются ко мне. Когда я заболел, они помирились. В Неаполе Толо вел себя с ней, как и подобает слуге, только угрюмо, всегда смотрел в землю, когда она к нему обращалась, а сейчас они тихонько беседуют, затем умолкают, как старые друзья, а только что они потянулись друг к другу над моей грудью, и их губы соприкоснулись. Странно, что мой верный неаполитанский циклоп вздумал надеть английскую морскую форму. Должно быть, решил меня позабавить. Он

так хорошо меня понимает. Иногда, случалось, мною овладевал страх, как в тот раз, когда он перетаскивал меня через поток лавы, сердце бешено билось у меня в груди, но я не показывал, что испугался, это было бы недостойно. Он, наверно, думает (и ошибается), что и сейчас мне страшно или тоскливо. Он очень бесстрашный, мой Толо. Он выиграл много сражений. Им все восхищаются. Он низкого происхождения, но он теперь сицилийский герцог. Король хотел сделать его циклопом-громовержцем, чтобы он жил в Этне, но, я уверен, мой Толо, как и я, по-прежнему отдает предпочтение нашему Везувию. Мы не могли всходить на Этну вместе. Меня не возвели в пэры. Но зачем из-за этого унывать, это не поможет, как не помогает паническая суета человеку, охваченному страхом. Лучше сохранять неподвижность. От этого у окружающих создается впечатление, будто человек ничего не боится, и это подбадривает их, людям ведь необходимо подавать пример, а заодно это успокаивает и самого человека. По пути в Палермо корабль ходил ходуном, и я вместе с ним, от страха, а Толо пришел посидеть со мной и грел мои ноги, жаль, что он не делает этого сейчас, они такие холодные, хорошо бы он их растер. Как глупо было с моей

стороны хвататься за пистолеты, что бы я с ними делал, шторм ведь не расстреляешь, но зато я сумел успокоиться и сидел неподвижно, даже когда Толо пришлось возвратиться на палубу, он ведь и другим должен был подать пример. Я сидел неподвижно и закрыл глаза, и шторм прекратился. И я знаю, что если сейчас, здесь, буду лежать не двигаясь, то не буду бояться. Вот они заговорили. Это не продлится долго. Может, Толо бесстрашен, потому что видит только половину того, что видят другие? Свои величайшие победы он одержал, когда был уже наполовину слепым. А я закрою оба глаза и вообще не увижу никакой опасности. Никогда нельзя сказать, где кроется истинная опасность. Мои здешние друзья считали, что вулкан представляет для меня постоянную угрозу, они говорили, что очень огорчатся, узнав, что я, как Плиний Старший, погиб при извержении, но их опасения оказались совершенно необоснованны. Со мной ничего не случилось, по крайней мере, на вулкане. Вулкан был тихой гаванью.

И сам Неаполь был таким здоровым местом. Я так хорошо себя чувствовал. Воздух. А теперь я чувствую себя нехорошо. И море. Когда я отплывал от лодки… Чудесное ощущение, когда

тебя держит вода. Хорошо, что они меня держат, тело стало таким тяжелым. Я вдруг понял, что-то мешает мне дышать. Если бы я остался в Неаполе, я бы не заболел. Для Катерины там был подходящий климат. Если бы Плиний не был таким толстым и не задыхался бы постоянно, он бы не умер, когда случилось извержение Везувия. Он и не догадывался, тогда еще никто не знал, что Везувий — вулкан. Как они, должно быть, удивились. Он повел корабль, чтобы хоть кого-то спасти от извержения, и те, кто плыл с ним, не погибли. Для него одного испарения вулкана оказались смертоносными. Наверное, и для Катерины вулкан был вреден. Помню, она очень не хотела умирать и все просила, чтобы ее не зарывали в землю. Она очень устала. Полагаю, она сейчас в своей комнате, отдыхает. Многим нужен отдых. Достигнув берега, Плиний почувствовал усталость, и для него на земле расстелили одеяло, чтобы он полежал и отдохнул, а он больше уже не встал. Никто не знает своего часа, но нужно принимать разумные меры предосторожности. Избегать неразумных действий. Ведь я теперь вспомнил, зачем держал пистолеты — чтобы застрелиться, если пойму, что корабль идет ко дну. Я больше боялся воды — как она вольется в горло

и перекроет доступ воздуху, — чем металла, вспарывающего черепную коробку. Никогда больше не буду паниковать. Как было бы глупо, если бы я застрелился, испугавшись какого-нибудь шума, или если бы судно слишком сильно накренилось. Как правило, шум стихает, а то, что накренилось, выравнивается. А я мог умереть раньше положенного срока. Тогда, во время шторма, мать Толо сказала, что я не умру, и оказалась права. Она заверила меня, что я доживу до возраста, до которого и дожил, до какого именно, так сразу не вспомнить, но через пару секунд я вспомню. Не люблю предсказаний. Любая названная цифра укорачивает жизнь человека. В двадцать два года, да, юность почему-то легче вспоминается, месяц был сентябрь, а год 1752-й, тогда поменяли календарь, и я видел толпу, которая несла плакат «Верните нам наши одиннадцать дней». Невежественные люди, они были уверены, что изъятые дни вычли также и из их жизней. Но ничто никогда не вычитается. И никто не может убедить невежественных, что они невежественны, а дураков — в том, что они дураки. И все же так естественно хотеть продлить свое существование, каким бы жалким оно ни было. Это не продлится долго. В Неаполе эти бешено несущи-

еся коляски с нахальными кучерами, которые кричат всем и каждому убираться с дороги, сбивают стариков каждый день. Один старик, я как-то сам видел, совсем дряхлый и очень худой, прямо скелет, скелет в лохмотьях, ступал, поднимая ноги не вперед и немного в сторону, а перпендикулярно и со стуком обрушивая на землю всю ступню. Это было не бесстрашие, нет, это было упрямство. Я бы не стал ходить, если бы не мог сохранять вертикальное положение. Но, даже лежа здесь, несмотря на то, что мне отказали и ноги, и руки, а сохранились лишь разум и тоска, я все же получаю удовольствие, наблюдая за развитием событий. Кто захочет, чтобы занавес опустился раньше, чем закончится пьеса. Кто сказал, что это не продлится долго. Пусть ни у одной истории нет конца, точнее, одна история переходит в другую, другая — в третью и т. д. и т. д. и т. д., я бы хотел знать, когда и каким образом проклятый Бонапарт получит по заслугам, и, ах, окно закрыли. Я слышал карету. Видимо, они хотят отправить меня в путешествие. Что ж, по крайней мере, я дожил до того, чтобы увидеть своими глазами, как тайный сговор с позорной революцией потерпел неудачу в Англии. Человеческая натура так порочна, что абсурдно даже

мечтать, а тем более рассчитывать, что общество когда-нибудь перейдет на другую, более высокую, ступень развития. Надеяться можно, самое большее, на очень медленное восхождение. Не такое, как на конус кратера. То, что возносится слишком высоко, непременно должно упасть. Ничто не может простоять очень долго, это трудно. Тело покидает меня.

Интересно, смогу ли я сейчас встать. Однако, если мы собираемся в путешествие, нужно тренироваться. Вот они удивятся, когда я встану на свои непослушные холодные ноги. Когда уйдет этот коротышка в адмиральской форме, придет Толо и разотрет мне ступни. Хорошо бы жена осталась. Зачем она все время уходит с ним вместе. Пусть останется и споет мне. Ради нее я даже открою глаза. Сейчас она со мной так добра. Не то что в последние годы. Надеюсь, она добра со мной не потому, что я болен, ведь я намерен поправиться. Есть такие люди — о том, что им дорого, они начинают заботиться только тогда, когда их имуществу угрожает опасность или когда оно уже испорчено, а то и вовсе почти уже пропало. В Помпеях и Геркулануме тупые рабочие совершенно не понимали, *где* они копают, *что* долбят кирками и лопатами, пока на раскопки

не приехал Винкельман и не отчитал их за полное отсутствие методы и аккуратности в работе: только тогда они стали действовать с надлежащим тщанием. А потом, очень скоро, его убил тот ужасный молодой человек, отнюдь не Ганимед, как мне рассказывали, ничего подобного, уродливый рябой мерзавец; мой чувствительный друг пригласил его к себе в гостиницу и имел неосторожность показать некоторые ценности, которые вез в Рим. Казалось бы, Винкельман должен был иметь склонность к юношам с лицами и телами греческих статуй, красоту которых он так превозносил, но нет, вопреки стараниям ревнителей общественного вкуса, во вкусах не бывает стандартов, а потом, если человеку суждено быть убитым, если такова судьба, то ему не дано предвидеть, кто окажется убийцей. Никогда, ни единого раза за все тридцать семь лет, что я прожил среди жестокого и вспыльчивого народа, не испугался я блеска клинка. Но здесь, в родной Англии, в собственной постели, это не продлится долго, ночные кошмары составляют лишь часть того, с чем мне теперь приходится мириться, надеюсь, когда я поправлюсь, они прекратятся, лучше о них сейчас не думать. Ко мне приближается мать, с зазывным видом распахивая

платье. Мужчины и женщины, усевшись в кружок, самозабвенно лакомятся трупами, чавкая и выплевывая кусочки костей, белые, как пемза, которую я собирал на вулкане. И раздувшийся утопленник в воде, и беременная женщина на виселице. Во сне меня волокут на виселицу, это крайне неприятно, я же им объяснял, что не могу ходить; а то еще меня, беспомощно лежащего в постели, окружают бандиты с ножами. Теперь часто снится, что меня вот-вот убьют. Обычно, когда я просыпаюсь, то могу отогнать эти видения, хотя они некоторое время еще живут со мной в реальном мире, правда, если нужно, я могу потянуть шнур тонка и вызвать старого Гаэтано, чтобы он посидел со мной, пока я снова не засну. А как-то раз, по-моему, позавчера вечером, я услышал собственный крик, боюсь, он прозвучал очень жалобно, и моя жена с циклопом вошли в комнату и стали спрашивать, не болит ли у меня что. Нет, это не боль, ответил я. Это только сон, но я поражен, до чего он правдоподобен.

Не хочу о нем думать. Предпочитаю, всегда предпочитал, думать о приятном, о том, что было в моей жизни хорошего, и такого я могу вспомнить немало. Прежде всего, хорошее здоровье. За все годы в Неаполе я почти ни разу не

болел. Эпизодическое расстройство желудка, ничего больше. Мой почтенный доктор нередко отмечал, что у меня сильная конституция и крепкие нервы. Прекрасный человек, Цирилло. Я так любил слушать его рассказы о последних открытиях науки о живых существах. Мне нужно было заботиться лишь о том, чтобы сохранить данное природой здоровье, воздерживаться от излишеств в еде и питье и особенно избегать острых блюд, от них густеют, делаются вязкими и вялыми телесные соки и сужаются каналы, по которым эти соки циркулируют. И еще, умеренно, но постоянно стимулировать животные функции организма посредством верховой езды, плавания, хождения на гору и других видов упражнений. Физическая активность неизменно помогала мне восстановить душевное равновесие. А если, будучи дома, я испытывал упадок духа, было достаточно взять книгу, или скрипку, или виолончель, и я вновь оживал. Меня нетрудно было приободрить. Природа наградила меня ровным темпераментом. А с возрастом я сделался флегматичным. Ничто меня не тревожит. Едва ли я причиняю много беспокойства тем, кто сейчас обо мне заботится. Хорошо бы они догадались позвать Саймона побрить меня, а то лицо будто

деревянное. Мне всегда везло. Меня окружала красота. Я окружал себя красотой. Каждое увлечение — новый кратер старого вулкана. Войти в лавку, или в аукционный зал, или в святилище собрата-коллекционера — и испытать удивление. Но не показывать его. Это могло бы принадлежать мне. Когда одна страсть начинает остывать, необходимо заменить ее другой, ибо главное в искусстве сносно прожить жизнь — постоянно чем-то увлекаться. Пусть король в своих занятиях, за исключением, пожалуй, бильярда и рыбалки, бывал неуемен, да и как человек он был в высшей степени отвратителен, и ему не доставало ума и интуиции, я все-таки предпочитал его общество обществу образованной королевы. Женщины, по моим наблюдениям, часто бывают недовольны. По-моему, большинству из них скучно жить. Мне никогда не скучно, если есть увлечение, о котором можно думать, которое можно с кем-то разделить. Я всегда с уважением относился к любой страсти, кроме религиозной, и, когда мы были в Вене, я с удовольствием удил рыбу в Дунае. Катерина все надеялась, что я стану верующим человеком, но это противоречит моей природе, я скептик. Не стану отрицать, иллюзии необходимы, они поддерживают человека в жизни, но

печальные и кислые христианские сказочки лишены для меня всякого очарования. Но я не стану возмущаться. Как сухо во рту. Первый принцип науки быть счастливым — не поддаваться ни возмущению, ни жалости к себе. Ни воде. Вода. Как хочется пить.

Они меня не слышат. Пожатие руки. Но страсть непостоянна. Венера не умеет хранить верность. Да и я не Марс. Но я не стал мстить. Я не продал мою Венеру. Сохранил верность вопреки самому себе, ведь я пытался продать ее. Но никогда ни одну картину не любил я так, как любил моего Корреджо. Странно, что Чарльза нет в комнате, это нехорошо, ведь я его не забыл, я сделал его своим наследником. Я знаю, он расстраивается, потому что у меня теперь мало денег. Чарльз ожидал большего. Не повезло. Для Чарльза не нашлось Венеры. Он любит свои драгоценные камни, и скарабеев, и всякие оправы. И он постарел. Думаю, он мне завидовал. Прежде всего, я умел быть счастливым. Удовлетворяя свои потребности, я в то же время приносил пользу другим. Я никогда не переоценивал своих возможностей. Бывает в жизни и более высокое предназначение, но я считаю, что находить красоту и разделять ее с другими — тоже вполне

достойное занятие. Искусство должно быть не только предметом бесплодного восхищения. Это я сказал. Произведение искусства должно вдохновлять лучших художников и мастеров своего времени. Именно я привез в Англию вазу, которую Веджвуд теперь выпускает в таких количествах. Пышка-глупышка. А это кто сказал? Прожив с мое, неизбежно начнешь все путать, но я сейчас очень постараюсь вспомнить все правильно. Неудивительно, что многое приходит на ум одновременно, жизнь была такая длинная. Но мне не нужно этого касаться, что-то с этим делать. Руки и ноги такие тяжелые, и не знаю, не понимаю, что с моей спиной. Тело сейчас тяжелее самого тяжелого багажа, в путешествии это всегда такая обуза. Что-то давит на меня. Все подступило так близко. После землетрясения, после смерти Катерины, ребенок несколько недель пролежал под домом. Интересно, понимала ли она, что ее могут спасти, или думала, что похоронена заживо. Тот ребенок, девочка, у нее кулачок был прижат к лицу, и ее извлекли из-под завала с дырой в щеке. Мужчинам трудно признать бесповоротность катастрофы. В своем эссе Пагано назвал землетрясение в Калабрии символом распада общества и возвращения его к

примитивному равенству. Не вспомню сейчас, из чего он вывел такое нелепое заключение. Он был очень умный, этот Пагано. Только с ним что-то случилось, не помню, что именно. Я заметил, что писатели способны из чего угодно вывести урок или предостережение или посчитать это возмездием, но, по моему мнению, разумный человек, почему голоса стали тише, надеюсь, они не оставят меня, когда у меня так сухо во рту, и язык так онемел, по моему мнению, разумный человек должен спокойно следить за развитием событий, выдержанно и отчужденно. Даже под такой тяжестью. В случае катастрофы человек должен попытаться спастись сам и спасти других. Почтенный римлянин Плиний Старший счел себя обязанным сделать нечто для спасения пострадавших. Его воспитали как джентльмена. Но есть и такие, кто сам учится достойно себя вести. В новое время, до которого я дожил, это вполне обычное явление, когда одаренные люди поднимаются из самых низов. Люди самого подлого происхождения превосходят самих себя. Когда опять началось извержение Везувия, Толо бросился на корабль и спас короля с королевой и отвез всех нас в Палермо. Но он потерял вазы. Случился шторм, и они отправились на дно. У меня

такое впечатление, что я не в силах рассуждать с присущей мне ясностью и трезвостью мысли. Голоса: bella cosa e l'acqua fresca.[27]

Толо должен мне объяснить, почему его люди решили спасать гроб с адмиралом, а не мои вазы, которые многим принесли бы радость и просвещение. Мои банкиры рассчитывали, что их спасут. Адмирал не стоит столько гиней. Я имею в виду адмирала в гробу, он человек без особых заслуг и достижений. Но в море вполне можно обрести славу. Кто только не восхваляет бесстрашного командора, забыл его имя, оно у всех на устах. Нет, не Плиний Старший, другой адмирал, нет, он какой угодно, только не толстый, и астмой не страдает. Это Катерина страдала. Нет, оба. Вполне естественно, что два человеческих существа похожи друг на друга. Иначе мы ничего не знали бы о своих собратьях, ибо только путем тщательного сравнения различных видов, да, адмирал, мой великий друг, спаситель нашей страны. Так его окрестил король Неаполя. Это он сказал. Но я имею в виду эту страну, Англию. И этого адмирала. Он стал мне как сын, и его благополучие и душевный покой значат для

---

[27] Примечания: 27
Прекрасная вещь и свежая вода *(ит.).*

меня больше, чем мои собственные, потому что, должен признать, в последние пять лет мне было нелегко, мир, в котором я чувствовал себя как дома, очень сильно изменился. Старые обычаи выброшены на свалку. Новые сантименты, я их не понимаю и могу лишь презирать, так как, увы, на самом деле слишком хорошо их понимаю, ибо я вовсе не утерял здравости рассудка, всегда мне присущей. Для других я — дурак. Она заслуживает наказания — это из-за нее люди считают меня дураком. Дайте воды… Да слышат ли они меня? Я их слышу прекрасно.

* * *

В голове прояснилось. Сон освежил меня. Я больше не слышу Толо и жены, хотя по-прежнему их ощущаю. Их одежды. Не будь так холодно, я чувствовал бы себя вполне комфортно. На вершине вулкана всегда было очень холодно, даже при умопомрачительной жаре внизу. Не понимаю, почему даже послушные не хотели пойти со мной на вулкан, чего они боялись. Я так и не смог уговорить Чарльза, и Катерина была чересчур хрупкой. А Плиний — чересчур тучным. Как неосмотрительно позволить себе располнеть, хотя сам я, возможно, стал слишком

уж худым. Надо было настоять на том, чтобы они пошли со мной, это приносит такую радость, особенно во время извержения. Я бы бесстрашно шел сам, а их проводники тянули бы на ремнях. Каждый должен побывать на вулкане и своими глазами убедиться, что монстр безобиден. Я так и чувствую его горячее серное дыхание. И неприятный запах жареных каштанов. Нет, это, должно быть, кофе, но если я попрошу ложечку кофе, они, подозреваю, откажут мне, станут говорить, что кофе помешает мне заснуть. Мне теперь и свет мешает заснуть. Поток оранжево-красного света. Чтобы заманить этих домоседов, этих неженок, на вершину, придется пообещать им за мучения музыкальную ассамблею. Катерина будет играть на рояле, а она, та, что больше меня не любит, будет петь. Правь, Британия. А я буду играть на виолончели, человек не забывает навыков, полученных в юности. Но прежде нужно позаботиться, чтобы воздвигли стены, — нужно защититься от ветра, у меня в голове очень сильный ветер, нельзя, чтобы он вырвался и перевернул Катеринин рояль. И когда мы будем защищены, когда мы будем защищены, Толо

сжимает мою руку, al fresco,[28] вот удивительно, всё здесь, всё несут в сильных руках, на сильных спинах, вверх по склонам горы. Все собрались в одном месте. Я вижу, многие из гостей рассматривают мои картины и вазы. А некоторым интересны образцы вулканических пород. А ты что обо всем этом думаешь, Джек? Джек бросает на меня взгляд, который я не могу назвать иначе, как заговорщицким, Джек склоняет голову над своим маленьким красным членикомом, что-то шепчет мне. Несчастья — тяжкая ноша, но возвышенный дух способен все вынести, однако, если опора падает и погребает человека под обломками, одиночество безгранично. В высшей степени удивительное создание. Он так хорошо меня понимает. Я напишу в Королевское общество, это главная научная академия в Европе, и я — ее почетный член. Стойкость, терпение, спокойствие и смирение. И мерцание. Холодный затхлый запах. Мофетта. О, осторожно. В бесстрашии можно зайти слишком далеко. Джек прыгнул за камень.

Проследите, чтобы маленький негодяй не подошел чересчур близко к кратеру. Я должен его спасти. Вот он. Сидит у меня на груди. Я чувствую

---

[28] Примечания: 28

3д. — на свежем воздухе *(ит.).*

его тяжесть, чувствую вонь его звериного кишечника. Больше не буду вдыхать через нос. А когда уйдут гости, лягу в постель, потому что, если человек сильно устал, ему разрешается отдохнуть, не только пожилым можно отдыхать после утомительных занятий. Трудно дышать. Всегда находились силы на то, что доставляло удовольствие. И чем сильнее я уставал, тем более живым себя чувствовал. Я потому так слаб, что слишком долго лежу в постели. Оттого, что я антиквар, я не стал старым. Наоборот, то, что я любил, помогало сохранять молодость. А самым интересным всегда было то необыкновенное время, в которое я жил. Мне очень не нравится, что теперь обо мне говорят. Друзья, понимавшие меня, умерли. Даже они считали меня чудаком, хотя, пожалуй, чудачества во мне было недостаточно. Но человек моего положения не должен оправдываться, как обыкновенный писатель, и я каждый день вижу счастливые результаты своих усилий по улучшению общественного вкуса и образовательного уровня в комнате. Я хотел сказать другое. Не в комнате. У современников. Качка, как на корабле. Адмирал. Восхитительный. Я всегда знал, чем восхищался и что хотел донести до окружающих. Я знал, что могу увлечь их своими

рассказами. Свет белый. Они уважали мои суждения. Благодаря своим занятиям я стал заметен, и поэтому мне не обязательно открывать глаза. От меня ожидали чего-то необыкновенного. Только необыкновенное оставляет длительное впечатление. Но потом они научились смеяться надо мной. Вкусы непостоянны, как женщина. Они еще здесь? Мою голову баюкают женские руки. Жена, я полагаю. Как уютно. Да, о том, что меня прославило. Признание может быть недолговечно, но я пользовался значительным влиянием. Надо бы приложить ладонь ко рту, воздух уходит из головы. Жена, конечно, из самых лучших побуждений, держит меня чересчур крепко. Воздух вырывается изо рта. Дайте-ка, я попробую снова его набрать. Тогда я смогу его удержать. Маленькими глоточками. Вот так. Я имел счастье жить в одно время и пользоваться дружбой и уважением столь многих великих людей, я могу гордиться той ролью, которую играл, отдавая все силы ревностному служению во имя. Воздуха. Нет, влияния. Пока еще во рту. Бьюсь об заклад, меня будут помнить. Но, как учит история, имя человека не всегда остается в памяти людей благодаря тем свершениям, которые он считал достойными того, чтобы о них помнить. Человек отдает всего

себя какому-то делу, заслуг, истинных заслуг, становится все больше, но потом, увы, с его именем связывается какая-то история, и вот оно уже у всех на слуху, на устах, и, в конце концов, кроме имени, люди больше ничего не помнят. Такова судьба Плиния Старшего. Теперь я выпущу часть воздуха. Плиний, ни минуты не потративший напрасно, никогда не прекращавший изучать, собирать факты, написавший сотню книг, что бы он подумал, если бы узнал, что все его труды окажутся забыты, поглощены, похоронены, воздух еще выходит, что все его знания ничто, потому что, сметая, опрокидывая, погребая под собой эти тяжко доставшиеся старые знания, вперед несутся знания новые. Хватит выдыхать. Что его будут помнить только по одной истории, по его печальному финалу.

Что его имя будет упоминаться только в связи с Везувием. Теперь я опять вберу немного воздуха. Думаю, он был бы изрядно разочарован. Слишком мало вернулось воздуха, я выпустил чересчур много, но придется удовольствоваться и этим. Что же, что же, если человеку суждено жить в памяти народной благодаря только одному событию его жизни, единственному событию долгой, насыщенной жизни, то, полагаю, возможна и

более печальная судьба, чем остаться в веках самой знаменитой жертвой вулкана. Мне повезло больше. Вулкан не сделал мне ничего плохого. Он не только не наказал меня за преданность, но принес много радости. На этот раз я больше не буду выпускать воздух изо рта. У меня была счастливая жизнь. И я хотел бы, чтобы меня помнили благодаря вулкану.

Часть четвертая

1

Я не могу говорить о себе, не говоря также и о нем. Даже если я не упоминаю его имени, он все равно присутствует, его присутствие подразумевается. Но я расскажу и о себе тоже.

Я была его первой женой.

Я была некрасива. Часто нездорова. Преданна ему. Я любила музыку. Он женился на мне из-за денег. Я влюбилась в него уже после свадьбы. Бог мой, как я его любила! Он тоже со временем полюбил меня, и сильнее, чем сам ожидал.

Ему досталось не много женской ласки. Его мать, фрейлина принцессы Уэльской и любовница ее царственного супруга, была с ним весьма строга. А в глазах его сурового отца он был всего лишь четвертым сыном, почти чужим, ибо еще ребенком мать забрала его во дворец. Как это не похоже на моих дорогих родителей, окружавших меня любовью и заботой, проливших немало горьких слез по поводу моего отъезда в варварскую страну. Они боялись, что никогда больше не увидят свое единственное дитя, что оно может погибнуть от рук бандитов или от чумы. А я, неблагодарная, была так счастлива, что уезжаю.

Как я уже сказала, мы уехали из Англии, потому что муж стал дипломатом. Он рассчитывал на назначение в столицу какого-нибудь более важного государства, но решил, по своему обыкновению, извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду. Целебный климат и его благотворное влияние на мое здоровье — ему и этого было бы достаточно, чтобы смириться с разочарованием. Вскоре после нашего приезда он нашел в своем новом положении много других преимуществ, преимуществ для себя. Чем бы он ни занимался, он не умел не получать от этого удовольствия, так же как не мог не стараться доставить удовольствие другим и произвести на них впечатление. Он позволял мне вносить посильный вклад в его карьеру, для чего я должна была стать безупречной женой.

Я хотела быть безупречной. Я оказалась превосходной женой для посла. Всегда была собранна, внимательна и любезна, но — считалось, что женщине это не пристало, — никогда не могла от души наслаждаться жизнью, что, возможно, и привело к тому, что захотелось получить от нее больше удовольствия, и это оказалось несовместимо с велением долга. Он знал, что я никогда не подведу его. Он ненавидел неудачи, дурное

настроение, горе, трудности, поэтому, если не считать моих нечастых недомоганий, я старалась не давать поводов для недовольства. В себе мне больше всего нравилось то, что он выбрал именно меня и что я его не разочаровала. Ему во мне больше всего нравилось то, что мною восхищались.

Благодаря серьезности манер, скромности нарядов, любви к чтению и музыкальным достижениям, меня считали много выше большинства представительниц моего пола.

Мы жили в большом согласии. Оба любили музыку. Я знала, как отвлечь его, когда он бывал раздражен неприятным или утомительным придворным делом или обеспокоен затянувшимися переговорами насчет облюбованной им картины или вазы. Он был ко мне исключительно предупредителен, и это привело к тому, что я постоянно бранила себя за отсутствие благодарности и обременительную предрасположенность к меланхолии. Он был не из тех мужчин, которые разбивают женские сердца, но мое сердце оказалось таково, что просто не могло не разбиться, и я сама виновата, что привязалась к нему с такой неподобающей страстностью.

Разговаривать с ним было все равно что с чело-

веком, сидящим на коне.

Я томилась, думаю, это была тоска по Богу, по небесному благословению. Едва ли это было желание иметь ребенка, хоть я и жалела, что у меня нет детей. Но ребенок — живая душа, я бы его любила и меньше переживала бы отлучки мужа.

Я благодарна за утешение, которое дает вера. Что еще способно противостоять ужасной тьме, которая нас окружает, и о существовании которой рано или поздно догадывается каждый из нас?

В детстве одной из самых любимых моих книг — ее подарил мой чудесный отец — была «Книга мучеников» Фокса. С замиранием сердца читала я о греховности римской церкви, о вдохновенной отваге благородных мучеников-протестантов. Их избивали и бичевали, хлестали плетьми и били по пяткам, их плоть разрывали раскаленными докрасна щипцами, им вырывали ногти и зубы, их непреклонность пытались залить кипящим маслом, и лишь после всего этого им бывала дарована милость костра. Я словно своими глазами видела, как разгорались костры под еретиками, как их одежды превращались в огненные плащи, я видела их шеи и плечи, изогнутые дугой, словно несчастные хотели бросить головы в небо,

оставив бренные тела догорать на земле. С состраданием и благоговейным ужасом я размышляла о славной судьбе епископа Латимера, о том, как его тело пожирало пламя, а кровь ручьем вытекала из сердца, будто в исполнение его извечного желания пролить кровь своего сердца в защиту святого Евангелия. Я жаждала подвергнуться таким же испытаниям и смертью святой мученицы доказать истинность своей веры. Мечты глупой, самонадеянной девчонки. Думаю, мне не хватило бы храбрости, хотя у меня и не было возможности это проверить. Не уверена, что смогла бы вынести муки костра, я ведь даже с безопасного расстояния не смела заглянуть в жерло вулкана!

Муж нежно называл меня отшельницей. Но стремление к уединению не было мне свойственно. Просто он часто бывал во дворце, а я не могла преодолеть отвращения к подлости и тупости придворной жизни, и его общество я предпочитала обществу кого бы то ни было.

Вся моя радость была в нем. То, что давала музыка, радостью назвать нельзя, это было нечто более захватывающее. Музыка помогала дышать. Музыка удерживала меня. Музыка слышала меня. Клавесин был моим голосом. В его прозрачном звуке мне слышался чистый, тонкий отзвук

самой себя. Я сочиняла чистые мелодии, не очень оригинальные и очень непритязательные. Я чувствовала себя увереннее, когда исполняла чужие сочинения.

Всякому, кто имел отношение к королевскому двору, а точнее, всякому человеку определенного положения, полагалось регулярно посещать оперу, поэтому я научилась любить ее, как искренне любил он. Я не люблю театр. Не люблю ничего искусственного. Музыку не надо дополнять зрелищем. Ею надо наслаждаться в чистом виде. Я не поверяла этих мыслей никому из тех, с кем бывала в опере, даже Уильяму, пылкому, несчастному молодому человеку, который вошел в мою жизнь под самый ее конец. Он дал мне представление о том, каково это — знать, что тебя понимают, и самой понимать другого. Уильяму я могла сказать о своей страстной жажде чистоты; ему я осмеливалась признаться в фантазиях, не совместимых с моим положением. Меня часто называли образцом, ангелом — нелепые комплименты, — но в устах Уильяма они звучали так искренне. Чистые излияния благодарного сердца. Я думала, он восхищается мной. Я была к нему добра. Он был моим другом, так я думала, а его другом была я. Затем я поняла, что он и

правда относился ко мне как к ангелу, ко мне, к женщине, которую переполняли неуправляемые чувства. Однажды, после того, как мы в четыре руки исполнили сонату, он отошел от рояля, раскинулся на диване и закрыл глаза. Я сказала, что он излишне чувствителен и что так нельзя, а он ответил: — Увы, это истинная правда, музыка действует на меня разрушительно, и, что еще хуже, мне это нравится. Вместо того, чтобы продолжить нравоучение, я замолчала, поскольку поняла, что готова произнести слова, столь же немыслимые. Я готова была сказать, что не музыка разрушает меня, а скорее, я разрушаю других с помощью музыки. Когда я играла, для меня не существовало даже моего мужа.

Я была моложе мужа, но никогда не чувствовала себя молодой. Не могу представить, что моя жизнь в чем-то могла быть лучше. Женская слабость привязала меня к нему. Я льнула к нему душой. У меня не было достаточного самоуважения. И я удивлена, что у меня нашлось столько поводов для жалоб, ведь я убеждена, что жена должна прощать, терпеть, выносить все, такова ее доля. Кому могла я поверить свои огорчения? Я не была ослеплена любовью, но мне было трудно его судить. Я никогда не сердилась. Я не допускала

грубых или низменных чувств. Какое облегчение признаться в них сейчас.

Полагаю, следует признать: я была несчастна и одинока. Но я не прошу жалости. Стыдно плакать о своей судьбе, когда есть столько по-настоящему несчастных женщин, тех, кого мужья обманывают или бросают, тех, кто вынашивает дитя лишь затем, чтобы лишиться его.

Полагаю, его можно назвать эгоистом. Мне нелегко это говорить. Как только я начинаю в чем-то его винить, сразу вспоминаю, как относились к своим увлечениям и обязанностям мужчины его происхождения и воспитания, думаю о том, что человек его темперамента не мог не отдаваться им целиком, о том, сколько сил это от него требовало, и я восхищаюсь им с новой силой, и восхищение затмевает чувство горечи. Я знаю, что и он бывал непокоен, потому что часто рассуждал на тему счастья. Когда я слышала, как он вздыхает, я могла вынести что угодно.

Полагаю, следует признать, что он был циником. Он бы с презрением, как к женской глупости, отнесся к тому положению, что в этом распутном мире, где все предопределено, человек обязан вести себя достойно. Возможно, следует даже признать, что он был способен на жестокость,

поскольку мягким человеком его назвать нельзя. Вы можете возразить, что он был мужчиной, а мягкость — прерогатива слабого пола, избавленного от столкновения с ударами судьбы. Однако мне кажется, что это не так. Наш беззащитный пол, подавляющее большинство из нас, судьба бьет с той же силой, что и мужчин. И, я уверена, на свете есть множество мужчин с добрым сердцем, хотя мне встретился лишь один, и это мой дорогой отец.

Женщина сначала дочь, потом — чья-то половина. Меня воспринимали, и я сама себя воспринимала, прежде всего, как его жену. Его же не воспринимали в первую очередь как моего мужа, хотя теперь, если о нем вспоминают, то — необычная участь для мужчины — в первую очередь как о муже его второй жены.

Он был недоволен, что я его покинула. Горе, которое я испытывала во время моей последней болезни, невыразимо. Я знала, что он будет скучать по мне гораздо больше, чем думает. Я надеялась, что он женится во второй раз. Я представляла, что он женится на респектабельной вдове чуть моложе себя, не обязательно богатой и любящей музыку. И что он будет вспоминать обо мне с нежностью. Мы, женщины, не в силах

понять, как сильно отличаются от нас мужчины. Есть то, что властно подчиняет их себе, из-за чего даже самые тонкие из них способны поддаться похоти и вести себя непристойно. Он любил меня настолько, насколько вообще был способен любить, а потом безгранично полюбил женщину, совершенно от меня отличавшуюся. Но так часто случается, что хорошую жену, воплощение всяческих сухих добродетелей, которые она, желая быть безупречной, тщательно в себе воспитывала, бросают ради женщины более живой, более молодой, более легкомысленной. Меня хотя бы миновал классический позор, позор, который пережила жена того человека — человека, похитившего любовь второй жены моего мужа. У меня было все, что муж был способен дать такой женщине, как я.

Я сожалею, что не могла не желать от него большего. Да, он надолго оставлял меня одну, а когда мы бывали вместе, находил больше удовольствия в своем, а не в моем обществе, но кто ведет себя по отношению к жене иначе? Разве я ждала, что он будет относиться ко мне пылко, как к любовнице? С моей стороны как-то не по-христиански обижаться на него за то, что он не был тем, чем и не мог быть.

Я и хотела бы представить свою жизнь без него, но не могу. Когда думаю, что он мог бы умереть раньше меня, мозг отказывается вообразить дальнейшее. Мы никогда не расставались. Я имела удовольствие видеть его, вблизи и вдали, во многих великолепных залах, и он всегда был великолепнее всех, и у меня был его портрет, которым я любовалась, когда он уезжал, маленький портрет не бог весть каких достоинств, который был мне очень дорог. Именно этот портрет я унесла с собой в могилу.

2

Я ее мать. Вы понимаете: *ее* мать. Меня почти всегда принимали за служанку ее светлости. Я умела держаться в тени. Но я была ей мать.

Со стариной Лайоном, кузнецом, я венчалась в церкви. Он был ее отцом и помер от горячки через два месяца после того, как родилась моя деточка. Он был единственным мужем Мэри, она — единственным ребенком Мэри, так что можете себе представить, какой нежной мамочкой была эта Мэри. Более того, я была еще молода и хороша и много о себе понимала, так обо мне говорили в деревне. Наверное, свою самоуверенность она отчасти унаследовала от меня, мы были очень похожи, почти как сестры. Я была счастлива только рядом с нею. И мы всегда были вместе.

Я первая отправилась в Лондон, по зову сердца, это был пивовар Джо Харт, а она к тому времени уже поступила в няньки к миссис Томас из нашей деревни. Я считала, что ее уже можно оставить одну, ей исполнилось тринадцать, а быть только матерью мне тогда было еще недостаточно. На то время мы с ней расстались, и я жила с Хартом, Лондон — будто другая страна, уж какие кутежи

мы устраивали, я ведь была молодая. Но скоро она тоже приехала, ей было уже четырнадцать, она сильно подросла, — моя умница нашла себе место младшей горничной у доктора, у него был собственный дом на красивой площади возле моста Блэкфрайарз, оттуда в том же году, когда началось восстание, солдаты сбрасывали трупы в Темзу. Настоящая пьяная банда, целую неделю они грабили и жгли господские дома и лавки. К счастью, их остановили раньше, чем они добрались до дома доктора, а там все уже, как она рассказывала, оглохли от мушкетной пальбы. Ужасно быть бедным. Но еще ужаснее, когда ты уверен, что возвыситься можешь только с помощью *насилия.*

Она не разрешала мне видеться с ее хозяйкой и никогда не навещала меня в пивоварне, где я жила со своим Джо. Мы встречались тайно, как любовники, иногда пропускали по рюмочке, гуляли рука об руку по Воксхоллу и слушали пение птичек. Наверно, она что-то насочиняла про себя доктору Бадду, чтобы не казаться такой уж простушкой, и в ее истории не было места для миссис Харт, как я тогда себя называла. Доктор учил ее читать. Но однажды она рассказала, что хозяйский сын ею овладел. Матери всегда грустно

узнавать о таком, когда это в первый раз, но я сказала, чего же ты ждала, ты ведь такая красивая. Я умоляла ее не уходить от доктора Бадда, потому что там было хорошее место, но она сказала, что не собирается вечно быть горничной, а будет актрисой, знаменитой актрисой, она и лучшая подружка, тоже младшая горничная у доктора Бадда. И что в любом случае она слышала про другого доктора, который берет молодых девушек, но не служанками, нет, скорее актрисами, но зачем доктору актрисы, спросила я. Чтобы лечить благородных людей, ответила она. И она работала у доктора Грэма, пока у театра «Друри-Лейн» не встретила сэра Гарри, он сказал, что поможет ей стать настоящей актрисой, потому что все время ходит в театр. Бедная моя невинная девочка, но кто что понимает в пятнадцать лет. А он, настоящий баронет, у него на запястье висела трость с кисточкой, пригласил ее на лето в свое поместье в Суссексе. Какая перемена участи, и это только начало! Она уже понимала достаточно, смекнула, что там соберется шумная компания, друзья сэра Гарри, и упросила меня поехать с нею. Она уже стала совсем как леди, у которой должна быть компаньонка. Только на лето, сказала она. А потом, спросила я. Как бог даст, ответила она

весело. Я не могла устоять перед ее улыбкой. И в самом деле, мы там прожили до конца года. Так что мне пришлось оставить моего Джо, я думала, на время, но оказалось, навсегда, Кэдоган был потом, и с тех пор никто уже нас не разлучал. Она была мне больше, чем дочь. Заботилась обо мне. Все рассказывала. И повсюду брала с собой, а ей приходилось быть там, где ее мужчина, но она всегда брала и меня. И когда она устраивалась с джентльменом, то моя задача была следить за хозяйством, так что я была как служанка, но я была ей мать.

Как я ею гордилась. Еще бы — такая красивая дочь, которой все восхищаются. Она была еще крошкой, а я уже знала, что мужчинам перед ней не устоять. Но она родилась не для того, чтоб стать пустоголовой игрушкой, какую из нее хотел сделать сэр Гарри. Он был первым и худшим, наверно, это всегда так. Они с друзьями целыми днями охотились, рыбачили, гоняли на фаэтонах по грязным дорогам, и каждый вечер были карты, и кости, и шарады, и пунш, и портвейн кувшинами. Шарады — те вечно заканчивались тем, что с кого-то стаскивали одежду да тянули в постель. Но моя деточка старалась быть на высоте, смотрела во все свои чудные блестящие глазки,

как себя ведут богатые, как они одеваются. Сэр Гарри научил ее ездить верхом, и она была такая красивая, так пряменько сидела на лошади. Иногда туда приезжал Чарльз, погостить недельку, а она любила с ним разговаривать. И там было так много слуг, я не была ее прислугой, хоть и жила в общей комнате. Я была ей мать.

Прожив полгода с сэром Гарри, она написала отчаянное письмо другому, Чарльзу, потому что нам понадобилась помощь. Сэр Гарри казался лучше Чарльза, он был богаче. Но как только он узнал, что должен родиться ребенок, то думал уже только об одном, как бы нас выгнать. И у нас не было никакой возможности оставить у себя незаконного ребенка, я не хотела, чтобы она прилепилась к своему малышу, как может прилепиться мать. Какая боль пронзала сердце, когда моя крошка обхватывала своей крошечной ручонкой мой палец и тянула к себе. Ребенок — главное счастье в жизни женщины. Я ничего не имею против мужчин, я знавала мужчин и хорошие времена с ними, и кое-кто меня любил. Но любовь ребенка и любовь, которую мать чувствует к ребенку, — самая лучшая любовь.

Некоторое время нам пришлось подождать, мы тогда уж вернулись в Лондон и чуть не помирали

с голоду, и я знала, что ждет женщин дальше, думала, ох, и моей деточке придется. Но тут Чарльз ответил на ее письмо, и наше положение снова переменилось. Он хотел, чтобы она жила с ним, а она не хотела ехать без меня, и он не возражал. Это длилось долго, несколько лет. Я хорошо ладила с ее Чарльзом, я всегда очень старалась ладить с мужчинами, которые ею увлекались, а этот был совсем не как сэр Гарри, хоть они и приятельствовали. Он не был такой богатый, и почти не прикасался к бутылке, и всегда был с книжкой в руках. Он хотел, чтоб моя деточка выучилась читать книги и писать буквы, и разливала бы чай и принимала его гостей, как жена. И я была с ними, я была с ними, и он экономил на прислуге, потому что у него не было много денег, так он говорил. Он дал ей тетрадку и научил, как надо записывать, аккуратным почерком, с левой стороны страницы, одно под другим, слова: Хлеб, Баранья нога, Дрова, Сахар, Иголки и Нитки, Свинина, Швабра, Один мускатный орех, Горчица, Восковые свечи, Сыр, Пинта портера и тому подобное. А внизу — черточка. А с правой стороны — сколько денег, и он с ней вместе просматривал эти записи и говорил, что рад, что она такая бережливая. Но потом он разрешил мне делать это за нее, я хоте-

ла, чтобы у нее было больше свободного времени, чтобы она почаще была с ним и развивалась, перенимала хорошие манеры у него и его чудесных друзей и говорила как они, а не как я. Одному из этих друзей она очень понравилась, и он просил для него позировать, для настоящей картины, а после сказал, что теперь ему не нужна никакая другая натурщица. Мистер Ромни боготворил ее, говорил, что она гений и что во всем мире нет такой женщины, как она, а они даже не были любовники. Моя дочь была очень разборчивая.

У нас была чудесная жизнь, я и представить не могла, что бывает лучше, с Чарльзом, в большом доме, где так тепло зимой, и у меня была своя комната, и девочка все время училась, и я была счастлива, с нею, ничего мне не было нужно, но тут я встретила Кэдогана и потеряла голову. Он был дьявольски хорош, и через неделю я сказала Чарльзу, что меня вызывают в деревню к сестре, той, что помирает от золотухи, а у нее девять детишек. Но на самом деле, и моя деточка это знала, секретов от нее у меня никогда не было, я собиралась уезжать со своим Кэдоганом. Мы с ним отправились в фургоне в Суонси, где его брат держал таверну, и там я целых семь месяцев надрывалась, как рабыня, спала на чердаке,

а он потом удрал с какой-то девкой, с которой познакомился в таверне, исчез, а его братец меня выгнал. Я пешком пошла обратно, дорога была очень трудная из-за всяких мужчин, ну да что уж, до Лондона я добралась, и моя девочка на меня очень сердилась, но простила, так она была рада матери. Мы сказали Чарльзу, что в деревне я повенчалась с одним человеком, рассчитывая, что мне придется там остаться, но сестра моя не померла, и я вернулась в Лондон, потому что сильно скучала по моей доченьке. Что, в общем-то, было правдой.

Уж не знаю почему, когда Чарльз спросил, как теперь моя фамилия, я решила назваться Кэдоган. Ведь этот валлиец разбил мне сердце. Я могла бы сказать, что вышла замуж за какого-нибудь, скажем, Купера. Но такое уж у меня было нежное сердце. Так что сказала Кэдоган и стала Кэдоган. У нас, женщин, всегда бывает несколько фамилий. Если бы мужчина четыре раза поменял фамилию, про него бы подумали, что ему есть что скрывать. С женщинами не так. Представьте, если б мужчина менял фамилию всякий раз, как женился, или говорил бы, что женился. Со смеху помереть. Тогда бы мир вверх тормашками перевернулся.

Как бы то ни было, это была моя последняя

фамилия и последний мужчина, и я была так рада, что вернулась. С тех пор я стала *старая добрая душа,* хоть тогда и не была такая уж старая, просто разрешила себе выглядеть старой, ведь это ради мужчин женщины стараются сохранять молодость, а я с мужчинами покончила, и думала с тех пор только о своей доченьке, и помогала ей как могла. Ни разу до этого не была я такой счастливой, ведь это величайшее счастье. Мужчины злые, так я скажу. Они думают только о своем удовольствии, они, когда напьются, могут обидеть женщину. Я вот пьяная никого не обижала, а уж я люблю джин не меньше, чем мужчины. Но женщины — другие. Мужчины злые, вот скажу это последний раз и успокоюсь, но мы без них не можем, и я рада, что мне не пришлось без них обходиться, как несчастным ирландским девчонкам, которых запирают в монастыри, откуда им никогда не выйти. Римская церковь такая жестокая, я не понимаю, почему моя доченька в конце жизни… но это другая история, а я говорила про мужчин. И уж как нам, бедным женщинам, они нужны, и летим мы к ним как бабочки к огню, ничего с собой поделать не можем, а все равно, самое лучшее — это ребенок. Вот истинная любовь — матери к своему ребенку.

Мать, конечно, не может ждать от ребенка, что он будет любить ее так же сильно, особенно когда ребенок уже взрослый, но мне было довольно и того, что она во мне нуждалась и хотела, чтобы я всегда была при ней.

Жизнь, как я сказала, шла как нельзя лучше, вот только Чарльз все время печалился из-за денег и заставлял нас экономить каждый пенни. Ему ничего не стоило пойти и купить себе большую старую картину в золотой раме, уж, наверно, не за одну гинею, а потом он повышал голос на мою деточку, если в ее тетрадке, между четырехпенсовиком за Яйца и двенадцатью шиллингами за Чай, видел двухпенсовик Бедняку. Но все-таки он был к ней очень добр, называл своей милой девочкой, а она его отчаянно полюбила и только и думала, как бы ему угодить, и он к ней нежно привязался, я это по его лицу видела, я знаю мужчин. И он дал нам денег, чтобы мы съездили на две недели на морские купания, полечить крапивницу на ее чудных коленочках и локоточках. И еще он платил той семье в деревне, где воспитывали ее младенца, очень это было благородно с его стороны, ведь ребенок-то был не его, а сэра Гарри, а тот про дочку и слышать не желал.

И все бы хорошо, да только Чарльз оказался не

такой замечательный, как мы думали. Потому что он решил отказаться от моей бесценной девочки и жениться на деньгах, только не нашел храбрости в этом признаться, обманул ее, и, хотя потом все обернулось к лучшему, сперва сердечко моей доченьки истекало кровью, покуда она с этим не смирилась. У Чарльза был богатый дядюшка, и Чарльз хотел, чтобы дядя заплатил его долги. Он постоянно писал этому дядюшке письма, но он и правда очень его уважал, смотрел снизу вверх, дядя был очень высокий, впрочем, как и Чарльз, такая уж у них порода. Очень они были похожи, оба приятные мужчины, только дядя не был все время такой озабоченный. Он тогда приехал в Англию, потому что умерла его жена, валлийка, и ему пришлось везти тело домой, не хотела она лежать в языческой земле. И он стал нас часто навещать. Не думаю, чтобы он уже тогда положил глаз на мою красивую девочку, скорее, это Чарльзу хотелось, чтобы так было, но тут никогда нельзя сказать, похоть мужчинами завладевает быстро. А потом, не успели мы оглянуться, дядя уехал туда, где он жил, он там был очень знатный, так Чарльз сказал, и Чарльз захотел, чтобы мы обе поехали к дяде погостить, чтобы моя деточка выучилась итальянскому, и французскому, и

игре на рояле, и всему, что умеют настоящие леди. А моя девочка, которая никогда не упускала возможности учиться, сказала «да». Она была так рада, что увидит чужие земли, увидит то, про что читала в книжках, но, перво-наперво, она делала это ради Чарльза чтобы он мог ею гордиться и сильнее любил. Я точно знаю, что она тогда ничего не подозревала, но все равно заставила Чарльза поклясться много раз, что он за нами скоро приедет, через несколько месяцев. Я не очень хотела ехать, побаивалась немного, да и что это, трясти старые кости по таким дорогам да по горным местам. Я узнала, что нам надо будет пересечь Альпы (я тогда думала, что это всего одна гора), и что страны там все очень опасные, и что можно умереть с голоду, потому что еда везде очень острая, перченая. Но я сказала, раз моя деточка хочет ехать, так и я с радостью поеду. И она меня поцеловала.

Путешествие было очень долгое, я и не подозревала, что бывают такие дальние страны, но мне очень нравилось, мы каждый день видели все новые места, но так и должно было быть, мы ведь раньше в эту сторону не ездили. Моя деточка с утра до вечера висела на окне, так ей было интересно видеть все, чего она раньше не

видела. С нами ехал художник, друг Чарльза, он жил в Риме и возвращался домой, и он сказал, что в наше время все хорошие художники должны жить в Риме. А она ответила: а мистер Ромни не хочет жить в Риме, это с ее стороны было немного лишнее, ведь она имела в виду, мистер Ромни — художник получше вашего. Словами она этого не сказала, но он понял. Моя деточка обожала мистера Ромни, прямо как отца. При расставании с ним она горевала почти так же, как расставаясь с Чарльзом, хоть и была уверена, что увидится со своим художником самое большее через год, а с Чарльзом — через пять месяцев. Откуда же ей было знать, что это будет через пять *лет.*

Но даже если бы это было и не так надолго, такие перемены и расставание, когда по-настоящему любишь, перенести тяжело. Как я счастлива, что после Кэдогана, прибери Господь его черную валлийскую душу, я больше никогда не расставалась с моей любимой доченькой.

Мы добрались до Рима, и ей хотелось посмотреть всякие здания, но дядя Чарльза прислал за нами дворецкого, и оставшуюся часть пути мы ехали с ним в дядиной карете. Этот дворецкий сказал, что у его господина семь карет, и эта — худшая. Семь карет. Зачем человеку семь карет,

пусть даже он благородный господин, если жена у него померла, а я так понимаю, богатые супруги предпочитают ездить порознь, но даже если бы жена была жива, то все равно им было бы нужно всего две. Так что же ему делать с остальными пятью? Пока я ломала голову над этими глупыми вопросами, а они были глупые, это я очень скоро поняла, потому что уж богатые находят, как распорядиться своим богатством, и нечего нам о них беспокоиться, моя деточка во все глаза смотрела в окно кареты, из настоящего стекла, к слову сказать. У нее появились какие-то вопросы, и она задавала их дворецкому, Валерио, он знал по-английски немного, но говорил очень правильно. Она спрашивала у него названия цветов и деревьев и фруктов на них, и ответы записывала в книжечку. И еще она попросила сказать, очень медленно, некоторые слова на его языке, — здравствуйте, и до свидания, и пожалуйста, и спасибо, и как красиво, и я так рада, и что это такое. Это она тоже записала. Она всегда училась.

А когда мы доехали до места, до огромного дома, в котором дядя Чарльза был послом, это оказался настоящий сюрприз. Я никогда не видела такого роскошного особняка и столько слуг, что и не сосчитаешь, и дядя дал нам четыре большие ком-

наты и слуг лично для моей девочки. И я была так за нее счастлива, потому что увидела, как этот дядя на нее смотрит, и подумала, а почему нет. Но она, моя бедняжечка, сначала ничего не понимала. Она думала, он к ней так добр, потому что очень любит своего племянника. У моей дочери было такое доброе сердце, что она иной раз бывала на редкость наивная. Мне пришлось сказать ей то, что и так было ясно как божий день, для чего Чарльз послал нас сюда, и она впала в настоящее бешенство. Впервые моя дочь так разозлилась на родную мать, и это было очень трудно вынести. Она грозилась завтра же отослать меня обратно в Англию, вымаливать прощение у ее дорогого Чарльза за то, что я так его оскорбила, но я не стала принимать это близко к сердцу. Она кричала, что это я, родная мать, хочу ее продать его дяде. Мистер Ромни рассказывал ей про картину одного французского художника, вот там есть женщина вроде меня, так кричала моя девочка, там нарисованы художник, натурщица и пожилая женщина, очень может быть, что мать, а на самом деле сводня, и, может, это в обычае в других странах, во Франции или в Италии, но в Англии так не делают. Взять хоть мистера Ромни, сколько раз она бывала в его студии, одна, без

сопровождения, а он ни разу ее и пальцем не тронул. А Чарльз — его друг, он не может поступить низко. Как смею я думать, что он отдал ее дяде за деньги! Тогда объясни мне, сказала я, почему с тех пор, как мы здесь, мы не получили от него ни одного письма, а ты ему пишешь каждый день. И тогда она стала грустная-грустная и заплакала, о, он обязательно приедет, я сделаю так, что он приедет и заберет меня. Как бы я хотела ошибаться, но я не ошибалась. Я не говорю, что мать всегда права, но иногда она права тогда, когда ей этого совсем не хочется.

Но потом все обернулось к лучшему, так всегда бывало с моей доченькой, пока она была молодая. Самое плохое время было, когда она сказала сэру Гарри, что ждет ребенка, я тогда ей сказала не говорить ему, но она не послушалась. И он нас выгнал, и мы вернулись в Лондон, она беременная, хоть это и не было заметно, и скоро уже у нас не осталось ни фартинга, и мы задолжали в ночлежном доме, и тогда она ушла, и ее не было восемь дней. В каком отчаянии я была, пока ждала ее и думала про всех этих мужчин, под мостами, у оград, вы же знаете, какие они, мужчины. Но когда она вернулась, чтобы меня успокоить, она всегда щадила мои чувства, то сказала, что за все

это время у нее был только один мужчина, к тому же джентльмен, он гулял с друзьями по Воксхолл-Гарденз, хотя сам-то он был иностранец, и он ей дал денег, столько, что нам хватило на месяц. А когда и те стали подходить к концу, пришло письмо от Чарльза, и мы были спасены. А теперь то же самое получилось с дядей Чарльза, и мы зажили лучше, чем когда-либо прежде, гораздо лучше, чем с самим Чарльзом.

Дом Чарльза казался мне теперь таким маленьким. Как быстро старушка Мэри привыкла, чтобы ей прислуживали. Из ночлежки — да во дворец! Такова жизнь, так я всегда говорю. Бывает и наоборот. Город был очень красивый, и мне нравилось смотреть на море, только я не понимала ничего, что они там лопочут, а дочка говорила, ты должна выучиться говорить на ихнем языке. Но я так и не выучилась, и может, поэтому все думали, что я служанка моей девочки. Но я была ей мать.

Как я уже говорила, дядя был там большим человеком. Он был близок к королю и королеве, мы раньше никогда не видели ни королей, ни королев, и нам было очень любопытно. У короля был жуткий огромный нос, а у королевы — большая нижняя губа, которая выдавалась вперед. Удивительно. Но все равно было очень интересно

смотреть на них в их золотых каретах.

Я не говорю, что моя девочка сразу стала счастлива. Сначала ей нужно было забыть прежнюю любовь, у нее было нежное сердечко, и она так сильно любила Чарльза. Она плакала и плакала: Чарльз наконец-то написал письмо и велел оставаться с его дядей. Не знаю, почему сначала ей так это не понравилось. Ведь пожилой джентльмен взял ей учителей французского и итальянского, и возил нас в карете, и всюду ею хвастался. Он не мог отвести от нее глаз, видно было, что он готов для нее сделать что угодно, но она говорила: «нет». Ей надо было созреть. Но не сомневайтесь, со временем она оценила его, он был такой добрый, а оыа такая покладистая, она не могла не почувствовать благодарности к тому, кто ее так любил, и, в конце концов, все устроилось, и она легла с ним в постель.

Я вздохнула с облегчением, потому что это означало, что мы можем остаться здесь на некоторое время, может быть, даже еще на год, а не уезжать сразу в Англию, а уж что будет потом, нет смысла беспокоиться. Пусть наслаждается жизнью, сказала я себе, пока молодая. К ней три раза в день ходил учитель, петь с ней, и из соседней комнаты я иной раз не могла отличить,

кто из них поет. Я спросила у Валерио, как это мужчина может петь таким тонким голосом, и он посмеялся над моим невежеством и объяснил, что этому учителю, пока он был еще мальчиком, отрезали его штучки, здесь такой обычай, так и получаются хорошие певцы, правда, это запрещено законом, но в церквях так поступают со всеми мальчиками, которых только могут заполучить. И он прикоснулся к своим штучкам и перекрестился. Я пересказала это моей девочке, думала, она удивится не меньше моего, но она сказала, что давно это знает и что я должна принять это как должное, раз мы теперь в чужой стране, где обычаи не такие, как в старой доброй Англии, и что ее учитель великий певец, и он говорит, что у нее великолепный голос. Но значит, он не мужчина, сказала я. Что же он, женщина? Нет, ответила она, он мужчина; некоторые из них интересуются женщинами, а женщины и вовсе за ними гоняются. Но зачем, ведь у него не встает, спросила я. И тогда она покачала головой и сказала, что удивлена тем, что я знаю так мало о постельных делах, если не представляю, зачем. И мне пришлось признать, что я не встречала мужчин, которые хотели бы чего-нибудь, кроме одной вещи, да и то по-быстрому, но она сказала,

что есть некоторые мужчины, хоть их и немного, которые стараются научиться доставлять женщине удовольствие, так же, как женщины учатся доставлять удовольствие мужчинам. Я о таком и не слыхивала, призналась я. Тогда она сказала, жаль, мол, что ты не знала этого с мужчинами. Но тут я сказала моей юной леди, что знавала веселые времена с ее отцом, земля ему пухом, и с Джо, и с некоторыми другими, и с валлийцем, укравшим мое сердце, Кэдоганом. И велела придержать язычок и не строить из себя, когда она разговаривает со старухой-матерью, хоть бы она и жила теперь, как благородная леди, и велела не забывать свое простое происхождение. А она ответила, что никогда не забывает, кто она такая, просто ей захотелось меня поддразнить. Но я ничего не могла с собой поделать, все думала, кто же из ее мужчин мог быть таким искусным любовником. Это не мог быть сэр Гарри, который вечно был пьян, и не мог быть Чарльз, тот вечно мыл руки, а для мужчины это плохой признак. И старик-дядя, как бы он ее ни обожал, не казался таким уж молодцом. Но я не спрашивала. Мы всегда все друг другу рассказывали, только мне не очень-то хотелось ясно себе представлять, как она лежит с мужчиной в постели. Для меня она

всегда оставалась моей маленькой девочкой, с беленькой кожицей и большущими глазенками. Я рада, что у нее были мужчины, ведь что такое женщина без мужчины, особенно такая женщина, как она, которая хочет стать лучше, подняться выше в этом мире. По-другому этого и не добьешься. И все-таки иногда мне хотелось бы, чтобы в мире все повернулось иначе. Я имею в виду, чтобы женщинам, если они такие же уверенные в себе и умные, как моя девочка, не приходилось бы угождать мужчинам. Но это всего лишь мое мнение.

И я спросила ее, как ты думаешь, сколько это продлится? А она сказала: что «это»? А я говорю, с дядей, а она засмеялась и говорит: вечно. Я сказала, не глупи, ты же знаешь, каковы мужчины, уж теперь-то должна понимать, после того, как с тобой поступил Чарльз. А она сказала: нет, он другой, он меня любит по-настоящему, и я тоже буду его любить и сделаю счастливым, насколько смогу.

Думаю, она была с ним счастлива, со своим стариком. И, конечно, она сделала его очень счастливым, и он обожал ее все сильнее и сильнее. Он и со мной хорошо обращался и давал мне кое-какие карманные деньги. И я всегда ела за

одним столом с ними, и когда приходили гости, меня просили остаться. У него было много всяких камней, и статуй, и картин, и всякого такого, полон дом, куда ни повернись — воистину счастье, что не мне приходилось стирать с них пыль и полировать. А она выучила все названия и понимала все-все из того, что он говорил. Он заказывал для нее одежду, некоторые платья точь-в-точь как у дам на старинных красно-черных вазах, которые были повсюду, и она одевалась, как на этих вазах, и позировала для гостей, и все ею восхищались. И я всегда сидела где-нибудь в первом ряду, но гости со мной не разговаривали. На его вечерах бывали люди со всей Европы и даже из России. Но, откуда бы они ни были, они всегда говорили, что моя доченька — самая красивая женщина на свете, и ее благодетель очень ею гордился. Он чувствовал почти то же самое, что и я, как будто он ее отец, хотя и было понятно, что он здоровый человек и только и ждет, когда можно будет ее обнять, но, чего греха таить, и многие отцы таковы со своими дочерьми. Как знать, может, и от старины Лайона ей бы доставалось, он умер, когда ей было всего два месяца, но что бы было, проживи он еще лет десять? У мужчин свои повадки, многие не могут спокойно

пройти мимо женщины, даже если это их плоть и кровь. Одна только и есть чистая любовь, между матерью и ребенком. И лучше всего, если этот ребенок девочка, потому что сын вырастает и сам становится мужчиной. А дочь всегда остается с матерью, на всю жизнь.

И так мы прожили много счастливых лет в чужой стране, и мне было трудно поверить в наше счастье, но моя девочка верила. Стоило делам принять дурной оборот, я всегда ждала худшего, а она говорила, нет, все образуется. И всегда оказывалась права, очень долгое время. Она сказала, что в один прекрасный день станет Ее светлостью, а я сказала, ты рехнулась. Но она оказалась права, старик женился на ней, а старушка Мэри стала его тещей, а ведь он был старше меня. Но он был очень воспитанный и всегда звал меня как положено: миссис Кэдоган. Бьюсь об заклад, мой валлиец очень пожалел бы, что не остался со мной, если бы знал, как я удачно устроилась.

На моей девочке он женился, когда мы вернулись в Англию, и это сильно не понравилось его родне, свадьбу даже трудно было назвать свадьбой, так мало там было народу, хотя и в богатой церкви. Я была очень довольна, когда увидела Чарльзово лицо. Но моя дочь не держала на него

зла, все эти годы она писала ему письма, она была из тех, кто если уж полюбит, то навсегда, даже если те обошлись с ними дурно, женщины все такие, я вот до сих пор вспоминаю старину Лайона, отца моей деточки, и, помоги мне Бог, красавца Кэдогана тоже. Я редко думаю о Джо Харте, куда-то он уплыл из памяти, так что, может быть, не так уж я его и любила.

Пока мы были в Англии, я съездила в деревню и навестила родню, тех, кто был еще жив, сестра-то моя все-таки померла от золотухи. Я привезла им деньги и подарки от моей дорогой доченьки, она семью никогда не забывала. Она изнывала от желания повидать свою дочку, та была уже большая девочка, и я очень огорчалась, что она мне не разрешает с ней поехать. Я всюду с ней бывала, всегда была ей нужна, она всегда со мной обсуждала все свои дела. А тут сказала, что должна ехать одна. Я понимала, что ей предстоит тяжелая встреча, и жалела, что не смогу быть ей опорой, как обычно.

Когда она вернулась, то сказала: мое сердце истекает кровью. Я не видела дочку с тех пор, как ей было четыре, и вот мы с ней встретились, и она меня полюбила, а я опять ее бросаю. Она была такая нежная мать. Она разрыдалась, в первый

раз за все время, что мы жили в доме дяди Чарльза, только дядя теперь был ее мужем, последний раз она плакала, когда узнала, что Чарльз за нею не приедет, что Чарльз продал ее собственному дяде. Не судьба мне быть матерью, сказала она. Пусть я ему теперь жена, он все равно от меня ждет, что я буду ему как любовница. И снова расплакалась. Но ты представь, сказала я, утирая ее слезы, представь себе женщину, которая за целых пять лет не пролила ни одной слезинки, редкая женщина может этим похвастаться, ты должна понимать свое счастье.

Потом мы поехали обратно и по дороге в Париже видели, как в небо запускали воздушный шар, с человеком в корзине, и моя девочка встречалась там с французской королевой, но она уж была привычна к королевским особам. И она теперь была Ваша светлость, а я была мадам мать Ее светлости, мадам мать супруги посла. Мужчины при встрече со мной снимали шляпы, правда, многие по-прежнему считали меня ее служанкой или дуэньей. Итальянского я так и не выучила. Я не такая сообразительная, как моя доченька. Я была женщина в черном платье и белой шляпе, на которую никто не обращал внимания, только в том случае, если им говорили, кто я такая. Я

была ей мать.

Теперь у моей девочки было все, что пожелаешь, и, казалось бы, можно успокоиться и просто радоваться жизни, есть, пить, смеяться. Я научила одну из кухарок готовить некоторые наши деревенские блюда и приберегала их для нее, и по вечерам, поздно, после всех этих великосветских опер, которые они с мужем обязаны были высиживать, она приходила ко мне в комнату поесть. Пообъедаться, так мы это называли, это был наш с ней секрет. И тогда можно было выпить доброго английского джина, а не этих иноземных вин.

Ее муж сказал, что я, если мне хочется, могу ходить с ними в оперу, потому что они там бывали чуть не каждый день, только после первого раза мне не очень хотелось. Я сказала моей девочке, какой толк, если я не понимаю, что там говорят, а она засмеялась, мне нравилось, когда она надо мной смеется, и сказала, ты, мол, глупая, слова понимать необязательно, это как пьеса, только с музыкой. А музыка такая красивая. Так что иногда я ездила с ними, но толком ничего не понимала, а моя девочка и ее муж сидели очень тихо и слушали. Но, с другой стороны, они оба понимали язык, а вокруг нас все ели, и пили, и играли в карты, и, судя по звукам, особенно по

звукам падающего стула, даже и сами понимаете что делали, а король в своей ложе, так тот громче всех, а от остальных чего же и ждать. Я никогда не могла разобраться, что происходит на сцене, ведь не все, кто там был, принимали участие в пьесе. Моя девочка объяснила, почему так. Один из этих, лишних, должен был подсказывать певцам, если они забудут слова, то есть, я так мыслю, они и сами тоже не понимали, что поют. А певцы на сцене, как и благородные господа в ложах, вели себя, как им заблагорассудится. Во время одной оперы на сцене в углу сидела толстая женщина, а по бокам ее кресла стояли двое мужчин, нарядные такие, моя девочка сказала, что это мать примадонны и ее воздыхатели, прямо на сцене! Около матери на столике стоял уксус, и зеркала, и сладости, и полоскания, и гребешки, все, что могло внезапно понадобиться ее дочери, пока ария была у какого-то другого актера.

Это я, сказала я моей красавице. Это то, чем я всегда буду для тебя. И она обняла меня, и я увидела, что глазки у нее увлажнились, она знала, как сильно я люблю ее. Что она *свет моих очей,* если б мне вздумалось заговорить, как в этих пьесах. Что я никогда ее не покину, никогда не предам. Даже если она не всегда будет счастлива, а ей так

хотелось быть счастливой, и она любила повеселиться, и у нас бывали такие хорошие минуты, когда мы были вдвоем или с ее горничными. Они тоже очень ее любили, любили бывать при ней, смеялись, пели, выпивали понемножечку, рассказывали всякие игривые истории. Какая прекрасная была у нее жизнь. И как мне повезло, что я с ней эту жизнь делила.

Но, уж как водится, все хорошее когда-нибудь кончается, хоть и длилось все это очень долго. Я в жизни не видела и не слышала, чтобы какой-нибудь муж так обожал свою жену, как старый посол обожал мою доченьку, он ее просто боготворил. А я замечала, как некоторые гости перемигивались, кивали на него, как, мол, он с ней носится, ведь уж много лет прошло, как они были вместе и давно поженились. За то, что он так сильно ее любил, его считали восторженным старым дураком, но, что до меня, так я считаю, любой его любви было бы мало. Он и половины ее не стоил, как и все его сэры Такие-то и рыцари Сякие-то. Ее любовь всякий мужчина должен был бы почитать за божеское благословение. Моя дочь была настоящим сокровищем.

И он был настолько ее старше, что она не могла не обратить внимания на мужчину своего, при-

мерно, возраста, это было вполне естественно. С мужем все шло прекрасно, ей с ним было легко, но она ведь была здоровая молодая женщина, полная жизни, да и кто бы смог устоять перед адмиралом, хоть он и был маленький, все его чествовали, он тогда только вернулся из Египта после своей великой победы над Бонн, он один потопил все его корабли, но вернулся весь больной и обессилевший. А у меня появилось занятие. Потому что до этого что мне было делать, только сидеть да стареть, пока ее муж не умрет, тогда мы бы поехали назад в Англию. Но вышло так, что настали беспокойные времена, и я стала гордиться тем, что я англичанка, об этом, правда, я и не забывала, а адмирал приехал и стал жить с нами, и он глаз не мог отвести от моей душеньки. Уж так он на нее смотрел, я голову готова была отдать на отсечение, что он ее и слепым глазом видит. С первых же дней, когда он еще лежал в постели, а я помогала моей доченьке за ним ухаживать, я видела так же ясно, как вулкан за окном, что он влюбится в нее, а она в него и что нас с этим адмиралом ждет новая жизнь. И что в Англию мы поедем раньше, чем я думала. Потому что, хоть адмирал и был женат, но я знала: как только он поймет, что любит мою дочь и

что встретил самую лучшую женщину на свете, он, конечно же, и думать забудет о своей жене. Таковы уж мужчины.

И потом, думаю, поскольку во мне самой иногда еще загорался огонь, то было особенно приятно, что сердечко моей дочери снова встрепенулось. Потом, как только бы они поняли, что любят друг друга, мне сразу нашлось бы занятие, но только это тянулось дольше, чем я думала, он был не такой, как все, слыхано ли, чтобы мужчина хранил верность жене. А вот он хранил, моя душенька рассказывала, что у него было только одно грехопадение несколько лет назад, в другом итальянском порту, с одной женщиной, с благородной, не со шлюхой. Ничего подобного я про моряков никогда не слышала, если, конечно, они настоящие мужчины, но не слышала я и такого, чтобы моя дочь говорила: «грехопадение». У нее тогда появились всякие серьезные настроения, она даже в церковь иногда ходила и молилась там на римский манер. Как я уже сказала, они не торопились, вели себя как две молоденькие невинные девушки, глянут друг на друга и тут же отведут глаза, но я-то знала, к чему дело идет.

А потом вдруг на нас свалилось все разом, и французы наступали, и надо было поскорее запа-

ковать все вещи, и старый посол был совершенно разбит, он все время молчал, переживал, что придется оставить дом и всю мебель, и мы уехали среди ночи в жуткий шторм. Поклонник моей девочки всех нас спас, и короля с королевой, и всех, но переход по морю был ужасен, в каютах нас было по пять-шесть душ, спали на полу, на ковриках, на матрасах. А мы двое вообще не спали. Я уложила короля в постель, уж такой он был, истинно — большой ребенок, держал в руках маленький священный колокольчик и все крестился. А моя девочка укладывала спать королеву, они с ней были лучшие подруги, она каждый день бывала у королевы во дворце. А потом мы ходили по кораблю, помогали тем, кого рвало, чистили за ними по мере сил. Мне не было страшно, и моей девочке тоже не было, ни капельки. Она была очень отважная, настоящая героиня. Все ею восхищались. И наш переход закончился благополучно, хотя королева и потеряла своего сыночка, так это было печально, когда моя душенька прижимала ребеночка к груди и старалась вдохнуть в него жизнь. Кажется, в тот момент я и поняла, что ей все же суждено стать матерью, что у нее в конце концов будет ребенок, по-настоящему ее ребенок, от этого адмирала, который ее так любит. Мать

всегда знает такие вещи.

Она была так счастлива, как никогда раньше, и я была очень счастлива за нее. Все эти годы, пока я была мадам мать супруги посла, у меня не было другого занятия, кроме как подавать ей расчески, конфеты и полоскания, как у матери той примадонны, а теперь я могла ей по-настоящему помочь, я могла следить за стариком, предупреждать любовников о его приходе, когда они хотели побыть наедине. Адмирал был с ней как маленький мальчик. И я видела, что ему хочется мне понравиться, он ведь свою мать потерял еще совсем пареньком, еще до того, как пошел во флот, так сказала моя девочка. Он не был похож на других мужчин. Он любил находиться при женщинах, разговаривать с ними.

Так что мы были близки, как никогда, и расстались единственный раз, когда, после ухода французов из Неаполя, им пришлось туда вернуться, остановить революцию, меня они с собой взять не могли и оставили в Палермо, на шесть недель. И это самый долгий срок, на который мы с моей девочкой расставались, с ее шестнадцати лет. Мы всегда были вместе, и она знала, что может на меня положиться.

Потом они вернулись, и мы поплыли на его

корабле смотреть виды, и на корабле устраивали прием в честь ее дня рождения, только на этот раз она не была таким бравым моряком, ведь она носила его ребенка, как я и предсказывала. Ее муж принял это очень хорошо, лучше, чем кто-нибудь другой на его месте, ни разу не сказал ни слова, хотя, что там, он был уже такой старый, где бы он нашел другую такую женщину, как моя доченька. Другой такой не было и нет. Они это оба понимали. Поэтому старый посол не очень печалился, но он больше не мог быть послом, и все были рады вернуться в Англию. Наше путешествие прошло гладко, только вот мои старые кости ужасно ныли от всех этих карет, и везде, куда мы ни попадали, в честь адмирала палили пушки, для моих ушей это было тяжело. Мы благополучно доехали до родной земли, и дома его чествовали точно так же, даже сильнее, до Лондона мы добирались целых три дня. А потом у них были свои дела с женой адмирала, моя девочка меня заранее предупредила, та ждала его в гостинице на Кинг-стрит. Так что, когда мы приехали в Лондон, они сначала поселили меня с мисс Найт на Албемарл-стрит, там мы с ней должны были оставаться. Мисс Найт жила у нас очень долго, она искренне восхищалась моей дочерью. Я была

такая уставшая, сразу ушла в свою комнату, а на следующее утро, когда заглянула к мисс Найт спросить, будет ли она завтракать, выяснилось, что та и не ночевала. Хозяин гостиницы сказал, что через час после нашего приезда, она уехала, сбежала к каким-то знакомым, потому что к ней кто-то приходил и наговорил всяких пакостей про мою душеньку, будто бы она не подходящая компания для приличной леди. Так что, как ни трудно в это поверить, мисс Найт, к которой мы были так добры, ведь моя дочь настояла, чтобы мы приняли ее в дом, после того, как умерла ее мать, и она почти два года жила с нами как член семьи, так вот эту мисс Найт мы больше не видели.

Оказалось, в Лондоне у моей доченьки было много завистников, да и как иначе: ведь у ее ног самый знаменитый мужчина Англии! Но вы не сомневайтесь, мы не обращали на них никакого внимания и шли своим путем, и для старой Мэри нашлось много работы, и новый дом в Лондоне, и адмирал скоро снова к нам переехал, как только его жена поняла, что ей не победить чары моей красавицы. А потом и ребенок родился. Я была с ней и держала ее за руку, переживала ее боль вместе с ней, она держалась молодцом, почти

не кричала, правда, и роды были не слишком трудные, у нее же это был второй ребенок, но о первой девочке, которая теперь уже была взрослая женщина, мы никогда не говорили. Она не хотела, чтобы адмирал о ней знал, он ведь думал, что от него она родила своего первого ребенка, и очень гордился. Я была с ней, кроме меня, с ней никого не было, потому что адмирала за две недели до этого призвали в море, на службу. Бедняга уже потерял и зубы, и глаз, и руку, а они все не могли без него обойтись и заставили сражаться с датчанами, он ведь был самый смелый. Он очень скучал по моей девочке, вряд ли был на свете другой мужчина, который любил бы женщину так же страстно. Какие он ей писал письма! В апреле весь его флот праздновал ее рождение, и все офицеры пили ее здоровье, а у него на шее висел ее портрет. А в порту, когда один из офицеров хотел привести на борт свою жену, то он не позволил, потому что пообещал моей душеньке, что не пустит на борт ни одной женщины, правда, я не думаю, что она и в самом деле ждала от него таких крайностей. Но он очень стремился показать, как сильно ее любит. А потом его никак не отпускали домой, в то лето повсюду говорили только об одном, что скоро придет Бони, и всех

нас убьет, и посадит свое Дерево Свободы, а все наши английские свободы отберет. Но я не боялась. И моя дочь не боялась, мы-то знали, кто охраняет наши берега, и мы с ней в то лето присматривали дом в деревне, к тому времени, когда спаситель нашей нации и возлюбленный моей дочери вернется, когда ему наконец позволят дать отдых своим несчастным косточкам.

И опять для Мэри нашлась работа. Я не против красивой жизни с прислугой, только я была много счастливее, выбирая уток для адмиральского канала и присматривая за конюхами и садовниками. И для моей доченьки это тоже были хорошие времена, потому что она знала все про всякие нововведения, уж не знаю, откуда, но знала, все-все. Дом мы выбрали не очень большой, если вспомнить о тех, в которых мы раньше живали, всего пять спален, но так уж он пожелал. А она в каждой спальне установила ватерклозет и умывальник с тазом, свинцовым баком и краном, и ванну, которую должны были наполнять слуги. В Италии, конечно, прекрасно, все эти огромные дворцы, в которых столько комнат, что и не сосчитаешь никогда, но мы теперь были в Англии, где, может, нету искусства и развалин, зато люди знают, как сделать жизнь удобной и приятной. И

адмирал, когда его уже отпустили домой, был вне себя от радости, когда увидел этот дом, увидел, как мы все для него обустроили. Для посла тоже нашлось место, и хорошо, а то видно было, что в Англии ему не по себе. Мне было так чудесно, как будто я никогда и не уезжала, а годы в Италии, когда кругом одна иностранная речь, словно куда-то испарились. А этому человеку не хватало его славы, и о деньгах он очень беспокоился, даже хуже, чем раньше. У него всегда с монетой было туговато, но, когда он приехал к нам в деревню, не мог же он позволить своей жене жить там без него, это был бы скандал, то предложил оплачивать половину расходов. И как было потешно глядеть на двух этих прославленных людей, на полуслепого адмирала, выигравшего столько сражений, и старого рыцаря, выросшего вместе с нашим королем, когда они, за столом в какой-нибудь из гостиных, склонялись над счетами от торговца рыбой, от пивовара, булочника, мясника, молочника, торговца свечами и считали фунты, шиллинги и пенсы, а затем, как сойдутся, ставили, внизу тетрадной странички свои знаменитые подписи. Мужчины всегда так носятся со своим величием, никогда не дадут о нем забыть, и меня смешило, что они ведут себя точь-в-точь

как женщины.

С адмиралом все шло по-старому, он был из тех мужчин, которые не меняются. Никогда не видела, чтобы кто-то так боготворил женщину, он по-прежнему не мог отвести от нее глаз. Когда она входила в комнату, у него лицо светлело, даже если она вышла всего минуту назад, но ведь и со мной, когда она входила в комнату, всю жизнь бывало то же самое. Но я была ей мать. Нет любви сильнее той, какую испытывает безмужняя женщина к своему единственному ребенку. Ни один мужчина не чувствует такого к женщине, ни женщина к мужчине. Но, должна сказать, адмирал любил ее почти так же, как и я, старуха-мать. Хотя, если подумать, мы любили одну и ту же женщину, самую прекрасную женщину на всем белом свете. И мне досталась радость знать ее всю жизнь, а он знал ее всего семь лет.

Мы очень грустили, когда помер ее муж, несмотря на то, что они этого ждали и даже рассчитывали на это, оно и понятно, ведь тогда они смогли бы взять к себе своего ребенка, и мы стали бы настоящей семьей, особенно если бы жена адмирала тоже умерла или дала бы ему развод. Старик не очень страдал, он просто перестал удить рыбу, это был первый признак. Потом он

сделался неразговорчив, и в феврале слег, а в конце, когда ему стало хуже, попросил перевезти его в лондонский дом, там был красивый дом с богатой мебелью, ее купила моя душенька, продала все свои драгоценности. Ходила за ним в основном я. Он мне доверял, потому что я тоже старая, хоть и не такая старая, как он, я была еще очень крепкая. Я растирала ему ноги. В апреле он скончался, очень тихо, а моя девочка и адмирал были при нем, держали его с обеих сторон.

Когда зачитали завещание, меня как громом ударило. Бессердечное, злое завещание. Но моя душенька сказала, что все это неважно, она всегда знала, что его наследник — Чарльз, еще когда жила с Чарльзом, даже до встречи со стариком. Но вспомни, что было потом, сказала я. Тише, сказала она. И не позволила мне это обсуждать. А Чарльз через месяц выставил нас из дому. Но мы нашли другой, правда, маленький, и у нас должна была начаться совсем другая жизнь, но тут опять разразилась война, и возлюбленному моей дочери пришлось вернуться на службу, и его не было с нами полтора года! Они были в отчаянии. Где он только не гонялся за Бонн, и в Вест-Индии, и снова в Средиземноморье, даже в Неаполе останавливался. Кажется, он писал моей девочке, что

наш бывший дом переделали под гостиницу, и к тому же не слишком чистую. Мы были рады, что старый посол не дожил до такого известия, его бы это добило, а нас не очень взволновало, меня по крайней мере. Я всегда говорила: если пришла пора расстаться со старой жизнью, это надо принять, идти дальше и ни о чем не жалеть. Иначе придется все время грустить, потому что всю жизнь человек что-нибудь теряет. Такова жизнь, и если вы слишком уж сгибаетесь под ударами судьбы, то не заметите новых возможностей. Если бы я этого не понимала, у меня не было бы такой *хорошей жизни.* То же самое касается и моей дочери, потому что на этот счет у нее было точно такое же мнение.

Так что мы не теряли надежды, и на следующий год ее любимый вернулся домой и…

Все получилось не так, как мы рассчитывали. Бедная, бедная моя девочка. Они пробыли вместе всего восемнадцать дней, и дом все это время был полон офицеров и людей из Адмиралтейства.

Я все время говорила ей, что все будет хорошо, что он всегда возвращался, вернется и на этот раз. Но на этот раз, сказала она, ожидается очень большое сражение. Поэтому он и уходит. Я сказала, что он сильнее этого француза, и что она

родилась под счастливой звездой, и что все всегда обходилось, но на этот раз не обошлось.

И, после того как он погиб, с ее именем на устах, это капитан Харди нам рассказал, все, кроме кредиторов, повернулись к нам спиной. Старик оставил ей сколько-то там в год и триста фунтов на уплату долгов, но только она задолжала гораздо больше. И мы переехали в домик еще меньше, а потом еще меньше, и с нами теперь был ребенок, носивший его имя, но от короны, против ее ожиданий, мы не получили ничего, никакой пенсии, даже на достойное воспитание *его* ребенка. А ей надо было прилично жить и хоть как-то развлекаться, и от этого получались новые долги, а еще слуги, и гувернантка для ребенка, и пила моя душенька больше, чем следовало, но так и я тоже, что же еще было делать, когда все оказались такими жестокими. Но я сказала ей: ты увидишь, не всегда все будет так, и мы есть друг у друга, и какой-нибудь мужчина обязательно тебе поможет. В деревне у нас был один сосед, он, добрый человек, посылал нам деньги, думаю, жалел нас, потому что и сам от людей натерпелся. И я сказала, вот, например, мистер Голдсмит, а она расхохоталась, горьким таким смехом, и говорит, Абрахам Голдсмит счастлив со своей женой, и

у него прекрасная семья. Я ей напомнила, что ни один мужчина не может перед ней устоять, какая бы у него ни была расчудесная жена, но она заставила пообещать, что я больше никогда не стану ничего выдумывать о ней и мистере Голдсмите, так что ничего из того не вышло. Но он, добрая душа, время от времени посылал нам денег, надеюсь, его за это возьмут в рай.

Так что, в конце концов, хорошо не было. Все ее покинули, даже тот, кого она любила больше всех на свете, конечно, он не собирался умирать, но, если он хотел остаться в живых и вернуться к ней, зачем было расхаживать по кораблю в адмиральском платье со всеми звездами и подставляться под пули французского стрелка, который так легко его заметил и убил. Мужчины такие глупые. Женщины бывают тщеславны, но если тщеславен мужчина, то он тщеславен свыше всех пределов и во имя своего тщеславия готов даже умереть. Все бросили мою бедную девочку, даже я через четыре года после гибели маленького адмирала ее покинула, а я так хотела заботиться о ней, ей очень нужна была забота, и на меня она всегда могла рассчитывать. Я не хочу говорить о том, что стало с нею после. После моей смерти моя дочь была очень несчастна.

3

Во мне была какая-то магия. Я чувствовала это по тому, как ко мне относились окружающие — так, словно я была больше самой жизни. А потом, сколько историй обо мне рассказывали! Что-то в них ложь, но что-то — правда.

Только этим я и могу объяснить, почему когда-то меня так превозносили, почему передо мной открывались все двери. Я была очень талантливой актрисой. Но талант — еще не главное. Я отличалась умом, любознательностью, сообразительностью, и, хотя мужчины не ждут от женщин, чтобы те были умны, но, когда ум есть, они это ценят, особенно если женщина старается понять то, что интересно мужчинам. Но умных женщин много. Не подумайте, будто я недооцениваю силу красоты, — нет, ведь я подверглась такому поношению, когда ее лишилась. Но и красивых женщин много, так почему же, я спрашиваю, всегда найдется одна, которую, пусть недолго, называют *самой* красивой? То, что я прославилась благодаря своей красоте, доказывает лишь одно: во мне было нечто, что, словно круг света, притягивало к себе внимание.

Это нечто иной раз заставляло меня делать странные вещи. Вспоминаю, как совсем крошкой, у себя в деревне, зимой, я без цели стояла у дороги, ничего не делая и глядя по сторонам, но я чувствовала, что из моих глаз исходит какой-то луч. Этот луч вбирал в себя всех: и тех несчастных, кто трясся от холода, и тех, кто трудился в поте лица, и тех, кто предавался праздности. Я уже тогда понимала: я — другая. На меня снизошло знание, что своим взглядом я могу согревать людей. И я пошла по дороге, согревая их, а они поворачивались ко мне, как подсолнухи. Конечно, это была глупая детская фантазия, о которой я скоро забыла. Но и став взрослой, когда я шла по улице, входила в комнаты, смотрела из окон дома или кареты, то всегда знала: я должна отыскать взглядом, вобрать им как можно больше людей.

Где бы я ни оказалась, я ощущала свою избранность. Не знаю, откуда взялась во мне эта уверенность. Я никак не могла быть такой уж *необыкновенной,* а все-таки — была. Другие казались такими нетребовательными, такими смиренными. Мне хотелось разбудить их, открыть им глаза, чтобы они увидели, как прекрасно жить на этой земле. Все вокруг стремились к спокойствию. А мне хотелось, чтобы они научились себя

ценить. Поняли, что такое истинные чувства, настоящая любовь.

Приятнее было общаться с людьми, одержимо чем-то увлеченными. Мне одержимость не была свойственна, но мною всегда владел энтузиазм. Даже когда я была красивой, я не отличалась элегантностью. Я никогда не сдерживала своих чувств. Я не была чванлива. Я была порывиста. Страстно желала возвышенной, пламенной любви. Объятия мне были не нужны. К чему тереться телами друг о друга, потеть вместе? Я любила пронзать взглядом и любила, чтобы пронзали взглядом меня.

Я слышала звук своего голоса. Мой голос обволакивал людей, вселял в них надежду. Но еще лучше я умела слушать. Бывают минуты, когда необходимо молчать. В эти минуты вы соприкасаетесь с душой другого человека. Человека, который решил излить вам свои чувства — оттого, быть может, что вы раскрыли ему свои. Такому человеку нужно смотреть прямо в глаза. Тихонько, сочувственно поддакивать. И слушать, просто слушать, очень внимательно, чтобы ваш собеседник знал: то, что он говорит, идет прямо к вашему сердцу. Очень мало кто так умеет.

Правду говорят, что я отдавала всю себя, чтобы

стать той, кем стала, но, вместе с тем, мне всегда казалось, что добиться успеха просто, исключительно просто. Не прошло и года с тех пор, как я начала учиться пению в Неаполе, где на все расходы нам с матерью было предоставлено содержание сто пятьдесят фунтов в год, а Итальянская опера в Мадриде уже захотела сделать меня примадонной, предложив шесть тысяч фунтов за три года. Несколько европейских оперных театров обращались ко мне с подобными предложениями, но я без сожаления отказалась от всех контрактов.

Если бы я захотела петь, я бы стала хорошей певицей. Я умела быть решительной, когда нужно.

То, что я не умела делать хорошо, я и не старалась делать хорошо, — иногда потому, что понимала: более высокие достижения принудят меня изменить характер, заставят сдерживать бьющий через край темперамент, Так, я выучилась прилично играть на рояле, но, уверена, я не умела играть так, как Катерина. Не хватало меланхоличности, погруженности. Зато я умела выражать эмоции своим телом, лицом. Все восхищались моими Позициями.

Я не виновата, что природа наградила меня актерским талантом. Как не виновата и в том, что

мне нравилось угождать. Что поделаешь, если я так быстро понимала желания окружающих. Кому я была бы нужна, если бы не научилась побеждать свой характер. Людей я привлекала своим добрым сердцем. Я не однажды видела, как королева, чтобы добиться от короля нужного для нее государственного решения, появлялась перед ним, разглаживая на руках длинные белые перчатки. Король любил женские руки в перчатках. Я такими трюками не пользовалась. Мне они были не нужны. Доставить людям удовольствие более чем просто. Не сложнее, чем учиться. Общество, так пристально следившее за мной, весьма неодобрительно отзывалось о моем говоре и о том, что я неграмотно пишу (хотя со временем я научилась писать лучше). Но, не люби я так сильно свою мать, я обязательно истребила бы в себе все следы деревенского происхождения и говорила бы на английском языке, чистом, как лунный свет. Как я уже сказала, долгое время было так, что мне удавалось добиться всего, чего я по-настоящему хотела.

Говорили, что я бессовестно всем льщу — мужу, королеве, тем людям в Неаполе, которые могли быть полезны, и наконец моему возлюбленному. Я льстила, да. Но и мне льстили. Мистер

Ромни уверял, что я гений, божий дар, что мне достаточно принять позу, и картина уже готова; завершить ее — дело техники. Муж думал, что я — все его вазы и статуи, живое воплощение той красоты, которой он так восхищался. Возлюбленный искренне считал, что своими достоинствами я превосхожу всех женщин мира. Он называл меня святой и говорил всем, что его религия — это я. Мать всегда говорила, что я лучшая женщина на свете. Меня считали величайшей красавицей эпохи.

Конечно, это меня портило. Но я не виновата, что мне говорили такие вещи.

Даже когда я считалась красавицей, у меня был один недостаток, точнее, у моей красоты был один недостаток: маленький срезанный подбородок. Потом, еще в молодости, я начала полнеть. Я пила не затем, чтобы побороть дурное настроение, а затем, что подчас бывала сердита, но знала, что, если покажу это, меня осудят, а может, и бросят. Часто я испытывала неуемный аппетит. И видела, что у меня постепенно тяжелеет подбородок. А однажды душной ночью, повернувшись в постели, я почувствовала, что мне мешает живот, и испугалась: что это с моей талией? Тело изменилось. Я осталась без красоты,

без своего панциря, и теперь каждый мог насмехаться надо мной.

Говорили, что я стала грубой, безобразной. Меня всегда считали излишне болтливой. Что ж, не спорю, я всегда находила, что сказать. Жизнь летела с огромной скоростью. Потом она остановилась. Клеветники, без сомнения, были бы рады узнать, что в конце жизни я сделалась крайне молчалива.

И сейчас хочу сказать совсем не так много, как вы могли бы подумать.

Если бы он остался жив, я была бы очень счастлива. Но он погиб, выиграв, как от него и ждали, великое сражение. Он умер с моим именем на устах. В завещании он вверял мою судьбу и судьбу нашей дочери королю и государству. Но я не получила никакой пенсии. Меня с ребенком даже не пригласили на похороны, самые пышные похороны, какие когда-либо видела Англия. Его оплакивала вся нация. Но я не могу избавиться от ощущения, что многие радовались тому, что он умер на пике своей карьеры, а не остался жить жизнью обыкновенного человека, со мной, в моих объятиях, с нашим ребенком, и не имел еще детей. Я родила бы столько детей, сколько бы смогла, ведь дети — дары любви, его — мне

и мои — ему.

Пока не умер мой возлюбленный, я не просила, не умоляла и не жаловалась. А потом поняла, что никто не поможет, что моя судьба — быть посмешищем, всеобщей обузой.

После того, как возлюбленный покинул меня и отправился в Трафальгар, я больше никогда не раскрывала своих объятий мужчинам. Как это, должно быть, огорчало моих хулителей — я не дала им возможности уличить меня в похотливости. Также не было у них повода называть меня корыстолюбивой, хотя и этому они были бы рады. Я никогда не думала о деньгах, только тратила их и покупала подарки. Я привязывалась к кому-то не потому, что искала легкой жизни: с любимым человеком я удовольствовалась бы скромной, и даже бедной, жизнью. Иногда я думаю, что могла бы прожить совсем иную жизнь. Я бы согласилась быть менее красивой — лишь бы не совсем простушкой. Согласилась бы стать под конец жизни толстой старухой из тех, что сидят на паперти, лишь бы эта жизнь не была такой печальной.

Люди еще пожалеют, что отзывались обо мне жестоко. Когда-нибудь они поймут, что подвергали нападкам женщину очень трагической

судьбы.

В чем меня обвиняют? В пьянстве, расточительстве, вульгарности, непривлекательности, чарах сирены. Ах да, еще в соучастии в убийствах.

Обо мне ходит много лживых историй, и вот одна из них. Говорят, будто бы я знала, что в Неаполе проливается кровь невинных и что позднее я чувствовала вину за то, что не вмешалась и не спасла доктора Цирилло. Говорят, что до конца жизни меня преследовали кошмары и что иногда, по ночам, я, как леди Макбет, ходила во сне, вскрикивала, воздевала руки и искала на них следы крови. Нет, едва ли я чувствовала какую-то вину. Вину за что?

Под конец от меня все отреклись. Я писала королеве, своей подруге. Она не ответила. Меня посадили в долговую тюрьму. Как только меня освободили, условно, я упаковала два сундука одежды, кое-какие драгоценности, памятные вещи и купила себе и ребенку билеты на пакетбот до Кале, подальше от Тауэра. Дочь знала лишь, что она дочь своего отца и что я его друг и ее опекунша. В Кале я на две недели сняла лучшие комнаты в лучшем отеле и истратила на это половину всех денег. Потом мы переехали на ферму в нескольких милях от города. Там не было

школы для дочери, и я сама учила ее немецкому и испанскому — по-французски она говорила уже вполне сносно — и читала ей кое-что из греческой и римской истории. Еще я наняла деревенскую женщину, чтобы та катала дочь на ослике, чтобы у девочки были хоть какие-то физические занятия.

Когда мы сбежали из Англии, дочери было четырнадцать. Мне самой было четырнадцать, когда я приехала из деревни в Лондон, и я была так счастлива, так жадно хотела начать жить и как-то подняться в этом мире. По рождению я была никем. А она была дочерью величайшего героя и женщины, когда-то считавшейся величайшей красавицей века. У меня была мать, которая, что бы я ни сделала, всегда меня хвалила, — необразованная женщина, в обществе которой, и благодаря любви которой, я была очень счастлива и всем довольна. А моей дочери досталась мать, которая никогда ее не хвалила, а лишь твердила, что она обязана постоянно помнить о том, кто ее отец, о том, что он смотрит на нее с небес и что она всегда должна поступать так, чтобы он мог ею гордиться, — образованная, умная женщина, общество которой пугало и отвращало ребенка.

Из Англии к нам никто не приезжал. Я сдела-

лась так отвратительна, что перестала смотреться в зеркало. Я была оранжевой от желтухи и раздулась от водянки. Потом, когда я стала уже очень больна, мы вернулись в город и поселились в жалком пансионе, в темной комнатушке. Моя кровать стояла в алькове. Каждую неделю я посылала девочку к ростовщику, сначала с часами, потом с золотой булавкой, потом со своими платьями, так что ей хватало на еду, а мне — на питье. Я научила ее играть со мной в триктрак. Большую часть времени я спала. Моим единственным посетителем был священник из ближайшей церкви.

Не нашлось никого — только ребенок, — чтобы ухаживать за дурно пахнущей, плаксивой, храпящей, умирающей женщиной, никого, кроме моей дочки, чтобы выносить горшки и стирать простыни. Я бывала с ней очень резка, а она всегда была очень почтительна.

В самом конце я попросила дочь привести священника из церкви Святого Пьера, чтобы он исполнил положенный ритуал. И только тогда, впервые, забитое создание (которое потом вырастет, выйдет замуж за викария и будет вспоминать последние ужасные полгода во Франции с сострадательным стоицизмом) попыталось

воспротивиться моей воле.

Ты не откажешь мне в последнем утешении, — вскричала я. — Ты не посмеешь!

Я пойду за священником, если вы скажете, кто моя мать, — ответила бедная девочка.

Твоя мать, — просипела я, — несчастная женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Я не могу обмануть ее доверие.

Она ждала. Я закрыла глаза. Она коснулась моей руки. Я отодвинула руку. Я стала напевать про себя. Я чувствовала кислый запах рвоты, стекающей сбоку изо рта. Ничто, даже угроза неминуемо лишиться благодати небес, не могло меня заставить рассказать ей правду. Почему я должна была утешать ее, когда не нашлось никого, чтобы утешить меня? Я слышала, как закрылась дверь. Она ушла за священником.

4

Из окна своей камеры я видела в заливе их корабль.

Мы с друзьями уже сели на транспортное судно, которое должно было отплыть в Тулон, когда, 24 июня, прибыли они и аннулировали договор, подписанный кардиналом Монстром: нас выволокли с корабля и увезли в Викарию. Мне, одной из немногих женщин в тюрьме, выделили отдельную камеру с осклизлыми стенами, десять шагов на семь, ç матрасом и без цепей. Двое моих друзей провели лето в железных ошейниках, прикованные к стене, других затолкали по пять человек в одну камеру, и они спали на полу, спина к спине. Некоторым из нас пришлось пройти через фарс якобы судебных слушаний, но наша вина была установлена заранее.

День за днем я наблюдала за качающимся на волнах черным кораблем. Я ни за что не послала бы им письма, испачканного пятнами слез или потными руками. Я не стала бы молить за свою жизнь.

Ночью я видела фонари и белые мачты, мерцающие в лунном свете. Иногда я смотрела на

корабль так долго, что начинало казаться, будто покачивающиеся мачты стоят на месте, а тюрьма плывет.

Я видела снующие туда-сюда лодчонки с провиантом, вином и музыкантами для их вечерних развлечений. До меня доносились крики и смех. Я вспоминала многие роскошные пиршества за их столом. Вспоминала ассамблеи, которыми славились британский посол и его супруга. На некоторых приемах, где она показывала свои Позиции, я читала свои поэмы. В камере я сочинила два стихотворения на неаполитанском языке и — на латыни — в память о моем учителе Вергилии: элегию голубому небу и чайкам.

Как чудесно быть кораблем, разрезающим плотные воды летнего моря. Как чудесно быть чайкой, парящей в голубом летнем небе. В своих детских фантазиях я часто наделяла себя умением летать. Но в тюрьме тело обретает особенную тяжесть. Из-за скудной тюремной пищи — в камеру два раза в день приносили только хлеб и сун — я сильно исхудала, но как никогда, чувствовала себя прикованной к земле. Дух желал воспарить, но при всей нынешней легкости я не могла взлететь даже в мечтах. Я могла представить себе только один полет: камнем — вдоль борта корабля, их

корабля — прямиком в море.

На заре 6 августа, подойдя к окну, я увидела, что флагман ушел. Они закончили работу, санкционировали, придали законность злодейским убийствам неаполитанских патриотов и отплыли обратно в Палермо. Казням предстояло продолжаться до следующей весны.

Меня казнили две недели спустя.

Когда я поняла, что смерти не избежать, то потребовала, чтобы мне отрубили голову, а не повесили. Единственное законное право моего сословия, которым я пожелала воспользоваться. Государственная хунта отклонила мое прошение на том основании, что я иностранка. Несомненно, я была иностранка. Я родилась в Риме и с восьми лет жила в Неаполе. Меня натурализовали, когда моему отцу, португальцу, было пожаловано неаполитанское дворянство и когда он принял неаполитанское гражданство. Замуж я вышла за неаполитанского дворянина и офицера. Несомненно, я была иностранка.

Для этого представления — своей смерти — я выбрала длинное черное платье, сужавшееся к лодыжкам. Последний раз я надевала его четыре года назад на похороны мужа. Я выбрала это платье не потому, что хотела показать, что ношу

траур по нашим смелым надеждам, но потому, что у меня начались месячные истечения, и я предпочла надеть то, на чем не видно будет пятен, когда я буду стоять у виселицы.

Последнюю ночь я провела, стараясь унять страх.

Прежде всего, я боялась уронить свое достоинство. Я слышала, что перед повешением люди теряют контроль над кишечником. Я боялась, что, когда меня поведут через площадь к помосту, на котором стоит виселица и лестница к ней, у меня начнут подгибаться колени. Боялась, что от страха при виде палача, приближающегося ко мне с глазной повязкой, и его помощника с длинной веревкой с петлей у меня случатся конвульсии. Некоторых моих друзей крики толпы «Да здравствует король!» заставили в последний миг прокричать: «Да здравствует республика!» Но я хотела умереть молча.

Еще я боялась, что начну задыхаться раньше, чем меня повесят. Я знала, что, после того, как палач закрепит у меня на голове грязный мешок, он или его помощник опустит мне через голову на плечи кольцо из тяжелой волосатой веревки. Невидимые руки плотно затянут кольцо, и я должна буду идти туда, куда меня потянут, к под-

ножию лестницы, затем вверх, — я должна буду следовать за веревкой. Я представляла, как прогнется лестница под весом троих людей. Палач будет выше меня, он будет тянуть меня за голову вверх. Его помощник — ниже, он будет держать меня за лодыжки и грубо переставлять мои ноги с одной ступеньки на другую.

Потом, я боялась, что не умру после того, как палач заберется на перекладину и прикрепит к ней свой конец веревки, а помощник сильнее обхватит мои лодыжки, оттолкнется и, спрыгнув с лестницы, повлечет меня за собой. Буду ли я еще жива, когда мы вдвоем повиснем в воздухе, и его тяжесть потянет меня вниз? Когда палач прыгнет с перекладины мне на плечи и когда мы станем раскачиваться из стороны в сторону, словно цепь из трех звеньев?

Рассвело. Я оделась. Меня вывели из камеры и сопроводили в комнату рядом с кабинетом начальника тюрьмы, и радость оттого, что я снова вижу своих друзей, — меня должны были казнить в хорошей компании, вместе с семью моими товарищами-патриотами, — неожиданно породила чувство, что мне не страшно умирать.

Было уже очень душно. Нам предложили воды. Я попросила кофе. Стражник сходил к началь-

нику тюрьмы, и тот дал разрешение. Но кофе принесли обжигающий, и, пока я ждала, чтобы он остыл, стоявшие у двери тоже ждали. Они сказали, что времени больше нет. Я ответила, что, коли мне разрешили сначала выпить кофе, придется дать мне еще несколько минут. Среди нас был поэт, юноша двадцати трех лет от роду. Он решил воспользоваться отсрочкой, достал клочок бумаги и начал что-то писать. Было любопытно, что он пишет, стихи или речь, которую хочет произнести у виселицы. Я сделала осторожный глоток, но кофе все еще обжигал язык. Не обращая внимания на свирепые взгляды от двери, я поставила чашку. Поэт продолжал писать. Я была рада, что даю ему возможность записать еще хотя бы несколько слов. Епископ со своими четками стоял на коленях. Я словно остановила ход времени — но я же должна была запустить его вновь. Кофе между тем неудержимо остывал. Как только его можно будет пить, заклятье спадет, и мы отправимся навстречу смерти.

Я не шевелилась. Я чувствовала: одно движение, и чары разрушатся. Я была очень голодна и спрятала за пазухой краюху хлеба, оставшуюся от вчерашней скудной трапезы. Пока кофе остывал, я могла бы ее съесть. Но стражники, скорее всего,

сказали бы, что мне разрешили пить кофе, а не есть хлеб.

Я снова поднесла чашку к губам, и — увы — кофе уже можно было пить.

Я подумала — наверное, то была очень женская мысль, — что должна сказать своим товарищам какие-то слова утешения, потому что они не меньше моего, а может быть, и больше, убиты отчаянием. На память пришли слова из «Энеиды»: «Forsan et haec olim meminisse juvabit» — «Возможно, когда-нибудь и это станет радостным воспоминанием». По лицу молодого поэта скользнула улыбка.

Нас вывели из тюрьмы и перед тем, как усадить на телегу, крепко связали руки за спиной. Я вдруг поняла, что их больше никогда не развяжут. Как я пожалела, что не проявила смелости и не съела хлеб!

Телега выехала под беззаботные, безоблачные небеса и по улицам, запруженным людьми, которых давно развратило бесконечное созерцание чужих страданий, людьми, для которых ужасный спектакль успел стать привычным, повезла нас к рыночной площади, к сцене-помосту и огромной аудитории, собравшейся посмотреть, как мы будем плясать в воздухе. За нетерпеливыми зри-

телями тоже наблюдали, их окружали солдаты регулярных войск и армии кардинала Монстра, и два кавалерийских полка. Нас провели в церковь Кармине, где, на случай беспорядков, стояли резервные войска, и загнали в охраняемое помещение без окон.

Первым из нас забрали кавалерийского офицера. Двадцати четырех лет от роду, отпрыск одной из самых знатных герцогских фамилий, он был заместителем командующего Национальной гвардии. Дело заняло не больше двадцати минут. Мы слышали крики толпы.

Затем увели семидесятитрехлетнего священника, благородного, крепкого пожилого человека.

Мои товарищи уходили один за другим, и мною овладело опасение, что меня — из-за того, что я единственная женщина, — заберут последней.

Скоро остались только я и молодой поэт, и я сказала: надеюсь, вас не смутит моя просьба, но, поскольку в ближайшее время наши тела так или иначе будут изуродованы и осквернены, то, может быть, за минуты до этого мы имеем право забыть общепринятые предрассудки и стыдливость. Я мучительно голодна, а в лифе моего платья спрятан кусочек хлеба. Не будете ли вы так добры, не постараетесь ли извлечь его? Пред-

ставьте, что склоняете голову на грудь матери.

Я с почтением преклоняю голову перед соратником-поэтом, — ответил он.

Я и забыла, что чувствуешь, когда лицо мужчины прижимается к твоей груди. Как это прекрасно. Он поднял голову, с куском хлеба, зажатым в зубах. У него в глазах, как и у меня, стояли слезы. Мы приблизили друг к другу лица, чтобы разделить хлеб между собой. А потом его забрали.

Я услышала вопли толпы: это вешали моего поэта. Я жалела, что у меня нет возможности воспользоваться ватерклозетом. Потом настала моя очередь, и… Да, все было в точности так, как я себе представляла.

* * *

Мое имя — Элеонора де Фонсека Пиментель. Оно досталось мне при рождении (моим отцом был дон Клементе де Фонсека Пиментель), и под ним (я снова взяла его после смерти мужа) я была известна — под ним или под одной из его вариаций. Обычно меня называют Элеонора Пиментель. Иногда — Элеонора Пиментель Фонсека. Изредка — Элеонора де Фонсека. И часто просто Элеонора — когда историки более или менее пространно пишут обо мне в книгах и

статьях. При этом никого из моих соратников по неаполитанской революции 1799 года (все они были мужчины) никогда не называют только по имени.

Я росла талантливым ребенком: в мое время в привилегированной среде вундеркинды были не редкость. В четырнадцать лет сочиняла стихи на латыни и итальянском, переписывалась с Метастазио, написала пьесу «Триумф добродетели», которую посвятила маркизу де Помбалю. Мои стихи распространялись в рукописях и пользовались большим успехом. В 1768-м я написала эпиталаму на брак короля и королевы; мне было шестнадцать, я была одного возраста с королевой. Я написала несколько экономических трактатов, в том числе разработала проект создания национального банка. Замуж я вышла поздно: мне было уже двадцать пять, а мужу, который не был мне подходящей парой, — сорок четыре. Я продолжала изучать математику, физику и ботанику. Муж и его друзья считали меня странной женщиной, негодной женой. Для женщины и для своего времени я была очень храброй. Спустя семь лет я не просто ушла от мужа или, что было более принято, попросила отца и братьев серьезно поговорить с ним и добиться согласия на наше

с ним раздельное проживание. Нет, я подала в суд на официальный разъезд. На судебном заседании я дала показания о его многочисленных изменах, а он в ответ обвинил меня в том, что я большую часть времени проводила за чтением, была атеисткой и состояла в связи со своим преподавателем математики, а также с другими порочными типами. Невзирая на скандал, я получила свободу, добилась постановления о разъезде. После этого я стала жить одна.

Я продолжала читать, писать, переводить, учиться. За литературную деятельность получила придворную стипендию. Мои переводы с латыни из истории папского влияния в королевстве обеих Сицилии, опубликованные в 1790 году, были посвящены королю. Потом я стала республиканкой и порвала со своими царственными покровителями. Следует ли здесь процитировать мою «Оду Свободе» — ту, за которую меня посадили в тюрьму? Нет. Мое поэтическое дарование было не более чем средним. Самые сильные мои стихи — сонеты на смерть моего восьмимесячного ребенка, Франческо, — были написаны много раньше.

Разразилась революция, а вместе с ней произошел взрыв и во мне. Я создала газету, главный

вестник нашей, просуществовавшей пять месяцев, революции. Написала множество статей. Нельзя сказать, что я не была осведомлена о насущных экономических и политических проблемах, и все же не думаю, что ошибалась, считая основной задачей просвещение народа. Что есть революция, если она не изменяет умы и сердца людей? Я знаю, что говорю как женщина, но не как всякая женщина. Я говорю как женщина своего класса. Я с восхищением прочла книгу Мэри Уоллстоункрафт, вышедшую в Неаполе в 1794 году, но в своей газете ни разу не поднимала вопроса о правах женщин. Я была независима. Я не захотела приносить свой ум в жертву тривиальным потребностям своего пола. И, прежде всего, я никогда не думала о себе как о женщине. Я думала о нашем справедливом деле. И была рада забыть о том, что я всего лишь женщина. Было очень легко забывать о том, что на многих наших собраниях я была единственной женщиной. Я хотела быть чистым пламенем.

Вы не можете себе представить порочность жизни в той стране. Развращенность двора, страдания народа, лицемерие. О, не говорите, что там все было прекрасно. Все было прекрасно для богатых, для тех, кто не думал о жизни бедняков.

Я была рождена именно в этом кругу, принадлежала именно к этому классу, я познала всю прелесть хорошей жизни, я радовалась безграничным возможностям приобретать знания и навыки. Как естественно человеческие существа приспосабливаются к уничижению, ко лжи, к незаслуженным привилегиям. Среди тех, кто благодаря своему происхождению или честолюбию попал в круг избранных, лишь прирожденным изгоям, патологическим ханжам или аскетам могло взбрести в голову *не* пользоваться своими исключительными правами. Но среди тех, кто по рождению или вследствие омерзения к подобному жизненному устройству оказался за пределами круга (то есть там, где живет большинство обитателей этой земли), лишь глупцы или люди с поистине рабским складом характера могли не понимать всей позорности того, что право на богатство и утонченность монополизировано жалкой кучкой знати, позволяющей себе причинять такие страдания остальным.

Я была серьезна, фанатична, не принимала цинизма, я хотела, чтобы жизнь стала лучше не только для избранных. Хотела расстаться со своими привилегиями. Я не испытывала ностальгии по прошлому. Я верила в будущее. Я пела свою

песнь, и мне перерезали горло. Я увидела красоту, и мне выкололи глаза. Пусть я была наивна. Но я не поддалась страсти. Не погрязла в любви к одному человеку.

Я считаю ниже собственного достоинства говорить о ненависти и презрении к этому воину, лучшему представителю британской имперской мощи, спасителю монархии Бурбонов и убийце моих товарищей. Но я скажу несколько слов о его самодовольных друзьях.

Кем был достопочтенный сэр Уильям Гамильтон, как не обычным представителем высшего класса, дилетантом, который беззастенчиво пользовался многочисленными возможностями, предоставленными ему нищей, развращенной и очень интересной страной? Он разворовывал произведения искусства, делал на этом деньги и благодаря этому приобрел репутацию мецената. Родилась ли у него за всю жизнь хоть одна оригинальная мысль, посвятил ли он хоть часть своего времени трудному делу написания поэмы, открыл ли он, изобрел ли что-то полезное для человечества, желал ли безраздельно посвятить себя чему-то, кроме собственных удовольствий, добиться чего-то, кроме привилегий, полагавшихся ему по должности? У него хватало ума

лишь на одно: он понимал, как ценно и колоритно то, что оставлено на нашей земле нашими предками, будь то произведения искусства или архитектурные руины. Он снизошел до того, что полюбил наш вулкан. Друзья на родине, надо полагать, поражались его бесстрашию.

Кем была его жена, как не способной, эксцентричной женщиной, интересной (даже в собственных глазах) лишь тем, что ее любили мужчины, которыми она восхищалась? У нее, в отличие от мужа и любовника, не было искренних убеждений. Она была энтузиасткой и с одинаковым пылом посвятила бы себя делу любого мужчины, которого полюбила. Я легко могу представить Эмму Гамильтон, будь она другой национальности, республиканской героиней, которая мужественно окончила бы свою жизнь на виселице. В этом ничтожность таких женщин, как она.

Я не согласна с тем, что мною двигало стремление к справедливости, а не любовь, потому что справедливость есть разновидность любви. Я хорошо знала, что такое власть, знала, как правят этим миром, но не могла этого принять. Я хотела подать пример. И не хотела разочароваться в себе. Но я была не только возмущена, но и напуга-

на, и слишком беспомощна, чтобы это признать. Поэтому я молчала о своих страхах и говорила о своих надеждах. Я боялась, что мой гнев может оскорбить других, и тогда они уничтожат меня. При всей уверенности в собственной правоте мне было страшно, что не хватит сил понять, как себя защитить. Иногда, чтобы совершить лучшее из того, на что я была способна, мне приходилось забывать о том, что я женщина. Или пришлось бы лгать самой себе, рассуждать о том, как сложно быть женщиной. Так поступают все женщины, включая автора этой книги. Но я не могу простить тех, кто волновался только о собственной славе или благополучии. Они считали себя цивилизованными людьми. Они отвратительны. Будь они все прокляты.